Д.Н.МАМИН-СИБИРЯК

Уральские рассказы



УРАЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА

УРАЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА



Издается с 1967 года
Второй выпуск

Редакционная коллегия:
Н. Г. Никонов (главный редактор)
И. А. Дергачев, М. С. Каримов
К. Я. Лагунов, [Е. А. Пермяк], В. Ф. Потанин
В. И. Селиванов (зам. главного редактора)
О. К. Селянкин, Л. Л. Сорокин

Д. Н. МАМИН-СИБИРЯК

Уральские рассказы

Том первый

Свердловск
Средне-Уральское
книжное издательство
1983

84Р1
М22

Под редакцией И. А. Дергачева

М $\frac{70301-064}{М158(03)-83}$ 4702010100

© Средне-Уральское книжное издательство, 1983, комментарии.

«В ХУДЫХ ДУШАХ...»

Рассказ

I

— Вот тебе и Шерама́...— проговорил мой возница, тыкая кнутовищем по направлению блеснувшей из-за пригорка степной речки Уразаевки.— Как на ладонке...

Шерама́, село дворов в полтораста, красиво облепило бревенчатыми избами холмистый берег Уразаевки. Издали можно было залюбоваться им. Таких сел в Зауралье попадается очень много. Одно только портило картину: насколько хватал глаз, ковром расстилались все поля и поля, и нигде не было даже клочка леса. А прежде, лет полтораста назад, судя по преданиям, вдоль берегов Уразаевки красовались вековые бора,— и аборигены Шерамы, башкиры, откочевывали на летние тебеневки далеко, в Ишимскую степь. Даже пней не осталось от этих боров, все выжгли уральские заводчики, им усердно помогали и сами крестьяне. Русский человек ценит лес только тогда, когда его изведет до последнего дерева. Впрочем, шераминские мужики не особенно тужат об исчезнувших лесах, потому что на месте этих лесов теперь зеленеют бесконечные хлебные поля, сенокосы, и только часть остается под пустошами, куда выгоняют скот. История этих исчезнувших в Зауралье лесов живо напоминает историю прежних обитателей этого благословенного края, башкир; последние давно уже вытеснены из лучших мест русским населением. От башкир остались во многих местах только одни названия. Так, речка Уразаевка и село Шерама́, несомненно, названия башкирские, хотя в Шераме не найдете ни одного башкира, как и по всему течению Уразаевки. Здесь плотно и крепко осело русское население, и между бывшими башкирскими деревнями рассажались чисто русские села: Шляпово, Новоселы, Полома и так далее.

Но зауральский мужик совсем не того типа, к какому привык глаз в великорусских губерниях. Здесь жи-

вет народ «естевой», то есть зажиточный (вероятно, от слова «есть»), «народ-богатей», если сравнить с «Рассеей». Матушка Сибирь вспоила, вскормила его и на ноги поставила. На привольных местах окреп тот же самый народ, раздобрел. Недаром славятся сибиряки своей смышленостью и промышленным характером. Под боком киргизская степь, Обь с своими притоками; позади стеной подымается Урал — было где поучиться зауральскому мужику уму-разуму.

От деревни Шляповой до Шерамы вез меня какой-то дядя Евмен и всю дорогу весело балагурил на своем облучке. При виде Шерамы даже Евмен пришел в некоторый восторг, потому, вероятно, что она раскинулась, «как на ладонке».

— Важное село,— говорил, любуясь, Евмен, когда наша телега начала осторожно спускаться по крутому косогору прямо к реке.— А вон дом попа Якова... Естевый поп. Тебе к нему?

— Да.

— Ну, ты, ма-ахонькая! — прикрикнул на свою лошадь Евмен, прыгая на облучке; его рубаха из изгребного холста надулась парусом, показывая свои кумачные ластовицы.— Попадья Руфина пирогом попотчует,— прибавил Евмен, поворачивая ко мне свое широкое улыбавшееся лицо с оскаленными зубами и загорелым румянцем.

— Любите попа Якова? — спросил я.

— Якова-то? Пошто его не любить — любим... Он у нас как мохом оброс. Теперь, надо полагать, на пятый десяток перевалило, как он поступил к нам в Шераму. Нет, ничего, любим Якова... у него десятин сорок, поди, посеяно — да скотины сколько... всякой всячины — дивно! Яков-то все у нас сам доспиет[1], своими руками, оттого мы его и любим. Примется пахать, так куды мужику, не угнаться... Могутный из себя, навалится на сабан, так лошадь-то только-только не закряхтит, едва выворотит полосу-то. Важно пашет... А примется косить, или сено метать, или молотить — только успевай глядеть. А вот жать — нет, не может,— с улыбкой прибавил Евмен, поглаживая свою бороду мочального цвета,— брюхо не позволяет... Как нагнется, глядишь — и

[1] Доспиет — поспеет. (*Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.*)

сел. Ей-богу!.. Да и то сказать, старо место, на седьмой десяток перевалило, где уж за молодыми угнаться...

После короткой паузы Евмен тряхнул своей головой и, поправив шляпу на один бок, проговорил задумчиво:

— А ведь у попа-то Якова ноне не ладно в дому...

— Что так?

— Да так...— коротко ответил Евмен таким тоном, который делал дальнейшие расспросы совершенно излишними.

Мы въезжали в само село. Широкая улица, обставленная рядами красивых изб, вела прямо к каменной белой церковке, красиво прятавшейся в густой зелени черемух, лип и берез. Наше появление, конечно, прежде всего обратило на себя внимание деревенских собак, которые с азартным лаем настоящих провинциалов провожали нас до самого дома о. Якова. Я очень люблю этот домик, выстроенный о. Яковом из старинного кондового леса; он так добродушно поглядывает из-под своей порыжелой тесовой крыши узкими окошечками с белыми ставнями, точно вот-вот сейчас хочет улыбнуться. Лет десять не бывал я в этом доме, но он не изменился ни на волос, только как будто глубже врос в землю да плотнее надвинул свою крышу прямо на глаза, как старую, разносившуюся шляпу.

— А вот и попадья Руфина!..— проговорил Евмен, когда наша телега мягко подкатилась по зеленой полянке к воротам, точно по ковру.

У ворот стояла низенькая толстая старушка в полинялом темненьком ситцевом платье и, заслонив черные узкие глаза короткой пухлой ручкой, внимательно всматривалась в меня. Ей было под шестьдесят, хотя на вид она казалась бодрой еще не по летам. Круглое добродушное лицо было покрыто мелкими морщинами; они собрались около глаз и рта лучами, разбегавшимися по всему лицу при каждой улыбке.

II

— Здравствуйте, Руфина Анемподистовна,— здоровался я, слезая с телеги.— Не узнали меня?

— Да где тебя сразу-то узнаешь,— отозвалась добродушно старушка, видимо еще сомневаясь в твердости своей памяти.

— Ах, батюшки... да ведь это ты...— встрепенулась старушка, называя меня по имени.— А уж я-то не чаяла тебя и в живых видеть... Никак, лет десять будет, как ты не бывал у нас?

— Около того.

Старушка обняла меня и расцеловала, а потом, схватив за рукав пальто, бойко потащила в «горницу». Пока мы шли от ворот к старому крылечку, она несколько раз оглядывалась на меня, как будто стараясь убедиться в том, что имеет дело не с призраком, а с живым человеком. Конечно, при таком благоприятном случае старушка не преминула всплакнуть и сквозь слезы с каким-то детским всхлипыванием шептала:

— Из себя-то уж ты больно тово... в чем душенька!.. Все небойсь учился? Ох-хо-хо... Учитесь вы до седого волоса, а когда жить-то будете...

— Как отец Яков здравствует?

— Здоров, ничего... Что ему сделается?..

Дворик у о. Якова был устроен на крестьянскую руку. Службы были заняты «ста́йками» для скотины, амбарами, сусеками и громадным сеновалом. На задней половине двора помещалось отделение живности; из-за перегородки весело смотрела мохнатая голова годовалого жеребенка; несколько овец лежало в тени амбара, вытянув по земле шеи. Из самой глубины двора выглядывала маленьким окошечком крошечная банька; в ней о. Яков любил отдохнуть летом после обеда часок-другой и «позолотить хлеб-соль», то есть покурить из большой деревянной трубки. Посреди двора стояла тюменская телега, на которой только что приехали с поля; на колесах оставались следы вчерашней грязи, а из кузова лезла во все стороны не успевшая еще подсохнуть недавно скошенная трава. Под навесом у погреба были сложены бороны.

— Милости просим...— говорила матушка Руфина, с легким перевальцем утицей забегая по настланным дощечкам в темные сени; она распахнула дверь в кухню и любовно смотрела на меня своими черными глазками.

Если во дворе было царство о. Якова, то за порогом сеней начинались уже владения матушки Руфины. Я всегда с некоторым благоговением переступал через этот порог; за ним каждая вещь говорила о неустанном, вечном труде. Налево от входных дверей, за косяком,

стоял обыкновенно посошок о. Якова; если посошок дома — и хозяин дома, посошка нет — и хозяина нет. Теперь посошок отсутствовал. Направо в углу стояла крашеная деревянная кадка с водой, а потом целый арсенал сундуков, ящиков, ящичков, коробушек, плетенок и тому подобного «хлама», как называл о. Яков весь этот хозяйственный скарб. От самого порога сеней вела в горницу белая как снег тропинка из домашнего холста.

Ход в горницу шел через кухню, и другого не полагалось. «Что я, разве губернатор какой, чтобы парадное крыльцо строить,— говаривал поп Яков.— Я, брат, своими руками дом-то строил... Тут не много разгуляешься. Было бы тепло!» Впрочем, незнакомый человек не скоро бы и догадался, что он в кухне. Русская печь скромно пряталась за ситцевой занавеской, посуда была всегда прибрана, и, может быть, только один пузатый самовар, всегда стоявший на залавке, мог навести некоторое сомнение своим присутствием.

— Снимай балахон-от свой,— говорила матушка, помогая мне снять верхнее пальто.— Гость будешь, да еще какой гость-то... Вот ужо поп придет, так он как обрадуется...

Прямо из кухни одна дверь вела в горницу самого о. Якова; эта горница выходила тремя окнами на улицу и была перегорожена низенькой ширмой пополам. За ширмой стояла широкая двуспальная кровать. Вторая дверь вела из кухни в горницу матушки Руфины, крошечную комнатку, выходившую одним окошечком на двор. Нужно сказать, что в домике о. Якова всегда стоял совершенно особенный воздух, весь пропитанный каким-то специфическим ароматом. Не то росным ладаном пахло, не то старой вишневой наливкой или геранью — не разберешь хорошенько.

— А это у вас что за оружие? — спросил я, рассматривая полицейскую шашку, которая висела на ширме вместе с белым кителем.

— Да ведь Прошку-то помнишь? Ну, еще из училища его тогда исключили! Это его муниция... Он у нас урядником служит в Шераме. Как же, чин получил недавно... Теперь где-то в Полому уехал, ловит кого-то.

— Кого?

— Да в Поломе-то попом отец Ксенофонт, а у него сын... Ну, там где-то в Москве обучался. Только это

так... он совсем ничего, а это Прошка придумал.

На маленьком столике, который стоял в углу комнаты, были разложены книги и стопкой лежали подобранные номера газеты. На одном переплете я прочитал: «Das Kapital, von Marx»[1].

— Это Кинтильяновы книги,— предупредила мой вопрос старушка.— Ты его не помнишь, поди? Нет, где помнить. Он еще в училище тогда учился, когда ты был у нас в последний-то раз.

— Ведь у вас еще два сына?

— Да, как же... Митрей-то Яковлич попом теперь в Зюзиной служит, а Никаша — дохтуром земским. Четверо их у меня.

— А дочь? Ведь у вас была девочка, Аня.

Старушка только махнула рукой.

— Замуж вышла?

— Нет...

— Умерла?

— Хуже...— прошептала со слезами на глазах бедная старушка и, осторожно оглядевшись кругом, таинственно проговорила: — Ужо расскажу тебе вечером, когда уберусь. Да вон и поп с Кинтильяном идут... Обедать сейчас будем.

III

Поп Яков вошел в это время уже в кухню и, заметив меня, проговорил своим густым баском:

— Да это, никак...

Он назвал меня по имени и, заключив в свои могучие объятия, облобызал. Высокого роста, с могучей грудью, поп Яков смотрел настоящим русским богатырем, а благообразная седина придавала его фигуре нечто патриархальное. Когда, мальчуганом, я учил историю ветхозаветных патриархов, поп Яков для меня служил живым и наглядным примером; я отлично представлял себе фигуру библейского патриарха Иакова — стоило только закрыть глаза и припомнить попа Якова. Десять лет, в течение которых я не видал его, почти не изменили его наружности, за исключением разве того, что косматая окладистая борода из седой превратилась в желтую, да

[1] Маркс. «Капитал» (*немецк.*).

на высоком лбу легло несколько глубоких морщин. И костюм на о. Якове остался тот же, то есть нанковый синий подрясник с высоким стоячим воротником, каких нынешние модные батюшки уже совсем не носят; из-под подрясника выглядывала ситцевая рубашка-косоворотка, перехваченная тоненьким гарусным пояском чуть не под самыми мышками. Этот поясок мне всегда казался особенно забавным, потому что без подрясника, в одной рубашке, как частенько ходил дома о. Яков, он походил на колоссального ребенка. Старик любил в таком виде работать во дворе или в огороде, а на пашне это было даже ему необходимо, потому что подрясник только заплетал ноги и мешал работать.

Широкое русское лицо попа Якова глядело своими большими серыми глазами строго и внушительно; губы всегда были плотно сжаты и очень редко распускались в улыбку. И в фигуре, и в движениях, и в выражении лица сказывался человек, который «в поте лица снискивал» свой хлеб. Я всегда любил эту спокойную уверенность попа Якова, его медленную речь, веселую умную улыбку, которою все лицо точно освещалось.

На этот раз меня неприятно поразила только одна перемена в о. Якове; он оставался прежним попом Яковом,— но это по наружности. Глаза же смотрели как-то неестественно пытливо, и он несколько раз тревожно поглядывал в окно; улыбался он тоже не по-прежнему — какой-то натянутой, не своей улыбкой. Вообще во всем — в движениях, в голосе, во взгляде и в улыбке — чувствовалось то «неладное», о чем мне говорил доро́гой Евмен.

— Ну, мать, соловья баснями не кормят,— заметил о. Яков, когда мы успели обменяться первыми вопросами, какие неизбежны между старыми знакомыми после долгой разлуки.

Кинтильян, сын, только издали поклонился мне и даже не вошел в горницу. Он был одет в коротенькое казинетовое пальто; казинетовые брюки были заправлены за сапоги. Такая же ситцевая рубашка, как у о. Якова, была точно так же подпоясана гарусным пояском и выпущена поверх брюк, на мещанский манер. На вид ему можно было дать лет двадцать пять; русая пушистая бородка красиво обрамляла его бледное, изнеможенное лицо и придавала ему какую-то преждевременную серьезность. Вообще и ростом и лицом Кин-

тильян походил на мать; отцовского в нем оставались только одни глаза — серые, большие, строгие, с темными густыми ресницами.

— Милости просим...— приглашала матушка, появляясь в дверях.— Только уж ты, гостенек, не обессудь нас на нашей простоте... Нечем тебя угощать-то, потому приехал к самому обеду, а печка у меня уж простыла.

— Ничего, вечером пельмени сделаешь,— успокоил о. Яков старушку.— А теперь пусть отведает нашего мужицкого кушанья... Ешь просто, проживешь лет со сто! — пошутил батюшка.

Мы уселись в кухне за маленький деревянный столик, накрытый синей изгребной скатертью. Тарелок не полагалось. Ели из одной чашки деревянными ложками. Кушаньев было, собственно, два — щи и гречневая каша. Зато щи матушки Руфины стоили целого обеда. Таких щей никто не умел делать, и старушка гордилась своим искусством.

— Давно ли попал в наши палестины? — спрашивал о. Яков между первой и второй чашкой щей.— Там ведь, в вашем-то Петербурге иль в Москве, все бедовый народ живет.

— Ну уж, пошел...— с неудовольствием заметила матушка.

— Чего пошел?! Я дело говорю... Вон благочинных запретили выбирать... Везде суд, да доносы, да подозрения,— говорил как-то отрывисто о. Яков и вдруг спросил: — А где у нас Прошка, мать?

— Сам знаешь где,— неохотно ответила матушка.

— Это он в Полому забрался? Да не пес ли... не за столом будь сказано... Да Ксенофонт-то разорвет его, как дохлую кошку... Ну и народец только нынче пошел!..

Отец Яков все время сильно волновался и несколько раз принимался бранить то Петербург, то Прошку. Кинтильян хранил самое упорное молчание и не проронил ни одного словечка. После обеда о. Яков увел меня в горницу, закурил свою деревянную трубку и опять навел разговор о Петербурге. Несколько раз он среди своей речи бросал трубку, рылся в газетах и вынимал какой-нибудь номер, где карандашом было отмечено все достойное примечания.

— Нет, он нам вот где, ваш Петербург-то,— говорил старик, указывая на свой могучий затылок.— Ой, как

солоно он приходится... Да! Хорош Питер, да бока повытер... Кажется, живешь себе в таком месте, что и ворон костей не заносит, а глядишь — не тут-то было. Да!.. Прежде я этих самых газет и в руки никогда не брал, разве про войну прочитаешь, а нынче не-ет... Ждешь не дождешься нумера-то, как Христова дня. Не прежние времена... Вон мужики — и те как газеты любят читать. Недаром, видно, пословица сложилась, что в городе дрова рубят, а в деревню щепки летят...

Вечером матушка Руфина приготовила пельмени, а когда мы уже сидели за столом, явился и Прошка — из Поломы. Он был верхом и едва мог спуститься с седла. Пошатываясь, вошел он в кухню и красными, воспаленными глазами посмотрел на всех. Плотный, коренастый Прошка цвел завидным здоровьем.

— Ну, что, не отколотил тебя Ксенофонт? — спросил о. Яков.

— Н-нет... мы помирились,— заплетавшимся языком ответил Прошка, стараясь сохранить равновесие, а потом покрутил головой и улыбнулся пьяной блаженной улыбкой.— Мы с Ксенофонтом-то целую четверть раздавили, родитель... А я ему все-таки покажу! Нет... я ему... Он меня сначала-то было за ворот схватил...

— Я бы на его месте так просто удавил бы тебя, яко смердящего пса! — заметил о. Яков.— Взятку небойсь хотел взять?..

— Н-нет, зачем взятку брать... закон не велит, а вот четвертную-мученицу ничего... не воспрещено...

Прошка только теперь заметил меня и сейчас же преобразился, принял деловую осанку, нахмурил брови и строго спросил:

— А позвольте, милстивый гсударь... документы!

— Я тебе покажу такие документы, что ты у меня не будешь знать, которым концом сесть...— зарычал о. Яков.

— Да я так... пошутил...— осклабился Прошка и, махнув рукой, прошел в горницу.

Отец Яков хотя и храбрился все время, но я заметил, что он не в своей тарелке. Нет-нет и посмотрит в окно как-то из-за косяка, точно он опасался какой-то засады или нечаянного нападения. Матушка Руфина тяжело вздыхала и подбирала губы оборочкой, делая вид, что ничего не замечает.

IV

Вечером мы долго калякали с попом Яковом, сидя на завалинке во дворе. Говорили о разных разностях и между прочим о местных новостях.

— Ябеды везде пошли, — объяснил мне старик.— Прошка-то — видел его давеча — раньше был сельским учителем. Так этот самый отец Ксенофонт все на него доносы писал: и в церковь, мол, не ходит, и газеты мужикам читает, и по постным дням скоромное ест... Выжил ведь парня с места! Шатался-шатался Прошка без места, а потом за свою простоту в урядники попал... И как это он устроил — ума не приложу. А как попал, и пошла потеха... Есть тут в Новоселах псаломщик, Варвар. Башка, я тебе скажу! Вот этот Варвар повздорил о чем-то с отцом Ксенофонтом и давай доносы жарить на его сына, а Прошка его ловить... Теперь у них такая каша, что упаси боже!.. Ксенофонт-то больно дерзок на руку и силен, медведь медведем. Вот когда-нибудь он освежует Варвара с Прошкой...

Попадья Руфина, пока мы беседовали на завалинке, подтыкав подол, таскала ведро за ведром в стайки, где мычали только что вернувшиеся с поля коровы. Старушка искоса поглядывала на нас, улыбаясь, и, перегнувшись на один бок, с старческим покряхтыванием семенила по двору. Когда она прошла с большим дойником доить коров, поп Яков поднялся и проговорил:

— Ну, заболтался я с тобой... Поди-ка спать в баню, там уж мать все тебе приготовила. Утро вечера мудренее... А мне еще нужно к завтрему дров наносить попадье да телегу вымазать.

— А что ваш доктор? — спросил я.

— Это Никашка-то? Служит в земстве, что ему сделается. Недавно был у нас с женой... Ты разе не слыхал? Женился... Такую госпожу в очках подцепил, что... Ну, да это не нашего ума дело: ему с ней жить-то, а глянется, так и слава богу.

Поп Яков побрел за дровами, а я отправился в баню. Там матушка Руфина когда-то успела уже все приготовить. На широкой лавке был постлан киргизский войлок, покрытый чистенькой простыней с плетеным кружевом у спускавшегося на пол края. Ситцевая подушка, взбитая пухленькими ручками матушки Руфины, высилась горой. Рядом с постелью на деревянном

табурете была поставлена сальная свеча в железном луженом подсвечнике, и тут же лежало несколько номеров газеты и еще какая-то книга. Добрая старушка обо всем успела позаботиться, чтобы доставить гостю все удобства. Я развернул книгу и невольно улыбнулся. Это были какие-то литографированные записки по женским болезням. Нужно сказать, что матушка Руфина не умела читать и притащила первую попавшуюся под руку книгу.

В бане было немного душно, и я открыл окно. На меня глянула пахучая летняя ночь и краешек синего неба, усыпанный звездочками, как серебряными блестками. Тут же под окном, на двух грядках, росли кусты малины, образуя зеленую беседку. Несколько кустов бузины и ряды гряд с капустой, картофелем и горохом упирались в низкую изгородь, которою усадьба попа Якова разграничивалась с владениями церковного старосты, зажиточного мужика Никитича. По наружной стороне бани по натянутым веревочкам вился зеленой спиралью хмель; пара молоденьких веточек его с детским любопытством заглядывала в самое окно. Наверно, Аня любила этот тенистый уголок, где летом так удобно работать. Я едва помнил ее девочкой лет двенадцати, с любопытными и серьезными черными глазками, с неправильным, но симпатичным, всегда загорелым личиком... Где-то ты, Аня, проводишь эту мягкую и поэтическую ночь?

В открытое окно тянуло свежим ночным воздухом, вносившим с собой пеструю смесь звуков, какими отдавала теперь спавшая глубоким сном Шерама. Где-то перекликались деревенские собаки, ржала лошадь; глухо погромыхивая, прокатилась по деревенской улице запоздалая телега. Точно с того света донеслась и сейчас же смолкла далекая проголосная песня. Кто ее поет, эту песню: может быть, молодой деревенский парень, которого зазнобила девичья краса; может быть, выливается в ней чье-нибудь одинокое тяжелое горе; может быть, поет забубенная головушка, кабацкий пропойца... Мудрено поет русский человек; не разберешь хорошенько, горе или радость заставляет его петь.

Любуясь ночью, я вспомнил про женитьбу доктора Никашки.

Странный был человек этот Никашка. Как теперь, вижу его в коротенькой люстриновой поддевке, в тако-

вых же шароварах, заправленных за сапоги, и в сером мужицком чекмене, который он носил вместо осеннего пальто. Из-под мягкой коричневой пуховой шляпы любопытно и насмешливо выглядывали два черных бойких глаза. Узкое лицо с козлиной бородкой и широкими губами отличалось необыкновенной подвижностью и постоянно улыбалось умной, немного иронической улыбкой. Одним словом, уродился Никашка, как говорится, ни в мать, ни в отца, а в проезжего молодца. Таким учился и таким жить пошел да, вероятно, таким и останется до гробовой доски.

Помню — это было в начале шестидесятых годов,— как в первый раз явился Никашка в Шераму доктором в своей поддевке и верхней сермяжке. Удивил он даже деревенскую простоту. Щеголяли и другие сермяжками, да скоро бросали, а Никашка так и остался с ней на всю жизнь. Прост был Никашка, да и время тогда было совсем особенное, не в пример другим. Идеальное было время, хотя Никашка в простоте своего сердца считал себя «мыслящим реалистом». Жил этот доктор еще проще, чем одевался. С удовольствием припоминаю, какое неизгладимо сильное впечатление производил Никашка тогда на нас, школяров. Что-то такое хорошее, убежденное, верующее чувствовалось под его сермяжкой, и мы льнули к нему, к его книжкам, к его рассказам об alma mater[1].

Только давно это было, много воды с тех пор утекло, а, право, доктор Никашка остается для меня лучшим и самым дорогим воспоминанием, как хороший юношеский сон, смутный и неопределенный, но после которого чувствуешь такой прилив молодых сил.

V

— Ты не спишь еще? — послышался голос матушки Руфины, и ее круглое сморщенное лицо показалось в оконце.

— Да еще рано...

— То-то, я смотрю, окно не заперто... Дай, думаю, загляну,— прибавила старушка, точно в свое извинение.— Да зажги свечу-то, чего в потемках разговаривать... Не воровать пришли!

[1] матери-кормилице. Здесь имеется в виду учебное заведение.

Я чиркнул спичкой и зажег свечу. Желтый неровный свет разлился по бане и осветил лицо старушки; оно было теперь серьезно и печально. В раме окна на темном фоне матушка Руфина походила на портрет старинной голландской школы.

— О чем с попом-то разговаривали даве?

Выслушав мой рассказ, она тяжело-тяжело вздохнула и, пристально взглянув на меня, заговорила:

— Ничего-то я, ровнешенько ничего не понимаю... Хоть расколи меня! Точно вот не я слушаю, а кто-нибудь другой...

Матушка сильно пригорюнилась, высморкалась и, вытерев кончиком фартука глаза, опять начала:

— Вот и я пришла к тебе... поговорить с тобой. А то хожу я, как в потемках все равно. Да... Смертоньки нет, а жить, пожалуй, и в тягость. Отдохнуть бы старым костям...

— Что вы, Руфина Анемподистовна,— поспешил я успокоить старушку,— зачем умирать. Еще жить нужно...

Старушка только махнула рукой, а потом, улыбнувшись сквозь слезы, прибавила:

— Известно, раньше смерти не умрешь... а только пора. Как человек не стал ничего понимать, значит, пора и в землю. Чего даром-то небо коптить?

— А вы о чем со мной хотели поговорить?

— О чем поговорить-то хотела?.. — в раздумье повторила мой вопрос старушка.— Видишь ли, надо сначала тебе рассказать все, как дело-то наше вышло, а потом уж я тебя и спрошу. Только я тебе зачну с самого начала рассказывать...

— Рассказывайте, я с удовольствием послушаю.

— Ты ведь Никашу-то помнишь?

— Как же, очень хорошо помню. Он женился?

— Женился...— уныло ответила матушка.— Была я у них как-то, у Никаши-то... Расскажу я тебе, как в гости-то ездила. Уж после свадьбы была. Он ведь в городу живет, в Мохове. Там и квартира у него. Только сам-то он больше в разъездах. Должность-то свою все собачьей службой зовет да еще прибавит: «Волка ноги кормят, маменька!» Знаешь его: у него каждое слово неспроста, все смешком. Ну, давненько он меня звал к себе в гости, да все недосуг был, а тут как-то перед рождеством я и собралась от свободности. А давно в городу не бывала да и на лошадях страсть боюсь ездить...

хуже смерти! Всю дорогу под подушкой лежала... Думаю, если и убьют меня лошади, так хоть невзначай. Не видали бы глазыньки. Вот и приехала я в город, на его квартиру, часов этак в десять утра, а он еще спит, и жена спит. В разных комнатах спят, по-образованному, она на одном конце дома, он на другом. Грешным делом, случись пожар, один сгорит, а другой и не услышит. Все по-образованному... Хорошо. Промерзла я в дороге, а работница вышла разряженная такая...

— Горничная?

— Ну, по-вашему горничная, а по-нашему работница... Только хотелось мне чайку испить с дороги — не посмела, горничную-то побоялась беспокоить, а самой ставить самовар да в чужом доме как-то и неловко. Хоть и деревенская дура, а все-таки докторова мать. Ну, вот докторова мать и сидит час, сидит другой, инда в горле пересохло, а все не смею спросить самовару... Только встали наконец, то есть Никашка встал. Увидал меня, обрадовался. Сидим, калякаем. Только выходит жена... А я еще не видала ее. Посмотрела на меня этак сыздальки, кивнула головой, усмехнулась и пошла опять в свою комнату. Из себя женщина довольно полная и молодая, ну а личиком как будто не вышла маненько... шадрива и глаза как-то навыкате, точно кто ее стукнул по затылку. «Наташа,— говорит мне Никаша,— умная... Ты уж не обращай на нее внимания, у ней, говорит, характер...» Как-то это он мудрено выразил, да я и позабыла. «Вижу, говорю, Никаша, что умная у тебя жена... Вот бы, говорю, чайку испить...» Подали самовар... А надо тебе сказать, что квартира у Никаши хоть и хорошая, да только столь она грязна, столь грязна,— и не умею сказать... Вот когда перед пасхой дома убираем, так в этом самом роде. И самовар, и чашки — все под одну стать... Ну, мы с Никашей чай пьем, а жена в книжку читает и цигарку при этом курит. Только в своей деревенской простоте я и спрашиваю: «А сколько ты, Никаша, в год проживаешь?» Жена-то как воззрится на меня. «Вы,— говорит этак высоко,— подсчитывать, что ли, нас приехали?» — «Извините, говорю, невестушка, на глупом слове, потому как я сказала спроста...» Ну, ничего, напились чаю, а тут за Никашей приехали из уезда. «Вы, говорит, маменька, погостите тут, пока я езжу...» Я сдуру-то и останься. Ну, не понимаю, значит, как это по-образованному-то люди жи-

вут, дай погляжу. Никаша уехал, а я сижу. Походила по комнатам, небель посмотрела, обзаведенье... А жена все в книжку читает, точно по комнатам кошка ходит. Ей-богу. И смешно мне, и жаль, то есть Никашу-то жаль. Села я этак к окошечку, пригорюнилась. Сидела, сидела, вплоть до самого вечера высидела... Обедают у них в семь часов вечера, когда мы ужинаем. Ну, тут мне и вспади на ум: чего, мол, я дуру здесь строю?.. Пошла на двор да и велела лошадей запрягать мужику, благо они отдохнули. Так, не емши, и уехала от гощенья; дорогой уж калачик городской прихватила да на станции съела... Я тебе это не к тому рассказываю, чтобы жену Никаши осудить... Господь с ней! Может, она и в самом деле ученая, а я только к тому веду речь, что понятия во мне не стало... Не понимаю ничего, и конец. По-Никашину, это, может, и хорошо так жить, а мне так его жаль... Прост он, Никаша-то, вот что! О чем я, бишь, хотела рассказать-то... Ты перебил меня этой свадьбой-то...

— Да о Кинте хотели рассказывать, матушка.

— Да, да... припомнила. Это я со снохой-то спуталась... Ну, помнишь, как тогда Никаша дохтуром приехал? Тогда Кинте уж в семинарию надо было переходить... Нет, не так. Митрею — в семинарию-то, а Кинтя в духовном училище еще учился. Так вот Митрея-то тогда из семинарии исключили. Никаша и взял его к себе. А Митрей, кроме своей водки, и знать ничего не хочет... Побился-побился с ним Никаша года с два, так ничего и не смог сделать, а Митрей в псаломщики поступил, а теперь в попы вылез. Это прежде трудно было в попы попадать, надо было из богословия, а нынче исключат из семинарии, а потом его же в попы и поставят. Так вот Митрей-то Яковлич первое горе нам с отцом и сделал. А теперь ничего, выправился. Сытый такой, горло широкое, конский завод держит... По-моему, это не подходяще попу... Только это мы успели оглянуться, а тут Прошка из училища вылетел. Этот уж совсем дурашливый уродился, так, пожалуй, и горя бы не было. Думали, пусть его при домашности останется; все же, пока мы живы, с голоду не помрет. А Никаша давай Прошку учить да в учителя и определил... Ну, дальше уж знаешь, какая каша вышла с Ксенофонтом этим да с Варваром. Так вот трое у меня старшеньких сынков — как-никак, а все при месте. Опять вздохнули

мы с попом свободнее, думаем — теперь отдохнем, потому Кинтильян учился первым, а Аня дома жила, так какая забота о ней. Ну, как, значит, человек возгордится, как мы возгордились с попом Яковом, господь его и найдет... Мы думаем теперь, вот отдых нам пойдет,— а глядишь, вместо отдыха горе, да еще какое горе-то!.. Вот у меня их пятеро, как перстов на руке, а всех одинаково жаль, да глупого-то, как Прошку, еще больше жаль. И пословица говорится: умного-то жаль, а дурака вдвое...

Старушка печально смолкла и, как бы отдохнув, продолжала:

— Из четырех сынов Кинтильян был самый меньшенький,— так начала старушка подавленным голосом,— только еще Аня была его моложе... Та уж так и родилась и росла совсем на особицу: одна дочка в доме, балованное да нежное дитятко... Ну, так Кинтя как еще родился, так не нарадовались мы на него с попом... Точно сколоченный весь, как ядреная репа. Родился — и кулаки себе сосет, всех насмешил. Так он и вырос... Уж сколько же и хорош вырос мой мальчик: точно нарисованный. Не приходится свое детище хвалить, а к слову пришлось, да и дело прошлое. Румяный, брови черные, глаза как у отца, да светленько таково поглядывают, и на все руки парень: озорничать так озорничать, учиться так учиться. Растим парня да потихоньку радуемся. И какой-то, господь его знает, характер у него особенный: грубого слова не слыхивали, обиды не знали. Шелк, а не парень. И все-то он видит и все понимает, а стал подрастать — стишал, телячью-то бодрость оставил. Так мы его тогда и в училище это отдали. Отдали, учится, а что ни праздник, то нам, глядишь, новую радость везет, учился все первым, и учителя не нахвалятся. Кроткий да гораздый парень на все. А приедет домой, книжки все до единой привезет и все их учит. Поиграет и учит. Вчуже приятно было смотреть. Все завидовали, а мы напринимались маеты-то с Митрием-то Яковлевичем да с Прошкой-то, так нам это все вдвое кажется. Только одного и боялись, чтобы не избаловать. Поедет, бывало, к Никаше в гости и тоже книжки привезет и опять читать. Так он из училища первым поступил в семинарию и там первым кончил, а сам точно красная девица: румянец во всю щеку, как налитой. Водки капли в рот не брал, не курил этих цигарок...

А здоровье у него — точно бы и век не изжить: никогда не хварывал ничем...

— Вот после семинарии-то и грех первый у нас вышел,— продолжала старушка.— Отцу взбрело что-то на ум уговаривать Кинтю идти в попы. И с чего это он придумал — ума не приложу! Сам всегда говорил, что поповское житье самое последнее, а тут на-поди... Наладил, что, как умрем, некому будет пред престолом господним стоять... Так уж это, накатился стих такой... Ну, Кинтя слушал-слушал отца-то, тихонечко этак усмехнулся да и ответил: «Это, говорит, вы меня дармоедом хотите сделать?» Тут уж отец-то из себя вышел: засучил рукава да и показывает ему руки. «Погляди-ка, говорит, щенок ты этакой, разве у дармоедов такие мозоли живут на руках? Это, говорит, вы — дармоеды-то... Знаю, говорит, кто тебе в уши надул: Никашка!.. Он думает, говорит, что большое жалованье получает да образование имеет — так только будто и свету, что в окне? А я, говорит, горбом добываю каждый кусок, да этим же куском меня и корят...» Ничего не сказал Кинтя, сложил себе котомку, попрощался и ушел. «Куда,— говорю,— идешь-то!» — «Учиться»,— говорит. Думаем с отцом, что к Никаше уйдет, на брата надеется. Стороной наведались про Никашу, а тот и сном дела ничего не знает. Тут уж мы и схватились за ум... Погорячился отец-от, понадеялся на его кротость, а надо бы его потихоньку да лаской. Ну, погоревали, потужили, поплакали, а прошлого, говорят, не воротишь... Через людей уж мы узнали, что Кинтя в Москве учится, а потом он и письмо прислал. Как уж он там устроился, где денег взял — ничего не знаем. Написал, что ему хорошо и что в деньгах не нуждается...

— Прошло этак года с два,— продолжала матушка Руфина с тяжелым вздохом,— тут нам Кинтя и объявился в Шерамé. Нежданно-негаданно, как снег на голову. «Приехал, говорит, из Москвы вас, стариков, повидать». А он эти два года в дохтурском отделении учился... То ли не дошлый парень! Обрадовались мы, что сына увидали, а про свои слезы да про горе, которое мы терпели за эти два-то года, мы и забыли... Больно уж рады мы Кинте-то были! Так рады, так рады... В те поры дочка-то, Аня-то, как раз в емназии в городу курс кончила; Никаша ее на свой счет учил — ну, нам радость вдвое. Не было ни гроша, да вдруг

алтын. А Кинтя опять такой скромный да кроткий: воды не замутит. Отец совсем растаял, не надышится на него, а я, грешный человек, держу у себя на уме: «Ой, не ладно дело, что больно смирен наш Кинтя... Недаром он приехал сюда, такую даль!» Уж я раскусила его тогда еще, как он отца-то дармоедом обозвал... Кротость-то у него больно уж мудреная. И ведь как он отца обошел: оказия!.. Совсем старик рехнулся и всякое зло позабыл, а следовало бы Кинтю тогда побранить, хоть для видимости. Я пробовала было ругать его, так куды тебе: отец так горой за него и стоит! Приступу нет. Ну, а вышло по-моему... Много слез привез тогда нам Кинтильян!

VI

— Теперь об Анне сказать...— дрогнувшим голосом проговорила старушка.— Последнее наше дитятко было, Аня-то! Маленькая, замарашкой такой росла, а в емназии-то выровнялась. Я уж приданое потихоньку готовила... Вот у тебя простыни да одеяла — это из приданого Ани... Да, думали со стариком, что, может, господь велит, и внучат дождемся от дочурки. А мне так это уж совсем хорошо казалось, потому сынки-то — дорого они матери стоят, а радости да привету от них не много увидишь. А дочь-то другое совсем... Она уж все понимает, и дети-то дочернины как-то ближе, чем от сыновей... Ну, мы свое соображаем, а гляжу, стала Аня задумываться... Тогда уж я и спохватилась, что Кинтя ее по-своему поворотил. Увел ведь девку...

— Куда увел?

— Да в этот ваш Петербург... Чтоб ему ни дна, ни покрышки! Сколь мы ни бились, сколь ни уговаривали: наладила одно, что учиться поедет, и хоть ты ей кол на голове теши. Боялась я тогда, чтобы отец или сам не рехнулся, или над Кинтей чего не сделал... Однако обошлось дело так. Кинтюшка-то кротким таким прикинулся, точно он и под ногами-то у себя ничего не видит... Оказия, что это за человек уродится, ведь свое рожёное, а никак ты его не распознаешь... Хорошо. Увез Кинтя нашу Аню в Петербург, и остались мы одни-одинешеньки с Прошкой нашим. Куда с ним деться-то... Отец-то и возроптал на Кинтю тогда, тихо возроптал, а

вышло-то так, что и за сына его, пожалуй, не стал считать.

Прошло этак с каких-нибудь полгода, не больше, пали до нас слухи, что с Кинтей не ладно... Ни слуху ни духу. Как в воду канул. Отец-то нарочно к Никаше в город ездил, телеграмму посылали, и все ничего. Аня отписала мне потихоньку, что Кинтя-то вышел раз из дому вечером, да больше и не приходил. Объявили в полиции, и там ничего не знают. Тогда мы и узнали настоящее горе... Жив ли Кинтя, помер ли, нагрезил ли — ничего не знаем. Я чуть и глаза-то все не проплакала о нем, а отец начал именно с тех пор газеты читать. Все читает и все из лица как будто темнеет. Ничего не говорит о Кинте, точно его и не бывало никогда. А меня-то вдвое убивает: хоть бы он пожалел его!.. Не понимала я тогда ничего, то есть попа-то своего не понимала, что у него на уме бродит. Только этак прошло с год время... Аня-то из Петербурга так и не выезжала... Летом это мы как-то спим с попом на постели. Кровать-то у нас двуспальная, старинная. Сплю я этак и слышу, как будто кто-то плачет. Как вскочу... Спросонков-то показалось, что дите плачет. Ведь покажется же... Села да и думаю: «Кому же, думаю, плакать, ведь все большие дети-то!» А на попа-то и не подумаю... Крепок он на слезы, можно подумать, что совсем бесчувственный, а тут упал лицом-то в подушку да тихо-тихо так плачет, совсем по-ребячьи. Стала его спрашивать, утешать... Тут уж он и сказал все. Встал и говорит: «Сон видел, попадья...» — «Какой такой сон?» — спрашиваю. «А такой, говорит, не простой сон. Прилег, говорит, помолился про себя, а потом и вижу, точно наяву, Кинтю нашего. Вот как тебя вижу... Только далеко это, в нашей же стороне, где на собаках ездят. Бледный такой, исхудал, тоскливо таково смотрит. «Кинтя!» — окликнул я. Смотрит на меня, а ничего не говорит. «Кинтя, говорю, я тридцать лет пред престолом божиим возношу молитвы, а ты... что ты наделал? Ведь ты кровь моя, мое рождение, я за тебя должен ответ богу дать на страшном суде...» Слушает меня Кинтя, а потом как у него губы затрясутся, заплачет... «Папа,— говорит это, а сам плачет,— папа, прости меня... Я не могу... Это не от меня зависит... Не моя воля!» От этих самых слов я и проснулся, и так мне стало жаль Кинти, так жаль, что, кажется, вот

взял бы да и умер вместо него... Жаль, и стыдно, и страшно. Ведь я против бога иду, что такого сына пожалел...» Рассказывает это мне поп, а сам так рекой и разливается... Ну, потом уж я догадалась: затеплила перед образом свечку и велела попу молитву читать... Встали мы на коленки рядышком и давай со слезами с горькими молиться за всех и за вся, и за боляры, и за вон. И так-то мы жарко молились, так хорошо, что и сказать тебе не умею. Плачем и молимся, молимся и плачем... Я, грешный человек, и за Кинтю заблудящего нет-нет да и поклончик и отложу,— тоже и за Аню. Так молитвой мы тогда этот самый сон и избыли. Точно гора с плеч...

— Ведь Аня-то вскоре после этого и воротилась домой,— прибавила с оживлением старушка.— Зимой было дело... Пошла я вот в эту самую баню зачем-то... Дело вечером было. Темно совсем на дворе. Ну, иду себе ощупью, знакомое место. Только это отворила дверь в баню, гляжу, а там человек... Я так от страху и обомлела... Стою и крикнуть не могу, а сама думаю, что, наверно, это бродяжка беглый забрался на ночь, вот он ужо меня кокнет чем ни на есть. А потом и слышу Анин голос: «Мама... это я, не бойся!» Я так на месте и села... дура дурой и ни словечка вымолвить не могу. Это Аня-то, значит, убежала да и пришла к отцу... Еще мужчинка перебьется как-нибудь, а дело женское, куда ей деться... Вот и сидим мы с ней, горюем. Одежонка-то на ней плохонькая, иззябла вся, не ела два дня... Ах ты, горе мое, горе бедовое! И жаль мне ее, и попу-то боюсь сказать... Потому как ее, беглую-то, держать, ведь человек не иголка, особливо в деревне, сейчас заметят и затаскают по судам. Все-таки укрепилась, не сказала ничего попу, а сама отогрела Аню, накормила... Материнское сердце, из себя кусок готова вырезать, да только бы дите было сыто. Ну, так недели с две и хоронила я Аню по разным углам, а сама и ночей не сплю, и днем мне спокою нет... Где стукнет, где брякнет — так у меня сердечушко и оборвется: по Аню пришли! И богу молилась, и зарок давала... Такую муку приняла, такую муку, что совсем хожу вроде как полоумная. А тут уж поп Ксенофонт успел пронюхать про Аню... И как это он узнал — ума не приложу. Ну, сейчас донос исправнику и всякое прочее. Хитрящий поп, все доносы пишет... Вот этак ночью

лежим мы на кровати с попом. Он спит, а я все слушаю... вот все разно заяц в логове. Все мне мерещится,— встану, погляжу в окошечко и опять слушаю. Ну, тут и слышу: подъехали тихохонько сани... другие... Подскочила к окошку... Пришел мой конец, подкосились мои ноженьки. Проснулся поп, а исправник и входит. Знаешь Петра Иваныча?.. Славный такой, чаем сколько раз угощала его, ну, а тут так и думаю, зарубит он меня, беспременно зарубит. Сейчас Петр Иваныч к моему попу и бумагу ему показывает. Поп так даже затрясся весь, из лица вышел, а потом сотворил крестное знамение и говорит: «Делайте что хотите... я ничего не знаю!..» А я уж в это время успела одуматься и сама дивлюсь, что вдруг у меня никакого страху не стало... Вот на столечко (старушка отмерила кончик мизинца) не боюсь никого: ни Петра Иваныча, никого... Ей-богу!..

— Нет, постой, надо тебе еще один случай тут рассказать,— прервала старушка нить своего повествования.— Была у нас курица кохихинка... Славная такая курица и яйца несла по кулаку. Ну, посадила я ее на яйца, и вывела моя курица цыпляток... А тут, как на грех, ястреб пал на одного цыпленка и поволок. Так что бы ты думал: ведь курица-то его заклевала, ястреба-то. Ухватилась за него да на крыше сго и задолбила. Вся деревня тогда диву далась,— отроду не видывала этакого чуда... Ну, так когда Петр Иваныч-то после сказал, что надо теперь на дворе поискать, мне эта курица и вспади на ум. «Не дам, думаю, Аню, и кончено... Мое — не тронь!» Ей-богу, согрешила пред господом богом,— так и подумала... Ну, пошли по двору, потом в баню. Думаю про себя: Аня беспременно под полок залезла или под лавку, прикрою как-нибудь ее платьем... Ведь вот подумаешь, как по-ребячьи все это выходило в мыслях! Ох-хо-хо!.. Ну, пришли в баню, а Аня-то и не думала прятаться. Тут ее и взяли, голубушку, а я вроде как осатанела: ухватилась за Аню-то и давай ее к себе тащить. Кусаюсь, царапаю ногтями, кричу... Так меня в горницу отдельно унесли. Там уж я и отошла потом... Поп-то уж не знал, о ком и горевать, все думал, что и меня вместе с Аней по судам таскать будут. Однако Петр-то Иваныч попустился мне, а Аню увезли. Таскали-таскали ее по городам... а потом Аня-то стала задумываться, да и рехнулась... С год высидела в Казани в душевном лазарете, да толку не

вышло. Теперь у Никаши живет. Он ее сам лечит, да только проку не будет... Все молчит и прячется, никого не узнает. Тошнехонько смотреть на нее, а помочь нечем. Думаем теперь домой ее взять. Загубили мою дочурку, вконец загубили...

Старушка неожиданно заплакала, заплакала мелкими старческими слезами, которые так и сыпались у ней из глаз. Несколько слезинок застряли и расплылись по морщинам. Матушка Руфина не вытирала своих слез и не стыдилась их; ее выцветшие, побелевшие губы слабо шептали:

— Вот на этой самой лавке, где ты лежишь, и взяли Аню-то... Бледная такая сидит, ни кровинки в лице нет... Так вот все ее и вижу перед собой: как живая стоит... И ночью и днем покоя нет. Только вот этак чуть-чуть забудусь, а она уж опять и смотрит на меня...

Матушка Руфина умолкла. Склонив седую голову на грудь, она неподвижно сидела на своей завалинке, полная святой материнской тоски. Я вспомнил слова писания: «Глас в Раме слышан бысть, плач, и рыдания, и вопль мног... Рахиль бо плачущися о чадех своих и не хотяше утешитися, яко не суть».

VII

— А Кинтильян скоро вернулся? — спросил я, выводя матушку из задумчивости.

— Кинтя-то... как же, вернулся,— проговорила старушка, просыпаясь от своего раздумья.— Только его шесть годиков ровнешенько не было... целых шесть. Мы и в живых давно его не чаяли, и в поминании за упокой поминали... Уж сколько слез было принято, сколько горя — и не спрашивай! Только этак в великое говенье, перед страстной... Тогда уж оттеплело, проталинки пошли... ну, этак вечерком, в сумерках уж, убираю я в кухне молоко, а под окном кто-то тихо так постучал. Думаю, бродяжка какой-нибудь. Много их об эту пору из Сибири в Расею бежит... Мы им, грешные люди, подаем хлебушка, несчастненьким. У других и полочки такие у окошек приделаны для потайной милостыни, чтобы ночью ежели придет, так сам взял кусочек-то... У нас тоже была полочка раньше, а тут ребята сломали, поп все не мог собраться наладить ее. Вот я

отрезала ломоть хлеба, высунула руку в окошко и говорю: «Прими, Христа ради...» Вижу, что мужчинка стоит в рваном этаком зипунишке и даже совсем синий из себя. Еще пожалела его про себя... Подаю я это ему хлеб-то, а он не берет, а только таково пристально смотрит на меня. Что за оказия, думаю. «Чего, мол, тебе надо, родименький?» — «А вы не узнаете меня»? — спрашивает. «Нет, говорю, мало ли вашего брата, бродяжек, по здешним местам проходит...» Помолчал, а потом опять и говорит: «Кинтя поклон прислал». Ну, тут у меня ноженьки подкосились, закричала я, а поп бросился за ворота и бродяжку в избу тащит. Напоили мы его чаем, накормили, а он зелененхонек, и видно по обличью-то, что из благородных. Бородка маленькая и всякое прочее... Оно уж приметно. Ну и рассказал нам бродяжка про Кинтю, что жив он и здоров, хоть и далеко отсюда. Бродяжка рассказывает, а поп и говорит мне: «Попадья, а помнишь мой сон?» Сон-то вышел у попа совсем правильный. Сидим мы с бродяжкой и беседуем, я слушаю, а сама плачу, река рекой... и радостно мне, и горько. А уж ночь на дворе, поп и говорит: «Ну, милый человек, не взыщи — обогрели мы тебя, накормили, а ночевать попросись к кому-нибудь другому... Оставил бы я тебя не на день, а на год за твое хорошее слово, да не моя воля: следят за мной, а узнают, что бродяжка ночевал,— со свету сживут...» Говорит это поп, а сам трехрублевую бумажку сует в руки бродяжке... Тут уж Кинтя и не стерпел — бродяжка-то Кинтя и был наш,— как заплачет... Не поверишь, мы родного сына не признали. Не признаем, и конченo: не такой у нас Кинтя был. Так уж он расстегнул рубаху и показал мне родимое пятнышко над левой грудью, так уж по пятнышку-то его признали... А поп так недели с две к нему все не мог привыкнуть: чужой, и кончено. Ох-хо-хо!.. Уже не знали мы тогда, что нам и делать: плакать ли, радоваться ли... Так совсем из ума вышибло!.. А он правильно воротился, с бумагой и всякое прочее. Ну, пытала я спрашивать Кинтю, что и как... Ничего не сказывает, только этак улыбиется по-своему. «Зачем, говорит, это вам знать, маменька? Был там, а теперь здесь...» А сам все скучный такой, на себя не походит и по ночам долго не спит. Раз как-то сидим с ним вдвоем, чай пьем. Он смотрел-смотрел на меня и говорит: «Пусто, маменька, вот здесь (показывает на

грудь), недолго поживу, так уж вы не очень убивайтесь, как помру... Кажись, не много радости от меня видели». А сам усмехается... Да я и сама вижу, что не жилец он у нас, в живых покойниках...

— А теперь о себе-то тебе расскажу,— продолжала старушка.— Наше-то дело какое... а? Видел попа-то? Заметил, как он по сторонам оглядывается? А все от страху... Так всего и боимся: щелкнет где, стукнет — у нас и душа в пятки. Уж, кажись, чего бы и бояться: нас, стариков, никуда не подернешь, а молодых не осталось... Так вот и маячим да со дня на день ждем какой-нибудь беды. С требой как-то приехали за попом, так он со страху на погреб залез... Едва оттуда его вытащили. Ей-богу... И грех и смех! Так *в худых душах*[1] и живем: ни живы мы, ни мертвы, а один страх... Вот я тебя и хотела спросить насчет этого: долго еще нам в худых-то душах жить? Прежде вот холерные годы бывали, тоже вот солдатчина, а нынче в худых душах живем. Погляжу это я кругом-то и точно отемнею, ничего не понимаю. Как уж мы и жить будем — одной царице небесной известно...

Старушка, очевидно, спрашивала только для формы, чтобы поделиться своим горем с живым человеком. Она не ждала моего ответа и смотрела куда-то в сторону, опустив голову. А летняя ночь была уже на исходе; окутывавший нас мягкий сумрак сменился белесоватым светом занимавшейся зари. Звезды тихо гасли; только две или три продолжали еще теплиться мигающими блестками. Небо было серо. Откуда-то набегал слабый ветерок, безыменная птичка беззаботно и весело заливалась на ближайшей черемухе. Могучим покоем веяло от этой незамысловатой картины, которая с первым солнечным лучом проснется разом в тысячах звуков и красок. Но теперь этот покой природы заставлял подозревать что-то скрытое, недосказанное, что, казалось, висело в воздухе... Вот в этой сочной зеленой траве, подернутой утренней росой, с виду тоже тихо, как и в воздухе, но сколько в этот момент там и здесь погибает живых существований, погибает без крика и стона, в немых конвульсиях. Одна букашка душит другую, червяк точит червяка, весело чирикающая птичка одина-

[1] «В худых душах» — равносильно при смерти, в ожидании смерти (*Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.*)

ково весело ест и букашку и червяка, делаясь в свою очередь добычей кошки или ястреба. В этом концерте пожирания друг друга творится тайна жизни...

— Гляди-ко, гляди...— зашептала таинственно матушка Руфина, толкая меня своей короткой ручкой.

В это время двери сеней домика о. Якова слегка приотворились, и в них показалась седая голова самого хозяина. Он осторожно и подозрительно огляделся кругом и вышел во двор. Где-то глухо стучала деревенская телега, старик долго прислушивался к удалявшемуся стуку, а потом, озираясь по сторонам, подкрался к воротам и припал глазом к узкой щели в полотнище калитки. Что-то такое жалкое и несчастное было в этой старческой фигуре, которая теперь стояла у ворот в положении насторожившегося зайца...

БАШКА

Из рассказов
о погибших детях

I

Утро было отвратительное, точно природа выворотила из своих недр всю грязь, какая только была в запасе. По небу ползли низкие, грязные облака, цеплявшиеся за самые крыши городских домов. На улицах грязь стояла по колено, и можно было подумать, что с неба в течение двух последних дней лился не дождь, а помои. Грязь, грязь и грязь — целое море грязи, в котором уездный городишко Пропадинск растворялся, как брошенная в стакан воды горсть соли.

— Совершенная подлость! — коротко заметил густым надтреснутым басом Башка, взглянув в запотевшее окно на улицу.

В этот момент все кругом окончательно потонуло в мутной кружившейся мгле, сверху тихо начали падать хлопья мокрого снега и сейчас же таяли в липкой, точно разведенной грязи. Через полчаса окна кабака «Плевна» были залеплены мокрым снегом, так что внутри сделалось совершенно темно, как в сумерки.

— Экое божеское произволенье! — флегматично заметил сиделец «Плевны», толстый и рябой мужик в плисовом пиджаке; его звали обыкновенно Иван Васильичем, а под сердитую руку просто Ванькой Каином.— Ну, Башка, дело дрянь выходит... совсем как есть дрянь!

Башка протянул свои длинные ноги в стоптанных опорках и ничего не ответил, а только передернул широкими плечами. Облокотившись жилистой, волосатой рукой на стойку, он низко опустил свою лохматую голову с легкой проседью в русых кудрявых волосах. Костюм Башки давно требовал самой серьезной ремонтировки, потому что засаленный старинный сюртук с узкими рукавами и широким воротником расползался окончательно и дал несколько трещин по швам, а серые триковые штаны готовы были свалиться каждую минуту, не говоря уже о выдавшихся заплатанных коленках

и точно выеденных задках раструбов. Но Башке было не до костюма. Он весь был поглощен одной идеей, сосавшей и щемившей его с раннего утра: это — опохмелиться. Все громадное тело Башки ныло каждой косточкой, каждой каплей крови, а в трещавшей голове колесом вертелась одна мысль. Его широкое лицо с окладистой бородой, густыми бровями, приплюснутым носом и высоким лбом точно было подернуто сегодня туманом, а маленькие серые глазки смотрели воспаленным взглядом.

— Хоть бы черт принес кого-нибудь,— проворчал Башка, поглядывая на отворяющуюся и затворяющуюся дверь кабака.— Этакая мерзость!

Непогодь гнала народ в «Плевну», но это все были чужие: извозчики, отставные солдаты, мужики с базара, несколько мастеровых. Они вносили с собой комья грязи на ногах, отряхивали снег с шапок, ругались и подходили к стойке Ваньки Каина, который не успевал сегодня поворачиваться, наливая стаканчики из толстого пузыристого стекла. Водка выпивалась, слышалось здоровое кряканье совсем прозябших людей, на стойку сыпались пятаки, а потом долго прожевывалась захваченная с собой закуска. «Ух, студено!» — кричал приземистый, плотный извозчик, отворачивая полу своего кафтана, чтобы достать кисет с деньгами. Он как-то особенно аппетитно опрокинул себе в рот стаканчик водки, закрыл глаза и одним глотком покончил всю церемонию. Башка старался не смотреть на эту картину, но это не мешало ему чувствовать каждый глоток водки, разливавший блаженную теплоту. Ванька Каин казался каким-то необыкновенным капельмейстером, который разыгрывал целую оперу.

«Нет чтобы предложить опохмелиться... ну, какой-нибудь стаканчик,— с тоской думал Башка, и ненависть к Ваньке Каину несколько парализовала ломавшее его жестокое похмелье.— Этакая шадривая каинская рожа!.. Ведь рассчитался бы после. У! дьявол... И как назло, никого нет: ни Хохлика, ни Корнилыча, ни Трубы».

Кабак «Плевна» был из привилегированных и находился почти в центре города, в глухом переулке, который шел от Хлебного рынка. Прямо из сеней дверь вела в большую полутемную комнату со стойкой Ваньки Каина в глубине: это, собственно, и был кабак; из-за стойки маленькая дверца вела в каморку самого сидельца,

а другая дверь из кабака вела в две следующие комнаты, предназначенные для публики почище, собственно, для кабацких завсегдатаев вроде Башки. Эти завсегдатаи редко останавливались перед стойкой, а проходили дальше и прохлаждались уже в своей компании. Случайные посетители и мужичье толклись обыкновенно в первой комнате или сидели на широкой грязной лавке, поставленной вдоль всей передней стены. Теперь, собственно, была полна только эта первая комната. Но музыкальное, чуткое ухо Башки уже поймало знакомые торопливые шаги в сенях: это, без сомнения, был он, Корнилыч. В растворившихся дверях показалась сгорбленная юркая фигурка в пиджаке и фуражке; раскланявшись с Ванькой Каином, она быстро исчезла в соседней комнате, куда поплелся и Башка.

— Едва ушел...— торопливо рассказывал Корнилыч, моргая своими рысьими глазками.— Всего две партии сыграл на бильярде, подвинул двенадцатого шара рукавом, ну, меня и взбрили. В бок здорово саданули кулаком... Ну, а ты? Вижу, вижу... Эх, скверно!..

Корнилыч запустил руки в карманы брюк и забегал по комнате маленькими шажками, как ходят трактирные половые; на его пиджаке мокрыми отпотинами обозначались остатки мокрого снега, а плечи просто дымились от пара.

— Нет, Ванька-то... а? Каков подлец?! — громко проговорил Башка, останавливаясь посредине комнаты в самой трагической позе.— Ведь видит, шельма рогатая, как живого человека кочевряжит, и хоть бы какой наперсток...

— Это ты напрасно, Башка,— уговаривал Корнилыч.— Где же нас всех поить даром? А без Ваньки куды бы мы? Пропадай, как червь.

Башка крепко выругался, но должен был согласиться с Корнилычем, который всегда и всех оправдывал и даже на самого себя смотрел как-то со стороны. Лицо у Корнилыча было бойкое, всегда измятое и всегда добродушное; остриженные щеткой волосы дали повод называть его в своей компании «Ерошкой». Он был замечательный мастер разговаривать и знакомиться с кем угодно и был самый необходимый человек в хорошей компании.

— Ну, а снег? — спросил Башка, что-то соображая про себя.

— Снег? Подлец, а не погода... так и лепит. Мне за воротник сколько насыпало... бррр... У тебя покурить нет? Ну, не надо...

Ерошка наслаждался теперь и охватившей его теплотой гнилого кабацкого притона, и сознанием собственной безопасности. Эти грязные, покосившиеся стены, избитый, точно в конюшне, пол, пропитанная специфическими кабацкими миазмами атмосфера — все ему было дорого и мило; Ерошка с удовольствием потянул в себя промозглую струю воздуха, прохваченную запахом грязи, дегтя, гнилой кожи, мокрого платья, перегорелого лука и сивушного масла. Несколько расшатанных стульев и некрашеный деревянный стол составляли всю меблировку этой привилегированной половины.

— А вот и наши здесь! — проговорил в дверях плечистый, приземистый мужик в поддевке; рыжая борода и прищуренный косой глаз придавали ему подозрительный вид.— Ну и погодка!.. Месил, месил грязь, хоть бы одна шельма попалась. Есть до смерти хочется, братцы...

— У нас табаку нет, а он: есть! — презрительно ответил Башка, шагая по комнате неровными шагами.— Хохлика не видал?

— Как не видал: у Хохлика тоже ненастье...

— Вот что, Труба, как бы нам того... не пропадать же в самом деле? — заговорил Ерошка заискивающим голосом.— Сходи, братику, к Каину, авось расступится... а? Ты объясни ему... а?..

Труба почесал в затылке, еще сильнее прищурил свой косой глаз и отрицательно покачал головой. Наступила тяжелая пауза, которой не нарушило даже появление Хохлика. Это был еще совсем молодой человек с зеленовато-серым лицом и глубоко ввалившимися глазами, горевшими лихорадочным, чахоточным блеском. Он молча сел в уголок, поджал под себя ноги и долго не мог отдышаться после скорой ходьбы. На всех напала минута тяжелого уныния, как у людей, заблудившихся в лесу. В таких исключительно критических случаях обыкновенно выручал Башка, отличавшийся дьявольской изобретательностью, но сегодня и он повесил нос, точно пришибленный. А из кабака доносилась настоящая мелодия довольного кряканья после выпивки, звона стаканчиков и того кабацкого галденья, какое бывает только около стойки.

— Эк их взяло, подлецов! — глухо пробасил Башка,

натягивая на свою голову заношенную, как блин, кожаную фуражку.— Ну, братцы, я схожу... подождите, может, и выгорит что.

Когда высокая фигура Башки скрылась в дверях, все как-то разом оживились и заговорили: «Уж Башка, одно слово... Выручит! Да он из земли добудет, особенно ежели с похмелья ломает когда. Золотая голова!» Даже Ванька Каин почувствовал угрызение своей каиновой совести, когда мимо его стойки Башка прошагал с самым мрачным видом.

«По погодью-то надо бы стаканчик было подать,— думал Ванька Каин, проворно орудуя за своим прилавком.— Ну, да больно зазнаваться стал, пусть не фордыбачит».

В душе Ваньки Каина шевельнулась обидная мысль, что Башка третьего дня облаял Акулину, его любовницу, которая жила с ним в каморке. И всего-то дела было, что Акулина попросила Башку наставить самоварчик, так куды тебе — сейчас на дыбы, мы-ста образованные люди и всякое прочее, а вот теперь, образованный человек, ступай-ка, помеси грязь-то... Это даже совсем преотлично для тех, кто настоящего понятия не хочет иметь и добра не помнит.

II

Отчаянное положение выдавило в голове Башки мысль, которую он теперь нес из «Плевны» на самый конец города. Собственно, это было последнее средство, на какое он решался только в самых критических обстоятельствах.

— Э, черт с ними! — ругался Башка, шагая через грязь.

А погода делалась все отвратительнее. Холод крепчал. Откуда-то налетал порывами пронизывавший насквозь ветер, который просто жег голые руки и спину. Хлопья мокрого снега сменились сухой снежной пылью, тихо кружившейся в воздухе отдельными пушистыми снежинками в форме правильных звездочек, игл и разных замысловатых геометрических фигур. Недавно сплошная полоса грязи, заливавшая пропадинские улицы, теперь приняла самый обманчивый вид, и Башка постоянно ошибался, стараясь пробраться поблагополучнее. В одном месте он совсем оставил свои опорки

в грязи и долго не знал, что делать с ними. Грязь еще сохраняла в себе известную теплоту, сравнительно с верхним снеговым налетом, который резал ноги, как ножом. После короткого раздумья Башка всунул ноги в полные грязи опорки и зашагал по деревянному тротуару. От «Плевны» ему было нужно перекосить соборную площадь, потом обогнуть старый гостиный двор, а там свернуть в узкую Проломную улицу, где тонули в грязи постоялые дворы. Сделав с полверсты по этой убийственной дороге, Башка почувствовал непреодолимое желание вернуться под гостеприимный кров «Плевны» — обычная энергия изменила даже его железной натуре. Это был настоящий припадок малодушия, но Башка устоял против искушения и только быстрее зашагал вперед.

Скрестивши по-наполеоновски руки на груди, чтобы сохранить терявшуюся теплоту, и подняв плечи, чтобы защитить голую шею от попадавшего за воротник снега, Башка летел вперед, как хороший волк. В конце Проломной стоял кабачок Зобуна, в который Башка иногда заходил, но теперь было не до него — до цели оставалось всего с полверсты. Купеческие каменные дома в Пропадинске были только в центре, затем во все стороны расходились деревянные постройки, а на окраинах тянулись самые жалкие лачуги, слепленные кое-как из разной дряни, как ласточкины гнезда. За Проломной, на самой окраине, как исключение, стоял большой каменный дом гуртовщика Ломотина; сюда и держал свой путь Башка. Разбогатевший мужик Ломотин недавно умер, и сегодня шел девятый день, следовательно, должна была быть богатая подачка нищей братии. Башка не без основания рассчитывал кое-что получить здесь, хотя к такому нищенству прибегал только в самом безвыходном положении, как сегодня.

Около ломотинского дома уже собралась порядочная кучка нищих. Когда Башка подходил к ней, в воротах появился мордастый дворник; он загородил калитку жердью и начал пропускать под нее во двор по одному человеку. Нищая братия одним сплошным шевелившимся комом лохмотьев наперла на калитку и брала приступом каждый вершок. Слышались хриплая ругань, бабий визг и тяжелые вздохи. Башка остановился позади всех и терпеливо ждал своей очереди пролезть под жердью, перегораживавшей калитку; он чувствовал осо-

бенное отвращение к этой грязной сволочи, потерявшей всякий образ и подобие божие, потому что и в самом падении своем чувствовал себя неизмеримо выше этого человеческого хлама. Некоторых он знал. Вот, например, этот седой сгорбленный старичок, который особенно назойливо пробивался вперед; он когда-то служил в земском суде, занимал видное место и во время своей славы раскуривал трубку кредитками, но спился с круга и теперь жил подаянием. За ним держался смуглый бритый мужчина; этот славился как прежний богач, умевший промотать доставшееся ему наследство в пятьдесят тысяч. Далее следовал ряд совершенно темных личностей, собравшихся сюда бог знает из каких трущоб; особенно были подозрительные женщины-побирушки, с обрюзглыми, измятыми лицами и злыми глазами. Это все были специально нищие, промышлявшие сбором подаяния по домам, на рынке, по церковным папертям и шмыгавшие по всем поминкам в богатых купеческих и чиновничьих домах. Для них лохмотья и заплаты служили средством существования, как вывески какого-нибудь цехового мастера; где кончались лохмотья и где начинался человек, трудно было разобрать; люди здесь превращались в живые лохмотья, заплаты и прорехи.

Башке пришлось прождать битый час в этой толпе, и он совершенно окоченел, напрасно стараясь согреться переминанием с ноги на ногу. Живая теплота живого тела оставила его; у Башки начинали стучать зубы, и он почувствовал особенную ненависть к жирному и брыластому дворнику, который нарочно медлил, пропуская очередных, и несколько раз начинал переругиваться с нищими жиденьким тенорком.

— Отпячивай назад, пехота! — кричал дворник, защищая вход своим толстым брюхом в белом фартуке.— Я вот скажу Анфисе Парфеновне, так она вас всех метлой отселева...

— А ты не больно шеперься, не велик в перьях-то! — огрызалась какая-то шустрая старушонка с птичьим лицом.— Не к тебе пришли...

— Разговаривай! — лениво протянул дворник.— Вон она, Анфиса-то Парфеновна, сама на крыльце-то стоит.

Наконец наступила и очередь Башки. Он уже держался одной рукой за палку, ожидая своей очереди и стараясь не глядеть на дворника, который его просто возмущал всей своей фигурой, как голодного волка воз-

мущает сытая собака. Вместе с тем Башка испытывал тяжелое чувство унижения и еще больше сердился на ни в чем не повинного дворника, которого с удовольствием перекусил бы пополам. От нечего делать он рассматривал внутренность богатого двора, усыпанного желтым песочком, с крепкими службами назади, с цепной собакой у амбара, с привязанной у столба великолепной лошадью, заложенной в лакированный экипаж; налево был подъезд с стеклянным фонарем; в этом фонаре, защищенная от ветра и снега, стояла сама Анфиса Парфеновна в лисьей шубе и степенно давала каждому его пай милостыни, лениво повторяя одну и ту же фразу: «Помолись, миленький, за раба божия Симеона и сродников». Около купчихи толклись какие-то две старушонки в темных платочках с глазками.

— Пролезай! — крикнул дворник на зазевавшегося Башку.

Башка согнулся, чтобы пролезть под жердью, но в этот момент мимо него головой вперед рванулась какая-то бабенка с подбитым глазом и чуть было не предупредила его, но Башка вовремя схватил ее за шиворот и отбросил назад, как тряпицу.

— Куда, Фигура, прешь? — ворчал он, уже шагая к крыльцу.

Получив подаяние и крепко сжав деньги в кулаке, Башка зашагал в другой конец двора, куда выпроваживал нищую братию высокий кучер в кожаном кафтане. Чтобы не было напрасной давки, нищих выпускали из двора другими воротами. Очутившись на улице, Башка сосчитал полученные деньги; на его долю достался целый полтинник, и это обстоятельство разом вознаградило его за все лишения.

Через полчаса Башка уже входил в кабак Зобуна, где толпились нищие, успевшие «выправить» подаяние раньше его. Размякший, ожирелый сиделец с зобом на шее орудовал не хуже Ваньки Каина и, наливая стаканчики, приговаривал:

— Помяни раба божия Симеона и сродников... Больно добра для вас Анфиса-то Парфеновна, гли-ка, по полтине на рыло сошлось. А! и ты, Башка, здесь?

— Ну, ну, не разговаривай... совсем околел!

Башка залпом выпил два стаканчика, чтобы сразу согреться, но водка на него не действовала сегодня, и он потребовал себе третий. Когда Башка уже подносил

дрожавшей рукой стакан ко рту, около него появилась давешняя бабенка с подбитым глазом и нахально толкнула его локтем в бок.

— Ты опять, Фигура? — зарычал взбешенный Башка и даже замахнулся на надоедливую бабенку поднятой рукой.— Раздавлю, как муху...

— Ух, какой страшный! — кокетливо взвизгнула Фигура и нахально захихикала прямо в лицо Башке.— Этакое верзило — и с бабами драться... Ну, тронь, только тронь!..

Отпустив несколько отборнейших выражений на специальном кабацком жаргоне, Фигура с наслаждением выпила стаканчик зеленого бальзама, вытерла губы подолом грязного платья и опять засмеялась своим нахальным смехом.

— Что, Башка, наткнулся на ерша? — спрашивал Зобун, кисло улыбаясь.— Уж она октрыса, одно слово, как бритвой бреет...

Башка презрительно взглянул на Фигуру еще раз и отвернулся. Он вообще ненавидел всех женщин, как другие не выносят мышей или тараканов, а теперь еще должен был переживать чувство оскорбленного достоинства, что связался с бабой.

Именно этот почти невольный жест физического отвращения задел за живое Фигуру, которая в дни крайнего падения не могла расстаться с логикой хорошенькой женщины, привыкшей требовать общего внимания. Взглянув теперь на Фигуру, никто бы не поверил, что это отекшее лицо с воспаленными и слезившимися глазами, с распухшим носом и блестевшими синеватыми губами могло быть когда-нибудь красиво, хотя это было так. Костюм Фигуры был самого подозрительного свойства — какая-то рыжая кофточка, сбившаяся на один бок, ситцевые юбки, обносок шали на голове и стоптанные ботинки на ногах. Выпив два стакана бальзама, Фигура села на лавку, рядом с Башкой, и далеко вытянула свои грязные ноги, так что из-под юбки выставились совсем голые щиколотки и нижняя часть белых полных икр.

— Будь ты проклята, анафема! — выругался Башка, вскочив с лавки.— Чего ты лезешь?

— Будет лаяться-то, невежа! — совсем другим тоном, спокойно и самоуверенно проговорила Фигура, взяла Башку за локоть и посадила рядом с собой.—

Ну, чего ты бесишься? Лучше покурим; у меня табак есть...

Башка сердито плюнул на сторону, но от табаку не отказался. Он испытывал теперь совершенно особенное чувство, именно: он точно был давно знаком с этой нахальной бабой и даже был доволен, что она его удержала на месте. Про себя Башка несколько раз обругал соседку самыми непечатными словами и хотел сейчас же отправиться в «Плевну» к ожидавшим его товарищам, но вместо этого язык Башки как-то против его воли проговорил:

— Хочешь еще бальзаму, Фигура Ивановна?

— Только вместе с тобой...

Дальше все происходило в каком-то тумане: стаканчики следовали за стаканчиками, Башке сделалось тепло и весело; он хохотал и пел со своей новой знакомой как сумасшедший. Потом они вместе пошли от Зобуна по Проломной улице, и Башка даже помогал своей спутнице переходить через грязь, как настоящий кавалер.

— Пойдем к Ваньке Каину; там у нас настоящее гнездо,— объяснял Башка, сильно пошатываясь.— Все отличные ребята... Ерошку не знаешь? и Хохлика? и Трубу?.. Ну, после этого ты ровно ничего не знаешь...

Башка дергал на ходу плечами, сжимал кулаки и совсем не чувствовал холода, который леденил его тело.

— Нужно еще денег достать,— говорила Фигура.— Пойдем, я знаю где... Еще есть в двух домах поминки.

III

На привилегированной половине «Плевны» целый день прошел в самом нехорошем настроении духа; это решительно был пресквернейший день. Сначала все поджидали возвращения Башки и рассказывали анекдоты о его необыкновенной находчивости; потом начали ворчать и ругаться, зачем Башка так долго не идет на выручку, и наконец все тяжело замолчали, как люди, потерявшие последнюю надежду. Даже Ванька Каин и тот сжалился над ними и выслал целое решето черного хлеба и луку. Это было уж совсем под вечер.

— Должно быть, Башку пьяного в полицию где-нибудь забрали,— повторял несколько раз Корнилыч.— Зашел погреться куда-нибудь, выпил, ну и разомлел с холоду-то... Это бывает!

Точно в ответ на это предположение в дверях «Плевны» появился сам Башка, сильно пьяный; гнев всего общества был готов обрушиться на его голову, но его проявление было парализовано появлением Фигуры, которую привел с собой Башка.

— Господа, рекомендую... вот женщина... Фигура Ивановна,— бормотал Башка заплетавшимся языком.

Все общество встретило эту рекомендацию гробовым молчанием и сделало такой вид, что совсем не замечает присутствия «женщины». В дверях выглядывала улыбавшаяся рожа Ваньки Каина, а из-за его плеча сумрачно смотрела Акулина, высокая костлявая баба с широким деревянным лицом, походившим на лопату.

— Вот так уколол Башка штуку... ловко! — хрипел Ванька Каин, любуясь происходившей пред его глазами сценой.

— Да вы что молчите-то, оглашенные? — заговорила Фигура, обращаясь к публике вообще.— Подавились чем или мух ловите здесь?

Общество оставалось глухо и немо; все были сконфужены и за себя, и в особенности за сбесившегося Башку, который нарочно теперь бодрился перед своими друзьями, как все виноватые люди. Он с напускной развязностью потребовал у Ваньки Каина водки и сел вместе с Фигурой за отдельный столик, точно вызывая все общество на бой. Собственно говоря, собравшиеся в этой комнате потерянные люди отличались большой тонкостью чувств и той особенной психической чуткостью, когда слова являются излишними для взаимного понимания. Все они отлично понимали друг друга по одному взгляду, по малейшему жесту. Молчаливый протест друзей для Башки был в тысячу раз тяжелее открытого восстания, ругани и даже рукопашной. Даже нахальная без границ Фигура и та, видимо, не ожидала такой встречи и теперь только улыбалась пьяной и нахальной улыбкой.

— Пожалуйте, Фигура Ивановна,— угощал Башка свою гостью, стараясь быть любезным назло всем.

— А как тебя зовут? Я еще не знаю,— спрашивала Фигура, делая вид, что ничего не понимает.

— Меня здесь зовут Башкой...

— Очень хорошее имя: Башка... да! Из семинаристов? Да, да... Я встречала много семинаристов... Славный народ и пьют отлично.

Фигура стыдливо обдернула сбившуюся набок юбку, спрятала грязные ноги и несколько времени упорно старалась принять серьезный вид приличной дамы, но ее опухшее лицо само собой расплывалось в отвратительную улыбку, которая просто коробила Башку, точно его поджигали каленым железом. Но он хотел выдержать характер. Труба, Корнилыч и Хохлик сбились в углу в одну кучку, как последние римляне и как люди, хорошо посвященные в тайны светских приличий; они вели вполголоса совершенно посторонний разговор, как это делают хорошие друзья, когда в доме покойник или другое какое несчастие.

Это критическое положение сторон разрешилось совершенно неожиданной развязкой. За стойкой у Ваньки Каина произошла довольно горячая сцена с Акулиной, которая сначала шипела, а потом принялась голосить и ругаться на весь кабак.

— Хотя я тебе не жена, а все-таки у тебя ума нисколь нет! — кричала Акулина, размахивая длинными руками.— Разве это порядок, штобы пущать в заведение всякую дрянь? Да она, шлюха этакая, еще стащит што-нибудь. Разве углядишь за ей, поскудой?.. И што это я за каторжная далась тут вам, штобы напускать всяких потаскушек!

— Затвори хайло-то, хайло затвори, ворона! — огрызался Ванька Каин, хотя это делалось только для порядку, чтобы показать перед публикой свою хозяйскую власть.— Вот я возьму как обихаживать самое-то, только стружки полетят.

— Ну, бей, бей! А я не соглашусь, чтобы всякая потаскушка распоряжалась в заведении! — голосила Акулина неистовым голосом, точно ее резали.— Хотя я не в законе с тобой, а в дому порядок должен быть... Да я ей, твари, все зенки выцарапаю, вот што! Разве у нас такое заведение, штобы манеры-то эти разводить?.. Я и Башке всю рожу исцарапаю.

Положение Башки крайне усложнилось. Ополоумевшая Акулина имела за себя все преимущества как перед мужем, так и перед завсегдатаями, которые, конечно, держали ее сторону. В пьяной голове Башки шевелилась уже мысль о неизбежности рукопашного решения спорного вопроса, и он под столом сжимал свои страшные кулаки, вызывающе поглядывая на недавних приятелей.

— Вот что, Башка, пойдем отсюда,— предложила ему Фигура, поднимаясь с места.— У меня еще дело есть... Медальон ждет.

— Какой Медальон?

— Увидишь.

За водку деньги были заплачены вперед, и парочка торжественно направилась к выходу. Когда Фигура была уже у дверей, Акулина выбежала из-за стойки, догнала ее и толкнула своей деревянной рукой в шею.

— Акулька, язва, отвяжись! — кричал Ванька Каин.

Башка зарычал, как медведь, по которому выстрелили, но Фигура успела его вытолкнуть в сени и энергично потащила за руку вперед.

— Стоит связываться с дурой! — успокаивала она своего спутника, шлепая по грязи.— Тут недалеко, живо дойдем. Дай руку, вот так, как барыни ходят...

Фигура хрипло засмеялась в темноте, а Башка молча зашагал рядом с ней. Кругом было совершенно темно, хоть глаз выколи, и только слабо мигали жалкие фонари по углам улиц. Снег остановился, но холод был попрежнему страшный и пробирал до костей. Где-то завывала бездомная собачонка, слышалось хлопанье оторвавшегося с крыши железного листа; какой-то забулдыга брел через соборную площадь и все старался затянуть песню, походившую на мычанье. Медленно проехал извозчик, позвонил в чугунную доску ночной сторож, а впереди и назади — кромешная тьма. Парочка брела на ощупь и через двадцать минут была уже в узком и глухом переулке.

— Здесь,— проговорила Фигура и остановилась у какой-то деревянной развалины.

Они вошли во двор, потом в какой-то сырой и холодный подвал, походивший на могилу. Фигура чиркнула спичкой и отыскала сальный огарок, вставленный в бутылку из-под сельтерской воды. При слабом свете Башка мог рассмотреть весь подвал, служивший когда-то кухней. Маленькие окошечки с железными решетками, как в каземате, выходили на улицу; ободранная дверь болталась на одной петле; около одной стены на груде тряпья спал какой-то человек с бледным, худым лицом.

— Медальон, вставай... Я гостя привела! — кричала Фигура, расталкивая спавшего.— Да ну же, вставай!.. Это, наконец, невежливо так принимать гостей. Посмотри, какого я зверя привела...

— Ах, это ты, Милочка? — проговорил Медальон, поднимаясь со своего неприхотливого ложа.— Какого зверя?.. Милочка, как у меня страшно голова болит, мне всего одну бы... а?

— Видишь, какой ты лакомка, Медальон: «одну бы», а где я тебе ее возьму? Ну, ну, не плачь, я сейчас... Я и закуски принесла, а пока позволь представить тебе нашего гостя: m-r Башка.

Медальон был еще совсем молодой человек, лет двадцати трех, белокурый, жиденький, с длинной шеей и голубыми детскими глазами; костлявые плечи, ввалившаяся грудь и бескровное лицо придавали ему вид какого-то подвижника. «Эх, какая дохлятина! — с презрением подумал Башка, разглядывая Медальона.— Настоящая глиста». Фигура в это время успела достать откуда-то бутылку водки и кусок вареной печенки, что́ составляло уже целый ужин на троих.

— Странно, право: нас сегодня выгнали из кабака,— рассуждала Фигура, разрезывая печенку обломком перочинного ножа.— Нашли меня неприличной... Ужели я настолько не умею себя держать, что не могу быть приличной даже для кабака? Фи... Какая гадость! Боже мой, боже мой, до чего может дойти человек! Я, собственно, и обиделась только сейчас, то есть не обиделась даже, а так... гадко стало для самой себя...

Медальон, выпив две рюмки, несколько пришел в себя и с аппетитом принялся есть печенку. Проглотив последний кусок, он проговорил с комическим пафосом:

— Sic transit gloria mundi! [1]

— Domine [2], ты знаешь по-латыни? — обрадовался Башка, протягивая руку.

— Да, немножко...

— Медальон кончил гимназию с золотой медалью,— объяснила Фигура не без удовольствия,— а таких там называют «медальонами».

— Ага! — проговорил Башка.— У нас в семинариях первых учеников звали «башками», и я имел несчастие быть таким первым учеником; значит, мы с вами одного поля ягоды...

Они молча пожали друг другу руки и засмеялись. Знакомство завязалось быстро, и за рюмкой водки но-

[1] Так проходит земная слава! (*лат.*).

[2] Господин (*лат.*).

вые друзья рассказали о себе всю подноготную. Медальону пришлось немного рассказывать о себе: сын богатых, но разорившихся родителей, блестящим образом кончивший гимназию, он быстро свихнулся, когда пришлось зарабатывать свой хлеб, и теперь ждет какого-то места, обещанного ему каким-то очень хорошим человеком.

— Только бы получить место, а потом я брошу эту проклятую водку и заживем с Милочкой припеваючи,— закончил свою повесть Медальон.— Так ведь, Милочка?

— Конечно, конечно... да, припеваючи,— машинально повторяла Фигура, опуская голову.

— А знаете, что нас всех сгубило? — задумчиво говорил Башка.— Самолюбие... Да! Вся система нашего воспитания построена именно на самолюбии, которое в нас развивали с детства. По себе знаю... Это общая судьба всех первых учеников... Поврежденный народ выходит... Видите ли, для таких людей должна быть жизнь на особенных условиях, а не прозябание обыкновенных смертных. А когда тебя станут по носу щелкать на каждом шагу, тут и погибель: характера-то не хватает, а самолюбие давит... ну, и утешаемся по-своему... Так ведь?

— Верно,— согласился Медальон.

— Много нас таких-то,— продолжал Башка, не обращаясь, собственно, ни к кому.— Ну, и, конечно, обвинять кого-нибудь и что-нибудь в своем падении, по меньшей мере, глупо, все равно, что обвинять машину, которая одному раздробила руку, а другого совсем искрошила... Все, что́ существует, существует разумно и, ergo [3], имеет право на существование. Факт стоит выше всяких законов... да. Если я говорю: «нас погубила система», то это только принятая форма выражения, приспособленная для понимания большинства. Так сказать, это только личная форма... Можно только понимать факты, а сердиться и радоваться по поводу их — это уже детство мысли. Одна есть истинная точка зрения на вещи и факты, это — отвлеченная философская мысль.

— Ух, какая ученость! — со вздохом проговорила Фигура, чувствуя, как у нее слипаются глаза.

Через пять минут, под шумок умных разговоров, Фигура уже заснула, где сидела. Ей грезилась плохонь-

[3] следовательно (*лат.*).

кая сцена провинциального театра, плохонькая музыка, плохонькая провинциальная публика, плохонькое освещение, а она выпархивает в коротких юбках и трико прямо к рампе и начинает петь забористую шансонетку. Публика аплодирует и любуется ее ногами, которые действительно замечательно хороши своей упругой полнотой и классическими линиями. Ей подносят большой букет, она прячет в него свое счастливое, улыбающееся лицо, потом посылает поцелуй публике и улетает за кулисы.

IV

Теперь нам необходимо сказать несколько слов о «Плевне» и ее завсегдатаях.

В Пропадинске было много кабаков, и каждый из них имел свою собственную физиономию. Так, кабак Зобуна в Проломной улице славился как притон конокрадов и лесоворов; кабак «Ямка», около гостиного двора, служил сборным местом нищих; были кабаки самой подозрительной репутации как пристанище жуликов и мазуриков и т. п. «Плевна» резко отличалась от всех, потому что в ней завсегдатаями были особенные люди, промышлявшие разными художествами: в «Плевне» составлялись прошения мужикам, там всегда можно было найти для нотариуса грамотного свидетеля с паспортом, там же процветала игра в стуколку, три листа и в трынку, там же можно было послушать музыку и даже пение, покутить в хорошей компании и т. д. Главное, в «Плевне» никогда не позволялось буйство и мазурничество, за чем Ванька Каин следил в оба; полиция была поэтому особенно довольна «Плевной» и редко осчастливливала ее своими посещениями.

Такие особенности «Плевны» создались отчасти благодаря ее выгодному центральному положению, а главным образом — благодаря сметке и административной прозорливости Ваньки Каина. До него из сидельцев в «Плевне» славился кривой старик Ермила, но после Ермилы наступил смутный период междуцарствия: переменился целый ряд сидельцев, и звезда «Плевны» начала быстро клониться к закату, если бы не выручил Ванька Каин, явившийся в самый критический момент и сумевший сразу поставить свое «заведение» прямо на

точку, чем он особенно гордился. Его предшественники или не умели обращаться с публикой, или не могли выдержать характера, или просто прогорали от плохих расчетов. Кабацкое дело кажется со стороны таким простым, но оно далеко не просто, и только посвященные знают, сколько нужно уменья, характера и чисто дипломатической изворотливости, чтобы удержаться на таком видном посту, как «Плевна». Конечно, запутанная кабацкая бухгалтерия стояла на первом плане, потом разные отношения к полиции и акцизным чиновникам, но всего важнее было организовать правильные отношения к разношерстной кабацкой публике, вернее сказать, создать такую публику.

— Прежде всего, мы народ очень самолюбивый,— объяснял Башка, когда Ванька Каин забрал в свои цепкие руки бразды правления.— Да... А потом нужно помнить, что мы совсем потерянный народ только для вас, а для себя мы потерянные только временно. Самый последний пьянчужка глубоко убежден, что он пьянствует только пока, а потом бросит водку и заживет еще лучше других.

— Уж это обнакновенно; кажиный последнюю рюмочку у вас пьет,— прибавлял глубокомысленно Ванька Каин от себя.— И мы тоже не без понятия...

— Отлично... Потом заруби себе на носу, что деньги наживают не с богатых, а с бедных, вот с таких проходимцев, как мы, в особенности. Я тебе объясню, почему... Во-первых, богатых людей очень немного, второе, богатый всегда и все купит вовремя и подешевле,— так? — ну, а беднота платит втридорога вашему брату, и из грошиков-то да из пятачков, глядишь, у ловкого человека капитал вырос... Так?.. И мотай себе это на ус... Если бы ты знал математику, так я тебе доказал бы как дважды два, что значат так называемые несоизмеримо малые величины. Горы из них растут, из этих несоизмеримо малых величин... Да. Так и в вашем деле.

— Уж известно, надо и нам свою линию выводить... А только я вот чего никак не пойму: так это вы складно умеете говорить, как по-писаному, и так все верно у вас выходит, а только вот с собой-то не можете ничего сделать... Даже, ей-богу, жаль глядеть в другой раз со стороны!.. При этаком-то уме да при вашей грамоте какую бы линию можно было вывести... то есть только ах, боже мой!

— Ну, это уж не твоего ума дело, Иван Василич.

Башка сделался для Ваньки Каина правой рукой во всех важных кабацких делах и вместе с тем постоянной статьей дохода. Говоря вообще, именно Башка задавал тон всей «Плевне», где он являлся вполне авторитетным лицом. Специальностью Башки служило ходатайство по делам, причем он иногда зарабатывал порядочные деньги, одевался заново и потом все спускал до последней нитки. Знакомых у Башки в мелком купечестве, в духовном звании было несметное число, и он умел эксплуатировать всю эту братию с замечательной изворотливостью. В «Плевне» было составлено и написано Башкой множество прошений, которыми он одолевал суды всех инстанций; он же являлся свидетелем в двух нотариальных конторах, как человек «лично известный» гг. нотариусам. На худой конец, Башка зарабатывал в день рубль или полтора, хотя в его тревожной жизни случались нередко совсем глухие моменты, особенно после жестокого перепоя, когда он сидел без гроша по неделям. Такие несчастия обыкновенно случались с ним сейчас после больших получений: получит Башка деньги и пойдет чертить, а потом и зубы на полку, так что даже к нотариусу не в чем явиться. Обыкновенно из такого отчаянного положения Башку выручал Ванька Каин, делавший ему при этом приличную нотацию. В глубине души Ванька Каин благоговел пред талантами Башки, хотя иногда и любил его поприжать своей каиновой лапой.

Около Башки группировались уже остальные завсегдатаи «Плевны».

Корнилыч, промотавшийся купеческий сынок, был великим артистом по части бильярдной игры; он дневал и ночевал по трактирам, выжидая подходящего случая нагреть руки около загулявшего купчика или чиновника. Всю выручку он нес в «Плевну», где сейчас же появлялись на сцену сардинки, сыр, разные лакомства сезона и т. д., пока не улетучивалась у Корнилыча последняя копейка. Этот человек остался неисправимым мотом; сорить деньги было у Корнилыча в крови, и он многолетней практикой до совершенства постиг великое искусство шикнуть и показать товар лицом. Пил Корнилыч совсем мало и перебивался в «Плевне» около хороших людей вроде Башки.

Труба, сбившийся с панталыку мужик, промышлял

около приезжавших в город крестьян, с которыми умел заводить знакомство с необыкновенной быстротой; он в одном кармане носил колоду карт, а в другом свой величайший секрет — «гривенку». Захмелевших мужиков Труба умел затянуть в известную кабацкую игру «три туза» или начинал метать орлянку, причем на сцену выступала заветная гривенка. Эта гривенка была устроена особенным образом. Труба взял две старых николаевских гривны и у одной сточил «решетку», а у другой «орел», так что сложенные вместе они составляли одну гривну; в решетке Труба искусно высверлил несколько желобков и в них налил ртути, а потом спаял обе гривны в одну. Такая монета, брошенная вверх, всегда ложится решеткой вниз, а орлом наружу, так что Труба никогда не рисковал проиграться, хотя заветную гривенку приходилось пускать в оборот очень осторожно. Труба редко играл в «Плевне», а большею частью на стороне, где его не знали, и с выигрышными деньгами непременно являлся к Ваньке Каину и пил тяжелым мужицким запоем.

Кто такой был Хохлик, по всей вероятности, он и сам того не знал. В «Плевне» он являлся безответным, чрезвычайно скромным существом; его можно было послать куда угодно, и он, кажется, никогда не мог возразить что-нибудь. Чем он существовал — тоже являлось неразрешимой загадкой. Его друзья знали только то, что Хохлик умеет играть на гитаре и на пробках; последнее искусство стоило ему самого каторжного труда, и он овладел им настолько, что, взявши в зубы две пробки, разыгрывал даже опереточные арии. Корнилыч и Труба часто пользовались услугами безответного товарища, когда им нужно было подставное лицо, а Башка гонял Хохлика с прошениями по всему городу. Вообще Хохлик отличался полным отсутствием воли и был счастлив, когда делал что-нибудь для других по их приказанию.

— И какой ты, право, Христос с тобой! — говорила ему в припадке сердечного расслабления сожительница Ваньки Каина.— Ты бы смелее, ей-богу... Учись у Башки-то али у других тоже... Право, какой ты!..

— Где уж нам, Акулина Митревна... Мы уж так-с... помаленьку-с,— смущенно отвечал Хохлик, обдергивая рукава своего пальто.

— Ежели бы ты блаженный был... придуривал

там, а то ведь... Уродится же этакий человек, подумаешь! А?

Кроме этих завсегдатаев «Плевну» периодически посещало множество других особенных людей, которые временем сильно зашибали водкой. Посещение такого гостя было настоящим праздником для завсегдатаев. Гость пропивался до нитки и потом удалялся восвояси. В этом разряде были чиновники, купцы и люди неопределенных профессий; за ними обыкновенно являлись родственники, которые страшно ругались с Ванькой Каином и обещались жаловаться начальству.

— Что же-с? Я их не неволю-с,— любезно отвечал Ванька Каин, взмахивая жирными волосами.— А что до начальства касательно, так у меня есть пакент... сделайте ваше одолжение.

Ванька Каин был великий тактик и в совершенстве обладал величайшим сокровищем, которое называется «чувством меры»; людей он видел насквозь и со всяким умел обойтись по-своему. Тонкость понимания была в нем развита замечательно и еще скрашена известным запасом чисто русского добродушия. Конечно, по-своему Ванька Каин был прожженный плут и мошенник, но только для других, а не у себя дома, где он являлся почти отцом семейства. Бездомные бродяги и скитальцы вели у него все хозяйство, ходили за лошадью, и даже сам Башка полол в огороде гряды. Завсегдатаи любили Ваньку Каина именно за его понимание, то есть за то, что он один относился к ним как к людям.

— Да ты думаешь, Иван Василич, я пошел бы куда-нибудь в кабак?.. а? — допрашивал пьяненький Корнилыч.— Не-ет, брат, я тоже себе цену знаю... А к тебе вот иду, потому что уважаю. Да!.. Как к отцу родному иду, во как... Уж это ты будь без сомнения, по всей форме.

Отметим здесь ту особенность, что в этой среде кабацких завсегдатаев соблюдался целый ритуал самых строгих приличий, преступать которые никто не мог, и, может быть, нигде в другом месте так жестоко не преследовалось отступление от этих приличий, как здесь. Между прочим, строго было запрещено приводить в «Плевну» женщин или, выражаясь кабацким жаргоном, баб, что и выполнялось до сих пор неукоснительно. Причин такого драконовского закона было много, начиная с того, что Башка не выносил баб вообще и в част-

ности, и кончая тем, что Акулина Митревна строго блюла патриархальность нравов своего заведения и в качестве женщины ненавидела всех других женщин, а тем более шляющихся по кабакам. Ванька Каин держал нейтралитет, потому что находился в некотором подчинении у своей сожительницы, особенно когда сам зашибал своим товаром.

Теперь нам понятно то чувство негодования, которое было вызвано неожиданным появлением в «Плевне» Фигуры. Когда дверь кабака захлопнулась за ней, сейчас же последовал настоящий взрыв одобрения, адресованного к расхрабрившейся Акулине Митревне.

— Молодца у нас Акулина Митревна,— галдели завсегдатаи, точно праздновали настоящую победу.— Ловко она отчехвостила эту шлюху... А Башка после этого будет хуже Мазепы.

— Настоящий Гришка Отрепьев.

Общественное мнение «Плевны» было возмущено до глубины души и вынесло Башке обвинительный вердикт без всяких смягчающих вину обстоятельств, и только один Ванька Каин испытывал некоторое угрызение совести, что не предложил Башке вовремя стаканчика и тем довел его до окончательного падения. Впрочем, он вслух никому не высказывал своих мыслей, тем более, что его вина носила слишком косвенный характер.

«Сбесился, пес,— раздумывал Каин, орудуя за стойкой.— Этакое колено уколол!.. а? Бабу приволок, да еще какую-то такую, что... тьфу!.. Этакие пропастины, подумаешь, на белом свете водятся...»

На другой день после этого события «Плевна» уже имела самые подробные биографические сведения относительно прошлого и настоящего Фигуры. Это поусердствовал Корнилыч, имевший большие трактирные связи, а в трактирах Фигуру отлично знали.

— Перво-наперво она у родителев жила,— повествовал Корнилыч, глубокомысленно насасывая дешевенькую сигарку.— Из дворян еще будет... Ну, воспитание получила самое нежное, да потом и пошла щеголять. В театре актрисой была, потом арфисткой, потом по трактирам. Щеголяла-щеголяла, да вот и дощеголяла до своего настоящего виду. Зобун рассказывал, как она Башку-то подцепила... Нехорошо даже рассказывать. И такая, сказывает, пройдоха, что не приведи Христос. Шлёнда, одним словом...

— Удавить бы ее, проклятущую! — предложил кто-то.

Однако такие разговоры никого не могли утешить: отсутствие Башки чувствовалось во всем, точно из машины вынули главное колесо. И как назло народ так и пер в «Плевну» с прошениями, а Башка и глаз не показывал.

— Сказывают, утонул он,— отвечал Ванька Каин на расспросы просителей и мрачно улыбался.

V

Через неделю Башка неожиданно появился в «Плевне»; он привел с собой Медальона и занял свое обычное место, как ни в чем не бывало. Понятно, что завсегдатаи встретили его очень подозрительно, но Башка с обычной хитростью притворился, что ничего не замечает, и держал себя так, точно ничего особенного не случилось.

— Экие бесстыжие глаза! — изумлялась Акулина Митревна.— И беспременно у него што-нибудь есть на уме... уж не таковский человек, штобы спроста! И одежонкой раздобылся, пес...

Действительно, Башка явился в сапогах, в калошах, в приличных брюках и даже в осеннем дипломате с чужого плеча. Медальон жался в одном пиджачке.

— А мы уж тебя утонувшим записали,— ехидно говорил Ванька Каин, выставляя приличную посудину.— Много тут спрашивали... Я ище пожалел, потому как в цвете лет и, можно сказать, без покаяния...

— Будет тебе огороды-то городить,— обрезал Башка.— Я вот тебе хорошего человека привел.

— Чтó же? Мы хорошим людям завсегда рады... Не с деньгами жить, а с добрыми людьми.

Медальон был подвергнут самой беспощадной критике и выдержал испытание. Его как-то сразу все полюбили, а Акулина Митревна сказала прямо, что «энтот как раз под пару подойдет Хохлику-то». Однако вечером, когда пьяный Башка принялся рассуждать с Медальоном о разных философских предметах, Ванька Каин заметил жене, что Медальон «далеко не вплоть» Хохлику-то, вон какие мудреные слова разговаривает. Даже Корнилыч, на что лют бобы-то разводить, и тот

только глазами хлопает. А Башка действительно разговорился как-то необыкновенно и точно все заискивал перед новым своим другом, чем завсегдатаи были обижены еще раз.

— Есть целый разряд фактов, который совсем выходит из пределов обыкновенной логики,— философствовал Башка.— Например, общество не хочет знать нас и даже стыдится, а между тем мы самое наизаконнейшее явление... Даже можно сказать, мы правильнее смотрим на вещи, потому что, по теории утилитаризма, променяли фиктивные блага на более существенное, так сказать, мы пьем сок жизни, когда другие только приближаются к этому идеалу. Важно доработаться до философского миросозерцания, а с высоты его разные житейские невзгоды кажутся просто смешными.

— Совершенно верно! — соглашался Медальон, запуская тонкие руки в свои белокурые волосы.— Людям крайне тяжело расставаться с известными житейскими предрассудками, особенно с теми из них, которые срослись с домашним обиходом... Только вот у нас в гимназии плохо проходили философию, и я не совсем понимаю некоторые твои рассуждения.

— Пустяки! Этот недостаток твоего воспитания мы пополним,— смеялся Башка, встряхивая своей гривой.— Знаешь, я человек откровенный и прямо тебе скажу, что крайне недолюбливаю ваше сухарное гимназическое образование... Ей-богу!.. Знаете вы много и порядочно знаете, а вот настоящего закалу в вас нет... этой философской выдержки. У нашего брата, бурсака, дубленые мозги-то... Ха-ха!.. Жизнь, братику, это мудреная история, если особенно взять не казовые концы и не ее парадную праздничную сторону, а настоящую суть. Везде противоречия... «Ввергохом злато в огонь, и излияся телец». Ха-ха! Это уж постоянно. «Злато» — это то, чем мы были до нашего воспитания, а «телец» получился уж в результате. Знаешь, я недавно шел ночью босиком в одной рубахе по грязи... холодище смертный, даже одеревенел весь, а в главизне разные латинские да греческие цитаты так и шевелятся: из Овидия, из Гомера, из Цицерона. Ведь получается жестокая, но поучительная ирония... Я хохотал, над собой хохотал. К чему? Зачем?.. Жизнь требует цельного человека, сильного умом и волей, а мы являемся на житейский пир, как попугаи, с двумя-тремя латинскими фразами. Я вот

человеком-то себя чувствую только здесь, в «Плевне», и то постоянно сосет червь... Просто иногда пугает этот всеобщий разлад, частицу которого составляешь и сам своей особой. Вот Ванька Каин уравновешенная душа, потому что он безмерно глуп... из породы сумчатых и толстокожих, и, наверное, у него волосы растут прямо из мозгов.

Медальон говорил на эту же бесконечную тему, хотя во многом не мог согласиться с жестокой логикой Башки. Он сидел на своем стуле болезненно согнувшись, точно все еще под ним была гимназическая парта, и нервно вздрагивал каждый раз, когда за стенами «Плевны» с визгом и завываниями поднимался режущий осенний ветер, метавшийся по городским улицам как оглашенный. Стоял октябрь, земля уже покрылась промерзшей корой, и везде белел первый снег, которым так приятно любоваться из хороших теплых домов, когда в запасе есть теплая шуба. В «Плевне» в эту пору всегда бывает особенно много посетителей, потому что холод всех гонит к теплу.

— Экая у тебя жидкокостная и гнилая натуришка! — негодовал Башка каждый раз, когда у Медальона на улице зуб с зубом не сходился.— Ты смотри на меня: точно из подошвенной кожи сшит.

Раньше Башка ночевал вместе с другими завсегдатаями в задней каморке «Плевны» или по разным ночлежным притонам, а теперь к ночи обязательно исчезал в обществе Медальона.

— Это он к той шляется,— соображала «Плевна» и презрительно пожимала плечами.— А та небось боится сюда бесстыжие-то свои глаза показать.

Между тем Фигура лежала больная в своем подвале, куда Башка и Медальон приносили дрова и разный необходимый провиант, добываемый ими по всему городу. Башка был неузнаваем. Он сначала ненавидел Фигуру, потом помирился с ней, а теперь ухаживал за ней, как за ребенком, то есть ухаживал-таки опять по-своему, по-бурсацки. Со стороны можно было подумать, что Башка хочет приколотить больную. Но это не мешало ему просиживать над ней целые ночи, бесконечные осенние ночи, когда все кругом покоится мертвым сном и только ветер выводит дикие ноты в трубе. Башка привел к больной доктора, ему одному известными способами добывал лекарства, Башка приносил откуда-то

дрова, Башка раздобылся матрацем и одеялом для больной; одним словом, он работал неутомимо и, кроме того, еще ухаживал за Медальоном, которого полюбил с первого раза. Фигура лежала на своем одре с закрытыми глазами и, кажется, не узнавала никого; по ночам она начинала тяжело метаться и глухо стонала. Башка обкладывал ее компрессами, измерял температуру, подавал лекарства и был очень доволен, что у него не остается ни минутки свободного времени. Иногда Башка приносил с собой бутылку водки и молча ее распивал в обществе Медальона, который делал всегда то, что делают другие. Особенно хорошо чувствовали себя друзья в те часы, когда топилась вечером печь и они могли сидеть перед ней в безмолвном созерцании, как настоящие философы. Пламя трещало так весело и разливало кругом такую благодатную теплоту.

— Странная вещь этот огонь,— задумчиво говорил Башка, глядя на переливы пламени.— Это стихийное начало, с одной стороны... с другой — символ очищения, прообраз домашнего очага, величайшее приобретение для ветхого человека и неутомимый работник для нового.

Медальон цитировал греческих и римских авторов, припоминая места, где говорили об огне, а Башка сидел и думал, думал без конца, как думается только в осенние непроглядные ночи. Ни отца, ни матери он не помнил; они умерли разом в сорок восьмом холерном году. Дядя свез его восьми лет в бурсу, и с тех пор Башка жил своим умом. Много перенес он за двенадцать лет бурсацкой науки и холода, и голода, и всяких других напастей, и в конце концов выработался из него чистокровный семинарский «башка». Чем только он ни был, проходя через это бурсацкое чистилище: архиерейским исполатчиком, кадило- и свещевозжигателем, канонархом, иподьяконом, архиерейским басом, потом служил в консистории, в акцизном ведомстве, при полиции, на золотых промыслах, в городской управе и т. д.

— Не сносить тебе головы, братец,— говорил Башке один старичок, семинарский профессор,— винта не хватает одного в мозгах... Очень уж ты башковат, своя сила одолит, да и гордости этой в тебе через меру.

Действительно, в голове у Башки недоставало какого-то винта. С блестящими способностями, с философской складкой ума, выносливый, изобретательный, он

принимался за десятки специальностей, быстро делался общим любимцем, а потом так же быстро ссорился со всеми, бросал дело и уходил на улицу, которая всегда кормила и поила его. В минуты раздумья Башка сам сознавал, что пропадает ни за грош, но переломить себя не мог: его вечно грыз бес ненасытной гордости, точно какая скрытая зараза. Конечно, Башка страшно пил, пил с двенадцати лет, но что могла значить водка для его железной натуры? Он пил с тоски, которая неотступно сосала его. Даже успех не радовал его, а наводил уныние: он, который чувствовал в себе силу сдвинуть гору, должен был «ловить мышей», как выражался Башка. Сознание собственной силы и превосходства над окружающими сделало его несчастным, как и многое множество других талантливых русских выродков, кончивших роковым «общим знаменателем», как называл Башка кабак.

В жизни Башки был один ничем не объяснимый пробел: для него женщины почти не существовали, или, вернее, существовали как печальная физиологическая необходимость. Радужный ореол, которым окружали женщину поэты всех стран и народов, для Башки был дребеденью и чепухой; он видел только баб, самый вздорный и ничего не стоящий народишко, который в природе служит только переходной формой и, как таковая, носит в себе все недостатки переходного существования. С физической стороны Башка относился к женщине брезгливо, с тем презрением, которое выработала в нем тяжелая практика; как философ, он их ненавидел, как ненавидит каторжник цепи даже на других. О любви и вообще нежных чувствах Башке не приходилось задумываться, и в нем жил какой-то подвижнический, почти аскетический дух. Не помня матери и не имея семьи, Башка вырос дикарем и частенько подумывал о монашестве.

Случайная встреча с Фигурой и Медальоном произвела на него какое-то смешанное впечатление: чем ближе он знакомился с Фигурой, тем сильнее ее презирал, и чем больше ее презирал, тем больше любил Медальона, этого гимназического башку в зародыше, в бесконечном приближении к своему первообразу и идеалу, точно Башка видел в Медальоне часть самого себя, именно ту часть, которой ему недоставало. Как ни странно сказать, Башка питал к Медальону отечески

нежные чувства, точно сам он физически хотел продолжиться в этой жидкокостной натуришке. Сначала Башку до глубины души возмущали телячьи нежности в отношениях Фигуры и Медальона; эти нежности шокировали и коробили Башку, но вместе с тем пред ним страница за страницей раскрывался совершенно неведомый мир, мир неиспытанных ощущений. Фигура любила Медальона, и это неизведанное чувство Башка переживал в отраженной форме. Им овладела какая-то новая тоска, точно он что-то потерял такое хорошее и дорогое и вместе такое чистое... Да, это было новое чувство, и Башка боролся с ним молча, сосредоточенно, как борются в темноте со смертельным врагом, который напал сзади.

— Вздор... глупости! — ворчал Башка, схватывая себя за голову.

Разве он мог любить грязную, истасканную Фигуру, столько же походившую на женщину, как стоптанная, валяющаяся дырявая калоша где-нибудь на улице походит на настоящую обувь. Башка был слишком силен физически, чтобы не чувствовать физического отвращения к Фигуре, хотя это чувство и не мешало ему видеть в ней другую женщину, именно ту, которая еще так недавно блестела своей свежестью, женщину, которая одной улыбкой могла сделать человека счастливым. Просиживая ночи у постели больной, Башка припомнил плохонький провинциальный театр, из райка которого он любил смотреть на сцену, и на этой сцене он припомнил Фигуру. Да, это была она — улыбающаяся, заражавшая публику своим весельем, а теперь... Даже философски организованный ум не в состоянии помириться с таким беспощадным превращением, как не помирится он с вином, потерявшим свой букет,— оставалась одна форма, а содержание улетучилось.

А Фигура все лежала с закрытыми глазами, и Башка не один раз думал, что она уже умирает. Его схватывала какая-то злоба от сознания своего полного бессилия пред творившимся на его глазах актом природы; он, с своим железным здоровьем, суровый и непреклонный, был здесь слабее ребенка и, как ребенок, только мог ждать. Одна ночь особенно была тяжела, но эта ночь имела благодетельный исход. Фигура заснула в первый раз спокойным сном выздоравливающего человека и наутро в первый раз попросила есть.

— Мне лучше,— прошептала она и пожала руку Башке.

Это невольное движение испортило все дело: Башка даже пожалел, что Фигура не умерла, и озлился на себя, зачем напрасно терял время в этом подвале. Главное, Башка почувствовал себя как-то необыкновенно глупо, и ему сделалось совестно даже пред выздоравливавшей.

Наступила новая полоса. Башка начал теперь пропадать по целым дням и являлся на квартиру к Медальону только вечером. Выздоровление Фигуры подвигалось вперед быстрыми шагами, молодой организм брал свое; она уже могла сидеть на постели и все придумывала разные необыкновенные кушанья.

— Знаете, что мне кажется? — говорила однажды Фигура, когда Медальон и Башка сидели у топившейся печки и мечтали.— Мне кажется, что я родилась во второй раз... Я как-то проснулась здесь днем одна, и вдруг мне представилось, что я маленькая девочка, совсем маленькая, когда ходила в коротеньких платьицах и в панталонах с кружевной оборочкой. Да... Это так было смешно. И рубашка на мне была такая тонкая и чистая, настоящая батистовая, летнее платьице из дешевенькой кисеи с маленькими такими розовыми мушками, а волосы на голове были подвязаны одной ленточкой,— и больше ничего. Ведь это во сне все... да. И сама я такая легкая сделалась, и хорошо мне так, что я даже засмеялась про себя.

Этот рассказ просто взбесил Башку. Он схватил свою шапку и, не сказав никому ни одного слова, убежал из подвала.

— Что это с ним такое сделалось? — недоумевала Фигура.

— А кто его знает,— равнодушно ответил Медальон.— Он ведь вообще довольно странно себя держит.

Башка жестоко пил весь вечер в «Плевне», раскаялся во всех своих вольных и невольных прегрешениях Корнилычу и, облегченный этой добровольной исповедью, дал слово своему закадычному благоприятелю, что больше никогда не заглянет к Медальону.

— Ну их к черту! — коротко заметил Корнилыч.

— Беленькое платьице... Батистовая рубашка... Слышишь? И рубашка беленькая! Ха-ха!.. Говорит, во

сне видела. Этакая подлая душонка! И ленточка... тьфу!..

Пьяный Башка проклинал всех баб вообще, а на другой день вечером опять сидел в подвале у Медальона и сурово курил один крючок махорки за другим. Он шел мимо и зашел погреться — не больше. С Фигурой он не говорил ни слова и точно совсем не замечал ее присутствия, а когда уходил, то так сильно хлопнул дверью, что та соскочила с последней своей петли. Это обстоятельство задержало Башку в подвале дольше, чем он предполагал, но он все-таки до конца выдержал характер и не проронил с Фигурой ни одного словечка. Очутившись на улице, Башка долго бродил и все что-то обдумывал, ругаясь про себя.

— Нет, это уж благодарю покорно! — думал он вслух, шагая по молодому снежку, который своей белизной опять напоминал ему о проклятой беленькой рубашке.— Дудки!.. К черту!

Башка в последнее время работал самым лихорадочным образом и успел обделать сотни ловких дел. Из-под его пера летел целый град прошений и всяческих кляуз во всевозможные инстанции. Денег у него было много, и, между прочим, он успел достать Медальону место писца у нотариуса. Словом, работа кипела. По вечерам Башка иногда захаживал в подвал к Медальону погреться, выкуривал несколько папирос и исчезал. К Фигуре он относился с прежней суровостью, а между тем она уже могла бродить по комнате и с удовольствием сидела перед печкой. Болезнь совсем изменила ее. Пьяная одутловатость исчезла, лицо вытянулось, кожа побледнела, глаза смотрели чистым светлым взглядом, как у проснувшегося ребенка.

— Теперь уж кончено,— в сотый раз повторяла Фигура.— Я водки больше ни-ни... У тебя теперь есть место, и я тоже найду занятия. Поступлю суфлером в театр, возьму место приказчицы, словом, устроимся.

Эти планы поверялись и Башке, который только иронически улыбался. Он теперь занят был исключительно философскими соображениями и постоянно спорил с Медальоном, то есть вернее, придирался к нему и постоянно разбивал его по всем пунктам. Раз такой разговор перешел в настоящую ссору.

— Ничего вы, «медальоны», не понимаете — вот что! — обрезал Башка.— Ну, что вы за народ, если разо-

брать? Плюнуть — и растереть нечего, вот и весь разговор.

— Однако ты, Башка, довольно сильно выражаешься сегодня,— заметил Медальон, задетый за живое.

— А вы привыкли, чтобы вас по головке гладили?.. а? — зарычал неожиданно Башка.— Какой-нибудь издохлый гимназистишка — и философия.. Ха-ха!..

— Послушайте, это невежливо, наконец,— заметила от себя Фигура.

— Не-веж-ли-во? — переспросил с расстановкой Башка, побелев от охватившей его злости.— А тебя, Фигура Ивановна, кто спрашивает?.. К черту!.. Слышала?.. А то я без церемонии: за хвост да об стену...

Башка разругался напропалую и, как все неправые люди, старался выместить свою злость на ничем не повинном Медальоне, который скоро замолчал, что уже окончательно вывело из себя Башку.

VI

Дела в «Плевне» шли все под гору, что завсегдатаи объясняли отщепенством Башки. Он, правда, бывал в «Плевне», и даже очень часто бывал, но это было «то, да не то», потому что душой он уже не принадлежал к ней, как это было прежде.

«И точно на меня затмение тогда нашло какое,— раздумывал с горечью про себя Ванька Каин, пересчитывая выручку.— Ну, чего стоило дать тогда Башке опохмелиться, ну, какой-нибудь стаканчик — плевать, а теперь вот и ожигайся...»

С другой стороны, Ваньку Каина точно какой бес подталкивал не покоряться Башке ни под каким видом. «Эка важность, и без него проживем: было бы болото, а черти будут!» Наружно он был вежлив с Башкой по-прежнему, хотя и не умел скрыть оборотной стороны этой вежливости, выжидая только случая отомстить Башке по-настоящему. Эти жестокие мысли в Ваньке Каине поддерживались еще больше плохой выручкой, которая даже перед рождеством не поправилась, хотя это было самое бойкое время. К довершению всех бед чуть не под носом у Ваньки Каина открывался другой кабак, что, очевидно, было делом рук все того же Башки.

— Это даже весьма обнакновенно,— рассуждал Ванька Каин в своей компании с видом угнетенной невинности.— И поговорка такая есть: «Не поя, не кормя, ворога не наживешь». Оно все так и выходит: за мою хлеб-соль да меня же Башка и подводит. Прежде прошения писать сколько мужиков в «Плевну» ходили, так и прут, как в окружной суд, а теперь, видно, шабаш, как обрезало... А все за мою доброту, да,— прибавлял Каин многозначительно.

Завсегдатаи «Плевны» тоже чувствовали себя не особенно весело, потому что и у них дела без Башки сильно пошатнулись, а главное, уже не было прежнего духа. Про себя они тоже обвиняли в своих неудачах Башку, обвиняли в таких проступках, о которых он не мог знать даже «сном-делом». Так, Корнилыч проигрывался на бильярде — рука стала не тверда и глаз притупился, а он обвинял в этом обстоятельстве Башку; Трубе где-то в харчевне крепко наломали бока за его гривенку — и тоже Башка был виноват. Даже безответный Хохлик и тот, ложась с пустым желудком, не раз был огорчен странным поведением своего недавнего покровителя.

Раз, незадолго до рождества, выдался для «Плевны» особенно плохой день. Снег так и ходил по улицам белой стеной, холод был страшный и пробирал до костей в самых теплых шубах, а у завсегдатаев на троих не было даже теплой шапки. Приходилось сидеть в «Плевне» и ждать, не подвернется ли какой хороший человек. А тут еще, как назло, мимо «Плевны» шли и ехали с разными покупками к празднику: тащили гусей, ломти замороженной свинины, всяческую другую снедь, точно с специальной целью непременно подзадорить щелкавших зубами завсегдатаев.

— Хоть бы Башку черт принес! — ворчал Корнилыч, тоскливо поглядывая на отворявшуюся дверь.— Сказывают, в шубе щеголяет и с бобровым воротником.

— Ах, пес! — ругался Труба.— Ведь вот, подумаешь, какое другим людям счастье привалит.

В момент наибольшего отчаяния в «Плевне» появляется Фигура; она сильно навеселе и держит окоченевшими от холода руками какой-то бумажный сверток.

— Башка здесь? — спрашивает Фигура самого Ваньку Каина, который смотрит такими глазами, точно сейчас намерен проглотить ее живьем.

— Был, да весь вышел,— отвечает он в галантерейном тоне.

— Мне бы поговорить с вами нужно...

— Говорите.

— Нет, здесь нельзя; у меня секрет.

Каин отлично знал эти секреты своих посетителей и только указал головою на дверь в свою комнату, куда Фигура и шмыгнула с проворством ящерицы. Отдыхавшая на перине Акулина Митревна встретила посетительницу самым неприветливым образом, не говоря ни слова, вырвала у ней из рук бумажный сверток и сердито принялась обрывать бумагу, вытаскивая на свет что-то белое.

— Может, ищо украдено,— говорила Акулина, растягивая перед окном тонкую батистовую женскую рубашку, отделанную кружевами, а потом кисейное белое платье с розовыми мушками; из средины упала на пол тоненькая голубенькая ленточка.— Ищо в суд потащут за краденое-то. Нет, матушка, не надо... У нас не такое заведение, штобы краденым промышлять.

— Могу вас уверить, что это не краденое,— уверяла Фигура.— Что дадите, то и возьму.

— Сказывай сказки-то, знаем мы...

В сущности, у Акулины глаза разбежались на хороший заклад, но она не могла отказать себе в удовольствии поломаться над ненавистной Фигурой, которую так бы и смазала прямо по роже. Акулине давно хотелось иметь кисейное платье, а то она летом ужасно потела, а теперь платье само прилетело к ней.

— Откелова у тебя такому платью взяться? — тянула Акулина, снова прикидывая на свет и рубашку и платье.

— Да ведь это для вас все равно: мое, и только.

— Твое!.. А купи его да надень, в полицию и представят. Это как?

— Ах, боже мой!.. Я дешево отдам...

— Не надо,— обрезала Акулина, свертывая комом платье.— Наживешь греха-то с вашим братом. Проваливай подобру-поздорову!

— Послушайте, я даже скажу вам, от кого это платье, только, пожалуйста, не рассказывайте никому...

— Ну?

— Мне подарил все это Башка... Да. Он такой странный... Вчера я вечером была дома одна, Медальон

еще не пришел со службы, слышу шаги Башки... Я знаю его походку хорошо. Ну, я нарочно и притворилась спящей и думаю: что он будет делать? Ей-богу, только он вошел в комнату, видит, что я одна и сплю, подкрался ко мне и спрятал под подушку вот этот самый сверток, а сам убежал. Честное слово, не вру, вот ни капельки не вру! Уж что ему за фантазия пришла — не понимаю...

— Сколько тебе под заклад-то?

— Дайте пять рублей... Ведь эти две вещи стоят больше двадцати.

— Два бери.

— Помилуйте, ведь эти вещи из магазина.

Торг закончился на трех рублях, и Фигура, зажав бумажку в руке, отправилась прямо в комнату завсегдатаев и сейчас же спросила три бутылки водки и закуски.

— Господа, мы сегодня кутим! — приглашала она компанию.— Да вы не стесняйтесь, пожалуйста... Ха-ха!.. Ну, первая колом, вторая соколом, а потом мелкими пташечками полетят.

«Плевна» закутила. Корнилыч и Труба позабыли все невзгоды и сосали рюмку за рюмкой; безответный Хохлик тоже «поддерживал компанию». Но всех великолепнее, без сомнения, была сама виновница этого импровизированного торжества, то есть Фигура. Она быстро опьянела и косневшим языком, улыбаясь, рассказывала разные анекдоты о Башке и, между прочим, сама же первая разболтала со всеми подробностями историю последнего подарка Башки.

— Он славный,— тянула Фигура, делая неопределенный жест рукой.— И ленточку голубенькую не забыл... Ха-ха!.. Это я ему сама рассказала... когда была маленькая... да-да!.. Чему вы смеетесь?

Подогретая вином и общим вниманием, Фигура принялась рассказывать о Башке в лицах, кривлялась, размахивала руками и несколько раз чуть не растянулась на полу. Это даровое представление надрывало животики всей «Плевне», так что сам Ванька Каин хохотал над Фигурой до слез.

— Ох, будь же она проклята, язвина! — шептал он в умилении, утирая катившиеся от смеха слезы.— Недаром сказано, что «баба хмельная — вся чужая»... Ай да Башка, молодца!

В самый разгар этого веселья, когда вся посторонняя публика приняла в нем оживленное участие, в «Плевну» вошел Башка. Ванька Каин пальцем подозвал его к стойке, вынул из шкапа купленный у Фигуры сверток и, развернув покупки на стойке, спросил:

— Узнаешь супрызец-то? Ха-ха!.. Погляди-ка ступай, как твоя-то Фигура представляется.

Башка в первое мгновение совсем ошалел от этой приятной неожиданности, и Ванька Каин втолкнул его в комнату, где Фигура в десятый раз представляла в лицах переделанный по-своему анекдот о подарке Башки. Публика аплодировала и задыхалась от смеха, а Башка, бледный как полотно, смотрел на нее дикими, остановившимися глазами.

— Видел?.. а?..— спрашивал Каин, наклоняясь к самому уху Башки.

— Видел.

— И это правда все?

— Правда.

Завсегдатаи, заметив стоявшего в дверях Башку, вдруг присмирели и начали один за другим отодвигаться от пьяной Фигуры, которая уже не могла ничего видеть.

— Ну-ка, закати ей хорошего раза,— поджигал Каин осовевшего Башку и даже легонько подталкивал его вперед.— Да ну, взвесели ее, шельму!

Башка через плечо посмотрел на Каина как-то так странно, улыбнулся и, не сказав ни слова, пошатываясь, пошел к двери.

— Постой! Куда ты! — кричал Каин.— Шапку-то хоть возьми, ежова голова!

Но Башка ничего не слыхал и шагал уже далеко, чувствуя, как его голова и без шапки горит огнем.

После этого Башку больше не видали в «Плевне», он исчез навсегда из Пропадинска.

ОТРАВА

Очерк

I

Жирное, колеблющееся солнечное пятно уперлось прямо в широкую спину Вахрушки, но он продолжал лежать на земле плашмя, уткнув в траву свое бородатое и скуластое лицо. Солнце жгло отчаянно, а Вахрушка оставался неподвижен из свойственного ему упрямства: не хочу — и шабаш, пусть палит... Пестрядинная рубаха, перехваченная ремешком, и скатавшиеся штаны составляли весь костюм Вахрушки. Валяная крестьянская шляпа и сапоги лежали отдельно: Вахрушка бережно носил их с собою в руках — «на всякий случай», как говорил он.

— Эй, Вахрушка, вставай! — повторял я, толкая его прикладом ружья в бок.— Нужно переправляться через озеро. Не ночевать же здесь, на берегу.

Вахрушка мычал, вытягивал босые ноги и продолжал лежать ничком, как раздавленный. Это было возмутительно, особенно когда являлась блаженная мысль о холодном квасе попа Ильи и чае со свежею земляникой у писаря Антоныча. На Вахрушку накатился упрямый стих, и он оставался недвижим, как гнилая колода. Лягавая собака Фортуна, взятая нами у Антоныча напрокат, задыхалась от жара. Время от времени она звонко щелкала челюстями, стараясь поймать одолевших ее мух. Зной был нестерпимый, а наш тенистый уголок был теперь обойден солнцем.

— Вахрушка, вставай... Что ты в самом деле дурака валяешь?

— А... гм... ыг-м!.. О господи милостивый...

Мы попали в неприятную засаду. Из Шатунова вышли тем ранним утром, когда еще «черти в кулачки не бились». Сначала обошли озеро Кекур, потом по гнилой степной речонке Истоку перебрались на озеро Чизма-Куль, обошли его кругом и с двумя утками в охотничьей суме решились возвратиться назад. Можно

было передохнуть в небольшой деревушке Юлаевой, где жил знакомый старик Пахомыч, но Вахрушка заупрямился, как это с ним случалось, и потянул в Шатуново.

— Первое дело, у попа Ильи квасу напьемся,— объяснял он в свое оправдание.— А то как же? К Пахомычу мы в другой раз завернем... Изморился я до смерти с этими проклятущими утками: одна битва с ними, а не охота.

Можно было вернуться старою дорогой, что составило бы в два конца верст пять с хвостиком, но Вахрушка опять заупрямился и повел ближнею дорогой. Только обогнуть «башкирскую могилу» (урочище, где было сражение во времена башкирских бунтов), Чизма-Куль и останется влеве, а до Кекура рукой подать, из лица в лицо выйдем на Шатуново. Как раз и Маланьина избенка стоит на самом берегу — живо солдатка на батике подмахнет, а там и холодный квас у попа Ильи. Хорош поповский квас! И Вахрушка уперся на этой несчастной мысли как бык. Было уже так жарко, что вступать в ратоборство с Вахрушкой не хотелось,— ближнею дорогой так ближнею.

Только охотники знают, что такое возвращаться порядочному человеку с поля, когда во рту пересыхает от жажды, ноги точно налиты свинцом и в голове вертится предательская мысль: «Нет, уж это в последний раз...» Идти пришлось открытыми покосными местами, кое-где перерезанными мелкой порослью и отдельными островками. Фортуна давно тащилась по пятам, высунув язык, с тою особенною собачьей покорностью, которая еще больше увеличивает вашу собственную усталость. Собаки предчувствуют глупости своих даже случайных хозяев. Так мы обогнули башкирскую могилу, разлезшийся глиняный холм с березовою порослью, оставили влеве Чизма-Куль («Говорил, что влеве останется озеро»,— несколько раз повторил Вахрушка, оспаривая неизвестного супротивника) и наконец завидели вдали кривую полосу ярко блестевшего на солнце Кекура. Это было громадное высыхавшее степное озеро, каких так много разбросано по всему Зауралью. Теперь оно мирно зарастало ситником и осокой, представляя отличный утиный садок. Для охоты оно было неудобно. С берега не допускала качавшаяся под ногами трясина, а гоняться за утками по камышам еще хуже. Вода в озере

была дряиная, с болотистым вкусом и ржавыми, масляными пятнами, да к тому же в ией кишмя кишела так называемая водяная вша. Это ие мешало по берегу Кекура вытянуться семиверстному селу Шатунову,— таких сел в Зауралье не одно, как вообще в Сибири, где любят жить грудно. Издали вид на Кекур и Шатуново был посвоему красив,— извилистая полоса стоячей воды была точно «обархочена» разиым крестьянским жильем. В центре белела каменная церковь, представляя резкий контраст с окружавшими ее бревенчатыми избушками. Шатуновские старики помиили еще времена, когда кругом Кекура стояли стеной непролазные леса, а в самом озере рыбы было видимо-иевидимо; ио леса давнымдавно «пороиили», всю рыбу выловили самым безжалостным образом, как умеет это делать один русский человек, крепкий задиим умом, и озеро мало-помалу обращалось в гниющее болото. Та же история повторялась и с другими озерами, как Чизма-Куль, Багаши и другие. Теперь иа месте сведеииых лесов ковром расстилались бескоиечные пашии, и бывшие башкирские улусы и стойбища поражали своим унылым, русским видом. Когда-то земля была овчина овчиной и давала баснословные урожаи, но благодаря сибирской привычке не удобрять поля и это последиее богатство уплыло,— урожаи год от году делались хуже, а единственным средством поправить дела были молебны попа Ильи да крестные ходы, когда появлялась засуха.

— Ах ты, телячья голова! — говорил Вахрушка, когда мы пришли иакоиец короткою дорогой к озеру.— Маланьи-то нету... а?

— Что же, она, по-твоему, обязана была нас ждать?..

— Баба — она баба и есть! — ругался Вахрушка, присматривая противоположиый берег из-под руки.— Ах, телячья голова!.. Вон и батик на берегу кверху брюхом лежит, а Маланьи и званья нет... Утрепалась куда-то, телячья голова!..

Через озеро до села было иа худой конец две версты, и как Вахрушка мог рассмотреть не только Маланьиину избушку, но даже вывороченную вверх дном лодку, я не мог понять. Прищурениые темные глаза Вахрушки отличались ястребиною зоркостью, в чем я имел случай убедиться много раз.

— Ма-а-а-ланья!..— кричал Вахрушка, подхватив одну щеку волосатою рукой.— Телячья голова-а!..

Это было отчаянное средство обратить на себя внимание солдатки, но Вахрушка орал благим матом совершенно напрасно по крайней мере полчаса, пока не охрип.

— Вот тебе и ближняя дорога! — донимал я Вахрушку в качестве потерпевшей стороны.— Теперь кругом озера-то до Шатунова битых двенадцать верст.

— Нет, поболе: все пятнадцать. Ма-аланья!.. А зачем нам кругом озера экую даль месить?

— Что же мы будем здесь делать? Не ночевать же в поле... Вот тебе и холодный поповский квас!

Вахрушка презрительно молчал и только пнул ногой подвернувшуюся Фортуну. Собака отбежала в сторону и, высунув язык, удивленно посмотрела на нас своими добрыми песьими глазами. Когда Вахрушке надоело кричать, он облюбовал на берегу таловый завесистый куст, бросил под него сапоги и шапку и улегся в тени, точно дело делал.

— Увидит кто-нибудь с берегу, телячья голова... Вся причина в Маланье...

Мне ничего не оставалось делать, как только последовать его примеру. Солнце так и жарило. Камыши стояли не шелохнувшись, над ними плавали два ястреба-утятника; пахло гнилою водой, осокой и протухшею рыбой. Июльский овод кружился в застывшем воздухе столбом. На небе ни облачка, и только с восточной стороны всплывала белою дымкой высокая тучка. Фортуна два раза меняла место под кустом, потом сходила в болото, выпачкалась в грязи по уши и, вернувшись к нам, с ожесточением принялась трясти ушами и всем телом, так что грязь полетела на нас дождем.

Вахрушка не пошевельнулся, и Фортуна легла рядом с ним, навалившись на его плечо своим грязным боком.

Время идет ужасно медленно, когда хочется есть и когда у попа Ильи такой холодный квас. Наши съестные запасы истощились, и в надежде на Пахомыча не было захвачено соли, так что нельзя было воспользоваться даже убитыми утками. Я пробовал заснуть по примеру Вахрушки и с отчаянною решимостью целый час лежал с закрытыми глазами, но и это не помогло. Солнце обошло куст и начало припекать мне плечо. Я переменил место, а Вахрушка оставался на самом припеке, онемев от истомы.

— Вахрушка, вставай! — будил я его.— Пойдем кругом озера, а то здесь просидим до завтра.

Вахрушка безмолвствовал из свойственного ему упрямства. В Шатунове Вахрушка играл роль интеллигентного «лишнего человека» и был «наперекосых» со всем миром. Жил он бедно, одиноким соломенным вдовцом, потому что жена Евлаха, лет десять терпевшая бедность и побои, ушла наконец в стряпки к писарю Антонычу. Свое хозяйство у Вахрушки давно было разорено, и он мыкался по людям: где дров порубит, где на сенокос угодит, где помолотит, где так, за здорово живешь, стащит. Всего замечательнее было то, что Вахрушка был действительно умный человек, но умный как-то болезненно, с непримиримым ожесточением. Все, что делали другие, Вахрушка обязательно порицал, и порицал ядовито, с тем особенным мужицким юмором, который бьет, как обух. Выберут нового старосту, случится деревенский казус — Вахрушка произведет такой анализ, что не поздоровится. Шатуновские мужики говорили про него, что «Вахрушка не в людях человек», и это было лучшею характеристикой. Летом в страду, когда от работы стон стоял, Вахрушка сидел у себя на завалинке или ловил петлями уток; осенью, когда все отдыхали и справляли свои праздники, Вахрушка напускался на работу. Иногда он решался порвать всякие отношения с Шатуновым, выправлял паспорт и уходил куда-нибудь на сторонние заработки, но это продолжалось недолго,— много через месяц Вахрушка возвращался на свое пепелище озлобленнее прежнего и опять входил в свою роль деревенского обличителя.

— Все дураки, телячья голова! — повторял он, посасывая копеечную трубочку.— К чужой коже, видно, своего ума не пришьешь!

Были у него братья, хозяйственные, исправные мужики, и бесконечная деревенская родня, но все давным-давно отчурались от Вахрушки, как от невозможного человека. На деревенских праздниках или на свадьбах, где угощались званые и незваные, Вахрушка напивался пьяным, стервенел и устраивал скандал. Его, конечно, колотили, по неделям держали на высидке при волости, а потом Вахрушка получал свободу, садился на завалинку и ядовито посмеивался над односельчанами.

С этим деревенским «лишним человеком» я познакомился у попа Ильи, когда последний находился в по-

лосе запоя. Вахрушка ухаживал за попом и каким-то жалобным голосом повторял:

— Ах, батюшко, отец Илья, нехорошо... что люди-то про нас с тобой скажут?.. Надо соблюдать себя, телячья голова!

Обезумевший от запоя о. Илья лез на Вахрушку с кулаками, ругал его самым непозволительным образом, но Вахрушка переносил все с ангельским терпением и только улыбался. К чужим слабостям он питал необыкновенное влечение и защищал грудью деревенских отверженцев — опять-таки по необыкновенной строптивости своего ума.

II

Одуревшая от жары Фортуна вдруг заворчала: чужой идет... Присмотревшись в запольную сторону, я увидал приближавшегося развалистою, усталою походкой мужика в белой валяной шляпе. Он шел сгорбившись и в такт размахивал длинными руками. Меня удивило, что в такой жар мужик был одет в тяжелый чекмень из толстого крестьянского сукна и новые сапоги. Для удобства полы чекменя были заткнуты за новую красную опояску, открывая подол стоявшей коробом новой пестрядинной рубахи и такие же штаны. «Видно, куда-нибудь бредет к празднику»,— невольно подумал я, сдерживая рвавшуюся Фортуну за ошейник. Но какие же праздники могут быть в страду, а Ильин день уже прошел... Свадьбы в страду тоже не «играют».

— Мир на стану,— здоровался мужик, подходя к нашей засаде.

— Спасибо... садись, так гость будешь.

Мужик медленно посмотрел на меня своими прищуренными, слезившимися глазами, потом на Вахрушкину спину и, тряхнув головой, проговорил:

— Видно, перевоза ждете?

— Да вот все Вахрушка виноват,— пожаловался я, обрадовавшись случаю воспользоваться третейским судом.— Ближнею дорогой повел, да вот в засаду и привел.

— Несообразный человек, одно слово — все напоперек ладит сделать супротив других,— мягко поддерживал меня мужик, оглядывая место присесть.— Мне, видно, тоже в Шатуново... попутчик вам нашелся.

— К празднику? — спросил я, чтобы поддержать разговор.

— Около тово,— отвечал мужик и тяжело вздохнул.

Он бережно подобрал полы чекменя, снял шляпу и сел на траву между мной и Вахрушкой. На вид ему было лет пятьдесят, но мужицкая старость держится долго: на голове ни одного седого волоса, лицо свежее,— одним словом, работник еще в полной поре. По одеже и манере себя держать можно было определить сразу, что он из достаточной семьи и не надсаждается над работой. Только в маленьких глазах стояла какая-то недосказанная, тяжелая мысль, которая заставляла его бормотать себе под нос, встряхивать головой и задумчиво разводить руками.

— Эй, Вахрушка, вставай, будет тебе бочонки-то катать,— заговорил он после долгой паузы.

— Отвяжись, телячья голова! — бормотал Вахрушка, заползая головой прямо в куст.— Умереть не дадут спокойно.

— Говорят: вставай...

Вахрушка судорожно поднялся, сел и равнодушно проговорил:

— А, Пимен Савельич...

— Видно, он самый... За охотой ходили?

— Есть такой грех: рыба да рябки — потеряй деньки... А ты куда поволокся?

Этот простой вопрос как-то вдруг заставил старика съежиться, и он ничего не ответил. Вахрушка тоже, видимо, смутился нетактичностью вопроса и так зевнул, что челюсти хрустнули. Мое присутствие, видимо, их стесняло.

— А все Маланька виновата, телячья голова! — заговорил Вахрушка, точно хотел оправдаться.— Который час теперь дожидаем, а и всего-то дела: села в батик и подмахнула живою рукой... Нет у этих баб никакой догадки!..

— Вы бы пальмо на берегу разложили, вот Маланья-то и догадалась бы...

— Еще за бродяг примут с пальмом-то... да и в страду оно не тово... сухмень стоит.

— Ну, из ружья стрельнули бы... Маланья — баба увертливая, сейчас бы прикинула умом.

— И в самом деле, телячья голова! Ведь вот, поди

ты, в голову не пришло... Барин, одолжите порошку — сейчас запалю... Ведь вот, поди ты, давно бы догадаться так-то!.. Померли бы с голоду, как бы не Пимен Савельич...

Я передал Вахрушке свою двустволку, которую все равно нужно было разрядить. На берегу трянули два выстрела, но солдатка не показывалась. Вахрушке опять пришлось орать благим матом: «Ма-аланья... те-елячья голова-а!»

— Обожди малость: не до нас ей,— остановил его старик.— Со всего села народ теперь сбежался к следственнику, а Маланья впереди всех, потому как самая легковерная бабенка.

Было сделано еще два выстрела, но с прежним успехом. Фортуна бегала по берегу, тыкалась носом в траву, фыркала и, оглядываясь на стрелявшего Вахрушку, отчаянно лаяла.

— Разве в Шатунове есть следователь? — спросил я Пимена Савельича, пока происходила вся комедия.

— Нет, из городу приехал... Дожидали его ден пять, потому как объявилось на покосе мертвое тело... Так, вышла заминка... Пора страдная, до того ли теперь, а народ должен дожидать... Известно, беда не по лесу ходит, а по людям!..

— И то утрепалась Маланька-то к следственнику,— говорил Вахрушка, подсаживаясь к нам.— Этих баб хлебом не корми, а только бы на народе потолкаться... Кому горе, а им любопытно.

Разговор на этом оборвался. Пимен Савельич прилег на траву и, видимо, начинал дремать. Вахрушка растянулся опять пластом, раскинул руками и коротко вздохнул, как человек, приготовившийся отдохнуть после тяжелого труда. Но его вдруг точно что укололо,— он поднялся на ноги одним прыжком.

— Кольем ее, эту самую Отраву... да!..— азартно заговорил Вахрушка, наступая на нас.— А то следственник приехал... тьфу!.. Надо без разговору, телячья голова, удавить ее... Нет: привязать за ноги к двум березам да на-полы и разорвать, чтоб она чувствовала.

— Темное дело, Вахрушка, не нашим умом судить...— ответил со вздохом старик.— Чужая душа — потемки.

В уме я быстро соединил найденное на покосе мертвое тело, приезд в Шатуново следователя и теперешний

разговор об Отраве, шатуновской старухе, пользовавшейся репутацией колдуньи, в одно целое. Вахрушкин азарт служил только дополнением унылого настроения Пимена Савельича. Видимо, старик имел какое-то касательство к разыгравшейся в Шатунове трагедии.

— Она, телячья голова, сколько теперь народу стравила... а? — уже хрипел Вахрушка, входя в раж.— А тут на: и следственник выехал, и становой, и понятых нагнали... тьфу, тьфу!.. Нашли важное кушанье!.. Как барыню допрашивать будут, а всего-то дела — веревку ей на шею да в озеро... Своими бы руками задавил, телячья голова, потому не стравляй народ!..

— Полно, Вахрушка, зря молоть... не таковское дело,— заметил старик, переминая в руках свою белую шляпу.— Мало ли про кого что болтают!

— Тебя ведь тоже колдуном зовут! — заметил я Вахрушке.

— Меня?.. Я — другое, телячья голова!.. Ежели от ума, например, это я могу... Лошади там или корове попритчилось,— это уж мое дело. Да! Всегда могу свое понятие показать — вот и вышел Вахрушка колдун.

— И Отрава, может быть, тоже от ума помогает?

Вахрушка повернулся в мою сторону и, откладывая пальцы на левой руке, заговорил с новым азартом:

— У ей, у Отравы у самой, было три мужа: всех стравила, а дочери-то, этой самой Таньке, всего двадцать третий год пошел. И третьего мужа дотравит... Вторая у ей дочь, значит, выходит, солдатка Маланья,— ну, когда солдат выйдет в бессрочный, и его стравят. Солдат-то сойдутся с кузнецом Фомкой,— муж, значит, Танькин,— и кажный раз говорят: беспременно нас тещенька на тот свет напрасною смертью предоставит. Ей-богу, сами говорят!.. А кривого Ефима кто уходил? Обязательный был старичок... А Пашка Копалухин? А другой Пашка, значит, зять Спирьки Косого?.. Тут, телячья голова, целая уйма народу наберется, а работа все одна... Не один раз мужики-то всею деревней на эту самую Отраву посыкались и порешили бы, да...

— За чем же дело стало? — полюбопытствовал я.

Этот простой и естественный вопрос неожиданно смутил Вахрушку. Он заморгал глазами, дернул плечом, развел рукой, да так и остался с закрытым ртом, точно подавился. Пимен Савельич тоже отвернулся в сторону. Старик все время, пока Вахрушка пересчитывал по паль-

цам «стравленных» мужиков, грустно качал головой и повторял:

— Вахрушка, а Вахрушка?.. Да уймись ты, а?.. А-ах, бож-же мой, да разе про это можно так зря говорить... Вахрушка, а?

— Да я первый бы ее, эту самую Отраву,— заговорил Вахрушка, не отвечая иа мой вопрос,— и с дочерью Танькой вместе... Кишки бы из иих вытащил да обеих колом осиновым наскрозь, н-на!.. Не трави народ, первое дело. Одно званье чего стоит: Отрава... Из других деревеиь к Шатунову бредут бабенки, и все к Отраве, а она уж научит, телячья голова. Да ежели считать, так верных человек сто стравила! Хошь у кого спроси у нас в Шатунове, в Юлаевой, в Зотииой, на Тычках... Вот она какая, эта самая Отрава! А тут следственник выехал, иарод сбили, на окружном суде беспокоить добрых людей будут... Разе такой ей суд надо? Да с ней и разговаривать-то грех.

Деликатные формы нового суда возмущали Вахрушку до глубины души, и он, как бывалый человек, в лицах представил весь судебный процесс.

— «Аина Парфеновна, призиаёте ли вы себя виновиой, что стравили сто шатуновских мужиков и касательно протчиих деревень?» — «Никак иет, ваше высокородие!» А тут уж абвокат пойдет пластать в свое оправдание: и такая-то, и сякая-то, и сейчас в закон ударит, прямо, значит, по статьям,— ну, Отрава и выправится!..

— Вахрушка, а? Да уймись, пе-ос! — усовещивал Пимеи Савельич, вздыхая.— Как это у тебя язык-то поворачивается?.. Таковское ли это дело, чтобы, значит, так просто о нем разговоры эти самые разговаривать?

— У меня свои права есть! — орал Вахрушка в исступлении.— Тогда женешка-то моя Евлаха тоже было... Как это, по-твоему, Пимен Савельич?.. Например, ты пирога с груздями поел, а у тебя в брюхе такая резьба подымется, и сейчас под сердце подкатит. Доставала Отрава-то, телячья голова, и меня, да только я умом своим собственным тоже раскинул: молоком парным едва отпоили в те поры. Значит, теперь у меня свои права в полной форме, и завсегда я могу всякие слова говорить.

Мы в этих разговорах просидели еще часа полтора, пока солдатка Маланья заметила нас и «подмахиула» на своем батике. Батами иазываются лодки вроде тех

деревянных колод, в каких задают лошадям корму. На бату едва можно поместиться двоим, а если сядет третий, то грозит серьезная опасность утонуть от малейшей неосторожности.

— Как же я вас повезу? — раздумывала Маланья, когда бат наконец причалил к берегу.— Четверым не уйти.

Это была приземистая баба-крепыш с ласковыми карими глазами и глупо-довольным выражением круглого румяного лица. В Шатунове она пользовалась незавидною репутацией, но с нее и не взыскивали, как с непокрытой головы. И солдатка живой человек: крепится-крепится, да что-нибудь живое и придумает, а охотников на чужую беду всегда много.

— Что же ты, телячья голова, не плыла раньше-то? — ругался Вахрушка, залезая в бат первым.— Уж мы тут кричали, и палили.

— Ох, без вас тошнехонько! — махнула рукой Маланья и со слезами в голосе прибавила, обращаясь к старику: — Ведь твоя-то Анисья во всем повинилась следственному...

— Н-но-о?

— И все на мамыньку показала... Ох, конец пришел!...

Солдатка вышла на берег, присела на камушек и громко заголосила.

— Ну, вот што, Маланьюшка, ты здесь посиди, а мы, значит, поплывем,— утешал Вахрушка, пробуя весло.— С каким-нибудь мальчонкой выворотим батик-то.

Маланья только махнула рукой. Батик отчалил, тяжело раскачиваясь в воде, а мы держались за борта руками, чтобы сохранить устойчивое равновесие. Фортуна спокойно поплыла за нами, как это и следует умной собаке.

— Кто тебе Анисья-то будет? — спрашивал я старика.

— А дочь! — как-то равнодушно ответил он.— Значит, средняя дочь, а старшая-то в Юлаевой за кузнецом.

— В чем она повинилась?

— Ох, не спрашивай... Страшно и выговорить: мертвое-то тело на покосе нашли — это ейный муж, выходит. Ох, великий грех... тошнехонько!

— Сидите смирно, телячьи головы! — обругал нас Вахрушка, когда батик сильно качнулся.

III

Поп Илья в летнем подряснике из ярко-зеленого люстрина, пожелтевшего под мышками и на лопатках, ходил из угла в угол по комнате, выходившей тремя окнами на широкую шатуновскую улицу. В переводе это значило, что батюшка совершенно здоров. Завидев нас, он выглянул в распахнутое окно и улыбнулся своею застенчивою улыбкой.

— А мы насчет квасу, отец Илья,— объяснял Вахрушка, шмыгая в калитку.— На перепутье, значит, телячья голова.

Поповский новенький пятистенный домик стоял как раз напротив церкви. Новые ворота вели во двор с новыми службами и новым крылечком, которое всегда стояло растворенным настежь, точно приглашая в гости к попу званого и незваного. Но сам двор был совершенно пуст, не в пример всем остальным поповским дворам, переполненным до краев разною живностью,— поп Илья вдовел лет пять, детей не имел и разорил все хозяйство. Оставалась всего одна курица, спасавшая свою жизнь где-то под крыльцом. Вахрушка неоднократно покушался изловить ее, но «дошлая птица» отличалась большою предусмотрительностью и точно проваливалась сквозь землю в самый критический момент.

Пока мы снимали разную охотничью сбрую в задней каморке, поп Илья разговаривал с Пименом Савельичем, который понуро стоял перед окном.

— Не по лесу грех ходит,— повторял он.

— Да, всеконечно,— бормотал о. Илья, разглаживая черную бородку.

Среднего роста, коренастый и плотный, поп Илья так и дышал деревенским здоровьем, которому нет износу. Его портило только опухшее лицо и сквозившая на макушке преждевременная лысина. Близорукие, выпуклые глаза смотрели как-то удивленно. Шагая по своей зале, поп Илья имел привычку постоянно прятать руки в карманы или просто под полу зеленого подрясника.

Когда я вошел в залу, Пимен Савельич простился с попом Ильей и побрел своею дорогой, раскачиваясь на ходу.

— Ну что, как дела, отец Илья? — спрашивал я, чтобы начать разговор.

— Ничего, скверно... Жаль мужика. Мужик-то хороший!..

— Следствие производят?

— Да.

Поп Илья не отличался разговорчивостью и заменял слова усиленною ходьбой. Кроме того, ему, видимо, не хотелось говорить о случившемся.

— Ведь про Отраву рассказывают ужасные вещи? — попытался я еще раз завести разговор.

— Не наше дело.

— Да ведь все же об этом кричат, отец Илья?

— Один Вахрушка болтает... Не наше дело...

Эта полная безучастность удивила меня. Живя в деревне, нельзя чего-нибудь не знать, тем более что здесь выдавалось вопиющее дело.

— Вы у Антоныча остановились? — спрашивал меня о. Илья.

— Да. А что?

— Так. У него полон дом теперь гостей: становой, следователь... Вы оставайтесь у меня.

— Благодарю.

Старушка родственница, заведовавшая несложным хозяйством попа Ильи, подала две бутылки холодного поповского квасу, о котором мы мечтали целый день. Вахрушка припал губами прямо к горлышку и выпил всю бутылку.

— Скусен поповский квас, телячья голова! — похвалил он, вытирая свои тараканьи усы рукавом рубахи.— Не то что наш, крестьянский.

После сидения на солнопеке прохлада поповского дома так и тянула отдохнуть. Улица была совсем пуста. Даже собаки и те попрятались по тенистым уголкам. Вахрушка перехватил какой-то закуски на кухне и ушел отдыхать в сарай. Обедать с нами он ни за что не хотел остаться по особой мужицкой деликатности.

— Нет, уж я, телячья голова, лучше в куфне чего поищу,— объяснил Вахрушка.— Не привычны мы, чтобы с господами компанию водить... Как раз еще подавишься, телячья голова!

— Перестань ты, Вахрушка, дурака валять...

— Нет, уж в куфне... Оно способнее. Вот насчет водочки, телячья голова, ежели такая милость будет... это мы весьма даже принимаем.

Поп Илья махнул рукой на купоросившегося гостя,

который теперь «приунищился» неспроста: вы будто господа, а мы будто мужики,— ну, все-таки у нас свое понятие есть. Мужик сер, да ум-то у него не черт съел. Вахрушкин гонор поднимался на дыбы по самым нпчтожным поводам, как было и сейчас. Самое лучшее, как всегда в таких случаях, оставить его одного,— гонор так же быстро спадал, как и накатывался. Впрочем, эта Вахрушкина политика скоро объяснилась: через полчаса в поповский дом нагрянули настоящие господа — следователь Василий Васильевич, высокий, сгорбленный господин в пенсне, толстый и лысый доктор Атридов, старичок становой Голубчиков. Гости только что кончили следствие и завернули к попу «стомаха ради»,— как объяснил Атридов, нюхая воздух своим приплюснутым жирным носом.

— Это черт знает что такое! — повторял Василий Васильевич, шагая по комнате.— Целая лаборатория всевозможных ядов у этой старушонки... И заметьте: все растительные яды, которые и доказать на трупе в большинстве случаев трудно.

— Друг мой, я вам вперед говорил...— скороговоркой отвечал доктор, обнимая Василья Васильевича.— Уж я знаю, друг мой. Заметили, какое у ней лицо? Настоящая колдунья!.. Нос крючком, глаза горят, как у волка, и хотя бы бровью повела.

Старичок становой сокрушенно вздыхал, посматривая на дверь, откуда должны были появиться поповские наливки и приличная случаю снедь.

— Не правда ли, друг мой,— тормошил его неугомонный Атридов, успевавший надоедать решительно всем,— редкий случай?

— Вот нашли редкость... ха-ха!.. Да у нас этого добра сколько угодно,— отвечал становой, как человек, обязанный знать всю подноготную в пределах своей территории.— В любой большой деревне такая птица сидит, а за этой я уже давно следил... Одним словом, крупный зверь попался.

— И крепко попался... Я и говорю Василью Васильевичу: «Друг мой, вы ее покрепче прижмите, чтобы в собственном соку изжарилась...» Кажется, дело чисто сделали. Не правда ли, друг мой?.. А та, молоденькая-то бабенка, Анисья, с первого раза размякла и прямо в ноги: «Я мужа стравила». Даже очень глупая бабенка... Старуха-то ее очень хорошо учила: «Ты помаленьку

трави мужа, чтобы незаметно было». Ну, неможется человеку — и вся недолга. Так бы и изошел на нет, фельдшер помог бы еще какою-нибудь микстурой, а отец Илья предал бы тело земле... да! Ну, а бабенка не стерпела: перепаратила... Очень уж ей хотелось поскорей отделаться от мужа.

— Большая несостоятельность замечается теперь среди сельского населения,— глубокомысленно заметил становой, любивший выразиться покудрявее.— Например, жизнь человека, самое драгоценное благо, идет совсем прахом, да!

Предобеденная выпивка прошла очень торопливо, по-походному. Доктор и тут успел исполнить долг ровно за троих и хлопал одну рюмку за другой с приличными случаю прибаутками и наговорами. У него не только покраснело заплывшее жиром лицо, но даже лысина, и он к каждому слову теперь прибавлял свое: «друг мой».

— Замечательно то, что за отраву эта старуха взяла с Анисьи всего тридцать копеек деньгами, трубку холста и еще какую-то дрянь, вроде янц,— говорил Василий Васильевич, усаживаясь за обеденный стол и запихивая один конец салфетки за ворот накрахмаленной рубашки.— Это тараканов травить дороже.

— Вы забываете, друг мой, что почтенная старушка вела свои дела оптом, а это целый капитал... Если она сотню людей отправила таким образом ad patres[1] и за каждый сеанс получила, друг мой, трубку холста, по два десятка янц и еще осязуемыми знаками обмена, как говорит политическая экономия... Отец Илья, друг мой, вы что же стомаха ради не чкнете?

— У меня зарок, доктор... Не могу.

— Я вам разрешаю, друг мой... Клин клином вышибай — это мой принцип. А если уж очень будет коробить — сейчас, друг мой, хлорал-гидрат: золотая штучка. Я всегда ее с собой вожу...

— Не могу,— зарок...

За обедом разговоры велись все о той же Отраве, которая пока была заключена в холодную при волости, а отсюда должна быть препровождена в уездный город Пропадинск и там содержаться в остроге до суда. Обстоятельства всего дела и предположения о его последствиях передавались с тем механическим спокойст-

[1] к праотцам (*лат.*).

вием, как это свойственно людям, привыкшим к своей специальности, точно дело шло о самых обыкновенных пустяках. Врачн так же говорят о самых страшных болезнях и удивительных случаях в их практике. Эти разговоры пересыпались самымн домашними отступленнями: у жены Атридова все болели зубы, у станового родились весной двойни, у Василья Васильевича была куплена новая лошадь — коренник с необыкновенно завесистою гривой, дошлая курица попа Ильи, предназначенная сегодня на жертву стомаху, опять скрылась, и т. д. Говорили об отлнчной охоте на косачей в окрестностях Шатунова, когда выпадет первый снег, об удивнтельных рыбных тонях в озере Кекур всего каких-нибудь двадцать лет назад, о жестоком законе, который запрещает священникам жениться во второй раз, и в конце концов опять разговор переходил на Отраву — очень уж редкий случай.

По обстоятельствам всего дела, выясненного судебным следствием, можно было только восстановить его формальную сторону: тогда-то бабенка Анисья, не ладившая с мужем, пришла к Отраве н попросила средствия; Отрава приняла подарки, порылась в своей лаборатории и вынесла необходимую спецню в кабацкой посудине. Бабенка Анисья вместе с средствием получила подробную инструкцию, как ей орудовать, но постаралась и двухнедельную порцию выпоила мужу в сутки. Дело происходило на покосе, в страдное время. У мужика поднялась ужасная «резьба», он катался с воем по земле и прямо указал на жену, что она его отравила. Сбежались соседи по покосу, ребятншки ревели, Анисья потерялась и во всем повинилась следователю, выдав головой Отраву. Старуха, несмотря на поличное, заперлась, и Василий Васильевич ннчего не мог от нее добиться: знать не знаю, ведать не ведаю. Бабенка Аннсья была ясна, как день, но Отрава оставалась загадкой: запираться во всем против прямых улнк слишком наивное средство для такой опытной старухи, а главное, она сама себя не признавала виновной. В ней, в этой Отраве, жило убеждение своей правоты, н это поражало всех.

— А как она сказала про Анисью при очной ставке? — спрашивал я, стараясь распутаться в собственном недоумении.

— Да ничего не сказала, а только посмотрела с со-

жалением,— объяснил Василий Васильевич.— Дескать, нестóющая ты бабенка, коли не успела концы схоронить... Не стоило рук марать. А главное, очень уж дешево все... Тридцать копеек, трубка холста и яйца.

Действительно, очень уж дешево, и это — вторая, запутывавшая дело, сторона. Отрава знала, что дает и чем сама рискует, а идти за тридцать копеек в каторгу — прямой нерасчет. Вообще Отрава являлась некоторою загадкой и невольно подавляла своею самоуверенностью.

— В прежние времена с этими дамами проще обращались,— заметил становой.— Конечно, с какой стати она будет говорить на свою голову, а прежде прописали бы ей такую баню... да-с. Оно, конечно, грубое средство и с женщиной даже жестокое, но, согласитесь сами, как же быть?.. Нужно хоть чем-нибудь гарантировать неприкосновенность личности.

— Вы, друг мой, ошибаетесь,— спорил доктор Атридов, примыкавший всегда к большинству.— Это называется выколачивать истину, а мы живем, слава богу, не в такое время... Да, друг мой.

IV

Вечером у попа все засели «повинтить» — обыкновенное времяпрепровождение засидевшегося провинциального человека. Спускались прекрасные летние сумерки. По улице устало пробрело стадо коров. Блеяли овцы, азартно лаяли собаки, гоготали гуси,— вообще Шатуново переживало тот оживленный момент, за которым так быстро наступает мертвая деревенская тишина. В открытом окне несколько раз появлялась и исчезала голова Вахрушки. Я вышел за ворота, чтобы подышать свежим воздухом. Вечерняя заря ярко алела над озером, которое горело розовым огнем. Из далекого конца, где сошлись стеной камыши, уже потянуло ночною сыростью, и в воздухе, как дым, плавали первые пленки тумана.

Постояв за воротами, я без всякой цели побрел вдоль улицы. Кое-где в избах зажигались огни, бабы встречали возвращавшуюся с поля скотину, деревенская детвора пугливо стихала при виде незнакомого городского человека. Русская засыпающая деревня имеет всегда такой грустный вид, и невольно сравниваешь ее с городом,

где именно в это время закипает какая-то лихорадочная жизнь. Контраст полный... На дороге меня догнал Вахрушка, слонявшийся по деревне без всякого дела,— идти в свою избушку ему решительно было незачем.

— А я-таки сбегал в волостное,— докладывал он, шмыгая ногами на ходу.— Поглядел на Отраву... Ну, и язва только, телячья голова!.. Сидит, как сова в тенете.

Вахрушка удушливо засмеялся, довольный сравнением.

— А што ей будет, значит, Отраве? — спрашивал Вахрушка, забегая бочком вперед.— На окружной суд пойдет?

— На окружной.

— Оправдают, телячья голова! — самоуверенно проговорил Вахрушка и сделал отчаянный жест рукой.— Известно, господа будут судить... В прежние времена за это самое на эшафоте бы взбодрили первое дело, а потом в каторгу, да!.. А нынче какое обращение: «Анна Парфеновна, признаёте себя виновной?» — «Никак нет, вашескородие, а даже совсем напротив». Ну, господа и скажут: «Покорно благодарим». Какой это суд? По-настоящему-то Отраву на ремни надо разрезать...

Около ворот и на завалинках попадались кучки мужиков, тихо разговаривавших между собой, вероятно, о той же Отраве, как и мы с Вахрушкой. Наше появление заставляло их смолкать. В темноте едва можно было различить бородатые, серьезные лица. Кое-кто снимал шапки, вероятно принимая меня за лицо, сопричастное к следствию.

— А в волостном писарь Антоныч с фельдшером в шашки жарят,— проговорил Вахрушка, когда мы поравнялись с двухэтажною избой.— Верно... К попу Илье им теперь не рука идти, потому тоже чувствуют свое начальство, вот и прахтикуют между собой. А какое начальство хоть тот же Василь Василич... Ей-богу!.. Лонись[1] мы с ним за косачами по первому снежку ездили,— самый что ни на есть простой человек, телячья голова. Рядком с ним едем в пошевнях и растабарываем... Разве такое начальство должно быть?

— А какое, по-твоему?

— По-моему-то?.. По-моему, настоящее начальство,

[1] Лонись — в прошлом году. (*Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.*)

когда от страху человек всякого ума решается... Врасплох-то его и бери, а то одумается, так из него правды топором не вырубишь. Ту же Отраву взять: нисколешенько она Василь Василича не испугалась и даже еще разговаривает с им...

Мы зашли в волость. Мне нужно было увидать писаря Антоныча. Это был типичный представитель зауральского писаря: седенький, обстоятельный, с неторопливой речью; одевался он всегда в черные суконные сюртуки и носил «трахмальные» манишки. Фельдшер Герасимов был бедный, попивавший господин, насквозь пропитанный специфическим аптечным ароматом. Если Антоныч держал себя независимо, то фельдшер испытывал какой-то прирожденный страх перед каждою форменною пуговицей и постоянно трепетал.

По скрипучей, покосившейся лестнице мы поднялись во второй этаж. В передней мирно дремал на лавочке старик сторож, заменявший при волости чиновника особых поручений. В присутствии горела на столе сальная свеча и слабо освещала две головы, безмолвно наклонившиеся над доской с шашками.

— Ходу? — спрашивал фельдшер, видимо припиравший противника к стене.— Как ни ворочай, все одна нога короче...

— Гусей по осени считают,— отвечал Антоныч, сдерживая игровую злость.— Подожди, когда другие похвалят... Ах, это вы?.. Милости просим, садитесь.

Воспользовавшись случаем, Антоныч перемешал шашки, что возмутило фельдшера до глубины души. Он только прошептал: «Хлизда».

— Завернули полюбопытствовать насчет содержимой? — галантно обратился Антоныч ко мне, не обращая внимания на «движение» партнера.

Я объяснил, что буду ночевать у попа Ильи и что, пожалуй, не прочь буду взглянуть на «содержимую», если это никого не затруднит.

— Не стоит она того, чтобы беспокоить себя, а впрочем, пожалуйте,— с достоинством пригласил Антоныч следовать за собой.

Шатуновский писарь говорил об Отраве нехотя, с тем пренебрежением, как говорят о предметах неприличных. Фельдшер о чем-то шептался с Вахрушкой и разводил руками.

Антоныч пошел впереди нас со свечой. В сенях была

узкая и крутая лесенка, спускавшаяся в нижний этаж. Там было совершенно темно. Мы спустились в такие же сени, какие были наверху, и здесь натолкнулись на Пимена Савельича и каких-то женщин, боязливо прижавшихся к стене.

— Что вы тут делаете? — строго проговорил Антоныч, обращаясь к сидевшему на скамеечке сотскому.

— А к дочере пришел, Иван Антоныч,— тихо ответил старик, перебирая в руках свою белую шляпу.— Значит, к Анисье. Ох, согрешили мы, грешные... привел господь...

Наступила тяжелая пауза. Прижавшиеся к стене бабы тяжело вздыхали и сморкались. В запертой на железный болт двери проделано было квадратное отверстие, куда я и заглянул. Антоныч услужливо посветил своим сальным огарком, направив полосу света на «содержимых». Холодная представляла узкую грязную комнату с одним окном, заделанным массивною железною решеткой. На полу валялась грязная солома. Отрава, сгорбленная старуха лет семидесяти, сидела на единственной скамейке, по-бабьи подперев голову рукой. Сморщенное старушечье лицо глянуло на нас тусклыми, темными глазами, обложенными целою сетью глубоких морщин. Отрава нисколько не смутилась нашим появлением и только равнодушно пожевала сухим беззубым ртом. У стенки, опустив руки, стояла вторая «содержимая», Анисья, еще молодая бабенка, но с поблекшим лицом и впалою грудью. Глаза у ней распухли от слез, худые плечи вздрагивали. Она была босая и так жалко выглядела всею своею испуганною фигурой.

— Мышей тут ловите, телячьи головы? — спрашивал Вахрушка, просовывая свою голову к форточке.— Ах, вы...

Он выругался, но Антоныч сердито его оттолкнул:

— Не твоего ума дело!.. Все под богом ходим.

— Так ты, Анисья, говоришь, што пестрядину отдать своячине? — вмешался Пимен Савельич, очевидно продолжая какой-то хозяйственный разговор.

— Пусть Нютке скроит рубашонку,— ответила Анисья с удивительною для ее общего убитого вида деловитостью.— Да, Пашуньке... Па-ашунь...

Схватившие ее за горло слезы не дали кончить слова.

— И нар-родец: человек в каторгу идет, а они — пестрядина! — ворчал Иван Антоныч, оттирая старика.

— Да ведь нельзя же, Иван Антоныч,— оправдывался покорно убитый старик,— детишки-то малешеньки... Тоже обрядить надо, а без матерн-то хуже сирот. Так Пашуньке-то нз новых овчин шубенку обставить? — заговорил он в форточку.

— Шубенку, а останутся которые лоскутки, так на заплатки уйдут,— отвечала Анисья с новым приливом энергии.— И чтобы телушку братану Илье, а ярочку свекровушке. После детишкам-то росстава будет...

Бабы у стены начали перешептываться. Сотский цыкнул на них, как на курнц. Отрава сидела неподвижно и смотрела куда-то в угол. «Мамынька, родимая»,— тихо заголосила у стенки солдатка Маланья, не смевшая подойтн к двери. Антоныч сморщился и сделал нетерпеливый жест,— как человек галантный, он не мог выносить глупого бабьего воя.

— Что же, она все молчит? — спросил я про Отраву.

— Как мертвая,— ответил фельдшер, хранивший все время молчание.— Упорная старушонка-с.

Молчаливая, точно застывшая фигура Отравы произвела на всех импонирующее впечатление: за нею, вот за этою семидесятнлетнею старухой, что-то стояло страшное и внушительное, что знала она одна и что давало ей силы. Меня уднвляло то смущенное и совестливое чувство, которое она возбуждала во всех и которого не моглн прикрыть ни Вахрушкина грубость, ни писарская галантность. Даже Пимен Савельич, этот черноземный человек, и тот старался обходить разговоры об Отраве: «господь с ней, не наше дело», и т. д.

— А которое что в сундучишке, так пусть тетка Феклиста побережет,— наказывала Анисья, занятая хозяйственными соображениями.— Смертное [1] пусть полежит... После мне же пошлете, куда накажу. А новые башмаки, может, Нютки дождутся...

Мы вышли другим ходом на крылечко и двором на улицу. Деревня уже спала. Только кое-где мертвая тишина нарушалась сонным бреханьем собак.

— Так вы к попу? — спрашивал меня Антоныч.

— Да... У вас теперь вся квартира занята гостями, а у попа есть свободный уголок.

— Нашлось бы местечко... Гостн-то, поди, к утру

[1] Смертное — одежда, приготовленная на смерть. (*Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.*)

придут — не придут. О, господи помилуй,— зевнул Антоныч в заключение.

Мы пошли с Вахрушкой обратно.

— А ты все-таки схлиздил давеча, Антоныч,— корил в темноте фельдшер своего партнера.— Я совсем в дамки проходил...

— Отвяжись, зуда,— ворчал Антоныч, зевая.

В Зауралье, где раскинулись такие села, как Шатуново, «тысячные писаря» не редкость. Это очень влиятельный и солидный народ, не в пример заблудящим писарькам других губерний. Таким был и Антоныч, который кроме своих прямых обязанностей занимался хлебопашеством, приторговывал при случае и вообще умел сколотить копейку про черный день. Заветною его мечтой было попасть в земские гласные и в члены управы, чтобы этим путем развязаться с деревенскою «темнотой». В подтверждение своих мечтаний он любил приводить характерную поговорку: «Бог да город, черт да деревня». Из таких писарей действительно организуются земские силы вторичной формации, и они вертят всеми делами, особенно в маленьких уездах, где некого противопоставить им.

Поп Илья тоже был из тысячных зауральских попов; у него посевы достигали до ста десятин, было двадцать лошадей, столько же коров,— одним словом, громадное хозяйство. Но после смерти жены, оставшись одиноким человеком, поп Илья запустил хозяйство и начал сильно запивать. Постепенно все хозяйственное обзаведение перешло к Антонычу, а поп Илья угрюмо шагал по своему дому из угла в угол, как затравленный зверь. Эта история никого не удивляла, точно писарь Антоныч для того и существовал, чтобы перевести за себя все поповское добро.

V

Винт в поповском доме продолжался. Выигрывал Василий Васильевич, несмотря на то, что делал постоянно промахи по части выходов, забывал объявленные масти и вообще, выражаясь технически, плел лапти. Его партнер, доктор Атридов, возмущался, стучал кулаком по столу и орал на всю улицу:

— Вы, друг мой, хуже старой бабы... да! Можно

подумать, что вы меня подсиживаете с намерением... Это, друг мой, наконец, черт знает что такое!

Старичок становой не выиграл и не проиграл, поэтому все его лицо сияло одною добродушною улыбкой. Развалины закуски на столе, пустые и недопитые бутылки говорили о жарком деле.

— Поп-то терезвый! — удивлялся Вахрушка, выглядывая на игравших из дверей передней.

Я посидел около игравших и отправился спать в сарай, где на сене Вахрушка уже приготовил все необходимое. Мы улеглись спать; Вахрушка, выспавшийся днем, долго ворочался, зевал и точно про себя проговорил:

— Терезвый поп-то, а то он задал бы, телячья голова, хи-хи!.. У него какая повадка, у Ильи-то: пропустил две рюмки, глаза на крове и заходили, а потом этак молчком подойдет да хлясь прямо в ухо... Вот какая привычка, телячья голова!.. Сперва-то он меня так удивил: за здорово живешь так звезданул... А сам молчит. Ну, а уж потом я к нему вполне привык: как он ко мне начнет приближаться, я ему вперед кулак и показываю: «Не подходи, изувечу насмерть!..» Хи-хи... А так смирнящий, раздушевный поп, и, кажется, кожу с его сымай, как вот Антоныч его оборудывает. Так, зараза у кого какая, я так полагаю, телячья голова...

— А ты пьяный разве лучше бываешь?

— Я-то? Я умнее делаюсь... Верно тебе говорю! У меня своя повадка: чем больше пью, тем умнее. И хоть с кем хошь могу свободный разговор иметь... Значит, телячья голова, вполне.

— Когда содержимых будут отправлять?

— Завтра утром.

Отрава не выходила у меня из головы: что-то такое непонятное стояло за этою странною старухой, отравлявшей целую «округу». Откуда она черпала свое дьявольское спокойствие? Тихая летняя ночь не давала ответа... Уже брезжило утро, и расплывавшиеся полоски белого света лезли к нам сквозь щели в крыше. Где-то звонко прокричал первый петух. Ему ответили десятки голосов. Последние петухи выкрикивали где-то, точно в глубине земных недр,— это доносился петушиный голос с другого конца деревни. Собаки перестали лаять. На улице глухо топотали просыпавшиеся овцы. Где-то близко промычала корова. Вся мирная деревенская об-

становка вставала в этих звуках живьем, и с нею никак не могло примириться страшное дело, совершившееся всего несколько дней назад. Среди этой ночной тишины как должна была мучиться Отрава, обойденная тенями «стравленных» ею?.. Странно было и то, что отравленные были всё мужики. За ними стояли осиротевшие семьи, дети, пущенные по миру,— и все это за тридцать копеек и десяток яиц. Не было никакой логической связи между причиной и последствиями.

Мне припомнились эти «стравленные»: Пашка Копалухин, другой Пашка, зять Спирьки Косого, потом «обязательный старичок» Ефим, а кузнец Фомка и муж Маланьи еще ждут своей очереди. Сами говорят: «Стравит нас тещенька»... И все это так просто, как самое обыкновенное дело. А между тем Шатуново — самое земледельческое место, удаленное от всяких соблазнов и разлагающих влияний, как город, тракты или ярмарки. Исконное крестьянское население всегда отличается мирными инстинктами, а тут вдруг является какая-то старуха, которая возвела в ремесло отравление односельчан. И ведь живет она в Шатунове не год, не два, а всю жизнь. Все ее видят, каждый знает, что она — Отрава, кричат в голос о каждом случае и указывают на старуху пальцами, а она все-таки живет в своей деревне до семидесяти лет. Что-то такое ни с чем не сообразное выплывало из всего уклада крестьянской жизни, становясь вразрез с мирными деревенскими порядками.

Среди царившей кругом мертвой тишины летней ночи доносились изредка возгласы игравших. Собственно, слышался голос одного доктора Атридова:

— Друг мой, это свинство: вы объявили два без козыря, я выхожу с пик...

Временами поднимался общий гвалт, и слышно было, как двигали стульями, поднимаясь для необходимого подкрепления ослабевших сил. Василий Васильевич иногда раскатисто хохотал, старичок становой бунчал, как пойманная за ногу муха, поп Илья безмолвствовал, выдерживая свой трезвенный искус. Это мрачное убивание своего времени ничего общего не имело с тем, что теперь мучительно дремало над всею деревней. Приехали обязанные службой люди, исполнили свой долг и завтра уедут, а Шатуново останется со своею скрытою болезнью. Внешнее проявление зла будет уничтожено,

правосудие будет удовлетворено, но все это только скользит по поверхности, оставив после себя смутный и расплывающийся след.

Утром на другой день я проснулся довольно поздно. Вернее сказать, это было уже не утро, а, по-деревенски, послеобеденное время: двенадцать часов. Вахрушки в сарае не было. В поповском доме стояла тишина. Единственная поповская курица ходила по двору с гордостью «последнего римлянина». Сам поп Илья еще спал, но это не мешало в гостиной на столе отлично вычищенному самовару кипеть с самоотверженным усердием.

— Третий раз доливаю самовар-то,— сообщила мне старушка, заправлявшая хозяйством.— Тот шалыганто... ну, доктор этот... уж забегал раза два и в окошко палкой стучался.

— Поздно вчера разошлись гости-то?

— А солнышко, видно, взошло.

Пока я умывался, поп Илья успел проснуться и встретил меня у самовара. Он был сегодня особенно мрачен. Пока я пил свой стакан чаю, поп Илья ходил по комнате с сосредоточенностью человека, осужденного на бессрочную каторгу. Разговориться с ним в такую минуту было трудно: да, нет — и весь разговор. Раза два он подходил к окну и заглядывал на улицу, которая в такое время всегда пуста. Теперь не было даже ребятишек и собак.

— Кто у вас вчера выиграл? — спрашиваю я для оживления наших разговоров.

— А так... никто.

— Для чего же играли?

— А так, нужно убить время.

Молчание. Самовар перестает кипеть и только вздыхает, как человек, пробежавший целую станцию. На улице стоит тяжелый зной, от которого попрятались все курицы. Тени никакой. Озеро режет глаза тяжелым блеском полированной стали.

— Жарко! — говорит поп Илья, вытирая вспотевшее лицо платком.

— Страда хорошая.

— Да...

Мой собеседник, оставив стакан, начинает опять

мерно шагать из угла в угол с упорством сумасшедшего. В окне показывается голова Вахрушки.

— Чай с сахаром! — приветствует он не без галантности.

— Заходи, гостем будешь,— откликается поп Илья, не переставая шагать.

— Недосуг, телячья голова: сейчас Отраву на окружной суд отправлять будем.

— А тебе-то какая забота?

— Мне?.. А вот пойду и погляжу, как Отраву барыней повезут... Как же, заместо того штобы кольем ее разорвать, в город везут — добрых людей беспокоить. Образованные люди всё мудрят, телячья голова! Хи-хи... «Анна Парфеновна, признаёте себя виновною?» — «Никак нет, ваше высокородие». Ну, Отрава и выправится. А около волости со всей деревни народ сбежался. Тоже от ума: поглядеть, как Отрава поедет с Анисьей... Всё пешком ходили, а тут сразу две барыни.

Мне хотелось посмотреть последний акт деревенской драмы. Когда мы с Вахрушкой подходили к волости, там гудела толпа народа. Собрались старый и малый. У крыльца стояла простая телега, заложенная парой. Сотский, с бляхой на груди, вымащивал на облучке какое-то хитрое сиденье. Бабы столпились через дорогу у новой пятистенной избы Ивана Антоныча. Слышались отрывочные восклицания, вздохи и сдержанный шепот. В окне волости несколько раз показывалась голова Ивана Антоныча, вопросительно поглядывавшая через дорогу. Ждали, когда становой кончит завтрак.

— Василь-то Васильевич с дохтуром уехали давно,— сообщал мне Вахрушка.— Напились чаю и угнали, а становой Отраву сам повезет... В честь попала, телячья голова!

Я остался в толпе, чтобы прислушаться к говору собравшихся здесь людей. Мужики сосредоточенно молчали или вполголоса разговаривали о своих хозяйственных делах. Заметно было то общее смущение, которое вызывала Отрава в мужицких головах. Бабы жалели Анисью.

— Тихонькая бабенка какая была,— слышался в толпе голос.— Воды не замутит, а тут вон што стряслось.

— Помутилась бабочка, вот и стряслось,— отвечал другой голос.

— Тише вы, бабы... Эк вас взяло!

Бабы на минуту смолкали, а потом иачинался новый шепот. Голова Антоныча появлялась в окие все чаще. Сотский несколько раз влезал иа устроениое сиденье, одавлял его и глупо ухмылялся, довольиый общим виимаиием.

— Тебе бы, Потап, шпагу надо дать,— острил Вахрушка, прииимавший в этих опытах деятельное участие.— Формеииее, телячья голова! С барынями поедешь.

Накоиец в окие писарской избы показалась седая голова стаиового и сделала соответствующий знак голове Аитоныча. Толпа глухо колыхиулась. Сотский иырнул в сени. Показался Пимен Савельич без шапки и с ребенком на руках. Другой ребенок боязливо цеплялся за полу его чекменя. Под коивоем Антоиыча вывели Отраву и Аиисью. Оии шли торопливою походкой и иеловко уселись в телеге. Какая-то бабенка тыкала два узелка под кучерской передок, где торчали иоги сотского. Бабы захиыкали.

Голова станового иаблюдала происходившую сцеиу и сделала второй знак.

— Трогай! — крикиул Аитоныч кучеру, подбиравшему вожжи.

— Сичас.

Аиисья сидела с убитым видом, опустив глаза. Пимеи Савельич подтащил к ией ребятишек. По лицу Аиисьи пробежала судорожиая тень, искривившая помертвевшие губы. Оиа с какою-то жадиостью припала к детским головкам и вся замерла.

— Трогай!

Толпа расступилась, давая дорогу. Отрава поклоиилась миру иа все четыре стороиы, перекрестилась и иичем ие выдала своего душевиого иастроеиия. Бабы иачали причитать. Какой-то звоикий жеиский голос резко выделился из остальных и тем речитативом, как голосят по покойиикам, прииялся иаговаривать последиие бабьи слова. Голова стаиового подала иетерпеливый зиак, и телега с отравительиицами тронулась.

По толпе пробежало то судорожиое движеиие, как по тихой застоявшейся воде от первого порыва бури. Оставшиеся ребятишки-сироты ревели, Пимеи Савельич стоял на волостиом крылечке, по-прежиему без шапки и крестился.

— Ну, слава богу! — повторял писарь Аитоныч, при-

нимая свой обыкновенный степенный вид.— Гора с плеч...

Звякнул колокольчик, и из ворот писарского дома выкатил дорожный экипаж станового.

— Вашему высокоблагородию... — раскланивался Вахрушка, подскакивая к экипажу.— Скатертью дорога...

Колокольчик дрогнул и залился своею бесконечною дорожною болтовней.

VI

Позднею осенью мне пришлось заехать в Шатуново. По первому снегу здесь всегда была такая отличная охота на косачей «с подъезда». Остановился я у писаря Антоныча, которого дома не было,— он уехал в деревушку Низы со сборщиками податей. Чтобы разыскать Вахрушку, необходимого человека для охоты, я отправился к попу Илье.

Деревенская улица осенью — это сплошная грязь, которая так и застывает. Народ был дома, и везде шла крестьянская домашняя работа «на зиму»: поправляли избы, подвозили дрова, клали печи. Полевые страдные работы кончились, и до зимы можно было управиться с разною домашностью. Одна беднота по первым заморозкам торопилась на молотяги, чтобы взять новину. Справные мужики ждали, когда «станет» озеро Кекур, чтобы обмолотиться прямо на льду. Попа Илью застал я дома. Едва я успел отворить ворота, как наткнулся на самого хозяина, который в обществе Вахрушки, с поленом в руках, гонялся за своею последнею курицей.

— У, каторжная!..— ревел Вахрушка, стараясь обежать удиравшую от него курицу.— Отец Илья, валяй иё по ногам... Ах, телячья голова, опять ушла!..

Оба были пьяны настолько, что даже не могли стесняться состоянием своей невменяемости. Лицо у попа Ильи распухло, волосы были всклочены, костюм в беспорядке, и вообще он имел вид «разрешившего человека». По некоторым данным можно было заключить, что запой продолжался не меньше двух недель. Когда курица окончательно скрылась, Вахрушка обругал ее вдогонку, плюнул и, подходя ко мне, проговорил:

— Сорвало!

— Что сорвало? — спросил я, не понимая этого слова.

— А вот нас с попом Ильей сорвало... Третью неделю чертим, телячья голова.

Поп Илья стоял, опустив голову,— он был просто жалок, когда первая буйная половина болезни сменялась угнетенным состоянием. Теперь он находился именно в такой полосе и, кажется, плохо сознавал, что происходило кругом него... Вахрушка всегда ждал поповского запоя, как праздника, и водворялся в поповском доме, как у себя. Пил он вместе с хозяином, но водка на него не действовала: на время его вышибало из ума, а потом оставался только полугар, и Вахрушка переживал блаженное настроение. Мужицкое железное здоровье сказывалось в этом случае самым осязательным образом.

— Отец Илья, пойдем в избу,— приглашал Вахрушка, подхватывая хозяина под руку.— Мы курицу завтра изловим, телячья голова, а в избе можно и прилечь... В ногах правды нет, телячья голова.

По пути Вахрушка успел подмигнуть мне и льстиво уговорил попа Илью идти в горницы. Тот повиновался не рассуждая и только время от времени сжимал свои отекшие кулаки.

— Того гляди, хлобыснет по морде,— объяснял Вахрушка, проводя больного в сени.— Не успеешь оглянуться, как прилепит,— такая уж зараза. Ведь разговаривает, телячья голова, как следует быть человеку разговаривает, а тут как развернется... Я этих поповских блинов достаточно наелся-таки! Сыт... И тоже другая зараза: беспременно экономку свою колотить. Как увидел, сейчас чем попадя и благословит, а потом сам же и заплачет... Вот он какой, поп-то Илья: ходи да оглядывайся... А душа в ем, телячья голова, предобреющая и ума палата... Недели по две разговоры эти самые разговариваем.

При помощи разных военных хитростей Вахрушке удалось заманить попа Илью в спальню и уложить в постель. Через четверть часа он уже храпел, как зарезанный.

— Как ведерный самовар зажаривает...— ухмылялся Вахрушка, показывая головой на спальню.— А вы насчет косачей?

— Да.

— Оно теперь самое способное время, только вот поп будто связал меня по рукам и ногам...

— Как знаешь, я и один съезжу.

— А вы по заозеру возьмите... От Юлаевой к Низам

пойдут островки: тут как ворон этих косачей! Многие господа любопытствуют: Василь Василич недавно приезжал, так пострелял, становой...

Было уже поздно, и я отправился на квартиру к Антонычу. Писарь только что вернулся из своей поездки и, видимо, дожидался меня за кипевшим самоваром.

— Проведывать ходили нашего батюшку? — спрашивал он, здороваясь со мной.— Очень ослабли... Сельчане-то жалуются, а тоже надо рассудить и по человечеству: живой человек-с. Сидит-сидит, как медведь в берлоге,— ну и разрешит... Много их таких-то вдовых попов, а я всегда говорю мужикам: вы не смотрите на его слабость, а на священство. Да-с. Мы в нем должны нашего пастыря уважать, а не вино. Другой и трезвый, а... Не прикажете ли ромцу?

На огонек подошел фельдшер Герасимов и скромно поместился в уголок. Говорили о последних деревенских новостях, о разных городских знакомых, об урожае, о чуме в соседнем уезде и тому подобном, о чем разговаривают в таких случаях. В окна уже глядела темная осенняя ночь, самовар пускал тоскливые ноты, стаканы с чаем стыли на столе. Стук в окно заставил всех вздрогнуть: это был Вахрушка.

— Эк тебя взяло, полуночника! — выругался Антоныч, дергая за шнурок от затвора калитки.

— А я вот к барину,— бормотал Вахрушка, появляясь в дверях.— Значит, телячья голова, насчет косачей... не могу я оставить попа. Чуть вывернется из избы, а уж сейчас и гребтится,— как бы чего он не сделал над собой... Неровен час!

— Мы уж уговорились,— отвечал я.— Я один поеду завтра.

— Вахрамей, посмотри ты на себя, в каком ты образе? — усовещивал гостя Антоныч и внушительно качал головой.

— В настоящем своем виде, Иван Антоныч, потому как я от вина только умнее делаюсь... Другой дурит, а у меня в башке настоящая музыка играет.

— Оно и видно, что музыкант.

Зачем приплелся Вахрушка, трудно было сказать. Пьян он был в надлежащую меру, об охоте разговоры кончились, а Вахрушка все переминался с ноги на ногу. Антоныч искоса поглядывал на непрошеного гостя и только морщился. В другое время он без разговоров

выпроводил бы его в шею, а теперь ему просто было лень. А Вахрушка все стоял и ухмылялся.

— Ты бы шел лучше домой,— заметил фельдшер.

— Я... домой? — озлился Вахрушка.— Я знаю, когда мне домой идти... Может, я разговаривать пришел, телячья голова!

— Ну и разговаривай.

— Потому как я в полном уме сейчас... да!

Повернувшись ко мне, Вахрушка с вызывающим видом проговорил:

— А вы знаете, господин, как с Отравой на окружном суде поступили?

— Нет, не знаю.

— Так-с... И с Анисьей тоже?

— Тоже не знаю.

Антоныч сделал нетерпеливое движение, но Вахрушка его предупредил:

— Уйду, сейчас уйду, Иван Антоныч... Дай слово вымолвить: в каторгу услали обеих, сударь! Вот оно какое дело-то!

— Что же, ты доволен?

— Я-то?.. Про меня и собаки не брехают... А вот как вы, сударь, полагаете насчет этого самого случая? Вот это самое...

Признаться сказать, этот вопрос меня смутил, и я не нашелся ничего ответить. В самом деле, как судить уже осужденных, тем более что многое в этой истории для меня лично оставалось темным?

— Вот то-то и есть,— торжествовал Вахрушка, выкручиваясь из своего неловкого положения.— Оно и так можно рассудить, и этак можно. Теперь нужно так взять: ушла Отрава в каторгу и Анисью с собой прихватила, а кому от этова от самова стало легче?.. Ошибочку большую тогда эта Анисья сделала, телячья голова!.. Не умела концов схоронить, да и подвела Отраву под обух, а теперь нашим бабенкам и ущититься нечем.

— Перестань ты, Вахрушка, молоть! — оговаривал его Иван Антоныч, разглаживая бородку.— Тогда что ты говорил, непутящая голова? «Кольем исколоть Отраву!» — кричал по всему селу... Всех науськивал да смутьянил.

— Я не отпираюсь: было дело, телячья голова!.. Ведь я мужик и по своей линии говорил, а теперь насчет баб разговор — это опять своя линия. Да!.. Вы, сударь,

послушайте, что я вам скажу от своего-то ума. Дуры эти бабы, вот первое дело... Им бы зубами за Отраву надо держаться, потому защита ихняя была. У нас как теперь баб увечат, одна страсть... Того же взять Пашку Копалухина: возьмет жену да за ноги и подтянет к потолку, а сам ее по спине вожжами, пока из сил не выбьется... Все суседи сбегутся смотреть, как она вся синяя висит, а Пашка в окошко кричит: «Моя жена, на мелкие части изрежу». А другой Пашка, значит, зять Спирьки Косого, свою жену все на муравейник водил, так на обродке, как козу, и волокет в лес, а там разденет донага, вобьет в муравьище кол, свяжет ей руки назади, посадит голую на муравьище, да к колу руки и привяжет. Цельную ночь иной раз на муравьище-то сердечная корчится, ревет благим матом, а никто ослобонить не смеет, потому как Пашка-то тут же, около нее, на траве лежит и на гармонике играет. Тоже вот обязательный был старичок Ефим... Он двух жен в гроб заколотил, женился на третьей, на молоденькой, и над ней свой характер стал оказывать. Ефим-то возьмет жену да и стреножит: левую ногу с правою рукой свяжет ремнем, да так неделю и держит, а ежели она начнет жалиться, он ее шилом в самое живое место или по толченому стеклу учнет водить. Было это, Иван Антоныч?

— Перестань ты, Вахрамей... Мало ли зверства по деревням темнота ваша делает!

— А я к чему речь-то веду, телячья голова?

— Ты лучше про себя расскажи, как свою жену увечил.

— Было и мое дело, не отпираюсь... Иногда пьяный и поучишь, на то она и баба. Где же мое-то начальство? Надо мной и становой и старшина куражатся, надо и мне сорвать сердце. Это точно, бивал Евлаху...

— Да ведь умеючи надо бить, малиновая голова, а то ухватил полено и давай обихаживать им жену по чем попадя.

— Постой, постой, дай ты мне, телячья голова, речь-то кончить! Я насчет баб все... У Отравы три мужа было, и зверь к зверю: один косу оторвал вместе с мясом, другой поленом руку ей перешиб, третий кипятком в бане хотел сварить. Это как по-вашему? Тоже у дочери у ейной, у Таньки: первый ребро Таньке выломал, второй скулу своротил... Взять опять Анисью, дочь, зна-

чит, Пимена Савельича, чего она натерпелась от мужа-то?.. Вышла она из богатого дома за голяка, потому как была по девичьему делу с изъяном... Он, муж-от, в первый же раз, как повели молодых в баню, ногами ее истоптал, а потом уж совсем озверел. Истряслась бабенка... Так оно и пошло у них наперекосых: мимо мужто не пройдет, чтобы зуботычины не дать, при всем народе много раз за косы по улице таскал; а потом уехали на покос, у ней уж терпенья не стало. Все бабенки-то, которым невмоготу, завсегда к Отраве шли, а та средствие свое представит и всему научит. Ну, мужикам все же опаска... Моя-то Евлаха тоже ведь стравить меня этак же хотела. Резьба тогда в брюху у меня такая пошла, што хуже смерти: точно траву стали косить в нутре... Тогда вот я и говорю, телячья голова, про Отраву-то: большую неустойку показали бабенки-то наши. Теперь уж совсем нечем им будет ущититься супротив мужьев!..

— Что же, правда так правда,— заметил Иван Антоныч, когда Вахрушка ушел.— Зверства этого вполне достаточно... Мужики зверствуют, а бабы травят — это по всем деревням так.

— И в каждой большой деревне своя Отрава есть,— прибавил фельдшер из своего угла.— Мне постоянно приходится отваживаться с отравленными... А между прочим, до свидания, Иван Антоныч. Пора спать, видно.

— И то пора... Ох-хо-хо!.. Согрешили мы, грешные...

Деревня давно спала мертвым сном, и только кое-где тишина нарушалась собачьим лаем.

ГРОЗА

Из охотничьих рассказов

I

Гора, на которой мы остановились с Шапкиным, называлась Чертова Почта. Нельзя не сознаться, что это именно название как нельзя больше шло к ней. Представьте себе довольно крутую гору с несколькими лысинами по бокам: по самой широкой из лысин, начиная с утесистой вершины, тянулись совершенно параллельно две полосы точно нарочно рассыпанных камней. Очевидно, что эти камни когда-то отвалились от каменного гребня на вершине горы, а потом были сдвинуты вниз снегами, или даже, может быть, когда-нибудь существовал здесь ледник, оставивший на своем пути ряды морен. Издали, особенно если смотреть на Чертову Почту снизу, глазу представляется совершенно правильная широкая дорога, установленная по бокам довольно крупными валунами,— вот потому-то уральские охотники и назвали ее «Чертовой Почтой».

— Прямо чертова почта,— объяснял Шапкин, усаживаясь на один из валунов.— Вот какие чемоданы да котомки *он* пятил на гору-то, а потом спьяну и разбросал по сторонам...

— Непременно пьяный? — спросил я.

— А то как же?.. *Он* хоть и черт, а тоже не без ума... Заставь-ка *его* трезвого-то этакую страсть каменья наворотить. По-вашему, по-ученому-то, может, это и смешно, а мы даже очень понимаем все *его* штуки.

Шапкин, как все настоящие охотники и игроки, был очень суеверен, притом он до известной степени был поэт в душе и облекал жизнь природы в самые таинственные формы.

— Послушайте, Лука Агафоныч, а ведь нам не дойти засветло до Ломовиков,— проговорил я.— Вон солнце уж на закате, а идти верст семнадцать будет.

— Дойти-то дошли бы, да вон там шапка плывет...—

раздумчиво заметил он, указывая головой на северо-восточную сторону неба, где круглилась и росла темная грозовая туча, точно вырвавшийся из какого-то гигантского орудия громадный клуб черного дыма.— Гроза будет страшенная...

— Что же делать?

— А тут есть балаган, под Востряком, там можно заночевать, если хотите.

Грозовая туча росла с поразительною быстротою, как это бывает иногда в горах, и ничего не оставалось, как только согласиться на предложение опытного старого охотника, знавшего местность как свои пять пальцев. Идти под проливным дождем верст пятнадцать было бы плохим удовольствием.

— Вот спустимся по Чертовой Почте, перекосим ложок и как раз упремся в балаган,— объяснил Шапкин, вскидывая на плечо свою тяжелую старинную двустволку.— И откуда, подумаешь, туче было взяться... эк ее раздувает!..

Когда мы начинали спускаться с горы, вдали глухо гукнул первый удар грома, как будто он прокатился под землей. Все кругом как-то разом стихло и замерло, точно в природе разыгралась одна из тяжелых семейных драм, когда все боятся со страху дохнуть. Солнце быстро клонилось к западу, погружаясь в целое море кровавого золота; по траве от легкого ветерка точно пробегала судорожная дрожь, заставлявшая кусты жимолости и малины долго шептаться. Там, далеко внизу, тени быстро росли и сгущались в ту вечернюю мглу, которая залегает по логам сплошной массой; бурый ельник, который отделял Чертову Почту от Востряка, с каждым шагом вперед вырастал и превращался в темную зубчатую стену. Место было дикое, но именно теперь, когда с одной стороны горело зарево заката, а с другой темной глыбой надвигалась гроза, оно делалось красивым своей дикой поэзией. Вся эта жалкая северная природа точно дохнула всей грудью, и то, что не имело смысла, взятое отдельно, получило особенное значение в общем: все эти разбросанные по сторонам камни, топорщившиеся в траве кусты и кустики, точно выросшие внезапно силуэты отдельных елей и пихт,— все слилось в одну великолепную гармоническую картину, которой нельзя было не залюбоваться.

— Вон как на Талой дождь запластывает,— прого-

ворил Шапкин, когда мы совсем уж спустились с Чертовой Почты.— Прямо на нас так и катит!..

Гора Талая, до самой вершины заросшая молодым сосняком, вся точно вспыхивала при каждом громовом всполохе, и можно было отчетливо рассмотреть даже отдельные ветви деревьев, вырезывавшиеся на светлом фоне. Туча выползала с левой стороны Талой и пустила вперед себя мутную косую полосу дождя, которая тянулась на нас, точно тучу задергивала какая-то невидимая рука громадной парусиной. А там, на западе, блестело последним светом закатывавшееся солнце, обливая розовым огнем верхушки леса и скалистые гребни гор. Это была настоящая борьба света и мглы, сопровождавшаяся оглушительной канонадой. Гора Востряк, торчавшая своей одинокой верхушкой, как громадный зуб, была в двух шагах, и мы скоро зашагали по громадному ельнику, где было уже совсем темно. Брести по такому лесу, особенно вечером, даже привычному охотнику всегда как-то жутко; вас охватывает мертвая тишина, сырой воздух давит грудь, начинает казаться, что никогда из этой трущобы не выбраться, и невольно прислушиваешься к шуму собственных шагов, который теряется в мягком желтом мхе. Именно в таком ельнике и «блазнит» непривычному человеку, который начинает бояться собственной тени и со страхом пробирается вперед через лесную чащу, валежник и папоротники. Глухо, неприятно кругом, точно над головой нет больше неба, а тьма ползет на вас со всех сторон и начинает медленно давить.

Я всегда любил смотреть, как Шапкин ходил в таком лесу. Дело в том, что простой охотник-любитель идет всегда дуром, как попало, в крайнем случае только по известному направлению, а «охотник по преимуществу» идет с расчетом и очень редко прямо — он выбирает каждый шаг и делает его уверенно. Резкой особенностью такого охотника служит то, что как он зашел в лес, так и пропал — вы идете с ним чуть не рядом и все-таки его не видите. Эта манера на всякий случай идти под прикрытием всего лучше характеризует настоящих охотников, и Шапкин именно ходил так... вошел в лес — точно сквозь землю провалился; десять раз пройдешь мимо него и не заметишь, что он стоит где-нибудь за стволом дерева или «притулился» за кустиком. Появлялся Шапкин тоже как-то совсем

неожиданно и уж не с той стороны, где вы его предполагаете, притом ходил всегда совершенно неслышным шагом. Не в лесу он без передышки делал по тридцати верст медленным, развалистым шагом, точно хорошо заведенная машина. Глядя на его нескладную фигуру, с несоразмерно длинным туловищем и короткими вывороченными ногами, никто не подумал бы, что этот медведь — записной ходок. И теперь я едва успевал следовать за ним, хотя Шапкин шел самым обыкновенным шагом и даже останавливался иногда. Таким образом, мы перекосили ельник в каких-нибудь полчаса, и когда почва пошла заметно в гору и деревья начали редеть, кругом было уже совершенно темно, и только впереди белесоватым пятном выделялся какой-то просвет. Это была, как оказалось, глубокая лесная прогалина, где и стоял искомый балаган.

— Вот мы и дома,— провозгласил Шапкин, подставляя руку под редко падавшие первые капли дождя.— Только-только успели выбраться...

По надвигавшемуся глухому шуму со стороны Талой можно было заключить, что гудел настоящий ливень, какие бывают на Урале только в июле, когда по ночам играют так называемые «зарники», или зарницы, по великороссийскому говору, то есть при совершенно чистом, безоблачном небе вспыхивают на горизонте красные огни, точно далекая молния, хотя последняя никогда красной не бывает. Балаган стоял на опушке смешанного леса, под прикрытием нескольких очень высоких лиственниц, высоко поднимавшихся своими широковетвистыми вершинами над шелестевшими под ними осинником, березами и мелкой еловой зарослью. Такой смешанный лес никогда не бывает на матерых нетронутых местах, а толчется непременно около жилья или по лесным порубям и чрезвычайно напоминает собой каких-то лесных разночинцев. Господствующие лесные насаждения на Урале — это хвойные леса: ель, сосна, пихта, кедр, а лиственные породы жмутся только по лесным опушкам и главным образом около воды, причем замечательно то, что большинство этих лиственных пород — пришлецы из средней России и на Урале появились сравнительно недавно, именно двести — триста лет назад, когда русские поселенцы принялись «сводить» уральские леса. Колонизация новых лесных пород шла за человеком шаг за шагом, преимущественно реч-

ными долинами, где вместе с русскими поселенцами осела далекая российская гостья, береза, и ее младшая сестра — липа. Собственно, в Сибири береза была неизвестна, и среди инородческого населения сложилась легенда, что вместе с этим «белым деревом» идет и власть «белого царя».

— Скиток раскольничий здесь когда-то стоял,— объяснил Шапкин, останавливаясь перед балаганом,— потому здесь очень превосходный ключик есть в овражке, точно слеза сочится... Мед, а не вода.

Балаган, сгороженный из толстых лиственных плах, походил на верховой погреб, обложенный дерном, только здесь сверху просто была насыпана земля и потом уже она обросла травой и даже березками. Мимо него можно было пройти в десяти шагах и не заметить. Таких балаганов по широкому приволью Уральских гор раскидано множество, потому что в них ютятся от непогоды и охотники, и бродяги, и артели ягодников, и раскольничьи старцы, и лесообъездчики. Зимой, когда олень уводит охотника на лыжах верст за двадцать, такой балаган единственное спасение. Внутреннее устройство балаганов везде одинаково: сейчас у двери очаг из камней, большею частью без трубы, задняя половина занята широким помостом — и только. Если хорошенько натопить очаг, то в балагане делается жарко, как в бане, но неудобно то, что во время топки балаган весь наполняется дымом, как топятся все курные избы, а потом, когда отверстие на крыше, заменяющее трубу, заткнуть дерном или травой, в балагане долго стоит тяжелый угар. Но охотнику все это не в диковинку, и он только кряхтит от удовольствия, обливаясь потом на полатях; дым и угар в счет нейдут, потому что, главное, было бы тепло и чтобы жгло уши жаром.

Пока я старался развести огонь на очаге из старых головешек, стружек и хвои, Шапкин принес целую охапку сухарника и «медовой» воды в медном чайнике. Через четверть часа, когда над нашими головами разразилась гроза и лес точно застонал от раскатов грома, у нас в балагане весело горел огонек и быстро наливалась живительная теплота.

— Слава тебе, господи! — крестился Шапкин каждый раз, когда отворенная дверь балагана вспыхивала ослепительным пламенем занимавшейся молнии.— Вот это превосходно... ишь как молонья разыгралась!

— Чего превосходно-то?

— А гроза? Куда бы мы без грозы-то поспели... Все у нас от грозы: и хлеб спеет, и трава доходит, и цветы. Посмотри-ка, как завтра все засмеется кругом: настоящий праздник будет...

— Это от дождя, а не от молоньи.

— Ну уж извините... Ох, где-то дерево расщепало молоньей — слышите?

Среди разгулявшихся звуков трудно было различить треск разбитого молнией дерева, но в этом случае я вполне полагался на Шапкина, потому что он, как музыкант, различал отчетливо в хаосе звуков каждую отдельную ноту, Я, собственно, любовался всполохами яркого света, который на мгновение открывал вид и на Чертову Почту, и на Талую, точно отдергивался какой-то занавес и на громадном светлом экране вспыхивала целая горная панорама, резавшая глаз отчетливостью своих деталей. Ливень каждый раз прекращался перед особенно страшными ударами молнии, чтобы потом забушевать с новой силой, как будто где-то открывался гигантский душ и вода бросалась сплошною струей.

— Всем бы хорошо,— задумчиво говорил Шапкин, подкладывая новое полено в огонь,— да только я вот Агничке не сказался, что, может, заночую в лесу... ждать будет; беспокойная она у меня.

II

В числе наших охотничьих трофеев было два рябчика и линялый косач, которые и были назначены на ужин. Пока кипел чайник, Шапкин ощипал дичь; рябчиков, не выпотрошив, завернул в широкие листья какой-то травы и в этом виде закопал в горячую золу, а косача оставил на похлебку.

— У него, у подлеца, мясо теперь как подошва,— объяснил Шапкин, взвешивая ощипанного косача на руке.— Он на варево только и годится, а рябчики в самом соку... Супротив наших уральских рябчиков нигде не сыскать: первый сорт, потому он теперь сидит на землянике, а наша-то земляника тоже известная ягода — с огнем поискать. Когда мы с покойником Асафом Иванычем на охоту ездили, так уж очень он любил,

чтобы этих рябчиков земляникой начинять и рому прибавлять, а только я это не уважаю.

— Это Ведерников, Асаф-то Иваныч?

— Он самый... Страшенный охотник был — хлебом не корми, а только в лес пусти. У Асафа-то Иваныча повар испанец был, собственно, еще у его матушки, у самой старухи Ведерничихи... Хара́ктерная была покойница и любила покушать чистенько. Может, слыхали? Коренная столбовая дворянка была, не чета нынешним-то, и содержала себя весьма неприступно. Ну, так я у этого повара-испанца и наблошнился разной стряпне, так что Асаф-то Иваныч по этому случаю без меня никуда на охоту не ходил. Ох, лют был на всякого зверя ходить... Да что говорить, сам был хуже всякого зверя: рука как двухпудовая гиря — тройку на всем скаку останавливал, жеребцов одним ударом с ног валил... Вот и я, нечего бога гневить, не обижен силенкой, а супротив Асафа Иваныча вроде как воробей какой или комар. Разгуляется, бывало, Асаф-то Иваныч в теплом местечке и начнет удивлять: двугривенные двумя пальцами сгибал... Могутный был человек. Одних медведей сколько поднял на рогатину, а больше всего любил на лося зимой ходить... Это ведь самая душевредная охота, потому верст тридцать иной раз за зверем на лыжах надо пробежать. Тут уж одному ничего не поделать, а непременно надо вдвоем или втроем... Мы вдвоем хаживали, когда глубокий снег падет и зверя выследят. Асаф-то Иваныч дня три перед охотой не пьет, чтобы на ногу легче быть, ну потом и орудует. Ведь это какая охота: найдем след сохатого и жарим по следу на лыжах, Асаф Иваныч впереди, а я за ним. Как настигли зверя, и пошла потеха... Подумайте то одно, что этакую махину, как сохач, надо на бегу замаять. Пробежит Асаф Иваныч верст пять за зверем — верхнюю шубу долой, а я сзади ее подимаю. Ну, натурально, отстанешь и только уж по следу за ним торопишься. Глядишь, верст через пять нижний бешмет валяется на полу, потом шарф, даже шапку бросит, потому разгорится человек на бегу до смерти и никакого холоду не чувствует. Бывало так, что Асаф-то Иваныч и ружье бросит, и с одним ножом гонится,— и уж непременно положит зверя. Раз этак-то замаял он сохача, выбил его из сил, ну, зарезал, а я с одежей-то едва через полтора часа добежал к нему. Он в одной рубашке

сидит на сохатом, и пар от него валит, как от пристяжной лошади. Железный был человек, а пропал от своего характера: водочка да девушки унесли веку, без ног сделался на сороковом году, а ведь здоровья на полтораста лет было...

К числу похвальных душевных качеств Шапкина, между прочим, принадлежала скромность, так что он, в вящее возвеличение Асафа Иваныча, от чистого сердца превращал себя в воробья, хотя и не имел ничего общего с этой вульгарной и бессильной птицей. Достаточно было взглянуть на необъятную сутулую спину Шапкина, на его длинные руки, какую-то необыкновенную четырехугольную шею, чтобы убедиться в его громадной силе, и действительно, он в свои под шестьдесят лет кулаком забивал двухвершковые гвозди в стену и поднимал за передние ноги стоялых жеребцов. И лицо у него было самое подходящее к фигуре: глубоко посаженные маленькие серые глазки, развитые надбровные дуги, высунувшиеся скулы, большая нижняя челюсть, едва тронутая жиденькою растительностью песочного цвета, и ни одного седого волоска в светло-русых волосах. Говорил Шапкин неопределенным жиденьким голоском, как иногда говорят люди очень большого калибра, и улыбался добродушной, немного глуповатой улыбкой, от которой все лицо у него точно светлело. Дома он одевался на господскую руку — в длинный сюртук и крахмальные рубахи, а на охоту являлся в какой-то мудреной кожаной куртке, купленной где-то по случаю с барского плеча. Теперь он сидел перед огоньком в охотничьих ботфортах и в одной ситцевой рубашке, с обношенным и полинявшим от долгого употребления воротом, который так и врезывался в его загорелую могучую шею.

Я любил слушать бесконечные рассказы Шапкина о разных «случаях», которыми обильно пересыпана была вся его жизнь; вернее сказать, эта жизнь представляла одну сплошную цепь таких случаев, потому что жил он, как птица, изо дня в день. Любимой его темой были воспоминания о фамилии Ведерниковых, потому что Шапкин вырос под крылышком этой столбовой дворянской семьи в качестве простого дворового человека. Для меня лично Шапкин представлял особенный интерес именно с этой стороны, как обломок крепостного режима. Здесь необходимо оговориться. Урал, как и вся Сибирь, в со-

словном отношении делится только на крестьян, промышленников, купцов и чиновников — помещичий элемент здесь отсутствует, так что ни Урал, ни Сибирь не знали крепостного права в тесном значении этого слова. Уральское горнозаводское население было только приписано к заводам и находилось в совершенно исключительных условиях. Но в смутную эпоху дворцовых переворотов XVIII века на Урал, собственно, в Зауралье, было заброшено несколько помещичьих семей, владения которых являлись крошечными островками на необъятном море остальных заводских и казенных земель и не имели никакого самостоятельного значения, как вообще дворянский помещичий элемент; в настоящее же время эти помещичьи земли или перешли в руки кулаков, или пустуют, а их владельцы давно разорились или вымерли. Странные были эти помещичьи семьи, замешавшиеся в среду сибирского населения, как морская рыба, которая по ошибке попала в реку, а из них особенно выдавалась фамилия Ведерниковых, особенно старуха «Ведерничиха», мать Асафа Иваныча.

— Ох, было-таки пожито,— с тяжелым вздохом рассказывал Шапкин.— Когда жива была сама Ведерничиха, так у нас в Карабаше сплошное Христово воскресенье стояло... да!.. Село простое было Карабаш, а какая усадьба — дворец. Конечно, теперь головешки одни остались, сгорела усадьба-то, да и Ведерниковых, почитай, никого не осталось... Ндравная была старушка и такой порядок завела: над воротами наладила вышку, вроде как башня, а на вышке постоянно особенный сторож ходил, чтобы докладывать, кто по дороге мимо едет. Тракт в версте проходил... Ну, доложат, примерно, что тройка бежит, сейчас верховых, и тройку заворачивают на двор — лошадей в конюшню, кучеру водки, колеса долой, а гостей в усадьбу. Выживи три дня и ступай себе с богом. Раз как-то благочинный попался, на следствие ехал, дело спешное, а старуха его не пущает — выжил он таким манером положенные три дни, а потом потихоньку пешком и ушел на почтовую станцию за семнадцать верст. На моих памятях было все...

После «воли» Шапкин очутился на улице, как большинство дворовых, и поселился в уездном городе Загорье, где в течение двадцатилетних мытарств успел сколотить себе домишко, в котором теперь и проживал «своими средствами». Правда, благоприобретенное

жилье было немного лучше балагана под Востряком и только что не кричало, что развалится каждую минуту, если его не подопрут кольями со всех четырех углов; но все-таки у Шапкина был свой угол, а это было залогом полной самостоятельности. Очутившись на воле, Шапкин перепробовал всевозможные профессии. Служил на Чусовском караване, искал золото, настраивал фортепьяна, устраивал ночлежный дом, даже сеял репу, но все эти профессии ничего, кроме убытков, не давали, и Шапкин под конец остановился на театре, к которому прилепился всеми силами души и тела. Заветной его мечтой, правда, всегда было попасть в горное загорское правление, к так называемому «золотому столу», где наживали во время оно «большие тысячи», но эта мечта так и осталась мечтой, да и времена переменились: блаженные дни сидевших за «золотым столом» миновали... В театре Шапкин не имел определенного занятия и не получал никакого определенного жалованья, а служил *так*, как и жил: при случае, когда заболевал кассир, продавал билеты, при случае мазал декорации, при случае «играл» на турецком барабане в оркестре, при случае изображал «народ» и т. д. Только одного он никогда не делал — не играл на сцене, потому что, как говорил сам, у него был плохой «резонанс», то есть произношение, а в сущности, Шапкин просто трусил, потому что был вообще совестливый и скромный человек. Эти «занятия театром» для него имели еще то преимущество, что делали лето совершенно свободным, а это для его поэтической души было дороже всего.

— Конечно, у «золотого стола» весьма превосходно, без красненькой домой не придешь,— говорил Шапкин в припадке откровенности,— а все-таки чиновник — как цепная собака, а я вольный казак... Хочу — за дупелями пойду летом-то, хочу — за утками,— сам большой, сам маленький. А к зиме подвалят актеры, работы по горло.

Кроме специально театральных дел, Шапкин иногда исполнял разные поручения своих бесчисленных знакомых: одна знакомая барыня просила достать непременно белую козлуху, там квартира понадобилась кому-то, дальше подыскивали охотника на иноходца и так далее, без конца. Вообще до чужих дел Шапкин был великий охотник и из-за них позабывал о себе. Такими людьми на Руси хоть пруд пруди, и, как кажется, это одна из наших национальных особенностей. Чем существовал

Шапкин, какие у него были средства — являлось неразрешимой загадкой, вроде квадратуры круга, но он существовал и, мало того, всегда находился в самом ровном и благодушном настроении духа.

— Помилуйте, да о чем горевать-то? — удивлялся Шапкин.— Одному-то персоналу много ли нужно: зимой театр, летом вот дупельки, рябчики... Нам добра не изжить!..

Занятия «театром» давали Шапкину самые жалкие нищенские гроши, но для него важна была не материальная сторона дела, а сознание, что и он работает, что и у него есть совершенно определенная профессия, что и он, наконец, может болеть и радоваться в определенном направлении, как органическая часть живого целого. Новые декорации, новая пьеса, новый талант провинциальных подмосток — все это приводило его в неподдельный, немного детский восторг, как плохие сборы и разные специально театральные неудачи лишали его сна и аппетита. Провинциальный театральный мирок, полный вечного разделения, интриг и закулисных каверз, являлся для Шапкина постоянной заботой, потому что нужно поддержать такого-то актерика, сбить спеси зазнавшейся, капризничавшей примадонне, провести на хорошую роль начинающий талант, поощрить подарочком искреннее служение музам,— словом, работа без конца и, главное, совершенно добровольная работа, которой никто не хотел замечать, а тем более ценить. Другой на месте Шапкина давно плюнул бы на все, но он служил делу, а не лицам, и в этом, может быть, заключалась тайна его философского благодушия. Провинциальные труппы вообще набираются с борку да с сосенки и потому вечно грозят моментальным распадением из-за ничтожнейших пустяков; в таких критических обстоятельствах Шапкин бегал и суетился, как бегают крысы в корабле, давшем течь и готовом пойти ко дну.

— В третьем акте актриса Размаринова из-за трека чуть всю обедню не испортила,— повествовал Шапкин с наивным трагизмом.— Треко-то в одном месте немного поотцвело, а ей нужно было Периколу играть... нет, не Периколу, а Маргариту в «Маленьком Фаусте», ну и подняла содом. Так ведь едва уломали... И вся-то ей цена — расколотый грош, а уж умела угодить публике, потому ноги у ней были антик. На Ирбитской ярмарке

купцы в неистовство чувств приходили от ее ног и на себе на квартиру каждый вечер из театру ее возили. Ноги для настоящей актрисы первое дело, на них корсета не наденешь...

Нужно заметить, что Шапкин не брал капли вина в рот, не курил и вообще был самый воздержный человек, хотя и не без некоторых слабостей. Так, он не мог никогда удержаться, чтобы не приврать малую толику, когда разговор заходил об охоте, потому что очень уж любил все необыкновенное. Впрочем, всем записным охотникам, как известно, присуща эта маленькая слабость. Раз как-то на охотничьей стоянке разговор зашел о джигитовке. Народ собрался все бывалый: кто рассказывал о джигитовке донских казаков, кто о черкесах, кто о текинцах. Шапкин слушал все внимательно и, когда все рассказы истощились, добавил следующее:

— Что же, это невелика еще хитрость — с лошади шапками рубли поднимать или на ногах в седле скакать, а вот со мной случай был... Как-то в оренбургской степи была джигитовка — вот это так джигитовка, могу сказать!.. У дороги поставили кадушку ведер в шесть, налили ее молоком и бросили в кадушку двугривенный. Ну казачок на всем скаку чубурах головой в кадушку, схватил двугривенный зубами и валяй дальше... Простые оренбургские казачишки орудовали!..

III

Итак, мы сидели в балагане; ливень продолжал еще идти, но буря уже миновала, и только изредка раздавался в горах оглушительный громовый раскат, точно отстреливался неприятель, отступавший в беспорядке. Приятно было именно в такую погоду сидеть у весело потрескивавшего огонька, освещавшего неказистую обстановку балагана какими-то взрывами: полоса света то выхватит гнилой угол, разрисованный зеленоватою плесенью, то прокопченный дымом бревенчатый потолок, то заглянет под полати, где валяется всякий сор — остатки натащенного сюда охотниками сена, суковатое полено, изношенный лапоть, обрывок гнилой веревки. За приятными разговорами мы выпили целых два чайника, а потом принялись за изжарившихся рябчиков,

которые оказались, конечно, превосходными, как верх доступного человеку кулинарного искусства.

— А вы слыхали, как сибирские купцы живых осетров с собой возят? — спросил Шапкин, вслух продолжая нить своих мыслей.— Очень просто: возьмут такого живого осетра, завернут в оленью доху и положат с собой, а как приехали на станцию — сейчас ему в пасть стакан водки, и опять дальше. Так его можно везти ден пять...

Этот неожиданный осетр явился, вероятно, в pendant[1] к изжаренным рябчикам. Люди, которые долго остаются с глазу на глаз, часто ведут такой отрывочный и, по-видимому, бессвязный разговор — каждый настолько занят нитью собственных размышлений, что совершенно не замечает бессвязности своего вопроса. В ответ на осетра, глядя, как Шапкин уплетает удивительно зажаренного рябчика, я неожиданно для самого себя спросил его:

— Скажите, пожалуйста, Лука Агафоныч, вы когда-нибудь были больны?

— Я-с... То есть настоящей болезни, пожалуй, не бывало, бог миловал, а так случай один вышел... И захворал бы, непременно захворал бы, ежели бы не один знакомый фершал. Это когда я еще в театре не служил, а ходил на чусовском караване. Дело весной было: суматоха, хаос, столарня, не приведи господи никому, потому дело спешное, а бурлачье это, прямо сказать, ничего не понимают. Ну, все караванные служащие, как сплав, так на другой же день от крику без голосу, а только хрипят, как которые злые цепные собаки. Бегаешь целый день, высуня язык, время весеннее, самое обманчивое, того гляди, прохватит ветерком. Таким манером я и почувствовал себя неладно, точно совсем другой стал — и руки не мои, и ноги тоже, и голова как глиняный горшок. Вижу, плохо дело, сейчас к фершалу, а он каждую весну приезжал зубы дергать пристанским бабам, потому что все они зубами на сплаву маются. Другой зараз зубов пять выхватит... Осмотрел меня фершал и говорит: «У тебя, Лука Агафоныч, кислоты нет...» — «Как так кислоты нет?» — «А так, говорит, такая есть болезнь, что в человеке вся кислота истребится». И вылечил: истолк сулемы да медного купоросу,

[1] дополнение (*франц.*).

да еще прибавил каких-то злых кореньев — и как рукой сняло... После я доктору знакомому рассказывал, так не верит и даже весьма смеялся. А все-таки я нынче к ненастью иногда чувствую, как будто опять во мне этой кислоты мало стаёт... ей-богу!.. Вот вам смешно, а я это очень хорошо чувствую и стараюсь водворить кислоту: уксус пью, лимоны ем, капусту соленую... очень помогает.

За рябчиками последовала косачиная похлебка, а затем ничего не оставалось, как лечь спать.

— Ну, теперь я вас буду дымом угощать,— говорил Шапкин, притворяя дверь в балаган.— А то холодно будет...

— По-моему, уж лучше пусть будет холодно, а то задохнешься еще, пожалуй.

— Нет, вы только закройте глаза, а потом привыкнете, даже понравится.

Я кое-как уговорил старика подождать еще часок, пока калякаем о разных разностях. Для меня сидеть таким образом у огонька, где-нибудь на охотничьей стоянке, всегда доставляло истинное удовольствие: кругом темь, хоть глаз выколи, мертвая тишина, ночной холодок ползет снизу и заставляет вздрагивать, а ты сидишь как зачарованный, уставившись в огонь, и как-то ни о чем не думаешь, а просто чувствуешь себя безотчетно хорошо. На душе делается так легко, точно перенесся совсем в другой мир, разом стряхнув с себя все злобы и треволнения, которые одолевают в обыкновенное время. И сидел бы так без конца, чувствуя, что и тебе нет никакого дела до всех остальных людей и им тоже. Есть зеленые горы, есть лес, есть пара рябчиков в ягдташе, есть медовый ключик в лесу — и довольно... Вот это и есть счастье, насколько счастье возможно. Да и много ли нужно для такого счастья? Спрятался человек от дождя в балаган, подставил один бок к огоньку, а там пусть вся природа корчится в конвульсиях безумной борьбы разгулявшихся стихийных сил. Может быть, это очень некрасивый эгоизм, но ведь он разыгрывается на пространстве всего нескольких квадратных сажен, и я часто завидую Луке Агафонычу, который, выражаясь языком Шопенгауэра, так полно может «растворяться в настоящем».

— А все-таки Агничка беспокоиться будет...— несколько раз повторял Шапкин, потягиваясь и зевая.—

Очень она у меня сумнительная девчурка. Во второй класс гимназии перешла... как же, умненькая такая растет.

Агничка была воспитанница Шапкина, которая жила вместе с ним в его избушке. Это была задумчивая одиннадцатилетняя девочка, темноволосая и сероглазая. По всему складу маленькой изящной фигурки можно было заметить, что Агничка была не простого роду, но как она попала к Шапкину — он не любил рассказывать, и когда разговор заходил на эту тему, отмалчивался или заминал речь. Впрочем, у него была страсть к воспитанницам, вынесенная, вероятно, еще из помещичьей усадьбы, где всегда ютились таинственные девицы всех возрастов под общим термином «шпитонок». Старуха Ведерничиха любила окружать себя такими безродными существами, и Лука Агафоныч унаследовал от нее это пристрастие. До Агнички, по его словам, у него была другая воспитанница, которая заплатила ему за отеческие попечения самой черной неблагодарностью,— звали ее Марфенькой. Нашлись злые языки, которые таинственную Агничку называли незаконной дочерью Шапкина, потому что он ужасно возился с нею; но такое предположение еще требовало доказательств, а их не было налицо. К женщинам Шапкин относился в высшей степени сдержанно, хотя и не без галантности театрального человека и любезника старой школы, только он не любил рассказывать разных пикантных анекдотов и «детских» историй, к чему все записные охотники имеют большую склонность. Скоромные разговоры он всегда слушал со сдержанной и какой-то больной улыбкой, точно обижался. Только раза два он как-то случайно проговорился, когда мы ночевали вдвоем в лесу, о какой-то Анне Асафовне, и то очень неясно... «Вы не знавали Анны Асафовны? — как-то неожиданно спросил меня Шапкин.— Ах, какая была отличная дама... такая дама, такая дама, что просто даже удивительно!» — «А кто она такая?» — «Да так, она при театре находилась... замечательная дама!» Этим разговор и кончился, так что отличная дама Анна Асафовна оставалась для меня загадкой, хотя по величанью и можно было предполагать в ней дочь знаменитого Асафа Иваныча Ведерникова.

— Вы не были женаты, Лука Агафоныч? — спросил я нечаянно, раздумавшись об Агничке.

Мой вопрос точно передернул Шапкина, и он вдруг как-то неловко съежился, точно его укололо.

— Это вы насчет Агнички? — тихо спросил он.

— Нет, так... просто...

Наступила неловкая пауза. Дождь заметно стихал, в открытую дверь потянуло уже ночною сыростью; было часов десять ночи.

— А ведь про Агничку напрасно болтают,— заговорил Шапкин, с трудом подбирая слова,— что будто она моя дочь... Совершенная напраслина-с!.. Я Агничку действительно люблю, и даже очень люблю, может быть, больше родной дочери, а только она мне чужая, то есть, собственно, пожалуй, и не чужая, а так... Анну-то Асафовну помните?

— Нет.

— Вот была дама... ах, какая это была дама!.. Да что тут говорить...— махнул рукой Шапкин в каком-то отчаянии.— Это такая была замечательная дама, такая дама... Может быть, помните актера Карачарова? Он все больше в Загорье играл...

— Высокий такой?

— Да, четырнадцати вершков росту, в плечах широченный и пасть как у быка,— ну настоящий был трагик, по всей форме. Бывало, двух человек себе на грудь ставил. Ну-с, так этот самый Карачаров от Анны Асафовны, можно сказать, и в землю ушел...

— Как так?

— А так... случай такой. Ведь дама-то какая была?! — еще раз воскликнул Шапкин, хватаясь обеими руками за голову.— То есть Анна Асафовна, собственно, была барышня, а только... ну, одним словом, это с актрисами всегда так бывает: девица на дамском положении, и Анна Асафовна тоже. Вот однажды Карачаров и скажи одно слово про Анну Асафовну... очень ей не понравилось это самое слово. Как-то сошлись они вместе, Анна Асафовна как накинется на Карачарова, сбила его с ног и давай топтать, а потом схватила его за горло да в окошко и хотела выбросить этакую махинищу, а Карачаров только хрипит. И выбросила бы, ежели бы добрые люди не отняли... при мне все было, на моих глазах. Никому бы в свою жизнь не поверил, что такие женщины бывают, а вот бывают же... Карачаров-то после этого самого случая чах-чах, да так и не поправился. Нет, да вы представить себе не можете, что за

дама была Анна Асафовна: такнх больше не осталось... извините!.. Куда?.. Что вы... ведь это что такое было: тигр, а не женщина!

Шапкин ужасно воодушевился, размахивал руками н даже с азартом нападал на меня, хоть я н не думал спорить с ним.

— Какое же слово сказал ей Карачаров? — спросил я, чтобы привести старика в себя.

— Слово?.. Ах, если бы вы зналн Анну Асафовну...— продолжал Шапкин, не расслышав вопроса.— Да на других-то женщин после нее и смотреть не захотели бы... Какие это женщины? Галки — и весь разговор. Вон у нас каждый год новая примадонна, а что в них толку: двух фунтов не поднимет другая, а тоже, я, говорит, примадонна... тьфу... Анна-то Асафовна возьмет, бывало, двухпудовую гирю да двадцать пять раз одной ручкой — вот этаким манером — спустит и поднимет ее (Шапкин показал, как Анна Асафовна поднимает гирю) и не дохнет. Вот какая это была женщина... да-с! Ростом она невелика была и лицом не так красива, а что касается всего прочего — портрет... И не то, что толстая там была, а в настоящей препорции, как следует барышне. Руки, ноги у ней... ах, да что тут говорить — нет больше таких женщнн, нет и нет, да и не будет никогда!.. Купцы просто сатанели, когда она в треко оденется, бывало; вся в ямочках, как точно будто из воску вылеплена.

— А теперь где она?

— Умерла... лет уж с восемь этому время будет. Так от самых пустяков погубила себя, потому что все-таки женская часть в ней была. Оно ведь кому как: другая только встряхнется, а Анна Асафовна не таковская была женщина — золотая душенька, только уж судьба ей такая задалась. У меня на руках и померла. Вот где мое горе было — немало я тогда над ней слез пролил, а она же меня и утешала, голубушка. Агничка-то, значнт, дочь ей приходится, Анне-то Асафовне; вот я и любуюсь над ней: хоть и далеко до матери, а все же знакн есть... этак рассердится иногда да исподлобья, исподлобья и засмотрит... ах, люблю я эту Агничку, вот как люблю н уж выведу в настоящие люди, чтобы после добрым словом старого дурака помянула. Ведь нынче что, жить да жить барышням надо да господа благодарить, потому везде скатертью дорога: и в телеграф, и в учнтельши, и в разные конторы, а прежде только и

свету в окне, что замуж, а то нщи блох у болонок, пока не околеешь. Порядочная прежде темнота была даже н у образованных-то людей...

— Анна Асафовна была дочь Асафа Иваныча?

— А вы как знаете?

— Да по отчеству видно...

Старик на мгновение задумался, вытер лицо ладонью и с тяжелым вздохом проговорил:

— Да, дочка Асафа Иваныча, голубчнка... Кто бы мог подумать... а?.. У Асафа-то Иваныча еще сын был, он и теперь жив, в богадельне в Загорье содержнтся, потому что не в своем разуме, да н изубожился... э, да долго вам это все рассказывать, потому что и моя тут часть вышла... да, не смотрите, что я из дворовых, а чувствовать и я могу... да!.. К женскому полу я никогда сладострастия не имел, как покойничек Асаф Иваныч; думал, что н век так нзживу, а тут вышла н моя часть... Здоров я был нз себя в том роде, как вот дерево какое смоленое, а тут как разобрало, так, кажется, лучше руки бы на себя наложнл, чем этакую смертную муку принимать.

Старик задумался. Огонь догорал, н только легкое синеватое пламя перебегало по углям; дождь совсем прекратился, и небо было чистое, ясное, точно расшнтое серебряными блестками по голубому бархату — именно такой шелковистый отблеск бывает только на нашем бледном северном небе. Я подбросил новых дров на очаг, и веселое пламя опять осветило весь балаган. Шапкин сидел неподвижно и безучастно смотрел на трещавший огонь; он слишком был подавлен своими воспоминаниями н несколько раз устало взмахнвал левой рукой, точно отгонял одолевшие его мысли.

— Господи, как подумаешь, чего-чего на белом свете не бывает...— заговорил он после длинной паузы, точно просыпаясь.— Я ведь вам рассказывал, как в Карабаше жнли... это еще до воли было. Анна Асафовна тогда еще совсем маленькой была... этакая белокурая да резвая, всегда с голыми коленками ходила, потому у Асафа Иваныча одна англичанка к детям была приставлена. На руках я нашивал Анну-то Асафовну, когда она маленькой была. Тэной ее все звали,— это по-аглицкому выходит все равно что по-нашему Аннушка. А крепкая была Тэна, когда, еще дитей совсем, ухватится за шею — кочень кочнем. В праздник оденут ее в белое такое

платьице, кружевные кальцончики, ботиночки — чистый ангел, а не девочка. Так на моих глазах Тэночка выросла до одиннадцати лет, а потом эта самая воля объявилась, ну, известное дело, кто куда — все разбрелись из Карабашей!.. Старуха-то Ведерничиха тогда же и умерла, прямо от огорчения, а Асаф Иваныч ножек лишились. Мое дело такое вышло, что на волчьем положении состоял: волка ноги кормят... Тогда я по разным статьям орудовал. Ну-с, таким манером прошло весьма немалое время, может, лет семь или восемь, я уж по театральной части пошел... Хорошо. Тогда эти оперетки только объявились: «Орфей в аду», «Птички певчие», «Прекрасная Елена» — работы всем много, а публика, можно сказать, ума решилась: так и ломит в театр, так и ломит. Только и свету в окне что оперетки да шансонетки, а проклятущие примадонны просто взбесились: такие цены брали, такие цены — страсть!.. Пятьсот рублей в месяц, и не подходи... Антрепренеры просто замаялись с примадоннами, потому публике ни первых любовников, ни трагиков не надо, а подавай примадонну. Вот раз и слышу, что к нам в Загорье поступает новая Елена, и рассказывают про нее чудеса... Хорошо. Приехала и только успела переодеться, сейчас ее на сцену; ну, публика неистовствует... Я тоже пошел посмотреть — и что бы вы думали: Тэночка Ведерникова. У меня так сердце кровью и облилось, окаменел весь, а она хлещет: и юбками, и ногами, и плечами... Дворянское дите, холеное да неженое, и вдруг перед публикой хуже, чем нагая, а публике резонанс у ней больше всего понравился, потому как Тэночка всякими языками говорила, и уж насчет словесности, извините,— только слушай. Французские шансонетки на французском языке так и откалывала и ножкой при этом... Господи! вот до чего дожили... Верите, заплакал я даже. Ежели сама Ведерничиха-то жива была бы,— да она руки бы на себя наложила от этакого сраму!.. Что бы вы думали, я целых две недели не мог подойти к Тэночке и объявиться пред ней, каков я есть человек. Совестно было, да и ее конфузить не хотел. А потом уж, как она с этим Карачаровым тогда познакомилась, я ей и отрекомендовался. Передернуло ее сначала, а потом ничего, только смеется... Она тогда и порассказала мне, как у них Карабаш адвокаты отняли, и как Асаф Иваныч без ножек лежал, и как братец Сереженька в богадельню попал, потому

как совсем беспутным человеком оказался: кутил напропалую, а из себя был жиденький такой, ну и скоро разумом ослабел и пляску святого Витта получил. Она рассказывает, а я плачу-с... Нет моих сил терпеть, точно я сам бы взял да умер лучше. Ну, Тэночка-то сначала в гувернантки поступила, потому как девица с большим резонансом была, да не ужилась; известно, какая жизнь этим гувернанткам: как мышь сиди в мышеловке... А дело ее было совсем молодое: жила-жила Тэночка в гувернантках да с самим-то барином и познакомилась, а барыня узнала да в шею ее. Ну, выбросила девку на улицу, и ступай себе на все четыре стороны. Вот она мыкалась-мыкалась, и голодом и холодом сидела да в театр и махнула; а там, конечно, рады, потому что этакого резонансу и во сне не слыхивали.

Старик тяжело перевел дух и замолчал.

— Ну-с, нехорошо это рассказывать, а был великий грех,— продолжал Шапкин,— как я посмотрел на Тэночку, какая она стала, на ее силу необыкновенную — так она мне к самому сердцу пришлась, так пришлась... Ведь вот поди же, как человек устроен! Ну, что я такое для Анны Асафовны, ежели разобрать: червь, и только, а между тем я все о ней думаю, день и ночь думаю — нейдет с ума, и конец тому делу. И, как теперь, помню, как все это случилось... точно в театре, ей-богу. Анна Асафовна тогда уж вплотную с этим Карачаровым связалась... Ах ты, господи, господи, что иногда с человеком делается! Ну, что, кажется, в этом Карачарове любопытного для такой барышни, как Тэночка: рожа у него одна, так не приведи господи во сне увидать, а она в нем души не чаяла и сколько раз при мне, бывало, обовьет его шею своими руками и давай целовать эту поганую-то рожу. Одним только и брал Карачаров, что смешить умел Тэночку — уморит со смеху, а Тэночка без него весьма скучала и постоянно меня за ним посылала, чтобы я его разыскал по трактирам да по разным вертепам. И слова не даст вымолвить про Карачарова, про его разные поступки; уж прямо сказать, что полюбился сатана пуще ясного сокола̀. Подарки ему дарит, деньги дарит, ухаживает... тьфу!.. Я так полагаю, что было тут дело нечисто: приворожил он Анну Асафовну, а может, и потому еще он ей глянулся, как состав имел для мужчины необыкновенный. Все-таки не понимаю... Всего, бывало, ему накупит: и рубашек, и одеяло новое,

и — с позволения сказать — даже кальцонов, а он никакой благодарности не понимает. Одним словом, баловала его, как малого ребенка. Раз этак она и придумала везти Карачарова на охоту — всю снасть купила, на, милый-размилый, а я вместо кучера у них. Отлично... Приезжаем в лес, я и повел Карачарова по болоту, да тут и вспомнил, что огня позабыл разложить Анне Асафовне; пожалуй, еще лошадь-то убежит у ней, потому как она при экипаже осталась. Бреду это я и слышу, что кто-то дрова у нас на стану рубит, и так рубит, что только стон стоит. И что же бы вы думали — это сама Анна Асафовна дрова рубила... Я нарочно, знаете, не подошел близко, а только взял да издальки спрятался за дерево и долго любовался на нее: картина. Отыскала она комлистую такую сухарину, вершков восьми в отрубе, да ее и нажаривает, а я смотрю да смеюсь про себя: «Отрубить-то, мол, мы отрубим, а вот как, Анна Асафовна, колоть будете...» Обрубок-то пуда в три был. Не успел я это подумать, как Анна Асафовна ляп топором по обрубку да как через плечо треснет его о сухарину — так на три полена и расколола сразу. Ах, какая это была дама... такая дама. Ну тут со мной и сделалось неладно...

— Как неладно?

— А так-с... С этого самого моменту тошно мне сделалось, а потом напало на меня какое-то зверство. Ей-богу... Хожу как очумелый бык, а у самого на уме Анна Асафовна. А она, как нарочно, постоянно меня при себе держит и даже часто одевалась и раздевалась при мне до рубашки, потому что знала, что я не имею сладострастия к женщинам... Ну, рассудите, каково было мне все это терпеть? Ах, как я ее любил... чувствую, что даже думать-то об этом самом мне смешно, а сам еще больше чумею — так вот инда дух во мне захватит. Другие весьма к водке бывают подвержены в таких случаях, а я и этого не могу, а только смотрю на Анну Асафовну и казнюсь... Всего хуже мне было, как она примется меня посылать за Карачаровым — сердце из меня вынет, бывало, одним словом. Грешный человек, не раз думал: убью Карачарова, порешу Анну Асафовну, а под конец себя кончу — никому не доставайся... ей-богу!.. Озверел, значит... Ох-хо-хо! грех-то не по лесу ходит, а по людям. И что бы вы думали: Анна-то Асафовна ведь догадалась насчет меня: «Ты, говорит, Лука Агафоныч, совсем по-

глупел нынче, и ничем, говорит, не могу объяснить этого, как только тем, что ты в меня влюблен...» Я уж тут напрямки ей и отвсеил, а она меня в шею. Однако опять воротила к себе и так смешком сказала: «Ну, черт с тобой, оставайся, если уж я так тебе понравилась». Только после этого случая заметно стала остерегаться меня и раздетая не допускала до себя. Одно только скажу: что ни делала Анна Асафовна — все у ней посвоему выходило, этак умненько, все с гордостью-с. Да-с. А скажет слово — так прямо рублем подарит. Разе я не чувствовал, что она настоящая барышня, а я раб пред ней, а все-таки Анна Асафовна не надсмеялась надо мной. Вот это-то самое и дорого...

Шапкин увлекся своим рассказом и позабыл, что давно нужно ложиться спать.

— Я уж вам рассказывал, как Анна Асафовна собственными своими ножками Карачарова истоптала,— продолжал он,— он вскоре и душу свою поганую отдал... туда и дорога, потому что он постоянно обманывал Анну-то Асафовну, как пес какой. И на кого менял: одна была водевильная горничная, самая лядащая девчонка — взять двумя пальцами и переломится; ну, с ней путался и с другими тоже. Ну разве это не обидно было Анне-то Асафовне при ихней-то гордости, когда все это она видела и только из своей гордости такой вид принимала, что ничего не замечает? Ежели бы еще Карачаров с какой-нибудь красавицей или настоящей дамой лямурился, все же не так оно обидно было бы Анне-то Асафовне, я так полагаю, потому что женщина она была гордая и не любила жаловаться. Не стало Карачарова; кажется, тут и спокой, так нет — она же и принялась тосковать да убиваться об нем. Да ведь как убивалась!.. Насмотрелся я тогда страсти и, можно сказать, досыта наплакался — и про свою-то любовь забыл, даже очень стыдился, потому что разве я мог так чувствовать, как Анна Асафовна,— прямо сказать, березовое полено я был перед ней. Я за ней ухаживал тогда уж опять постарому, как раньше, и все придумывал, чем бы ее развеселить. Ну тут Ирбитская ярмарка подвернулась. Мы с Анной Асафовной туда и махнули — может, на людях-то, думаю, она и разойдется помаленьку. И не такое горе великое изнашивают, а человек молодой скоро забывает. Хорошо-с... Приезжаем в Ирбит. Ну, натурально, ярмарка; народ, как вода в самоваре, кипит.

А только нужно вам сказать, что эта Ирбитская — кажется, хуже ее ничего нет. Насмотрелся я таки всего на своем веку — всякой пакости видел и с Асафом Иванычем, и с бурлачьем, и в театре, а такого сладострастия не видал-с. Преужасный народ съезжается туда, то есть не народ, а дьяволье... Натурально, как Анна Асафовна объявилась на ярмарке, за ней и ударились: кто во что горазд, всякому хочется удивить. Она уж тогда сделалась точно в отсутствии ума и тоже всех удивляла: в руки никому не давалась, а только душу выматывала да зорила... Такой кутеж около нее стоял, точно Содом и Гомор, а Анне Асафовне даже весьма приятно было дурачить разных купчишек, потому что у них известное понятие: деньгами, мол, что хочешь куплю. Другой протянет, бывало, к ней свою лапу, чтобы обнять или за ногу схватить, так она его прямо смажет по роже, а им, подлецам, это еще приятнее. А никто не знал, кроме меня, как Анна Асафовна по ночам-то плакала да убивалась, когда домой придет... Еще хуже, чем в Загорье, пожалуй, и я жизни не рад стал: замучила и меня. Тогда уж меня ни на шаг от себя-то не отпускала, даже в свою спальню и спать клала: она на кровати ночивает, а я на полу... Ярмарочное дело очень даже опасно для женщины.

— А все-таки эта проклятущая Ирбитская и доконала вконец Анну-то Асафовну,— с тяжелым вздохом продолжал свой рассказ Шапкин, низко опуская голову,— резонанс она там потеряла... да. То ли простыла где, или болезнь приключилась — только прежнего резонанса как не бывало, а куда же Анна Асафовна после этакой жизни да без резонанса? Станет петь и оборвется... А тут еще беда: была она тяжела после Карачарова, хоть никому и не говорила, даже от меня таилась. Известно, все-таки девичье дело, как хотите, оно даже весьма совестно, а Тэночка-то настоящая барышня была, ей вдвое еще совестнее. Ну, я-то примечал уж за ней давненько, что будто она сильно уж круглиться начала, только молчал, потому дело наше совсем маленькое. Хорошо-с... Как быть? И совестно-то, и денег-то нет, и резонансу лишилась, и тоже надо спокой иметь в таком положении. Ну я тогда Анну Асафовну к себе в избушку и перетащил, а в Загорье-то всем рассказал, что она в Казань уехала. Долго не соглашалась Анна Асафовна ко мне переезжать, да уж делать было нечего, выбирать-

то не из чего было... Так она у меня в избушке и Агиичку родила да и сама скоро скончалась. Прислуги-то иикакой ие было, я сам за ней все ходил и даже решительно все делал. Акушерка была, а потом уж я орудовал... Ну, Агиичка-то родилась, Аине Асафовие точио полегчало вдруг: спокойиая да веселая вдруг сделалась, и я тоже с ией ожил. Со миой постояиио разговаривала. Про старое-то расспрашивала, как на Ирбитскую ездили, и точио все удивляется, самой себе удивляется, что такие поступки оиа могла поступать, а про Карачарова ни единого слова... Потом стала говорить, что бросит театр и будет честиым трудом жить. Хорошо оиа умела говорить, когда развеселится... Смеялась оиа уж очеиь хорошо: улыбиется да этак исподлобья и посмотрит. Роды у ией были самые легкие, потому состав вои какой был, иу, а тут акушерка велит девять ден лежать... очень это обидио было Аиие Асафовие, да и меия все жалела, потому что я и за ией хожу, и за ребенком. Как-то отвериулся я в лавочку зачем-то, прихожу, а оиа у печки возится; я так и ахиул, а оиа только смеется. «Чего мне, говорит, сделается, Лука Агафоиыч? Замаяла я тебя...» Ну, как я ее ни уговаривал — ничего не мог поделать с ией; походила оиа таким маиером дия с два, а потом и разиемоглась — родильиая горячка прикииулась. Так моя голубушка и коичилась... без памяти все время была.

Когда Шапкии коичил свой рассказ, иочь была уже иа исходе и восточиая стороиа неба приияла серый цвет — это заиималась утреиняя заря. В лесу иачали слабо перекликаться первые утреииие птички, точно настраивали иструмеиты в каком-то громадном оркестре.

— Вплоть до зари проболтали,— коифузливо заметил Шапкии, точио ои испугался своей откровенности,— право, по простоте больше болтаю... уж вы ие взыщите.

— Помилуйте, Лука Агафоныч, я с таким удовольствием слушал все время.

— Очеиь приятно-с, ежели угодил... А ие двииуть ли нам на охоту-с по заре-то? Самое теперь преотличиое время...

— Да ведь мокро в лесу после дождя...

— Ах, да, я и забыл-с, что была гроза... да, совсем забыл. Вот ведь, право, под старость-то память совсем девичья сделалась, короткая. Хе-хе... Значит, сосием?

— Я думаю, что это лучше будет.

Мы улеглись. Теперь в балагане было тепло, да и солнце скоро встанет и обогреет, но это не помешало Шапкину наглухо запереть дверь, отчего весь балаган тотчас же наполнился дымом и угаром. Он даже порывался наглухо «закутать» трубу дерном, но я энергически протестовал и кое-как настоял на своем. Мы пролежали таким образом с полчаса, но сон не шел на ум.

— Вы не спите? — окликнул меня Шапкин в темноте.

— Нет... а что?

— Да так-с... Хотелось мне одно спросить у вас: за какие такие провинности Анна-то Асафовна мучилась... а? Как вы насчет этого полагаете?.. И смерть напрасную приняла, когда жить бы да жить надо... Я часто об этом думаю и так своим умом прихожу: за родительские прегрешения она под грозу попала... Не иначе, потому и в писании насчет этого совсем ясно сказано, что «на главы чад даже до седьмого колена». Извините, пожалуйста, а меня это вот седьмое колено ужасно смущает, потому неужели же и Агничка должна пропасть?..

Я напрасно старался разуверить старика в неправильном толковании этого семиколенного возмездия, которое противно основному духу христианского учения. Шапкин только вздыхал и опять принимался за свое «даже до седьмого колена».

— Ведь совсем ясно сказано,— уныло продолжал старик.— Да я это и сам чувствую иногда, когда смотрю на Агничку... Конечно, в ней есть знаки Анны Асафовны, и большие знаки, а иногда мне покажется бог знает что! Право... Вы подумайте только: раз смотрю на нее, как она книжку читает, а глаза-то у ней карачаровские! Так вот во мне даже все нутро со страху перевернулось. «Господи, думаю, за что же ты меня-то еще этакой напастью наказываешь?» И как я теперь ее буду любить, когда в ней одна-то половина Анны Асафовны, другая — карачаровская? И такое на меня сомнение нападет, такое сомнение, точно я совсем не люблю Агнички!.. Ах, грех какой...

Когда старик наконец заснул, я вышел потихоньку из балагана, потому что оставаться там дольше не было никаких сил. Зато в лесу теперь было чудно хорошо. Все кругом блестело и лоснилось после вчерашнего дождя, как покрытое лаком. Прямо перед балаганом поднималась Чертова Почта, на которой можно было

рассмотреть каждый камешек, каждый кустик; Талая походила на громадную шапку с зеленым бархатным верхом. Над балаганом недвижно высились вечно молчаливые, печальные лиственницы; лужайка, на которой стоял когда-то раскольничий скит, вся была затянута высокой травой, доходившей мне в некоторых местах до плеч. Тихо качались розовые головки иван-чая; пахло земляникой и еловой смолой. На опушке леса заливались невидимые певцы; это пение точно висело в самом воздухе, струившемся под солнечным лучом, как вода. Хорошо так было кругом, так мирно и торжественно; не хотелось верить, что только вот несколько часов назад, над этими самыми горами, пронеслась гроза и вырвала с корнем не одно дерево вот в этом лесу, где теперь все так радуется и ликует,— ликует, когда тут же рядом лежат мертвые, для которых больше нет солнечного света.

НА ШИХАНЕ

Из записной книжки охотника

I

— Там кто-то есть...— проговорил Савка, нюхая воздух, как собака.— На шихане[1] артель.

Он остановился в задумчивой позе, поставил свою винтовку на камень и пристально посмотрел назад, в дымившуюся под нашими ногами голубую даль. Пестрая собачонка Кукша давно уже почуяла присутствие людей и в ответ на слова хозяина только помахала своим пушистым хвостом и даже облизнулась — умное животное чувствовало близость других собак.

— Карла с объездчиками... шестером, на вершных,— продолжал Савка, осматривая каменистую извилистую тропу, круто забиравшуюся кверху между двумя россыпями.— Чуешь, барин?

— Нет, ничего не чую...— должен был я сознаться.

— А я давно чую, и Кукша тоже...— проговорил Савка с задумчивой улыбкой, которая так шла к его изрытому оспой некрасивому лицу.

Небольшого роста, худенький, сутуловатый Савка казался таким жалким мужичонкой в своем широком армяке, подпоясанном каким-то оборванным ремешком. Разношенная бобровая шапка, надвинутая на самые уши, делала лицо Савки еще меньше. Ободранные сапоги на ногах и мешок из синей пестрядины за плечами дополняли охотничий костюм. Дробь и порох Савка носил в двух деревянных лядунках, которые прятал в пазухе, всегда отдувавшейся у него самым неудобным образом; «свистоны», хранившиеся в пузырьке из-под какого-то лекарства, он прятал в шапку, вместе с табачным кисетом и пыжами. Курил Савка преуморительно: свернет из газетной бумаги крючок, набьет крупкой, зажжет и, затянувшись раза два, погасит крючок

[1] Шиханами на Урале называют каменные утесы на вершинах гор. (*Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.*)

прямо о ладонь своей заскорузлой руки и окурок спрячет в шапку. Спичек изводил он несметное количество, но никогда не решался выкурить весь крючок зараз.

— Далеко еще до шихана? — спросил я, когда Савка полез в свою шапку за окурком.

— Да версты две, поди, будет... Засветло еще придем.

Я собственно был очень доволен этой остановкой, потому что едва передвигал ноги: мы бродили целый день по лесу, а тут еще крутой подъем на гору почти в пять верст. Три версты этого подъема оставались назади, оставалось сделать еще две. Пожалуй, хорошо было бы устроить охотничий привал и на том месте, где мы сейчас стояли, но Савка был неумолим в таких случаях — не сделать ночевку в заранее намеченном балагане, урочище или просто где-нибудь под камнем для него было чем-то вроде святотатства. Впрочем, это уж такая «зараза» всех записных охотников, и Савке не раз случалось, особенно на зимней охоте за оленями или дикими козлами, являться в балаган полуживым. Через четверть часа мы продолжали свой подъем в гору, карабкаясь по громадным камням россыпи. Но сначала нужно сказать, что́ такое «россыпь». Если смотреть на гору издали, часто кажется, что целый бок горы усыпан мелким щебнем, каким мостят шоссе; иногда из такого щебня образуются правильные полосы, которые спускаются вниз каменными потоками. Это и есть россыпи. Когда вы начинаете взбираться на гору и встречаете россыпь, то вместо щебня оказываются громадные камни, иногда объемом в несколько кубических сажен. Приходится прыгать с камня на камень, карабкаться и даже ползти, чтобы подняться по такой россыпи. Когда вы наконец подниметесь на самый верх, перед вами открывается великолепная картина: россыпь сползает вниз сплошной серой массой валунов, точно высыпанных здесь из гигантского мешка каким-нибудь исполином. Края россыпи обыкновенно затянуты кустами жимолости, черемухой, малиной и иван-чаем; кой-где поднимаются сибирские кедрики и горные ели и пихты. Особенно красивы последние: они так и рвутся в небо своими готическими прорезными вершинами, а внизу расстилают по камням целый ковер из бархатной зеленой хвои. Между этим ковром и стрелкой ели остается голый темный ствол. Я несколько раз спрашивал Савку о причине такого расположения ветвей.

— Это от олешков...— флегматически объяснял Савка.— Когда у олешка вырастут молодые рога, ведь они у него кожей обтянуты и в шерсти — вот олешек и обтирает эту кожу по россыпям о пихты, потому зудят у него рога-то в те поры.

Мне такое объяснение Савки казалось недостаточным, потому что такие же пихты должны были бы встречаться и в обыкновенном лесу, где водятся олешки, но этого не бывает.

— Говорю: олешки... Чего еще тебе? — сердился Савка.

Подъем по россыпям значительно облегчается тем, что все камни, точно нарочно, выложены разноцветными мхами и необыкновенно красивыми лишаями. Нога ступает иногда как по мягкому ковру; в засуху лишаи хрустят и осыпаются под ногой, но после дождя камни кажутся обтянутыми змеиной кожей, такой же пестрой, влажной, холодной и скользкой. Мхи бывают большею частью великолепных серых цветов или зеленоватые с черными пятнами, красными крапинками и целыми узорами, точно вычерченными какой-то очень искусной рукой. Это чисто северная растительность гнездится по камням и медленно разлагает их поверхность в мелкий песок, который смывается дождем и сносится вниз снегами. Можно представить себе ту микроскопически гигантскую работу, при помощи которой получается каждая горсть песку где-нибудь на дне горной речки. Растения здесь помогают атмосферическим деятелям и разъедают камни своими корешками. Мелкая зеленая травка осыпает образовавшийся из старых лишайников слой чернозема точно медной ярью или изумрудной оправой; иногда из расщелины скалы весело глянет на вас розовым или синим глазком северный цветик, занесенный сюда бог знает откуда, иногда широко топорщатся широкие листья или расползутся по откосам и ссадинам разные каменки и горькая горная полынь.

Наша тропинка вилась теперь между двумя такими россыпями, потом перекосила одну из них и увела в густую еловую заросль, которая зеленой щеткой покрывала широкую впадину почти на самом верху горы. Нас сразу охватило смолистым ароматным воздухом, который накопился здесь за день. И я теперь уже слышал легкий запах гари, тянувшийся со стороны недалекого шихана.

— Теперь по самому по лбу идем...— объяснил Савка, развалисто ступая своими кривыми ногами.— Широченный у ей лоб-от!..

Гора, на которую мы взбирались, называлась Лобастой, потому что имела форму волчьей головы; мы поднялись по самому крутому подъему, который вел к шихану.

На Лобастой было два шихана, которые издали казались ушами каменной головы.

С каждым шагом вперед горная панорама точно раздавалась все шире и шире и небо делалось глубже. Гора Лобастая составляла центр небольшого горного узла; от нее в разные стороны уходили синими валами другие горы, между ними темнели глубокие лога и горбились небольшие увалы, точно тяжелые складки какой-то необыкновенно толстой кожи. Хвойный лес выстилал синевшую даль, сливаясь с горизонтом в мутную белесоватую полосу. Где-то далеко желтел своими песчаными отвалами небольшой прииск, дальше смутно обрисовывалась глухая лесная деревушка, прятавшаяся у подножия довольно высокой горы с двумя вершинами. В нескольких местах винтом поднимался синий дымок, тихо таявший в воздухе и расплывавшийся голубым пятном. Несколько бойких горных речек сбегались в одну, которая смело пробивалась между загораживавших ей дорогу прикрутостей и увалов; в одном месте она пробила скалистый берег, который вставал отвесной каменной стеной, точно полуразрушившийся зáмок.

Над этой картиной плыло несколько белоснежных облачков, прохваченных по краям розоватым золотом, густевшим и точно спекавшимся в кровавый сгусток на самом западе, где багровым шаром спускалось над горами закатившееся солнце. Горизонт горел кровавым пожаром; это море огня дрожало и переливалось золотыми блестками, точно там, сейчас за зубчатой линией горизонта, колыхалась сплошная волна расплавленного золота. А здесь, на земле, уже чувствовалась наливавшаяся ночная свежесть, потянуло ароматом лесных пахучих трав — земля «дала пар», как объяснял Савка. Над лесной опушкой толклись высоким столбом комары, где-то впросонье пиликала какая-то лесная «пичужка», неожиданно вырывалась изломанной линией летучая мышь и быстро исчезала в накоплявшейся мгле. Внизу, по логам и расселинам, заползал волокнистый

туман, кутавший белой пеленой говорливые речки и ключики, речную осоку, все низины и болотины.

— Вёдро будет... ишь как туман-то заходил,— проговорил Савка, перекидывая свою винтовку с одного плеча на другое.— Кукша, цыц, треклятая!

Вдали, точно под землей, вопросительно гукнул сторожевой собачий лай, и Кукша ответила подавленным ворчаньем.

II

На шихане, вернее — под шиханом, действительно сделала привал охотничья артель, с «Карлой» во главе, как угадал Савка. Нам навстречу вылетели два сеттера-гордона, черные, с желтыми подпалинами, и сейчас же напали на Кукшу, которая присела задом к земле и по-волчьи защелкала зубами.

— Ну вы, дуроломы, отойдите! — кричал Савка на лаявших господских собак.— В хозяина шерстью-то вышли...

Шихан на Лобастой представлял собой острый каменный гребень сажен в двенадцать высотой; сейчас под ним образовалась в мелкой пихтовой заросли небольшая лужайка. Место было порядочно дикое, но его скрашивали два охотничьих балагана, поставленных один против другого под самым шиханом. Таких балаганов по горам разбросано без числа: в них скрываются от дождя и непогоды охотники, лесообъездчики и просто бродяги. В осеннюю дождливую пору, а особенно зимой, такому балагану цены нет, и не один охотник спасся здесь от верной смерти, поэтому балаганы оберегаются, как общественное достояние.

Теперь на лужайке под шиханом горел яркий костер; около него собралась пестрая кучка охотников. В центре, около самого огня, на бухарском ковре лежал в охотничьей венгерке сам «Карла», а около него лежали и сидели на траве человек пять лесообъездчиков. Над самым огнем висел походный котелок с варевом и медный чайник.

— Мир на привале...— здоровался Савка, входя в полосу света, падавшего от огня.

— Мир дорóгой,— отозвался один из объездчиков.— Да это ты, Савка?

— Выходит, что я, Иван Васильевич... Можно нам заночевать?

— На́-вот, всем места хватит.

— А я вот барина по лесу водил, пристали... Кукша, цыц, стерва!..

— Пожалуйт, пожалуйт, каспада...— заговорил сам Карла, приподнимаясь с ковра.— Веста, тубо... назать!.. А, это ти, Сафк...

— Я, Карла Иваныч... Вот к огоньку вашему прибрели с барином.

— Ошэнь рат... садитесь на месту... Кого убиль?

— Да так, пустяки, Карла Иваныч,— скромничал Савка, снимая с плеч пестрядевый мешок.— Двух поляшей залобовали да польнюшку [1].

— Карош.

Мы познакомились. Карла Иваныча я знал по слухам. Он был управителем в Кособродском заводе и между рабочими слыл под именем «Славу-богу», потому что называл Ивана Богослова — Иван Слава-богу. Это был чистокровный баварский немец — вспыльчивый, горячий и по-своему добрый; он жил «на России» чуть не двадцать лет и говорил самым невозможным ломаным языком, но зато ругался по-русски мастерски. Рабочие любили его, потому что Слава-богу хоть и был крут, но зато был и отходчив сердцем; обругает, прогонит, а потом отойдет и все забудет. Бывало так, что он даже извинялся пред простыми рабочими. «А шорт минэ взял... мой не прав... твой извиняйт»,— говорил он в таких случаях, и рабочие по-своему понимали этот тарабарский язык. Наружность Карлы как нельзя больше соответствовала его внутреннему содержимому: среднего роста, коренастый, с взъерошенными волосами, с белыми немецкими глазами навыкате, он точно был налит кровью. У Карлы не только было красное лицо, но и вся шея, даже руки. Козлиная бородка и усы, завинченные штопором, придавали ему вид «человека» из номеров для гг. приезжающих или егеря средней руки. У нас на Урале он сходил за заводского управляющего, и даже за очень хорошего управляющего, хотя в специально-заводском деле ничего не смыслил. Уральские заводские управляющие — народ с бору да с сосен-

---

[1] Поляш, или косач — тетерев-березовик, польнюшка — *тетерька.* Залобовать — убить. (*Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка*).

ки, военные писаря, гардемарины, какие-то забвенные шведы, кантонисты и т. д., так что в этой разношерстной среде Слава-богу являлся настоящей находкой и пользовался громкой репутацией настоящего дельца. Кровяные бифштексы, английский портер, рижские сигары и вера в то, что нет на свете людей лучше немцев, делали из Карлы то, чем он был.

— А ви сюда... ковер...— обязательно предлагал мне Слава-богу место около себя и сейчас же налил водки в походный серебряный стаканчик.— Зарядиться... мест опасный.

Пять человек лесообъездчиков смотрели в глаза своему повелителю, как дрессированные лошади, и старались предупредить малейший его жест. Народ был всё рослый, здоровый и крайне плутоватый, потому что около господ нельзя не избаловаться. Лучше других был Иван Васильич, старый объездчик, степенный и благообразный старик с широкой грудью и седыми подстриженными усами; он был из отставных унтер-офицеров и в тонкости знал всякую субординацию и военную вытяжку. Охотничья закуска была нам приготовлена в лучшем виде, потому что первой обязанностью хорошего лесообъездчика считается поварское искусство. Мы съели отличный суп, пару рябчиков и какую-то кашу, а потом на сцену появились сардинки, копченый язык и даже страсбургский пирог в герметически закупоренной жестянке. Карла ел за четверых, запивал всё водкой и портером и болтал без умолку на своем попугайском языке. Собаки почтительно дожидались подачки, облизывались и с опущенными ушами униженно вертели хвостами.

— Хорош собак? — спрашивал Слава-богу, облизывая свои пальцы.— Веста, куш... отличный сука!

Подкрепив свои силы всевозможными составами, немец растянулся у огня и сейчас же захрапел. Мой Савка развел огонек у другого балагана и варил убитую польнюшку в горшочке, который раздобыл откуда-то из балагана. Кукша, положив свою острую морду с торчавшими пнем ушами меж передних лап, следила за каждым движением хозяина и вызывающе взмахивала пушистым белым хвостом.

— Эк этот Карла трескает... страсть! — задумчиво говорил Савка, помешивая одной рукой в своем горшочке, а другой заслоняя лицо от летевших искр.— Чисто

как в бочку водку льет. Этакая прорва... И каждый день так-ту натрескается, а потом и дрыхнет, как стоялый жеребец. Иван Васильич, хошь моей похлебки?..

Иван Васильич молча подсел на корточки к огоньку и раскурил деревянную трубочку, которую он по солдатской привычке носил за голенищем.

— Хороша у вас сучка-то...— проговорил Савка, отставляя горшок от огня.

— Ничего...— протянул Иван Васильич, насасывая свою трубочку.— На дупелей стойку держит, на копалят[1] тоже...

— Ну, это пустое... а так, баская собачка. Вы куда?

— Под Мохнатенькую... Карле пуще всего болото! хлебом не корми, а под Мохнатенькой болотина верст на пять.

— Знаю... Куликов стрелять? Известно, господская охотка... все в лет надо.

Савка презрительно улыбнулся, потому что куликов и всякую болотную дичь считал поганой. Сам он стрелял только в сидячую птицу, да и то из винтовки, потому что его винтовка пороху принимала самую малость, а это большой расчет для настоящего охотника.

А летняя горная ночь уже давно все кругом закутала своим мягким сумраком, который сгустился по логам и в лесу в черную мглу. Горы приняли фантастические очертания, точно они выросли и поднялись выше; лес превратился в сплошные темные массы, неподвижно обложившие все кругом. Сильно пахло свежей травой и смолевым деревом. Пала роса, что предвещало завтра хорошую погоду. Летние ночи, по-моему, особенно хороши именно этой росой и густыми туманами, чего не бывает весной, когда стоишь на тяге — от сухой травы пахнет чем-то мертвым, а тут точно все дышит около вас. Я долго любовался изменявшейся картиной северного неба, которое сейчас после солнечного заката сильно потемнело и только мало-помалу «отошло» и приняло великолепный голубой цвет. Полярная звезда, Большая Медведица горели лихорадочным светом; Млечный Путь теплился матовым фосфорическим блеском. В одном месте чиркнула по небу падавшая звезда, точно кто в темной комнате зажигал спичку о стену. Падавшие звез-

---

[1] Глухаря-самку на Урале называют в некоторых местах копалухой, а глухарят — копалятами. (*Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.*)

ды производили на Савку какой-то суеверный ужас, и он долго шептал какую-то молитву.

— Это андел божий пал иаземь,— объяснял он.— По душу господь его послал, по праведную.

Лежа в балагаие, иа широких полатях, я долго не мог заснуть, хотя устал страшно. В открытые двери балагана мне видна была вся площадка, освещенная двумя кострами. Недалеко бродили по траве спутанные лошади, тяжело падая на передние ноги при каждом прыжке. Где-то ухнул филин и замолк; ночная птица шарахнулась над самым огнем и заставила Савку обругаться. «О будь ты проклята, некошна́я! — ругался он за свой испуг.— Эк ее взяло, проклятущую...» Иван Васильич, похлебав из горшочка охотиичьего варева, облизал ложку, вытер усы и, сняв кожаную фуражку, помолился на восток.

— Ну, что́ у вас на Кособродском? — спрашивал Савка, раскуривая бумажиый крючок.

— Да чего тебе нового-то... Дровосушки закрыли. Наладили новую печь, Сименсом зовут, труба высочениая, ну, так эта печь сырые дрова-то жрет. Слышь, щепам да корьем можно топить... Девкам теперь на дровосушных печах никакой работы не стало, а только которы еще поденщииой перебиваются.

— А будь они от меня трижды прокляты, эти дровосушиые печи! — азартно проговорил Савка, бросая окурок в траву.

— Не забыл разе еще Анки-то? Ах ты, пес тебя возьми... ишь ведь... а?.. Экой у тебя характер, Савка... чистый ты дьявол, ежели разобрать... а?

— Хуже дьявола, потому как...

Савка ие докончил речи и начал крутить новый крючок.

III

Мие пришлось познакомиться с Савкой в лесу, на охоте около глухой деревушки Студеиой. Дело было осенью, под вечер, когда нужио было позаботиться о ночлеге.

— Пойдем, бариі, ко мие, заночуем...— предложил Савка.— Я в Студеной живу...

Вероятно, миогим случалось пользоваться такими

любезными приглашениями, а затем на поверку оказывалось, что у гостеприимного хозяина изба полна ребят и жена хуже черта. Вид Савки говорил не в его пользу, и я колебался принять его предложение.

— Да ты чего, барин, сумлеваешься? — заговорил Савка, угадывая мою мысль.— Я в своем дому хозяин, не сумлевайся... Верно тебе говорю!.. У меня избушка теплая, самовар оборудуем...

Мы отправились. Деревушка Студеная была недалеко от золотых промыслов, и нам приходилось тащиться в кромешной тьме верст пять, рискуя каждую минуту свалиться куда-нибудь в шахту. Я вполне положился на охотничью опытность Савки и брел за ним ощупью. Наконец показалась и Студеная. Избушка Савки стояла на самом краю и была без ворот и двора: ход в нее шел прямо с улицы. В избе огня не было: нас встретила высокая здоровенная баба, которая сначала обыскала карманы и пазуху Савки, а потом принялась ругаться.

— И чего ты, шатун, ведешь незнакомого барина, на ночь глядя? — ругалась достойная половина Савки.— В избе и места-то нет совсем...

В избе Савки, действительно, места совсем не оказалось: на полу, на лавках, на полатях — везде валялись ребята. У Савки было восемь человек детей, и самый меньшой качался еще в зыбке. Мне ничего не оставалось, как только ругать про себя и дурака Савку и свою глупую доверчивость.

— Нам бы, Анка, насчет самоварчика? — попробовал робко заявить Савка пред своей разгневанной половиной.

— Самоварчик?!. да где я тебе его возьму? — с азартом закричала Анка, наступая на мужа со сжатыми кулаками.— Заведи сперва самоварчик-то, а потом и спрашивай, а то у меня и чугунки-то нет...

— Да ты что́ больно зудишь? — заговорил Савка с очевидным намерением показать себя настоящим хозяином в своем дому: — я тебя расчешу, постой... я тебе...

Вместо ответа Анка схватила ухват и со всего плеча принялась ломить «хозяина своего дома» по чему попадя. Ребятишки проснулись и заревели. Я ожидал жестокой схватки, но Савка, под градом сыпавшихся на него ударов, улизнул на печку и уже оттуда кричал на жену: «Погоди, Анка, вот я тебя расчешу... будет тебе зудить-то!»

— Ох, погубитель... ох, разбойник, нет на тебя пропасти-то, на окаянного!..— неистово голосила Анка, стараясь ударить Савку по самому чувствительному месту, по голове, в живот или по хребту.— Гли-ко, ребятишек-то наплодил полную избу, а сам все на проклятом винище протрескивает... Все ведь видят мою-то муку мученическую!..

Савка ругался, кричал, но даже не пытался сопротивляться, а только защищал себя руками и ногами, как перевернутый на спину таракан. Дело кончилось тем, что, утомившись колотить мужа, Анка села посреди пола и принялась причитать, как по покойнике, причем для первого знакомства рассказала всю подноготную про мужа: как он в третьем годе последнюю телушку свел в кабак, как потом, когда она рожала последнего ребенка, Савка отбил замок у ее сундука и пропил всю одежу до нитки, как... и т. д.

Я провел под гостеприимной кровлей Савки прескверную ночь и утром на другой день был крайне удивлен картиной полнейшего примирения супругов. Дело объяснилось каким-то недоумением в расчетах: Анка заподозрила мужа в сокрытии нескольких пятаков, чего не оказалось в действительности.

— Она, Анка-то, славная у меня...— докладывал Савка.— И меня любит, а только на руку больно скора, когда расстервенится. Конечно, есть тут и мое зверство...

Анка при дневном свете была еще некрасивее, чем при искусственном освещении. Это была здоровенная, высокая баба с необыкновенно широкой спиной и некрасивым желтым лицом; она точно вся была сделана из дерева, притом сделана столяром-самоучкой, который больше всего заботился о крепости своего произведения. В своей избушке Анка являлась настоящей рабочей машиной, не знавшей устали; единственным недостатком этой машины была только ее неистощимая производительность. За двадцать лет супружества Анка принесла восемнадцать ребят, из которых десять похоронила.

— А пропасти на вас нет... хошь бы передохли все до единого! — кричала Анка на ораву ребятишек с утра до ночи.— Который помер — и слава богу, не мается сам и меня не тянет... А отцу что́, хоть околей мы тут, ему бы только вино. Ох, уж и жисть же только; как колесом по тебе ездят...

Несмотря на свою видимую суровость, необыкновен-

ную скорость на руку и способность голосить, Аника была самой примерной женой и по-своему очень любила мужа и детей. Каждый новый детский гробок она оплакивала по месяцам, пока новый ребенок не отнимал у нее последние свободные от работы минуты. Савку за глаза Аника никогда не ругала и никому не жаловалась на свое положение, как делают другие бабы, даже напротив, она яростно защищала его пред общественным мнением Студеной и готова была перегрызть горло каждой бабенке, которая скажет что-нибудь нехорошее про Савку. «Он, Савка-то, ведь совсем особенный, не как другие...» — объяснила мне однажды Аника про мужа, и этим одним словом было сказано все.

Вот история Савки в коротких словах.

Жил в Кособродском заводе один мужик, по прозванию Крохаль. Это был настоящий богатырь — высокий, плечистый, широкий в кости, с железной рукой; он в свободное от заводской работы время промышлял зверованьем и на своем веку залобовал за сорок медведей. Как все слишком развитые физически люди, старый Крохаль не получил соответствующего развития умственных способностей и даже был «слабоват головой»; избыток материи перевешивал в нем более тонкие психические отправления. Между прочим, этот медведь в человеческом образе испытывал какой-то панический ужас, когда ему приходилось идти в заводскую контору или к приказчику; Крохаль всегда говорил, что ему легче идти один на один на медведя, чем к начальству. Извиняющим обстоятельством для старого Крохаля было только то жестокое крепостное время, когда на заводах с рабочими обращались как с преступниками, даже хуже. По необъяснимой игре природы у богатыря Крохаля был сын, лядащий мужичонка Савка Крохаленок, и, по еще более необъяснимой игре природы, в этом лядащем Крохаленке от младых ногтей проявились именно те самые душевные свойства, каких недоставало отцу. Начать с того, что Савка Крохаленок не боялся решительно никого и ничего на свете и гордо отстаивал свое «я» от всяких поползновений на его неприкосновенность. Сначала мальчишки, потом подростки и мужики — все узнали в Савке особенного человека, которого не троиь. Одним словом, Крохаленок оказался отчаянной башкой, которому везде было по колено море и все — трын-трава. Старики дивились в Савке его не-

обыкновенному уму: он все понимал по-своему и все умел представить в самом смешном виде, с той беспощадной иронией, на какую способны только особенные мужицкие мозги. Савка и говорил не как люди, а совсем по-своему, как говорят все талантливые выродки и отщепенцы: мысль выражалась полусловами, намеками, загадками, точно это была бурлившая горная речка, которая прокладывала себе извилистое течение через тысячи препятствий.

— Уж Савка скажет — как завяжет! — дивилось мужичье.— Мудреный, пес...

— Не больно завидно мудренее вас-то быть,— огрызается Савка.— Все вы, как бараны, друг за дружкой ходите... Всякий своего ума боится.

— А ты поживи за нас своим-то умом, Савка.

— И поживу.

Особенному человеку Савке скоро вышла и особенная судьба. Он работал на заводской фабрике, в кричной; на фабрике же при дровосушных печах работала и Анка. Что понравилось Савке в ней — трудно сказать, но только он крепко привязался к Анке и везде ходил за ней, как хороший гусь. Вероятно, эта связь прикрылась бы венцом и был бы тому делу конец, но, на беду Савки, не так вышло. Приказчиком в Кособродском на ту пору случился Чернобровин, из крепостных служащих; это был благочестивый тихонький старичок, большой охотник до ядреных и рослых баб. Чернобровин увязался за Анкой и при помощи своих клевретов получил желаемое, то есть в одну прекрасную ночь Анка очутилась в господском доме, прямо в когтях благочестивого старца. Вся фабрика замерла в ожидании, что́ выкинет Савка Крохаленок по такому исключительному случаю. И Савка действительно выкинул: Чернобровина нашли задушенным в своей квартире, причем преступление было совершено среди белого дня с отчаянной смелостью. Наехал суд, и первым делом, конечно, схвачен был Савка. Несмотря на всевозможные подходцы и придирки, прямых улик против Савки суд не мог найти и до окончания дела препроводил Савку в острог. С этого момента в жизни Савки начинается ряд подвигов, прославивших его имя на несколько уездов: он шесть раз уходил из острога, наводил грозу на целые селения и снова попадался в острог, благодаря своей слабости к родному гнезду и к своей Анке. Он не мог прожить

больше году, чтобы не объявиться в Кособродском, и притом являлся всегда смело, с отчаянной энергией и замечательным хладнокровием.

— Уж знаю, что взловят меня, а иду домой,— рассказывал Савка.— Как в петлю иду и никого не боюсь. Чего мне было бояться, когда люди меня боялись хуже огня?.. Даже смешно в другой раз бывало над ихней глупостью!.. Приду в Кособродский ночью, прямо в кабак: отворяй!.. Целовальник трясется, как осиновый лист, только его не тронь, и прямо меня за стойку, как дорогого гостя — еще мне же кланяется... А там уж донесут в контору, потому караулят меня, ну, сейчас ударят на пожар, народ и повалит Савку ловить к кабаку. А на меня самое это зверство нападет: сижу в кабаке и не могу с места встать — так бы я всех этих дураков в крошки расшиб, потому боятся одного человека. И уходил, из глаз у всех уходил, разве когда сонного возьмут.

— Как же ты уходил?

— Да так... больше по своей смелости, потому человек, ежели расстервенится, хуже он в те поры всякого зверя. Ну, кому свою-то голову охота было подставлять, да и крепостные тогда были, не по своей воле ловили меня, а тут еще свои дружки-приятели помогали. Где тут в свалке ночью-то разберешь — один крик да гам, как на пожаре, а я, глядишь, и вывернулся... Ну, а как воля пришла, этих самых приказчиков прежних не стало, лютовать-то не перед кем, ну, я сам пришел в острог-то и объявился. Таскали-таскали меня по острогам, а потом в подозрении оставили и выпустили, потому как большая неправда прежде по заводам была и утеснение народу. Много нас этаких-то в бегах состояло, по горам бродили, как олени... Нынче тихо все, потому уж не те времена.

— Ну, а Анка что?

— Анка?.. Конечно, вышел тогда с ней грех, только это грех подневольный, а тем море не испоганилось, что пес налакал...

Нужно заметить, что крепостное время с его варварскими порядками создало на уральских горных заводах два характерных явления, служивших как бы сторонами одной и той же медали: это заводские разбойники и заводские дураки. Около таких разбойников, на стороне которых были все симпатии населения, сложились целые

легенды, но достаточно указать на тот факт, что прошло каких-нибудь двадцать пять лет воли, как те и другие совершенно исчезли, вместе с создавшими их причинами. Так, Савка до воли состоял в бегах и наводил панику, как завзятый разбойник, а когда настала воля — он просто перешел в разряд тех «особенных» людей, каких выдвигает из себя крестьянский мир в виде исключений.

И занятие себе Савка выбрал «особенное», ни от кого не зависящее — охоту. Заметим здесь в скобках, что для мужика собственно охоты, как удовольствия, в барском смысле этого слова, не существует, и даже самые слова «охота» или «охотник» считаются обидными, потому что господа стреляют всякую погань — куликов, воробьев и т. д.; мужик зверует, то есть, как старый Крохаль, бьет только зверя, или лесует, то есть, как Савка, бьет птицу и зверя. От старинных времен сохранился еще термин: ясачить, который часто употребляется на Урале, но не в своем собственном смысле, то есть не в смысле добывания ясака. Савка отлично знал места на сто верст кругом и мог жить безбедно, промышляя лесованьем, но его губила водка — он часто не доносил вырученных за дичь денег, за что и получал законную трепку от Анки.

— Уж супротив Савки не сделать,— говорили про него другие мужики,— его и птица всякая знает и зверь, потому как он слова такие знает... Ведь он того, не к ночи будь сказано: с нечистой силой знается.

В сущности, Савка, как большинство настоящих охотников, был поэт в душе и крайне наблюдательный человек, которому до тонкости были известны все привычки, особенности и образ жизни каждой дичи. Он являлся настоящим хозяином в лесу.

— Зачем же ты пьешь так, что зоришь сам себя? — несколько раз спрашивал я Савку.— Ведь ты мог бы жить не хуже других?

— От зверства от своего и пью...— коротко объяснял Савка.— Ведь ты у меня не был на душе-то у пьяного? То-то вот и есть, а я, может, жисти своей не рад... Как пойдут в башке круги да столбы, начнется тоска... Ох, да что́ тут говорить, барин!.. А то раздумаешься-раздумаешься...

Таков был особенный человек Савка, составлявший вполне органическое целое со своей Анкой.

IV

На шихане утром мы поднялись очень рано, потому что Савка обещал Слава-богу показать какое-то дупелиное болото сейчас под Лобастой горой.

В горах даже самые лучшие июльские утра очень холодны и нагоняют неприятную дрожь. Солнце подымается в туманной мгле горизонта багровым шаром без лучей, точно оно отделено от вас громадным матовым стеклом; утренний свет льется откуда-то сверху дрожащей волной, которая дробится мириадами искр в ночной росе, еще покрывающей траву и деревья. В логах колышется густыми массами туман: где-то из-за горы он всплыл кверху небольшим белым облачком. Зелень свежа и режет глаз своим блеском, как только что ограненный драгоценный камень. Все кругом дышит наливающейся силой летнего дня, и вы чувствуете эту силу, как и то, что вы ничтожная пылинка в этом грандиозном концерте природы. Вздрагиваешь, надевая покоробившиеся за ночь охотничьи сапоги, вздрагиваешь, когда солнце ударит в глаза ослепляющим светом, вздрагиваешь от первого слабо дохнувшего ветерка, поднявшего накопившийся за ночь в лесу тяжелый аромат, а там стоит густая трава по пояс, которая промочит вас до нитки на нескольких саженях пути.

— Важное утречко издалось...— говорит Савка, залезая плечами в свой пестрядинный мешок.— Пусть ужо Карла погоняет куликов в болоте, ноги-то у него долгие.

Слава-богу совсем одет и уже красен, как зажаренный с кровью барашек. Обе собаки с нетерпением следят, как он надевает на себя патронницу и заряжает свою бельгийскую двустволку центрального боя; Веста слабо взвизгивает от радости и взмахивает хвостом, готовая сейчас ринуться в мокрую траву, опустив нос к земле.

— Пошла, Сафк? — спрашивает Слава-богу, опрокидывая серебряный охотничий стаканчик.

— А я, Карла Иваныч, этих самых куликов одинова набил целый десяток шапкой,— рассказывает Савка, трогаясь в путь своей развалистой походкой.

— Врать...— скептически замечает Иван Васильич, потягиваясь в седле и зевая.

— Ей-богу, сейчас помереть... Утренничек был этак

в Успленьев пост, ну, нм росой-то крылушкн н заморозило. Я иду около болота, а они передо мной порх-порх... Взлететь-то и не могут. Ну, я снял шапку да шапкой их и ловил.

Мы идем с Савкой впереди. За нами в линию вытянулись лесообъездчнкн; лошади фыркают и громко лязгают подковами по камням. Слава-богу молча сосет сигару, продолжая дремать в седле; объездчики тоже дремлют и потихоньку зевают. Шихан и пихтовая заросль остались назади, а перед нами крутой спуск с горы между россыпями. Вид на горы отсюда утром необыкновенно хорош. Воздух совершенно прозрачен, и простым глазом заметно, как он дрожит и перелнвается в ярком утреннем свете солнца. Синевато-серая даль точно поднесена. Можно рассмотреть даже Кособродский завод, до которого от Лобастой верных тридцать верст; блнже спряталась в лесу Студеная, около нее серыми пятнамн выделяются золотые приискн. Лес в логах принимает какой-то фнолетовый оттенок, н только курени и порубн остаются светло-зеленымн, точно громадные заплаты. Глаз отдыхает на этой картине шнрокого простора, дышится так вольно, и является скромное желание подняться куда-то выше, в синеву неба, где черными точками плавают ястребы.

Между россыпями трава по пояс; белые шапки душистого белого шалфея, иван-чай и малина лепятся около самых камней, точно живая бахрома. В одном месте из-под куста жимолости вынырнул зайчонок и пустился наутек в траву; Веста вздрогнула, согнулась и, как пущенная нз лука стрела, пустнлась вдогонку за беглецом. Слава-богу спрыгнул с лошади н пустился бегом за собакой, выкрикивая хриплым голосом: «Веста, Веста... канайль!.. швейн!». Быстрая на бегу Веста совсем начала настнгать зайчонка, но хитрая зверушка, спасая свой заячий жнвотишко, сделала крутой поворот назад и стремглав полетела прямо на нас. Разбежавшейся собаке нужно было выгнуть большой круг, чтобы вернуться назад.

— Ох, барин!..— вдруг крикнул Савка каким-то не своим голосом, пустившись бежать к Карле.— Ой, барин... стой!..

Но было уже поздно, Слава-богу успел выстрелнть, и бедная Веста с диким воем упала на траву. Дальше произошло что-то необыкновенное: Савка подбежал к

Слава-богу и как-то по-волчьи схватил его прямо за горло. Прежде чем объездчики успели опомниться, Савка уже катался по траве с Карлой одним живым комом. Когда мы подбежали на выручку, Слава-богу уже сидел на Савке и колотил его прямо по лицу своими красными кулаками.

— Бей, бей...— хрипел Савка, закрывая глаза.— Лучше меня бей.

— А... канайль... швейн!..— ревел Карла, продолжая обрабатывать побежденного неприятеля.— Ты минэ хотел убивайт... душил за горлом...

— И задушу... вот постой, немчура... я те покажу...

Мы кое-как растащили сцепившихся врагов, и странно было то, что Савка не отпускал немца, а не наоборот.

— Отцепись ты, дьявол! — кричал Иван Васильич, напрасно стараясь разжать судорожно скорченные руки Савки.— Точно клещ впился... Дьявол, тебе говорят: пущай...

— Бей меня, а то пса губить... живодеры, мошенники! — ревел Савка, продолжая барахтаться.

Пятеро здоровенных мужиков едва могли оторвать Савку. Слава-богу смотрел кругом ошалелыми глазами, не понимая, что́ такое случилось. Веста неистово визжала, ползая в траве.

— А шорт минэ взял... а шорт тебэ взял... Зачево минэ душиль?..— спрашивал Слава-богу, повертываясь.— Стрелял мой собак... твой минэ душиль...

— У! нехристь...— шипел Савка, стараясь вырваться из рук объездчиков.

Этот неожиданный эпизод совсем расстроил нашу охоту. Слава-богу уехал с лесообъездчиками, а я остался с Савкой на россыпи. Этот странный человек долго молча лежал на траве и только вздрагивал всем своим тщедушным телом. Я принес ему воды в берестяном чумане и лег на траву; в десяти шагах от нас валялась убитая Веста, над которой уже начали кружиться какие-то зеленые мухи. Где-то в воздухе слышался ребячий крик коршуна и щекотанье польнюшки-матки, сторожившей на ягоднике свой выводок. Тихо-тихо набегал утренний ветерок, колыхал высокую траву и скрывался в лесной заросли с тихим шепотом. В траве стрекотали кузнечики и ползала всякая мелкая тварь, может быть, жившая всего одним этим днем и поэтому особенно наслаждавшаяся самым фактом своего существования.

По небу плыли легкие облачка, вытягивая за собой по горам длинные тени.

Савка безмолвно пролежал с полчаса, а потом сел и тяжело вздохнул. Лицо у него вспухло, один глаз совсем затек; на зипуне и на руках оставались кровавые пятна. Он ощупал что-то за пазухой и только покачал головой, а потом отправился к тому месту, где происходила свалка. Через несколько минут он поднял с земли маленький нож, который всегда носил за пазухой.

— Ишь ты, проклятый... вывалился из-за пазухи-то,— как-то в раздумье проговорил он, разглядывая нож.— Ну, счастлив Карла, а то я бы ему выпустил все кишки.

— Это из-за собаки?

Савка посмотрел на меня, отрицательно покачал головой и в прежнем раздумье заговорил:

— Не помню, из ума вышибло... Ах, барин, барин!.. Как это Карла нацелился в собаку, так у меня точно что́ порвалось в нутре... Не помню ничего, что дальше было, а только помню, как он меня по роже лупил. Да мне это наплевать, а вот псицу жаль... Зачем он ее порешил без вины? Не могу я этого самого зверства видеть, потому во мне все нутро закипит... Ох, везде неправда, везде темнота, везде это самое зверство! Ты теперь разбери, барин, кто лучше: зверь или человек?

— Какой зверь, какой человек?

— А всякой... Зверь лютует с голоду, ему пропитал нужен, а так всякой зверь, как ребенок малый. Возьми ты даже медведя... На что́ волк лют, а и тот сытый не тронет. А вот человек-то не так... Он сытый-то еще, пожалуй, хуже... Верно! Лютости этой в человеке, зверства — пропасть... Я всякого зверя люблю, потому зверь справедливее завсегда человека. А уж касательно лошади али пса — так и говорить нечего... Я никогда не трону лошадь али пса, потому куда бы мы поспели без них? Конечно, говорят, что души в них нет только, а я так думаю, что хоть плохонькая душонка, да должна быть... Я тебе какой случай скажу. Ехал как-то через наш Кособродский завод один купец, он на ярмарку ехал. Денег при нем тыщи три было... Ну, остановился у знакомых мужиков, покормил лошадь, а лошадь у него своя была, преотличная лошадь. Уехал купец, а мужики, у которых он останавливался, больно озарились на его деньги, сейчас в погоню, догнали его да и убили. Ну, убитого купца затащили в лес да в ширф и бросили, а сверху елоч-

ками закидали... Теперь куда с лошадью деться, а лошадь дорогая, приметная. Эти самые убивцы взяли эту самую лошадь да к сосенке на цепь и приковали и на ноги железные путы надели. Думают, помрет на этом самом месте с голоду,— и конец всему делу. Хорошо... А лошадка-то три дня стояла у сосенки да грызла ее, да и перегрызла, а потом с путами-то и поскакала домой. Семьдесят верст, сердешная, проскакала она в путах и прямо на двор к хозяину. Как увидали ее — все всполошились, конечно, и по следу назад поехали, потому из ног-то у ней кровь все лила по дороге, а она вперед идет и прямо в Кособродский к нам привела, к тому двору, где убивцы жили. Ну, народ, конечно, собрался, все признали лошадь-то и все на убивцев: признавайтесь... Помялись-помялись они и прямо миру в ноги: «Наше дело... мы убили купца. Простите!». Признаться признались, а куда убитого купца дели — не сказывают. Тогда опять эту самую лошадь и пустили вперед... Что бы ты думал, ведь она повела: идет впереди, а народ за ней так валом и валит. Плачет народ-то, так это жалостливо все вышло. Ну, привела лошадь к самой шахте, в которую купца бросили, и стала. Тут его и нашли... Так народ что́ тогда делал: ревмя ревели, не над купцом, а над лошадью! Изгибла, сказывают, скоро, потому ноги себе путами все извела...

— Почему же эти мужики не убили лошадь тогда, когда убивали купца?

— Ах, какой ты непонятный, барин... Человека-то, поди, легче убить, чем скотину, потому она безответная тварь, только смотрит на тебя. На купца, значит, рука поднялась, а на лошадь не поднялась. У нас в дому какой случай был. Жеребушечка у отца росла да ножку себе и сломала. Куда с ней, как не пришибить? Ну, отец взял винтовку, зарядил, пошел стрелять жеребушку — и воротился... Медведей бил, а жеребушку не мог порешить. Думали-думали, послали за одним пропойцей, Тишкой звать. Отчаянная-преотчаянная башка, настоящий душегубец... Ну, Тишка и говорит: «Ставь полштоф водки,тогда я жеребушку вашу порешу». Повели его в кабак, выставили полуштоф. Тишка его выпил и к нам. Отец-то со страхов в избу спрятался и на крючок заперся. Ей-богу! Ну, а Тишка взял топор, замахнулся и бросил... «Не могу, говорит, рука не поднимается, хошь что́ хошь со мной делайте. Обратно вам полштоф ваш вы-

ставлю...» И выставил, а жеребушечка уж сама изгибла. Вот оно, барин, какое дело-то выходит. При всем нашем зверстве и то руки опускаются, а тут еще барин называется и пса стреляет. Пес-то, может, лучше его был...

В этом бессвязном рассказе Савки рельефно обрисовывались основания его оригинального миросозерцания. Сознание Савки было подавлено проявлениями человеческого «зверства» и «лютости», его пытливый ум прилепился к безграничному лесному простору, и здесь, в мире животных, он находил погибшую в людях правду... Савку не страшили самые дикие проявления железного закона борьбы за существование в этом животном царстве, потому что для этого закона существовало разумное объяснение, как неизбежной, хотя и жестокой необходимости, тогда как человек проявляет свое зверство большею частью помимо этой необходимости, а только удовлетворяя своей жажде «лютовать».

— Теперь читал ты о великих угодниках, которые по лесам спасались? — допрашивал меня Савка.— К этим угодным человекам всякий лесной зверь приходил: и медведь и олень... Это как по-твоему?.. Зверь-то понимает, что человек его лютее, и обходит человека. Никого так зверь не боится, как человека... А старухи говорят, что в звере нет души, а пар. Какой тут пар... Ты бы весной послушал, что́ по лесу делается?.. Стоишь этак, стоишь, прислушаешься, а лес-то кругом тебя точно весь живой: тут птица поет, там козявка в траве стрекочет, там зверь бежит... Уж больно хорошо птицы по весне поговаривают, точно вот понимаешь их, и так у них все хорошо выходит. А как припомнишь свое-то житьишко да про других-то, господи милостивый, сколько этого греха в нас, сколько неправды... Раз я этак-то слушал-слушал, точно очумел, а потом гляжу, вся рожа-то у меня мокрая: слезой проняло.

ЛЁТНЫЕ[1]

Из рассказов
о жизни сибирских беглых

I

На Татарском острове они прятались уже четвертый день. Весенние ночи были светлые, теплые; где-то в кустах черемухи заливался соловей, речная струя тихо-тихо сосала берег и ласково шепталась с высокой зеленой осокой. По ночам, в глубокой ямке, выкопанной лётными в средине острова и обложенной из предосторожности со всех сторон большими камнями и свежим дерном, курился огонек; самый огонь с берега нельзя было заметить, а виднелся только слабый дымок, который тянулся вниз синеватой пленкой и мешался с белым ночным туманом.

Конечно, лётные, из страха выдать себя, не разложили бы огня, но их заставила неволя: один из троих товарищей был болен и все время лежал около огонька, напрасно стараясь согреться. В партии он был известен под именем Ивана Несчастной Жизни, как он называл себя на допросах у становых и следователей. Теперь он лежал у огонька, завернувшись в рваную сермяжку, из-под которой глядело черными округлившимися глазами желтое, больное лицо. Изношенная баранья шапка закрывала лоб до самых бровей. Широкие губы запеклись, нос обострился, глаза светились лихорадочным блеском. Иван сильно перемогался и отлеживался в своей ямке около огонька, как отлеживается от лихих болестей по ямам, логовам и «язвинам» разное лесное зверье. Он не жаловался, не стонал, а только иногда сильно бредил по ночам — кричал, размахивал руками и все старался куда-нибудь спрятаться. В больном мозгу несчастного бродяги без конца шевелилась мысль о преследовании.

— Опомнись, зелена́ муха, Христос с тобой! — уго-

[1] Лётными на Урале называют бродяг. (*Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.*)

варивал Ивана товарищ, длинный и костлявый «Иосиф Прекрасный».— Ночесь в воду было совсем бросился, ежели бы я тебя за ногу не сахватал... Как начнет блазнить, ты сейчас молитву сотвори. Я так-ту в тайге без малого недели с три вылежал, и все молитвой больше.

Иван приходил в себя, трясся всем телом и как-то разом весь опускался — это были последние вспышки сохранившейся в больном теле энергии, выкупаемые тяжелым расслаблением. После таких галлюцинаций больной долго лежал с закрытыми глазами, весь облитый холодным потом; он чувствовал, что с каждым днем его все более и более тянет к земле и он теряет последние крохи живой силы. Но, как ни было тяжело Ивану, он никогда не забывал своей пазухи и крепко держался за нее обеими руками; за пазухой у него хранилась завернутая в тряпье заветная «машинка», то есть деревянная шкатулочка с необходимым прибором для отливки фальшивых двугривенных.

— Иван, ты, того гляди, помрешь...— несколько раз довольно политично заговаривал Иосиф Прекрасный.— Отдай за́годя нам с Переметом ма́шинку-то,— с собой все одно не возьмешь...

— Поправлюсь, даст бог...

— Куды поправишься!.. Ей-богу, Иван, помрешь, верно говорю!.. А нам с Переметом далеко еще брести, веселее бы с машинкой...

— Не мели!

— Ну, зелена́ муха, не кочевряжься... говорю, помрешь!

Хохол Перемет не принимал никакого участия в этих переговорах, потому что вообще был человек крайне сдержанный и не любил болтать понапрасну. В партии он был всех старше и в свои пятьдесят лет сохранил завидное здоровье. Перемет больше всего любил лежать на солнышке, на самом припеке, закинув свою хохлацкую голову и зажмурив свои карие казацкие очи. В усах и в давно не бритой бороде у него уже серебрилась седина. В трудных случаях своей жизни Перемет говорил только одно слово: «нэхай», и тяжело принимался насасывать свою трубочку-носогрейку. Рядом с ним Иосиф Прекрасный казался каким-то вихлястым и совсем несуразным мужиком. Его рябое худощавое лицо, с белобрысыми подслеповатыми глазками отличалось необык-

новенной подвижностью, точно Иосиф Прекрасный вечно к чему-нибудь прислушивался, как заяц на угонках. В нем именно было что-то заячье.

— Бросится ужо в воду, да и утонет вместе с машинкой, зеленá муха...— несколько раз поверял Иосиф Прекрасный свои опасения Перемету и зорко караулил больного товарища.

— Нэхай,— отцеживал хохол.

— А куда мы без машинки?..

Не раз, просыпаясь по ночам, Иосиф Прекрасный крепко задумывался над вопросом, как завладеть машннкой, н ему приходилн в голову страшные мысли: представлялась размозженная голова, окровавленное мертвое лнцо, судорожно сжатые бессильные руки... Но это чувство пугало самого Иосифа Прекрасного, н он начинал молиться вслух, чтобы отогнать смущавшего беса. Чтобы рассеяться от накипавших злых мыслей, Иосиф Прекрасный по целым дням бродил по Татарскому острову н по-своему изучал во всех тонкостях этот клочок, а главным образом — поселившихся на нем птиц. По этой частн Иосиф Прекрасный был великий артист и отлнчно знал всякое птичье «обнакновение»: какая птица как живет, где вьет гнездо, какими способами обманывает своих врагов.

Больной Иван подозревал душевное состояние своего прнятеля, но больше опасался молчаливого хохла, особенно по ночам, когда тот, завернувшись в старый полушубок, неподвижно лежал в двух шагах от него. Кто знает, что у такого человека на уме: молчнт-молчит, да как хватит сонного камнем по башке — только и всего.

Сошлнсь онн все трое случайно, в сибирской тайге, и хотя общая бродяжническая жизнь, переполненная общнми приключениями и опасностями, сильно сближает людей, но они все-таки мало знали друг друга, потому что по какой-то особенной бродяжнической делнкатности избегали интимных разговоров о том прошлом, которое всех их загнало в далекую и холодную Снбирь. Это последнее пронсходило отчасти потому, что бродяги редко говорят правду о себе даже друг другу, тем более что и сходятся онн в маленькие артелькн только на путн через Сибирь, а там, как перевалят благополучно через Урал, всякому приходится идти уже в одиночку.

— Братцы, шли бы вы вперед... своей дорогой...— несколько раз говорил слабым голосом Иван.— Я, может, долго залежусь.

— Лежи знай, зелена́ муха, а мы отдохнем малость,— отвечал Иосиф Прекрасный за всех.— Слышь, по дорогам лётных не пропускают... на трахту недавно человек двадцать пымали. Обождем, до осени далеко.

Разговор обыкновенно на этом обрывался, и лётные молча раздумывали, каждый про себя, свою думу.

Весенние ночи были коротки, но для больного, которому приходилось сторожиться от своих товарищей, они казались бесконечными. Стоило закрыть глаза, и начинались самые мучительные грезы: представлялся опасный побег с каторги, лица гнавшихся по пятам конвойных солдатиков, догнанный солдатской пулей товарищ по побегу, а там дальше следовало страшное блуждание по тайге, где приходилось дней по пяти сидеть без куска хлеба. Страшные таежные овода заедают человека насмерть, как это и случается с заблудившимися в тайге беглыми; рвет его таежный зверь, но всех их хуже таежный дикий человек, который охотится за «горбачом», как называют там беглых, с винтовкой в руках... Все это представлялось больному бродяге с мучительной ясностью, и он в сотый раз переживал все муки и опасения, перенесенные им в бегах: душил его прямо за горло таежный медведь, выслеживал бурят, верхом на лошади, нацелившись винтовкой... Видел он квадратное желтое лицо с косыми глазами, и кровь стыла в жилах, потом видел громадную сибирскую реку, потонувшую в плоских мертвых берегах; видел, как горами шел по ней весенний лед, а он сам, с шестиком в руках, прыгал с одной льдины на другую, перебираясь на другой берег. Это была Обь... Иван Несчастной Жизни навеки было скрылся под расступившейся обской льдиной, которая проглотила бы его вместе с машинкой, но близко был берег, и бродяга выплыл. Пришлось идти в мокрых, обледеневших лохмотьях; в холодной Оби и зачерпнул Иван свою болезнь, которую нес до самого Зауралья, куда рвалась его душа. Еще в тюремном каземате видел он вот этот самый Татарский остров и наконец добрался до него, но здесь последние силы оставили Ивана, и он даже не мог подняться на ноги, чтобы посмотреть на знакомый берег родной реки.

II

Так прошло целых три дня. Запасы кое-какие были, погода стояла отличная, и лётные пока ничего не предпринимали, наслаждаясь благословенным покоем. Да и пора было отдохнуть, потому что все они бродяжничали уж «близко полгода»,— даже у здоровенного Филиппа Перемета и у того по временам ныла каждая косточка.

На четвертую ночь Ивану пришлось особенно тяжело, и он лежал около огня в тяжелом полузабытьи. Ночь выпала ясная, немножко холодная, с сильной росой; над островом и над рекой стояла какая-то молочная мгла, чутко вздрагивавшая от малейшего звука. Кусты тальника, смородины и вербы, которыми порос весь остров, казались гораздо выше, чем днем, и сливались в большие темные массы. Где-то далеко, на берегу Исети, заливались два соловья. Иногда у самого острова глухо всплескивала вода,— это металась в заводи крупная рыба; где-то далеко-далеко, точно под землей, глухо лаяла собака. Иван иногда глядел на небо, усеянное звездами, и ему оно казалось громадной синей трубой, опрокинувшейся широким концом как раз над самым Татарским островом. Отяжелевшие глаза слипались сами собой, но ухо чутко сторожило малейший шорох, заставляя бродягу вздрагивать. То казалось ему, что к острову осторожно подплывает лодка, то в кустах слышались крадущиеся шаги и подозрительный треск. Больному «блазнило» вдвойне, и он смешивал галлюцинации с действительностью.

Перед самым утром, когда небо начало заволакиваться туманом, больной начал совсем засыпать, но над самой его головой жалобно пискнула маленькая птичка, выпугнутая из гнезда сонною. Это был скверный знак, и Иван только что хотел разбудить спавших товарищей, как на его плечо легла чья-то тяжелая рука.

— Не трожь...— прошептал чей-то голос, и из темноты над Иваном наклонилась сгорбленная широкая фигура.— Я с хорошим словом к вам пришел: мир на стану!

— Садись, так гость будешь.

— Я и то в гости пришел...— засмеялся гость и уселся к огню на корточки, по-татарски.— Сколько тут вас: трое? Так и есть. Эх вы, и бродяжить-то не умеете:

разе бродяги по ночам огни раскладывают, а? Наши парнишки всю деревню переполошили. В ночном лошадей стерегли, а на острову дымок; ну, сейчас в деревню: «Лётные на Татарском острову...»

— Да вот неможется что-то,— около огонька все как будто способнее...

— Ну, это статья другая!..— согласился гость и, не торопясь, принялся раскуривать свою трубку-носогрейку.

Спавшие бродяги проснулись, но продолжали лежать с закрытыми глазами, наблюдая ночного гостя с волчьей осторожностью.

— Ишь, дьявола, хотят дядю Листара оммануть! — весело проговорил гость и опять засмеялся.— У меня такой петушок был: засунет голову в поленницу и думает, что его не видно... занимательный был петушок... А вы, братцы, не сумлевайтесь: дядя Листар сам в лётных-то колотился годов с пять и всю эту музыку произошел, как же!..

— Ты из Тебеньковой будешь? — спросил Иван.

— Тебеньковский. Мир меня, значит, послал испытать вас, с добром или с худом вы пришли. Время летнее, в деревне только старые да малые, ну, чтобы баловства какого не вышло. А я так про себя-то мерекаю: чистые дураки эти наши мирские мужики.

Дядя Листар одним движеньем головы молодцевато передвинул свою шляпенку с уха на ухо и опять засмеялся хриплым смешком, прищурив свой единственный глаз. Лицо у него было сильно изрыто оспой, один глаз вытек и был закрыт ввалившимся веком; жиденькая желтая бороденка глядела старой мочалкой. Одет он был в изгребную синюю рубаху домашнего дела и такие же порты. Широкая сгорбленная спина и длинные руки выдавали деревенского силача, видавшего виды, о чем свидетельствовал единственный глаз дяди Листара, который смотрел как-то особенно вороввато.

Иосиф Прекрасный и Перемет поднялись со своих мест и подсели к огоньку, разглядывая дядю Листара исподлобья.

— Издалече будете? — спрашивал старик тоном своего человека.

— Ничего-таки... здорово отмахнули,— хвастливо ответил Иосиф Прекрасный, грея свои длинные руки над

огнем.— Из-под Иркутскова буровим, третью тыщу доколачиваем.

— Так... Место знакомое: сам из-под Иркутскова уходил.

— Нно-о?

— Верно... Я тут конокрадством займовался, ну, одного человека и порешили грешным делом. По этому самому случаю меня и засудили, старые тогда суды были. Было-таки всячины... ох-хо-хо!

— А глаз куда девал? — спросил Иосиф Прекрасный.

— Это, милый друг, один кыргызь мне заметку оставил... ха-ха! В орде мы коней воровали у них, ну и тово, прямо копьем да в глаз кыргызь проклятущий и угадал. Так вот, други милые, пришел я к вам от своих: мир послал... опасятся насчет баловства. Обыкновенно — дураки, я про мужиков-то; лётные, как зайцы, чего их бояться... всякому до себя.

— Верное твое слово... Нам бы только до своих местов пройти, а не до баловства. Да вот Иван что-то больно разнемогся дорогой, да и на трахту, сказывают, тово...

— Насчет трахту не сумлевайтесь: пустое...— успокоил дядя Листар.— Конечно, не прежняя пора, ну все-таки ежели с умом, так хошь на тройке поезжай.

— А как в Шадрином ноне? — полюбопытствовал Перемет.

— В шадринском остроге? Дрянь дело: изгадили место совсем... Прежде шадринский-то острог все лётные даже весьма уважали: не острог был, а угодник. Первое — насчет харчу не стесняли, а второе — майдан...

— Слыхивали и мы, как же.

— Как не слыхать: первое место было для лётных... Сами бродяжки туда шли по осени, чтобы перезимовать. Шестьсот, семьсот душ набиралось... А ныкче шабаш, строгости везде пошли... начальство тоже новое...

Лётные разговорились с дядей Листаром, как со своим братом, и рассказали, кто и куда пробирается: Иосиф Прекрасный шел на Волгу, в свою Нижегородскую губернию, хохол Перемет куда-то в Черниговскую, Иван Несчастной Жизни за Урал, в Чердынский уезд. Собственно, говорил один Иосиф Прекрасный, вообще большой краснобай по природе.

— Так, говоришь, ваши тебеньковские сильно испужались нас, а? — спрашивал он дядю Листара в третий раз.— А ты им скажи, своим-то мирским, что наше дело смиренное: передохнем малость и опять к своим местам поволокемся.

— Скажу, скажу... Дурачье эти наши мужики самые, правду надо говорить,— философски рассуждал дядя Листар, расставляя руки.— А того не сообразят, что все под богом ходим: сегодня я справный, самый естевой мужик, а завтра заминка вышла, и я сам в лётные попал... Это как? Понимать все это надо, а не то чтобы бояться. У нас в Тебеньковой эк-ту один брательник другого топором зарубил, ну, большая неустойка вышла; засудили сердягу, теперь тоже, поди, в лётных где-нибудь по Сибири мается.

— А много лётных через ваши места проходит?

— Страсть сколько: день и ночь идут... по одному, по два, по три. У нас насчет этого даже очень способно — никто пальцем не пошевелит бродяжку настоящего, а еще кусочек хлеба подаст. Не как в этой проклятущей Сибири — там, брат, травят горбачей, как зайцев. Эти желторотые сибиряки — сущие псы... А у нас у каждой избы такая полочка к окну пришита, чтобы на ночь бродяжкам хлеб выставлять. Бабы у нас жальливые насчет бродяжек... Вот разбойникам да конокрадам спуску не дадим, это уж точно!

В этой мирной беседе не принимал участия только один больной Иван; он лежал с закрытыми глазами и молча слушал болтовню лётных с дядей Листаром. Последнего он узнал по голосу и теперь старался не попадаться ему на глаза: еще узнает, пожалуй, и разблаговестит в Тебеньковой.

— Вы бы, черти, хоть землянку сделали, что ли,— говорил дядя Листар, собравшись уходить.— Мало ли какая причина: дождичком прихватит, росой тоже... не в пример способнее землянка-то, а то попросту балаган оборудуйте. У нас жить можно: народ естевой, не чета сибирским-то челдонам. Худого слова не услышите, ежели себя будете соблюдать... Только вот с писарем надо будет маленько сладиться, и чтобы прижимки какой не вышло. Наши шадринские писаря, как помещики: приступу к ним нет.

— Уж как-нибудь сладимся, зелéна муха...

III

Татарский остров издали походил на громадную зеленую шапку. Река Исеть плыла здесь широким плесом, точно в зеленой бархатной раме из вербы, ольхи, смородины и хмеля. Кругом, насколько хватал глаз, расстилалась без конца-краю панорама полей, сливавшихся на горизонте с благодатной ишимской степью; два-три кургана едва напоминали о близком Урале, откуда выбегала красивая Исеть, вся усаженная богатыми селами, деревнями и деревушками, точно гигантская нитка бус. Место было широкое и привольное, какие встречаются только в благословенном Зауралье, где весело сбегают в Исеть реки: Теча, Синара и Миас, эти настоящие земледельческие артерии.

В полуверсте от Татарского острова, вниз по течению Исети, на плоском песчаном берегу, плотно уселось своими двумя сотнями изб богатое село Тебеньково. Издали красовалась белая каменная церковь; единственная широкая улица тянулась по берегу версты на две, как это бывает в настоящих сибирских селах. С тебеньковской колокольни можно было рассмотреть несколько других селений: верстах в десяти вверх по течению Исети горбились крыши деревни Чазевой; вниз по течению, прикрытое зеленым холмом, пряталось село Мутовкино; в стороне, где синел старинный башкирский бор, как свеча, белела высокая колокольня села Пятигор. Эту картину портило отсутствие леса — от прежних вековых лесных дебрей, на пространстве сотен квадратных верст, сохранился только пятигорский бор, жиденькие березовые перелески, гривки и островки из смешанной зелени, прятавшиеся по логам и оврагам. Зато полям не было краю — точно на диво развернулась сказочная скатерть-самобранка: ярко зеленели озими, желтели, как давно не бритая борода, прошлогодние пары, черными заплатами вырезывались яровые.

Май был на исходе, и весна разливала кругом свои чудеса со сказочною щедростью. А давно ли все кругом было мертво, как пустыня. Долго хмурится апрельское небо и точно не хочет улыбнуться первым весенним лучом; в засвежевшем упругом воздухе иногда начинают тихо кружиться пушистые снежинки; но весна берет свое — на бугровых проталинках зеленой щетиной пробивается первая травка, везде блестят на солнце

лужи вешней полой воды, сердито и весело буравят землю бесчисленные ручьи, снег сползает к оврагам и водороинам, пухнет, чернеет, покрывается ржавыми пятнами и ледяными кружевами. Дольше всех не сдается скованная толстым льдом река, пока наливающаяся в воздухе, томящая весенняя теплынь не выгонит поверх льда желтые наледи, промоины и широкие полыньи. Первыми вестниками наступающей весны являются грачи, скворцы, жаворонки; за ними прилетает разная водяная птица, как только реки и озера дадут закраины; за водяной птицей летит болотная, позже всех прилетают лесные птицы. Усталые вереницы пролетают тысячи верст, делают короткие становища, кормежки и высыпки, и опять летят вперед, туда, на север, где хмурится низкое небо и в синеватой мгле тонет бесконечная лесная полоса, которая разлеглась широкой зеленой лентой от одного океана до другого. Сколько миллионов перелетной птицы погибает напрасною смертью в этот длинный путь через моря, горы, пустыни и леса! Иная, выбившись из сил, попала в море, иная погибла от голода, иная сделалась жертвой тех хищников, которые зорко стерегут перелетные станицы на каждом шагу и провожают почетным конвоем. И хищная птица, и снег, и зверь, и холодный ветер, а всех больше человек — истребляют миллионы беззащитной твари; но могучий инстинкт сильнее всех этих препятствий, и птичья армия каждый год с точностью, которая недоступна даже лучшим машинам, начинает свое переселение, точно двигается вперед какая-то стихийная сила.

Теперь уральская весна была в полном разгаре, и все кругом жило какою-то напряженною жизнью. Наперекор предсказаниям Иосифа Прекрасного, Ивану Несчастной Жизни вдруг полегчало — это было чудо животворящей весны... Больной мог сидеть, ел и вообще превращался в здорового человека. Он каждый день по нескольку раз обходил Татарский остров, смотрел сквозь кусты на знакомый берег Исети, на расстилавшиеся родные поля, тебеньковскую колокольню и чувствовал, как по его желтому лицу катились счастливые слезы, слезы безыменного бродяги, который имел такое же значение в общем строе жизни, как фальшивый двугривенный или письмо, отправленное по почте без адреса. Но ведь и он, Иван Несчастной Жизни, мог, сколько душе угодно,

слушать, как по ночам жалобно курлыкали журавли, бродившие по тебеньковским пашням, как на заре кричали на Исети своим диким криком лебеди, как куковала где-то далеко-далеко сирота кукушка; мог смотреть, как над деревней, над полями, над рекой широким витом подимались злые коршуны, зорко выглядывавшие свою добычу. На Татарском острове тоже деньденьской копошилась разная птичья мелюзга, заливаясь своими песнями; ласточки, синички, малиновки, черемушники гнездились в кустах; по песчаной отмели проворно бегали черныши-бекасы и серые зуйки, грациозно покачиваясь на своих тонких, как проволока, ножках; в прибрежном коряжнике было два утиных гнезда, в осоке по ночам долго скрипел коростель. У Иосифа Прекрасного была вся птица на счету, как у хорошего хозяина; лётные не трогали птиц.

— Это господам забава — беззащитную тварь бить,— любил рассуждать Иосиф Прекрасный, сидя у огонька.— Птица-то просиется и сейчас бога славит — вот ты на нее и гляди, что она названием-то птица. Зверь — тот не умеет угодить богу, потому, какая у него песня: либо завоет, либо залает, либо захрюкает, а птица на все голоса выводит. Птица, брат, вольная тварь — первая родня нашему брату, лётному... Ее господь умудряет за ее простоту, потому она и место свое знает лучше другого человека — самая махонькая птичка, и та вот знает. Нет, ее, брат, не обманешь. Кому, значит, что дано: одному такая часть, другому другая; а место у каждого свое должно быть; ну, его к этому самому месту и волокет, потому как божеское произволенье.

IV

При помощи дяди Листара у лётных быстро завязались правильные сношения с деревней. Первым отправился в Тебеньково, конечно, Иосиф Прекрасный и первым делом зашел в кабак к Родьке Беспалому, где его уже поджидал дядя Листар. Кабак стоял на выезде; вывеской ему служила прибитая к коньку и давно порыжевшая елка.

— Добро пожаловать...— здоровался Беспалый, разглядывая Иосифа Прекрасного своими быстрыми, совсем круглыми глазами.— Суседи, видно, будем?

Беспалый засмеялся жиденьким, тонким смехом, который уж совсем не шел к его толстому брюху и широкому, лоснившемуся бородатому лицу; свое прозвище он получил за отрезанные на левой руке два пальца.

— У генерала Кукушкина служил в полку...— поддерживал веселый тон сидельца дядя Листар.— Дайка нам чего потеплее, чтобы добрым людям завидно было.

Кабак помещался в обыкновенной крестьянской избе, а для удобства посетителей дверь была проделана прямо на улицу. Несмотря на то, что, по летнему времени, дверь стояла настежь, в кабаке было темно, особенно когда войдет человек с улицы. Страшная грязь, вонь, избитый, как в конюшне, пол, грязная стойка, грязные стаканчики из пузыристого мутного стекла и у стены грязная лавка, на которой сидели посетители... Чаще других бывал здесь, конечно, дядя Листар: охотник он был выпить, особенно на чужой счет, так как свои деньги не держались у старика. «Не с деньгами жить-то, а с добрыми людьми...» — говорил дядя Листар, подмигивая своим единственным глазом.

— Мимо меня лётные-то не проходят,— говорил Беспалый, когда Иосиф Прекрасный спросил для куражу целый полштоф.— Ох, много их идет из Сибири... Ну, с устатку и завернут к Родьке нутро поправить. Тоже назябнутся, да наголодаются, да натерпятся всякой муки-мученицкой, оно живого человека и тянет к теплу... другому и так подашь стаканчик.

— Из сливок? [1] — поправил дядя Листар.

— Всяко бывает... другой раз цельного отломишь.

В кабаке Беспалого Иосиф Прекрасный познакомился с разными тебеньковскими мирянами, и все оказался народ самый хороший: два брательника Гущиных, рыжий и весноватый Мирон-кузнец, обдерганный и забитый мужичонко Сысой, два Гаврилы, степенный и обстоятельный мужик Кондрат и т. д. Сначала мужики немного косились на Иосифа Прекрасного, а потом разговорились, и только один Кондрат, засунув руку за опояску, как-то загадочно улыбался в свою окладистую русую бороду.

[1] Сливками называют в деревенских кабаках недопитые остатки, которые из стаканов и шкаликов сливаются в особую посудину. (*Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.*)

— Как с вами быть-то: живите пока...— говорил кузнец Мирон, а ему поддакивали другие мужики.— Кругом лётные перебиваются по летам: кто на покосах по избушкам, кто себе балагушку пригородит.

— Лётные, как комары: до осени...— смеялся Родька Беспалый.— Первым снежком их, как метлой, выметет. Все в Шадрином будут... Угодник на угоднике: Елкин, Кустов, Кольцов — не найти концов.

Мужики добродушно смеялись над лётными, выпили лишний стаканчик по такому случаю, и знакомство завязалось.

— Вот как насчет баб?..— заметил Кондрат в самый разгар беседы.— Летняя пора — и за грибами и за ягодами ходят... Чтобы неустойки не вышло какой.

Иосифу Прекрасному ничего не оставалось, как божиться и клясться, что они и близко к бабам не подойдут, что им это самое дело наплевать, а уж если такая нужда застигнет, так и Шадринск не за горами — там этого харчу сколько угодно. Дядя Листар кусал свою бороду и ничего не говорил, потому что настоящему мужику нехорошо болтать о таком пустом предмете,— ему даже было немножко совестно за степенного Кондрата, которому не следовало себя срамить. Эка невидаль — бабы!.. Уж тут что ни говори, а если тебеньковские бабенки гуляют со своими парнями, так будут и с лётными гулять: солдатка Степанька, кривая вдова Фимушка, замотавшаяся девка Улита, да мало ли их наберется по деревням?

За Иосифом Прекрасным к Беспалому пришел Филипп Перемет и сразу понравился всем, потому, видно, что обстоятельный человек: напрасно слово не молвит и компанию поддержать может. Особенно близко Перемет сошелся с кузнецом Мироном, потому что и сам близко знал всякую кузнечную работу.

Один Иван Несчастной Жизни оставался все еще на Татарском острове, потому что едва ходил, да и то задыхался через каждые десять шагов. От нечего делать он городил вместе с Иосифом Прекрасным летний балаган, в котором можно было скрыться по крайней мере от дождя.

Первыми на Татарский остров явились деревенские белоголовые ребятишки; они сначала наблюдали лётных с берега и только потом решились переправиться на остров. Это были самые бойкие из всей деревенской

детворы. Семка, сынишка старшего брательника Гущина, Авдошка Сысойкин, Кулка Родькин и с ними же приплелась семилетняя девчурка Сонька. Мальчишки совсем не заметили, как она перебрела за ними через реку на остров, и были очень сконфужены ее обществом.

— Сонька, подь домой... прибьем!..— кричал Кулка, первый озорник.— Ишь, сопливая, туда же за ребятами...

Он схватил девочку за тонкое плечо и больно ее толкнул. Сонька заревела, но за нее вступился Иосиф Прекрасный, умевший ладить с ребятишками.

— Не трожь ее, ребята,— говорил он буянам.— Ты чья будешь, девочка, а?.. Ах ты, зеленá муха...

— Фе... фе... кли-и... стина,— всхлипывая и закрыв лицо руками, ответила Сонька.— К мамке хочу...

Девочка опять расплакалась. Но Иосифу Прекрасному не стоило особенного труда утешить ее: он посадил Соньку к себе на колени и принялся выделывать на губах такие трели, что девочка сейчас же засмеялась чистым и доверчивым детским смехом. Иван лежал в балагане и видел всю сцену: имя Феклисты заставило его вздрогнуть; но он не вышел из балагана и только издали разглядывал белокурую головку девочки с заплаканными глазами. Сонька была в одной старой выбойчатой рубашонке, открывавшей до самых колен исцарапанные, желтые от грязи и загара ноги; на спине у нее болталась скатавшаяся косичка; тонкая шея была совсем коричневая, лицо запачкано, и только одни глаза, как две звездочки, сияли тихим ясным взглядом.

Эта детвора быстро освоилась на Татарском острове и с детским эгоизмом одолевала Иосифа Прекрасного тысячью просьб: наладить удочки, поймать птаху, поиграть на губах; вырезать пикульку помудренее, рассказать сказку пострашнее. Перемета и Ивана ребята боялись и только с любопытством поглядывали на них издали. Угождая ребятишкам, Иосиф Прекрасный через них быстро разузнал всю подноготную Тебеньковой: какой поп, кто богатые мужики, какой писарь, когда лётные проходили и т. д.

Из мужиков раньше других пришли брательники Гущины, здоровые и молчаливые мужики, про которых шла не совсем хорошая молва, особенно про большака:

знались брательники с башкирскими конокрадами, с трактовыми ворами, пошаливавшими на шадринском тракте. Гостей лётные угощали водкой.

— Ничего, славно здесь у вас,— говорил меньшак Гущин, заглядывая в балаган к Ивану.— Летом-то даже очень любопытно... тоже вот балагушку приспособили. Ну, Иван, как ты здоровьем-то?

— Да ничего... полегчало будто.

— Чердынский, говоришь?

— С той стороны...

— Та-ак,— недоверчиво протянул меньшак и переглянулся с большаком.— Только говорьё-то у тебя не подходит маненько...

— Смешались мы говорьём-то...— подхватил Иосиф Прекрасный, желая выручить товарища.— В остроге-то всякого жита по лопате наберется,— ну, какое уж там говорьё.

После Гущиных приходил кузнец Мирон, Сысой и даже заглянул степенный Кондрат, обнюхавший весь остров. Лётные принимали всех мужиков одинаково и всех угощали водкой, водка выпивалась исправно, и мужики повторяли: «Ничего, живите пока». Дядя Листар, конечно, наведывался чаще других и сам припрашивал водки. Пьяный, он разбалтывал все, что говорят в деревне мужики относительно лётных.

— Тебе бы, Иван, показаться в деревне-то...— советовал старик.— А то сумлеваются мужики-то... Конечно, по глупости по нхней,— не понимают, что хворый человек... Заверни, как ни на есть, к Родьке, только и всего. Поглядят и отстанут... дураки, одно слово.

Иван так и сделал,— сходил в кабак показаться тебеньковским мужикам, и этим устранились все подозрения: его никто не узнал, да он и сам себя, вероятно, не узнал бы — так болезнь его перевернула.

— Обличьем-то ровно бы ты на одного нашего мужичка подходишь...— заметил один Родька Беспалый, вглядываясь в Ивана.— Брательники тут у нас были, Егор да Иван; еще неустойка у них тут большая вышла: Иван-то порешил Егора, топором зарубил.

— Бывает...— глухо соглашался Иван, желая сохранить спокойствие,— мало ли человек на человека походит. В чужую скотину вклепываются.

— Да ведь я так, к слову сказал.

Иван произвел на тебеньковских мирян известное

впечатление, как человек особенный и уж совсем не чета Иосифу Прекрасному. Мужики умеют сразу определить нового человека по самым ничтожным признакам, и в этом случае не ошиблись. Иван резко выделялся своей спокойной уверенностью, известным мужицким тактом и особенно тем, что умел быть самим собой. Он не заискивал, не подделывался под чужой тон, а держался просто, как всякий другой мужик. Иван отлично понимал, что, как бы хорошо к нему ни относились тебеньковские мужики, для них он отрезанный ломоть, чужой человек, которого терпят из милости, и что при первом «поперечном» слове его выгонят в шею. Эта мужицкая милость была ему тяжела, как медвежья лапа, которая может раздавить каждую минуту. Одним словом, он как-то сразу невзлюбил этих тебеньковских мужиков, которые могут так свободно расхаживать у себя по деревне, заходить к Беспалому и вообще держать себя совсем независимыми людьми. А главное, что им от него нужно: бродяга, и конец делу.

По вечерам на Татарском острове часто собиралась целая компания, особенно «частили» брательники Гущины, приносившие с собой свою водку. Около огонька просиживали до зари и болтали о разных разностях, причем лётные разузнавали все, что им нужно было знать: какие и когда лётные прошли через Тебеньково, кто содержится в шадринском остроге, кто из лётных перебивается по окрестным деревням, на покосах в избушках, какие партии прошли в Сибирь и т. д. Центром этих известий служил кабак Родьки Беспалого, куда захаживали почти все беглые.

— А сколько знакомых наберется, зелена́ муха,— умилялся Иосиф Прекрасный, перебирая клички лётных.— Только вот этих Елкиных да Иванов Непомнящих больно уж много развелось, и не разберешь.

Когда компания развеселялась, Иосиф Прекрасный затягивал сибирскую острожную песню, которая обошла, кажется, всю Россию:

Как по речке, по быстрой,
Становой едет пристав...
Ох, горюшко-горе,
Великое горе!..
А с ним письмоводитель —
Страшенный грабитель.
Ох, горюшко-горе,

Великое горе!..
Едут по великому делу:
По мертвому телу...

Голос у Иосифа Прекрасного был высокий, нежный, как поют одни нижегородцы, и он выводил заунывные рулады с особенным усердием, а остальные подхватывали припев, такой же печальный и тяжелый, как неприветлива необозримая Сибирь с ее тайгой, болотами, степями, снегами, пустынными реками и угрюмым населением неизвестного происхождения.

— Ох, и люблю я эту песню...— каким-то слезливым голосом признавался дядя Листар и всякий раз лез целоваться с Иосифом Прекрасным.— Огонь по жилам идет...

— Отцепись, зелéна муха!..— протестовал Иосиф Прекрасный, защищаясь от этих ласк.— Разве я девка... тьфу!

V

У дяди Листара своей избы не было, он ее давно промотал и жил теперь у вдовы Феклисты, которой помогал управляться с хозяйством. В кабаке Беспалого иногда лукаво подмигивали насчет отношений Листара к Феклисте, хотя всем было хорошо известно, что Феклиста баба строгая и содержит себя «матерней вдовой» крепко-накрепко. Это была видная, высокая женщина лет под сорок, с загорелым лицом и плоской грудью, какая бывает вообще у деревенских баб, истомившихся на тяжелой крестьянской работе. Ходила Феклиста в темных ситцевых сарафанах или попросту в изгребном синем дубасе, а голову по-вдовьи прикрывала темным платочком с белыми горошинами.

Феклиста держала за собой мирскую землю и потому вытягивалась на работе, как лошадь, чтобы управляться и с домом, и с пашней, и с покосом. В доме не было мужика, и Феклиста прихватила дядю Листара, который хотя и пьянствовал большую половину года, но все-таки помогал в такую пору, как деревенская страда.

— Погоди, вот Пимка подрастет, тогда не пойду в люди кланяться,— грозилась Феклиста, когда дядя Листар очень уж надоедал ей своим пьянством.— Чтой-то за мужик: либо лодырничает, либо в кабаке гу-

бы мочит. Одно божеское наказанье, а не работник.

— Ну, ну, размыргалась...— ворчал дядя Листар, стараясь куда-нибудь уйти с глаз от Феклисты.— На свои пьем... а работа от нас не уйдет, еще почище другого трезвого-то сробим.

Еще с работой Феклиста кое-как справлялась, хотя колотилась, как рыба об лед; но ее сокрушало то, что ее вдовьи руки никак не доходили до дома — изба и двор, все начинало медленно разрушаться, как это бывает в захудавших сиротских домах. Некому было поправить валившуюся верею, приколотить отставшую «досточку», наладить расползавшиеся на крыше драницы, починить прясло в огороде, а тут еще амбарушка покосилась, на сеновале обвалились стрехи и т. д. Мало ли в крестьянском хозяйстве таких мелочей, за которыми нужен хороший хозяйский глаз, а где же бабе управиться? Постоянно болело Феклистино сердце от этих хозяйственных прорех по дому, и все надежды возлагались ею на девятилетнего Пимку — «вот Пимка подрастет, тогда все выправим».

У Феклисты после мужа осталось пять человек детей; но трое умерли: господь сжалился и прибрал сирот, как говорила Феклиста. Оставалось всего двое, мальчик и девочка, «красные детки», как говорят крестьяне. Маленькую Соньку мы уже знаем, брат Пимка был старше сестры всего года на два, но он, как все деревенские сироты, глядел гораздо старше своих девяти лет и держался настоящим мужиком. С деревенской детворой он почти не связывался совсем, а больше промышлял около дома, помогая матери своими детскими руками. Нужно было видеть, с каким сердитым видом он ходил у себя по двору, когда обряжал лошадь, задавал скотине корму и вообще хозяйничал, как настоящий большой мужик. Детские серые глаза смотрели серьезно, говорил Пимка мало, с тем мужицким тактом, чтобы не сказать слова зря, и очень редко улыбался. Сонька, по глупости, еще бегала по улице с другими деревенскими ребятишками, а Пимка только по праздникам выходил за ворота и то больше смотрел, как играют другие.

— Работника себе растишь, Феклистушка,— говорили тебеньковские мужики, и эта мужицкая похвала заставляла ее краснеть.— Славный у тебя парнишка выравнивается, не чета нашим-то сорванцам.

Всего интереснее было, как Пимка держал себя с дядей Листаром. Когда старик приходил домой пьяный, мальчик делал такой вид, что совсем не замечает Листара, хотя тот изо всех сил старался перед ним выслужиться.

— Ишь, опять шары-то (глаза) как налил,— говорил Пимка, смягченный пьяной угодливостью старика.— Добрых людей не совестно, так хошь бы стен постыдился, пропащая башка.

— А я, думаешь, рад этому самому вину? — объяснялся дядя Листар коснеющим языком.— Да я не знаю, что от себя отдал бы, чтобы не видать его, вина-то... отрава это нашему брату... Да...

— Никто не неволит отраву-то лопать...

— А-ах! Ббожже мой!... Да я... да мне плевать... Трекнусь (отрекусь) от водки — и конец делу!.. Вот какой дядя-то Листар, вот ты и гляди!

— Как же, сказывай, трекнулся... такой и человек,— с невыразимым презрением говорил Пимка.

Феклиста часто посмеивалась про себя, слушая откуда-нибудь из-за косяка, как Пимка доезжает пьяного Листара, точно комар, который жужжит над одуревшей от летнего жара скотиной. Но это была одна видимость, а в сущности Пимка и Листар были большие друзья, и Пимка больше льнул к пьяному мужику, чем к матери, перенимая от него всякую мужицкую ухватку. Дядя Листар по-своему очень любил «мальца» Пимку и учил его всякому мужицкому делу как по дому, так и в поле. За это пьянице Листару спускалось Феклистой очень многое, хотя она не одну сотню раз клялась выгнать его из избы.

Известие о лётных, засевших на Татарском острове, в избу Феклисты принесла белоголовая Сонька, а потом дядя Листар. Феклиста отнеслась к этому событию совершенно равнодушно, потому что мало ли лётных бредет по Исети каждое лето.

— Поживут, да и уйдут...— говорила Феклиста с соседками, забегавшими поделиться деревенской новостью.

— Двое-то были в кабаке у Беспалого,— тараторили бабенки перед Феклистой.— А третий, бают, хворый лежит; Гущины пирога с морковью послали, молодайка-то, которая за Митрием.

Но потом к Феклисте зашла Степанида Обросимов-

на, жена богатого мужика Кондрата, и засиделась дольше обыкновенного. Правда, старуха закинула какое-то заделье, но Феклиста сердцем почуяла, что Степанида Обросимовна неспроста растабарывает с ней о разных пустяках. Да и какая у них компания: семья Кондрата богатая, а Феклиста — бедная. Конечно, и раньше Степанида Обросимовна не брезгала Феклистиной беднотой, потому как еще со стариками дружила сильно, ну, а все-таки недаром накинула она на себя простоту. Только когда «вожеватая» и степенная старуха заговорила о лётных, Феклиста поняла сразу, куда гнула она, и ее точно что укололо в самое сердце.

— Это ты насчет нашего-то Ивана речь закидываешь? — предупредила Феклиста вопрос.

— Нет, я так, к слову молвила. Может, и ваш-то Иван тоже с лётными где-нибудь бродяжит.

Этот же разговор повторился с Аксиньей, женой кузнеца Мирона; потом с соседкой Фролихой, у которой двое сыновей было в солдатах, со стряпкой попа Ампадиста, Егоровной, с полюбовницей волостного писаря Калиныча, известной в Тебеньковой под именем Лысанки, потому что она зачесывала свои рыжие волосы назад, по-городскому.

— Да что они в самом деле пристали ко мне, верченые? — раздумалась Феклиста не на шутку и даже всплакнула про себя.— Дался им этот Иван... Может, и бродяжит, я почем знаю!..

Но, как ни старалась Феклиста отогнать беспокоившие ее мысли,— они лезли ей в голову, как летний овод.

Разыгравшаяся в семье Корневых тяжелая драма была очень несложного характера, как все крестьянские драмы.

Феклиста выросла в сиротстве и была единственной дочерью Никитишны, больной старухи, изморившейся на работе по чужим людям. Эта Никитишна всегда на что-нибудь жаловалась, и не проходило дня, чтобы не попрекнула свою дочь, что вот другим бог посылает же парней, а у нее всех-на-всех одна девка. Ну, куда девку повернешь? Корми и воспитывай, а потом, глядишь, девка и улетела. Чужой товар эти девки, и больше ничего.

— Вон у Корневых двух сыновей растят, замена бу-

дет старикам-то,— жаловалась Никитишна и тяжело вздыхала.

Корневы были соседи. Семья у них была небольшая, но достаточная, — муж с женой, старик, дедушка Афоня (по деревенскому прозвищу Корень), и двое ребятишек: Егор да Иван. Дети маленькими выросли вместе, на одной деревенской улице, и Феклиста часто бывала у Корневых. Когда она сделалась подростком, меньшак Иван был уже шестнадцати лет. Детское знакомство перешло в привязанность, а затем в более сильное чувство. Часто им приходилось вместе и работать, и хороводы водить, и на супрядках сидеть. Феклиста была смирная и работящая девка, а к шестнадцати годам она расцвела тем трудовым здоровьем, какое бог посылает иногда сиротам. Красива она не была, но деревенские парни не обегали ее своим вниманием, и Феклиста износила много синяков от деревенских кавалеров, как и они от нее. Иван Корнев был все-таки на особом счету, и деревенские свахи в один голос повторяли, что быть Феклисте за Иваном Корневым. То же думала и сама Феклиста и старая Никитишна, хотя последняя и любила поговорить, что Корневы найдут невесту побогаче Феклисты.

Корневы действительно заслали к Никитишне сватов, только присватались за большака Егора, а не за Ивана. Взвыла и забунтовала Феклиста на первых порах, не хотелось идти за немилого, но ничего не поделаешь — старики столковались между собой, и Феклисту никто не спрашивал: хочет она идти за Егора или нет. Корневым нужна была в дом хорошая работница, потому что сама старуха начала сильно прихварывать и не успевала справляться с хозяйством. Так и вошла Феклиста в новый дом, и сейчас же была завалена такой кучей новой работы, что ей даже дохнуть некогда было, не то что раздумывать о своем милом. Одних мужиков в доме было четверо, да еще свои дети пошли, тут приходилось вертеться колесом целые дни напролет, как работают одни деревенские бабы. Муж у Феклисты был хороший, работящий мужик, хотя и крутенек, особенно под пьяную руку.

Иван молчал и, видимо, старался избегать Феклисты, хотя сделать это было и трудно, особенно по зимам, когда вся семья скучивалась в одной избе. На счастье или на несчастье подвернулась рекрутчина, и

Корневым приходилось выставлять солдата, а на очереди был Егор. Вся семья взвыла; у Феклисты уже было двое ребятишек, и она ходила по дому с опухшими от слез глазами. Крепко задумался Иван над нежданной страшной бедой и порешил идти в солдаты за Егора — все равно, только бы дальше от Феклисты. Когда он объявил свое решение семье — первая, с воем и причитаньем, повалилась ему в ноги Феклиста вместе с ребятишками.

— Не для вас иду, а для себя...— ответил Иван и даже отвернулся.

Крепкий был парень этот Иван, какой-то совсем особенный против других деревенских парней, но, видно, уж такая судьба задалась, чтобы быть ему под красной шапкой. Так он и ушел на тяжелую солдатскую службу и целых пятнадцать лет тянул свою лямку где-то в уездном городишке. Даже на побывку он не ходил в Тебеньково, чтобы напрасно не тревожить себя и Феклисту, а через пятнадцать лет вышел вчистую, да еще фельдфебелем. Дед Корнев и старики успели к этому времени умереть, а всем хозяйством «руководствовал» Егор с Феклистой. Жили они исправно, и Иван поселился на первое время у них, потому что куда же солдату деваться в деревне. Дело было как раз зимой, работы никакой не было, и Иван отдыхал после солдатчины, да, сказать правду, он и отвык за время службы от тяжелой крестьянской работы. Сначала все шло хорошо, Егор был рад благополучно вернувшемуся брату, пока кто-то не намекнул ему на прежние отношения Ивана к Феклисте. Одним словом, между братьями пробежала черная кошка, хотя оба молчали и старались не подать виду.

Как теперь Феклиста помнит тот роковой день, когда корневский дом пошатнулся до основания и она осталась вдовой с пятью ребятишками на руках. Это было в воскресенье, сейчас после зимнего Николы. Братья, оба, только что пришли от обедни, и Феклиста подала им горячий пирог с соленым максуном. Егор что-то был не в духе и все косился на брата.

— Ты что это на меня так глядишь? — спросил наконец Иван.

— А и то гляжу, что мастер ты, Иван, чужой хлеб есть,— отрезал Егор да еще прибавил: — Работы пока от тебя не видали, а за стол садишься первый!..

Это несправедливое слово обожгло Ивана, как огнем, но он сдержался и промолчал. Егор не унимался и начал прямо ругаться. Между братьями завязалась тяжелая мужицкая ссора. Слово за слово, а потом ссора перешла в драку. Феклиста бросилась было разнимать братьев, но Иван успел схватить лежавший под лавкой топор и раскроил им череп брательнику.

Дальше все было в каком-то тумане: следствие, суд, потом каторга. Корневский дом одним ударом точно раскололся надвое: большак Егор убит, меньшак Иван ушел в Сибирь, а Феклиста опять осталась сиротой, и не одна, а с целой оравой ребят.

— Прости меня, ради Христа, Феклиста...— повалился Иван в ноги снохе, когда его с партией отправляли по этапу.— Бес попутал...

— Бог простит, Иванушка...— глотая слезы, ответила Феклиста. Она не жаловалась, не плакала, а точно вся застыла.

С тех пор об Иване не было ни слуху ни духу.

VI

Разговоры тебеньковских баб растревожили Феклисту, и она начала чего-то бояться, хотя сама не знала чего. Даже работа валилась у нее из рук, а по ночам она тяжело стонала.

Дядя Листар часто возвращался домой поздно ночью и, чтобы не тревожить Феклисты, уходил в старую избу, где раньше по зимам держали телят. Раз, проснувшись ночью, Феклиста услыхала, что в задней избе как будто кто-то потихоньку разговаривает. Она сначала подумала, что это бормочет Листар сам с собой, но потом ее взяло большое сомнение — пьяный человек, приведет кого-нибудь с собой; пожалуй, еще избу подпалят с пьяных-то глаз.

— Пьянчугу какого-нибудь привел, кривой пес...— ругалась Феклиста, направляясь в сени.

Действительно, в задней избе разговаривали двое — один голос был Листаров, а другой... Прислушавшись, Феклиста вся вздрогнула и едва устояла на ногах: она узнала голос Ивана. Да, это был он, Иван... Феклиста несколько раз уходила из сеней в свою избу и пробовала даже уснуть, но тут было не до сна, и она решилась наконец войти к Листару.

— Ты что это полуночничать-то вздумал? — сердито заговорила Феклиста, отворяя дверь в заднюю избу.— Нет тебе, пьянице, дня-то?..

— Ведь встала-таки, учуяла-таки... а?..— удивился дядя Листар, стараясь загородить локтем стоявшую на лавке посудину с водкой.— Ну, чего ты пришла? чего не видала?.. Думашь, больно испугались?.. Вот сидим и водку пьем... а?.. Шла бы ты лучше, Феклиста, да спала бабьим делом...

— Не мели, мелево... Здравствуй, родимый,— поздоровалась она с Иваном Несчастной Жизни, который сидел у окна.— С острову, видно?

— С острову... лётный,— глухо ответил Иван и как-то весь побелел, точно его ударило чем прямо в сердце.

— Дружок мой! — объяснял дядя Листар, ожидавший от Феклисты большого гонения.— Я сам, Феклиста, опять бродяжить пойду... верно!.. Да ты это что, Иван, помучнел весь?..

— Так... неможется все... ослабел я...

— И то от хвори... это бывает.

— Дальний будешь? — спрашивала Феклиста, чтобы вывести лётного из неловкого положения.

— Не так, чтобы очень... а порядочно-таки...— замялся Иван.

— Так он тебе и сказал, Феклиста... как же!..— бормотал дядя Листар, болтая головой.— Хошь стаканчик колупнуть за компанию?

— Отстань... Не привыкла я зря вино-то изводить, да и какая такая радость у тебя, Листар, чтобы вином-то наливаться?

— Вот и пошла взъедаться... Ступай спать, Феклиста, ей-богу...

Изба была освещена сальным огарком, и в первую минуту Феклиста не могла узнать Ивана и даже подумала, что ей просто «поблазнило» со сна. Но, вглядевшись в сидевшего у окна лётного, она больше не сомневалась — это был Иван, только такой худой, желтый,— краше в гроб кладут. На нем был надет подержанный чекмень; на лавке лежала войлочная шляпа, какую носят мужики. У Феклисты весь страх как рукой сняло, когда она увидела Ивана,— не прежнего молодого Ивана, а вот такого больного и жалкого. Только одни темные глаза у него светились по-прежнему; «ндравный» был человек, «карахтерный».

— А ты бы, Листар, еще полштофчик выправил...— говорил бродяга, приглядывая пустую посудину к свету.— Вот и деньги...

— Н-ооо? И то выправлю... Поди, спит Беспалый-то, дьявол, да я у него из горла выну.

Дядя Листар полетел в кабак, как был — без шапки, на босу ногу и в одной рубахе. В избе несколько времени длилось тяжелое молчание.

— Узнала?..— первым спросил Иван.

— Узнала, родимый, по голосу узнала и до смертушки устрашилась, а взглянуть на тебя охота. Ох! Страсть-то какая!.. Да и перед Листаром-то боялась ошибиться, больно уж он на язык-то слаб... Не узнали тебя наши-то... деревенские?

— Нет, Беспалый маненько вклепался было, да потом отстал... Да и где узнать: мало ли нашего брата, лётных, в кабаке у него перебывает за лето!

— Узна́ют, родимый, беспременно узна́ют...

— Ну и пусть узна́ют: все мне едино... Убег, и все тут.

Феклиста продолжала смотреть на него пристальным, упорным взглядом и не замечала, как по ее загорелому лицу катились крупные слезы.

— Ну, перестань реветь, Феклиста...— сурово оговорил ее Иван.— Дело надо говорить... Не прогонишь меня-то?

— Чего мне тебя гнать-то, Иванушка: сам уйдешь... Не таковское твое дело, чтобы разживаться в деревне-то... Царица небесная, заступница, вот как довелось свидеться-то! То-то у меня все сердечушко истосковалось да исщемилось... бабы все тут болтали про лётных, а на меня тоска напала, страх, сама не своя стала. Вот и теперь... поговорить бы надо, а в голове-то все измешалось...

— Второй раз я убег с каторги-то...— говорил Иван, опустив голову.— В первый-то раз сменялся за пять целковых, ну, да бегать еще не умел — скоро пымали и опять в острог. Непомнящим сказался... Иван Несчастной Жизни. До осени проживу на острову, а там видно будет... Трое нас.

— Слышала, все слышала...

— Шел сюда, думал, спокой себе найду, а тут другое... Не глянутся мне мужики ваши, Феклиста, сейчас терпят, а чуть что — в шею... Пожалуй, незачем

было бежать такую даль... Ну, а ты как тут живешь?..

— Ох, не спрашивай: плохое мое дело, руки не доходят, а помощники-то сами до чужого хлеба. Видел Соньку? Ну, Пимка старше будет года на два, а других ребятишек прихоронила. Ох, плохо, Иванушка, к кому это сиротство привяжется: сиротой выросла, сиротой и помру.

Вернувшийся из кабака Листар прервал этот разговор. Феклиста еще немного посидела в избе и собралась уходить.

— Засиделась я с вами, полуночниками,— проговорила Феклиста.— Ты, Листар, не гони лётного-то, пусть переночует в избе али в сарае, коли глянется...

— И то, Иван, заночуй у нас, ишь Феклиста-то как размякла для тебя... она ведь баба добрая, только ругаться больно люта.

— Ну, замолол!..— остановила его Феклиста.

— Нет, я на остров уйду,— решил Иван.— Еще увидят мужики-то, болтать будут... Спасибо на добром слове, Феклистушка.

Дядя Листар был в самом веселом настроении, размахивал руками и постоянно подмигивал своим единственным глазом. Ивану было не до водки, и Листар за разговором пил стаканчик за стаканчиком, облизывался и наконец заявил, что он сам уйдет в лётные.

— Ей-богу, уйду, Иван!..— кричал он и хохотал хриплым хохотом.— Что́ мне, плевать на все... погуляю еще. У нас тоже был эк-ту один случай! И смеху только... Ха-ха!.. По осени как-то на трахту ловили бродяжек, ну, для порядку, значит. Ну, в одной деревне и пымали отставного солдата... Каков человек есть? Ну, обнакновенно: Иван Кругом Шашнадцать... А стали его обыскивать, у его солдатский пачпорт, правильный пачпорт. Оказия!.. «Зачем ты, служба, лётным сказался?» Тут уж он и повинился во всем: «Я, баит, вчистую вышел, пошел в свое место, ну, дорогой-то обносился! Да и пить-есть надо... А какие у солдата средствия! Помаялся-помаялся и придумал: скажусь лётным, потому лётному-то скорее подадут». Так и шел в свою сторону... Ха-ха! Вот оно как бывает, Иванушка... И я тоже бродяжить пойду, плевать!..

Феклиста слушала всю эту пьяную болтовню и не могла никак заснуть. Очень уж тяжело ей стало, даже слез не было, а так — давит всю, точно камнем.

«Убивец ведь он, Иван-то, а я его пожалела...— раздумывала Феклиста на тысячу ладов, и ей опять делалось страшно.— Мне и глядеть-то на него не следовало, а я пожалела... Владычица небесная, заступница, прости ты меня, окаянную!.. Измешалась я разумом...»

Дальше Феклисте представлялись лица Соньки и Пимки, которых Иван осиротил, и ей делалось совестно перед собственными детьми, но вместе с тем накипало у нее на самом сердце мучительное чувство разраставшейся жалости к несчастному бродяге. Бог его наказал, и люди тоже, а какая она ему судья? Второй раз из каторги убег, разве легко ему, а что он за человек: не к шубе рукав. Пришел поглядеть на свои места, а вот снег падет, и все лётные по острогам разбредутся, кто куда. Феклисте мерещилось это больное желтое лицо, темные упрямые глаза, и сквозь ворох беспорядочно шевелившихся в ней мыслей и чувств начинало просачиваться сознание того, что, ежели разобрать правильно, так она, Феклиста, виновата во всем. Ведь не выйди тогда она за Егора, жили бы братья как следует, а тут родители захотели на беду по-своему сделать. Не переступила Феклиста родительской воли, покорилась да целую семью и извела. Великий, незамолимый бабий грех... Припомнились ей темные ночи, когда она выходила к Ивану в огород, целовалась и миловалась с ним, потом летние хороводы, зимние посиделки, нечаянные встречи на покосе, когда ночь казалась короткой, и вот чем все это кончилось.

Страшное отчаяние напало на Феклисту, и она была на волосок от сумасшествия. Всю ночь она продумала до зари, и чем дольше думала, тем тяжелее ей делалось.

VII

Ивану Несчастной Жизни было не легче Феклисты, хотя его горе было несколько другого характера.

Наученный горьким опытом неудачного побега, он в течение шести лет прошел целый подготовительный курс, как бежать, куда, какими дорогами. На каторге были настоящие профессора по части бродяжничества, которые выходили из заключения десятки раз. Иван

терпеливо ждал своей очереди и наконец выждал удобного случая для бегства.

Мы уже говорили выше, с каким трудом и опасностями сопряжен путь через тайгу, горы, пустыни и сибирские реки, пока Иван добрался до своего места, добрался больной, разбитый, полуживой.

Но именно здесь, в своем месте, с Иваном случилось нечто такое страшное, что было ужаснее самой каторги и чего он не рассчитал раньше, как не рассчитывают этого все тысячи лётных. Он почувствовал это *страшное* в избе Феклисты, когда она ему сказала: «Сам уйдешь». В самом деле, куда и зачем шел Иван Несчастной Жизни? Вот и свое место — родные нивы, река, деревня, мужики,— и что́ же?.. На каторге Ивану было лучше, и он даже пожалел, что бежал. В каторге было, конечно, тяжело, но скитаться лётному с места на место было еще тяжелее, потому что он, Иван, не был ни разбойником, ни завзятым бродягой. Его тянуло на волю, на простор, как тянет всякое живое существо, и вместе с тем эта воля для него заключалась там, в своей деревне. Теперь деревенский мир являлся перед его глазами во всей своей трудовой обстановке, как он строился еще дедами и прадедами,— ничего не было здесь лишнего, каждый винт делал свое дело, а отдельный человек являлся только ничтожной частицей громадного живого целого и только в этом целом имел смысл и значение, как нитка в пряже или звено в цепи. Каждая крестьянская душа выстраивается по этому порядку и только благодаря этому порядку знает, что́ хорошо, что́ дурно: радуется, горюет, надеется, плачет, молится и — главное — чувствует себя на своем месте. А что же такое он теперь? Ивана давила не внешняя обстановка бродяжнической жизни, а сознание, что он лишний человек на белом свете, как выдернутый зуб или как отвалившийся от горы камень, и что у него даже настоящего горя не может быть, как у той же Феклисты.

— Ты что это, Иван, как будто не в себе? — спрашивал Иосиф Прекрасный.— Скушной такой...

— Нездоровится...

— Попользоваться можно... Старушка такая есть в Пятигорах; сказывают, в лучшем виде может хворь из человека выжить.

— Ну ее к черту!

— А то вон кузнец Мирон тоже мерекает малость, ежели человек с глазу мается или чем испорчен.

Иосиф Прекрасный и Перемет, кажется, чувствовали себя очень хорошо и совсем не торопились уходить с Татарского острова, ссылаясь на разные предлоги; они были счастливы именно тем, что впереди у них оставалась надежда дойти до своего места, и совсем не рассуждали о том, что их ждет в своем месте, как больные, которые живут изо дня в день. Перемет пристроился к кузнецу Мирону, у которого и работал в кузнице; Иосиф Прекрасный промышлял по-своему около тебеньковских мужиков, а больше сидел в кабаке у Беспалого.

Сначала лётные жили на счет тебеньковской милостыни, которую обыкновенно Иосиф Прекрасный раздобывал через сердобольных баб. Так прошло недели две, бабы привыкли к лётным, и милостыня пошла туже. Пришлось пустить в ход заветную машинку, хотя Иван прибегал к этому средству только в самых критических случаях. Производством двугривенных он занимался всегда секретно и не любил, чтобы за ним подглядывали. Заберется, как волк, куда-нибудь в чащу, разведет огонек в ямке и орудует. Да и фальшивых двугривенных он отпускал как раз столько, сколько было необходимо, что особенно возмущало Перемета.

— И чего вин ее берегет, тую машинку! — удивлялся хохол и ругал Ивана «пранцеватым кацапом».

Фальшивую монету сдавать в Тебеньковой было очень опасно: как раз узнают; поэтому с оловянными двугривенными отправлялся обыкновенно Иосиф Прекрасный куда-нибудь в окрестные деревни, где были кабаки побойчее. Предварительно эти двугривенные вымазывались дегтем или вылеживались в сыром месте, и только когда они принимали вид подержанной монеты, Иосиф Прекрасный пускал их в оборот, причем весь секрет заключался в том, чтобы как можно больше получить сдачи медными. Про эти операции как-то пронюхал Родька Беспалый и сейчас же предложил свои услуги: он брал оловянные двугривенные исполу с большим удовольствием.

— Что вы мне раньше-то, дьяволы полосатые, не сказали? — ругался Родька, пересыпая на руке фальшивую монету.

— Ишь ты, зеле́на муха, какой гладкий; тоже всяко

бывает с таким монетом: в другой раз и в шею накладут. А нам что за расчет с острову-то уходить...

— Да разве я стану их в Тебеньковой менять-то? Тоже и у нас не две головы...

— Ну, ну, зелена́ муха, смалкивай...

— То-то, смалкивай... Ведь это фарт! [1]

Как политичный человек, Родька Беспалый совсем не полюбопытствовал, откуда у лётных оловянные двугривенные. Впрочем, кто же скажет на свою голову, да и Родьке это был «один черт»...

Точно так же обойден был и другой щекотливый вопрос, о котором говорил Кондрат: ни Перемет, ни Иосиф Прекрасный даже близко не подходили к деревенским бабам и девкам, но зато по ночам на Татарском острове появлялись то Улита, то кривая Фимушка. Деревенские парни, конечно, знали об этом, но не подавали никакого вида, что подозревают что-нибудь, потому что кому охота вязаться за таких пропащих бабенок и срамить себя. Иван обыкновенно уходил куда-нибудь, когда на острове появлялись эти приятельницы лётных.

С Феклистой Иван виделся довольно часто, хотя старался бывать у нее так, чтобы не особенно бросалось в глаза посторонним. Обыкновенно он отправлялся из кабака вместе с Листаром. Придет в избу к Феклисте, сядет куда-нибудь на лавочку и молчит, как пень. О прошлом не было сказано ими ни одного слова, точно это прошлое вовсе не существовало. Только иногда Иван замечал, что Феклиста со стороны следит за ним таким жалостливым взглядом и точно немножко опасается его. Когда Феклисты не было дома, лётный любил заниматься с ребятами, особенно с белоголовой Сонькой, которая напоминала ему его собственное детство, когда Феклиста была такой же маленькой девчуркой и бегала по улице с голыми ногами, в такой же выбойчатой рубашонке.

— Дяденька, тебя почто лётным зовут? — спрашивала иногда Сонька, забавно вытаращив свои светлые глазенки.

— А хорошо летаю, Сонька, вот и стал лётный...— отшучивался Иван.

---

[1] Фарт — прибыль, фартит — везет. (*Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.*)

— А кусочки ты берешь, которы мамка на полочку к окну кладет?

— Нет... другие берут.

Иногда Сонька своими детскими вопросами заставляла бродягу краснеть — ей все нужно было знать. Пимка, наоборот, держался с Иваном настоящим волчонком и все хмурился; в нем уже проявлялась скрытая мужицкая хитрость даже тогда, когда он смеялся своим детским смехом. Иван понимал, что сойтись ему ближе с Пимкой было невозможно: в этом мальчике, как в капле воды, отражалось то органическое недоверие к лётному, каким была пропитана вся деревня, несмотря на видимую доброту и снисходительность. Этот маленький мужик в незаметных мелочах умел показать свое мужицкое превосходство над бездомным бродягой и давил его своими детскими ручонками. Между Иваном и Пимкой завязалась глухая, молчаливая борьба, совсем незаметная для постороннего глаза. Мальчик умел вовремя обидно промолчать, иногда сосредоточенно ухмылялся про себя, а при случае отвешивал крупную мужицкую грубость.

Раз, например, Пимка накладывал в телегу навоз, что было еще совсем не под силу его детским рукам; Иван взялся за лопату и хотел ему помочь.

— Не трожь!..— закричал Пимка и весь покраснел от охватившей его злости.

— Тебе же хотел помочь... как знаешь.

— Знаем мы вашего брата, помочников!.. Тоже выискался!

— Да ты что, Пимка, в сам-то деле зря лаешься?

— Уйди от греха... об тебе давно сибирские-то остроги плачут. Кольем вас надо попужать, варнаков. Хлеб чужой только задарма едите. Я вот н Листара в три шеи выгоню... Ишь, нашел себе дружков, одноглазый дьявол.

Феклиста, понятно, не могла не видеть такого поведения Пимки, и к ее сердцу подступала самая глухая тоска. Указать сыну она в этом деле не могла, как не могла объяснить ему все начистоту. Кривой Листар пробовал по-своему уговаривать Пимку, но из этого ничего не вышло,— Пимка так «расстервенился», что бросился на старика с палкой и даже ударил его.

— Осатанел, постреленок...— добродушно смеялся Листар, почесывая спину в том месте, по которому уда-

рил Пимка.— Ишь ведь какое собачье мясо уродилось!.. И что это помешал ему Иван?.. Оказия, ребята, да и только... Глазенки-то так и горят, вот поди ты с ним.

Одним словом, с появлением Ивана в Феклистиной избе началось то «неладное», что отравляло жизнь всем.

— Боюсь я этого Пимки, рождения своего боюсь...— стыдливым шепотом говорила Феклиста Ивану.— Ведь все я слышу, как он фукает на тебя... надо бы закликнуть, выдрать, а я не могу. Сама же и боюсь его, а велико ли место еще и весь-то парнишко... И что это он привязался к тебе, Иванушко?.. Так я думаю: чует сердчишко у Пимки отцовскую-то кровь... вот он и встает на дыбы перед тобой. Сонька-то вон совсем еще несмысленая, а тоже как глядит глазенками-то на тебя... да и на меня глядит. В другой раз даже совестно станет.

— Уйду я, Феклиста, от греха...— говорил Иван, опустя голову.— Может, тебе легче будет... Не могу я... тошно мне.

Разговор происходил ночью, в огороде. Небо было точно подернуто легкой синеватой дымкой, звезды искрились, с реки тянуло сыростью. Феклиста стояла, прислонившись к пряслу спиной; Иван сидел на траве. При колебавшемся месячном свете он мог отлично видеть это загоревшее грубое женское лицо, которое вдруг точно дрогнуло. Феклиста глухо рыдала. Она слишком долго крепилась, и теперь ее разом прорвало.

— Перестань, Феклиста, ну тебя...— заговорил Иван, чувствуя, как у него слезы подступают к горлу и душат его.— Уйду, и все тут... Свет-то не клином сошелся.

— Иванушка, голубчик, куда ты уйдешь-то?

— В скиты к кержакам уйду... а то поверну обратно в Сибирь, там богатые челдоны любят держать беглых, ежели у кого рукомесло... Не пропаду, не бойсь.

— Сказывают, на золотых промыслах в орде[1] много лётных-то укрывается.

— Нет, на промысла не рука нашему брату... В тайге этого добра много: битва, а не житье. У кержаков в скитах лучше будет.

---

[1] Ордой в Зауралье называют башкирские земли и земли Оренбургского казачьего войска. (*Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.*)

— Иванушка, не гоню я тебя... ох, тошнехонько!.. И что я за несчастная такая уродилась... Мне и жалеть-то грешно тебя, а я еще стою вот с тобою здесь!.. Моченьки моей не стало... А как подумаю, что ты, Иванушка, убивец, да еще какой убивец-то — страшно слово вымолвить! Теперь вот перед своими детишками казнюсь я денно и нощно!

— Все одно: в Тебеньковой мне не жить, Феклиста. Обидно на других-то глядеть. Пока мужики не трогают, а все в виноватых состоишь. Уж лучше в чужом месте маячить...

— До осени-то хоть оставайся...

— До первого снега проживу на острову.

Долго Феклиста плакала и не стыдилась своих слез.

VIII

Наступила страда. Травы уродились хорошие, погода стояла ведреная, и всякая рабочая рука ценилась на вес золота. Лётные с острова перебрались на покосы, и теперь везде их принимали, как дорогих гостей. Перемет работал на покосе у своего благоприятеля, кузнеца Мирона, Иосиф Прекрасный переходил от Родьки Беспалого к брательникам Гущиным, от Гущиных к Кондрату, от Кондрата к писарю Калинычу. Деревни стояли пустыми, а зато на всех покосах, по низинам и поймам, широкой волной катился настоящий праздник — с утра до вечера сверкали косы; ровными рядами покорно ложилась высокая, душистая трава; от свежего сена далеко несло ароматной струей, точно самая земля курилась благовониями. Народ трудился по берегам Исети, на заливных лугах, по мочежинам, в ложках. По ночам, как светляки в траве, мигали веселые огоньки; около них собирались семьи, тут же бродили спутанные лошади, стояли телеги с поднятыми оглоблями и весело катилась от одного покоса к другому проголосная песня.

— Ну-ка, Иванушка, поробим, благословясь,— весело говорил дядя Листар, принимаясь за косу.— Ноне господь уродил не траву, а шелк.

В страду даже Листар «трекался» от водки и работал, как медведь, за исключением «помочей», когда он исправно напивался до полного бесчувствия. Иван Не-

счастной Жизни работал с Листаром на покосе Феклисты. Место было отличное, на самом берегу Исети; расчистил его еще старик Корнев. Широкий луг, копен на восемьдесят, одним краем упирался в реку, где под прикрытием развесистой вербы был устроен балаган. Рядом шел покос старика Гаврилы, который вышел в поле сам-пят: сам да четыре сына. Семья была на подбор, и весело было смотреть, как Гаврилычи поворачивали тяжелую страдную работу. В крестьянской страде таится великая трудовая поэзия, которая охватывает даже самых ленивых. Бродяги давно отвыкли от нее, но и их захватил общий поток, и в каждом заговорила мужицкая кровь. Особенно рад был Иван, взявшись за косу со слезами на глазах. С него точно спала какая шелуха. Он теперь был такой же мужик, как и все другие,— страдная работа всех сравняла, как траву под косой. Первые дни Иван заметно отставал от Листара, а потом начал работать наравне с ним и даже перегнал его. Сам старик Гаврило похвалил бродягу за чистую работу, а такая похвала дорого стоила — нужно быть артистом страдной работы, чтобы понимать все ее тонкости.

— Где это ты наловчился... а?..— спрашивал старик Гаврило, внимательно поглядывая на бродягу.— В остроге-то у вас трава не растет... Чистенько робишь, хошь кому впору. Загонял совсем Листара-то.

— Тебя бы, дедка, столько-то колотили, как меня, так ты и косу-то позабыл бы как в руках держать,— оправдывался Листар.— Места ведь живого во мне нет...

— За дело колотили — не балуй.

Феклиста была тоже весела и работала наравне с мужиками; Иван часто любовался, как она шла по полосе рядом с ним — дерево деревом, а не баба. Настоящая работница, не чета другим бабенкам, которые поленивались-таки из-за мужей. Пимка не мог косить, а больше управлялся около лошади, помогал ворошить подсыхавшую траву и с нетерпением ждал, когда поспеет гребь. Возить копны на старом гнедке было для него настоящим торжеством. Он теперь не косился больше на Ивана — очень уж хорошо работал бродяга, недаром похвалил дедко Гаврило. Маленькая Сонька тоже льнула к Ивану и часто засыпала где-нибудь в траве около него. Вообще на Феклистином покосе ца-

рил тоже праздник, как и на других, хотя она сама не верила своему счастию и ждала какой-то беды, как все много выстрадавшие люди.

И беда была не за горами. Половина покоса была убрана, оставалась вторая. Феклиста стала замечать, что дядя Листар как будто что-то держит у себя на уме. Старик перестал работать по-прежнему, несколько раз добывал себе где-то водку и видимо переменился к Ивану. Раза два он приходил на покос совсем пьяный и пролежал в кустах целый день.

— Ты никак, Листар, рехнулся умом-то? — заметила ему Феклиста.

— Смалкивай... У Листара побольше твоего ума-то,— огрызнулся старик, а потом засмеялся: — Что выпучила на меня бельмы-то?.. Нет, брат, Листара не проведешь... не объедешь на кривой кобыле... Рехнулся... Да у меня ума-то на всю деревню хватит, да еще останется. Вот он какой, Листар-от.

Феклиста поругалась, махнула рукой и отступилась; кривой черт, видимо, сбесился. Да теперь с Иваном и без него можно управиться. Оставалось подкосить копен на десять да убрать старую кошенину, которая сохла четвертый день.

— Как это я раньше-то не договорился... а? — бормотал про себя Листар, посасывая трубочку.— Свалял дурака... Ловкие тоже эти лётные!.. Видно, хлебцем вместе, а табачком врозь... Право, псы! Хоронятся от Листара, а его не проведешь... Теперь прямо сказать: откудова у них деньги? Ну-ка, скажи! Нет, брат, тут фарт! Ишь, богачи завелись... Должно быть, у кого-нибудь машинка, а у другого не у кого быть, как у Ивана... уж это верно. Сам лётным был, тоже понимаю... Право, варнаки после этого... Нет чтобы с кривым Листаром поделиться. «На, старичина, получай свою плепорцию...» Вот он какой, дядя-то Листар!.. А Феклиста — дурища, и больше ничего.

Подвернулась помочь у писаря Калиныча. Все лётные работали у него два дня и ничем не выделялись от других тебеньковских мужиков. Дядя Листар, конечно, напился как стелька и явился на покос Феклисты в лучшем виде, напевая какую-то мудреную песню:

Девки в лес по хворост,
Я за ними пополоз...

— Эк налакался, кривой пес...— ворчала Феклиста.— Обрадел чужому-то вину, бесстыжие шары!..

Иван хотя был на помочи, но вернулся не пьяный и отдыхал в балагане.

— Иван, а Иван,— приставал к нему Листар.— Нехорошо, брат... Ох, как нехорошо... Я говорю: омманывать Листара не хорошо...

— Да кто тебя обманывает?..

— А лётные надувают дядю Листара... Н-нет, брат, не на таковского напали! Напрямки надо говорить-то, Иван... Да. Первое дело: есть у тебя машинка?

— Ну, есть, а тебе какая забота?

— Мотри, Иван, ты не того...— бормотал Листар заплетавшимся языком и закончил очень решительно: — Давай на полштофа...

— Не дам.

— А... так ты вот как? Ну, ладно, пусть будет ин по-твоему. Так не дашь?

— Отвяжись, смола!..

— Так... ладно... Ну, смотри, Иван, не покайся.

— Не твоя забота...

Не спалось эту ночь бродяге Ивану. Он не боялся кривого Листара, а вместе с тем чувствовал, что вот один этакий дрянной мужичонко может испортить ему все... Душистая летняя ночь была хороша; любовно глядели с синего неба частые звезды, где-то в прибрежной осоке скрипел коростель, наносило дымком, который мешался с ночною сыростью и запахом свежего сена. Давно смолкли песни, и над бесконечной равниной тихо веял трудовой сон. Когда-то Иван тоже певал здесь и с замиравшим сердцем вслушивался, не отдастся ли на его голос звонкая девичья песня. Вот в этих вербах миловались они с Феклистой, пока старики спали мертвым сном, а Исеть была закутана белым туманом. Ничего не осталось, все прошло прахом, и только на душе, как смола накипало одинокое, тяжелое горе.

«Хоть бы умереть...» — думал бродяга, прислушиваясь к храпенью пьяного Листара, который забрался в балаган к ребятишкам.

— Ты не спишь, Иван? — окликнул бродягу в темноте голос Феклисты.

— Нет... не спится.

Они подсели к огню, который совсем потухал. Из

пепла только изредка с шипением поднималась струйка синего дыма.

— Слышала я даве, как этот змей приставал к тебе...— заговорила Феклиста, подпирая щеку рукой.— Не отстанет он, не таковский.

— Знаю, что не отстанет... Только, вишь, дать-то ему, дьяволу, нельзя: дай раз, а там не развяжешься с ним...

— Нельзя ему давать — одолеет. Уродился же этакий человек!

Они долго молчали. Иван поправил огонь. В воздухе метнулась ночная птица и неслышно пропала, как тень. Феклиста несколько раз оглянулась, придвинулась ближе к Ивану и прошептала:

— Иванушка, голубчик, все мне представляется тот... помнишь лётного-то Антона, которого дедушка Корень пристрелил? Ну, он мне все и мерещится... Ох, не к добру это! Третьего дня только стала я засыпать, а Антон-то и идет ко мне. Будто как от Гаврилы с покосу и прямо к нам. «Узнала?» — говорит, а сам мне репку показывает. У меня со страхов и язык отнялся, словечка вымолвить не могу. Ну, он поглядел и засмеялся таково нехорошо. «Попомни, говорит, дедушкину-то репку». Проснулась я, никого нет, а меня всю так и трясет, боюсь дохнуть.

— Плохо...— согласился Иван,— не к добру; уходить надо, Феклиста.

Феклиста опять заплакала, закрыв лицо руками. Живут же другие люди, отчего же ей нет счастья на белом свете? Хоть сейчас бы умерла, ежели бы не ребятишки... Жаль тоже, больно мало место, да и куда они денутся сиротским делом? Увлекшись своим горем, Феклиста даже возроптала, но Иван остановил ее.

— Не нашего ума это дело...— проговорил он.— Кому что на роду написано, тому так и быть.

История с лётным Антоном принадлежала к одному из самых необъяснимых проявлений специально деревенской жестокости, бессмысленной и зверской, как всякое стихийное зло. Дедко Корнев был сгорбленный и худой старик со ввалившимися глубокими глазами и лысой головой; Иван и Феклиста знали его уже дряхлым, выжившим из ума стариком, который впал в детство. По зимам старик не сходил с печи, а летом выползал непременно куда-нибудь на солнышко и здесь

по целым дням грел свои старые кости. Деревенская детвора, как стая воробьев, обсыпала полоумного старика и вечно просила его рассказать, как он убил лётного Антона «за репку».

— Репку он у меня воровал из огорода-то, этот Антон самый...— хрипло шамкал Корнев своим беззубым ртом.— Я садил репку-то, а лётный ее учал воровать. Я зарядил турку[1] жеребьем и караулил его по три ночи сряду; ну, и укараулил: как пальну из турки-то, лётный и покатился горошком, а репку мою в руке держит.

Старый дедка смеялся хриплым смехом и долго мотал своей лысой головой.

— Разве тебе не жаль было его, лётного-то? — спрашивал кто-нибудь из ребятишек.— Не больно дорога репка-то...

— Да ведь она моя была? После-то жаль было, когда он приполз ко мне же на двор... Кровища из него так и хлещет, потому я угодил ему жеребьем-то прямо под сердце в болонь... До вечера маялся, сердяга... На подмостки его во дворе положили, ну, он тут и докончился! Вся деревня сбежалась во двор-то: бабенки ревут, мужики меня ругают, а моей тут причины никакой не было. Ну, как стал Антон отходить совсем, народ-то бросился прощаться с ним — все в ноги кланяются и в один голос: «Прости, миленький». Ну, и я подошел к нему; узнал он меня и вымолвил: «Будешь меня помнить, старик... напрасную кровь пролил». Так мы его и похоронили в леску; ямку вырыли да в ямку и положили, а сами молчим, потому что по судам будут таскать. Попу после покаялся за Антона-то...

IX

Благодаря ведру тебеньковцы скоро убрались с сеном, а жнивье еще не поспело, так что можно было немножко передохнуть, особенно по праздникам. Перемет и Иосиф Прекрасный обыкновенно исчезали в эти дни и пропадали где-нибудь по укромным местам, в обще-

[1] Турками называются большекалиберные винтовки, а жеребьем — медвежьи пули. (*Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.*)

стве гулящих бабенок — солдатка Степанида путалась с Переметом, а Иосиф Прекрасный попеременно дарил своим вниманием то кривую вдову Фимушку, то заблудящую Улиту. Раз пьяные тебеньковские парни для потехи устроили на них целую облаву и для потехи же порядком намяли бока всем; особенно досталось упрямому хохлу Перемету, который вздумал защищать свою Степаньку.

— Здорово взбодрили...— отзывался после этой шутки Иосиф Прекрасный, щупая избитые бока.— Ишь, дьявола, тоже расшутились!..

Перемет пролежал без движения на острове дня три, а потом вышел на работу как ни в чем не бывало, и его опять видели в обществе шатуньи Степаньки.

В этих тайных удовольствиях не принимал участия один Иван. Он по праздникам оставался обыкновенно на острове и по целым дням раздумывал свою бесконечную бродяжническую думу. Да и было о чем подумать: осень стояла не за горами. К Феклисте Иван заходил теперь редко. Он не то что боялся Листрата, который продолжал дуться на него,— это само собой, но была и другая причина. В последнее время Иван стал замечать, что Феклиста начала как будто припадать к нему: то расплачется ни с того ни с сего, то сунет ему какую-нибудь деревенскую постряпеньку, взглянет таково нехорошо. Иван испугался, испугался за самого себя, что не выдержит и приголубит Феклисту, и в его душе тихо поднималось старое наболевшее чувство. С другой стороны, предательское желание отдохнуть, согреться, услышать теплое слово неудержимо влекло его вперед, как сладкий сон замерзающего в снегу. Нужно было иметь железную силу воли, чтобы не поддаться этому искушению и стряхнуть с себя находившую дурь. Чтобы отогнать от себя эти мысли, Иван обыкновенно думал о Пимке и Соньке; дети являлись пред ним защитниками пошатнувшейся матери и вызывали тень убитого отца.

Раз, после Ильина дня, Иван, по обыкновению, остался на Татарском острове один и лежал с утра в своем балагане, как волк в логове. Накануне пал небольшой дождь, и день выдался такой светлый, теплый, какие подвертываются только на исходе короткого уральского лета, когда летнее солнце точно прощается с землей. Со всех сторон тянуло праздничными звука-

ми: бойко катились по проселку телеги с загулявшими мужиками и бабами; с веселым говором и дружной песней возвращались с работы помочане; на лугу, у самой деревни, развернулся пестрый девичий хоровод, а там дальше гудело и шевелилось все село, точно растревоженный пчелиный улей. По Исети непрерывной волной катился несмолкаемый праздничный гам, но это трудовое мужицкое веселье ложилось лишним камнем на душу одинокого бродяги: работа равняла его с другими мужиками, а веселье рознило.

Весь день и весь вечер Иван невольно прислушивался к праздничным звукам, а потом заснул тяжелым сном больного человека. Ему мерещились и пьяный Листар, и Феклиста, и бегство с каторги, и убитый брат Егор, и лётный Антон с дедушкиной репкой. Ночью его кто-то разбудил.

— Эй, Иван, вставай, зелена́ муха...— тащил его за плечо едва стоявший на ногах Иосиф Прекрасный.— Гостинца я тебе приспособил...

— Какого гостинца? Отвяжись...

Слабый стон где-то в кустах заставил Ивана вскочить, а пьяный Иосиф Прекрасный только показал ему в тальник и бессильно сел на траву.

— Там... зелена́ муха...— бормотал он, покачиваясь всем своим длинным туловищем.— Ну, и штука только, зелена́ муха...

— Да кто там? Говори толком...

— А она... Дунька... бродяжка. Ну, и зелена́ муха...

Не добившись толку от пьяного бродяги, Иван отправился прямо в кусты, где чуть не наступил на какую-то бабу, которая ползала и корчилась на земле, как раздавленный червяк. В первое мгновение бродяга испугался и даже попятился — он не ожидал именно того, свидетелем чего пришлось сделаться так неожиданно. Потом ему вдруг сделалось как-то совестно, и он хотел вернуться, но Дунька опять застонала, жалобно цепляясь одной рукой за что-то невидимое в воздухе. Иван только теперь, при колеблющемся месячном освещении, рассмотрел смертельно бледное молодое женское лицо, точно вспыхивавшее неровными пятнами горячего румянца; узкий белый лоб закрыт спутавшимися волосами, а небольшие серые глаза остановились на нем в смертельной истоме...

— Батюшки... батюшки... ой, батюшки...— захлебы-

ваясь, стонала Дунька и ползала по траве на одних руках.

Иван все понял и опрометью бросился в балаган, откуда вернулся со своей сермяжкой. Дунька присмирела и лежала под кустом с закрытыми глазами, а около нее, прямо на траве, копошился и вспискивал, как мышь, только что родившийся ребенок. Бродяга перекрестился и бережно прикрыл Дуньку своей сермяжкой. Из кустов в этот момент показалось хихикавшее птичье лицо Иосифа Прекрасного.

— Уйди... убью! — закричал Иван и даже бросился на товарища, но тот уже был далеко.

Через полчаса Дунька уже лежала в балагане на Ивановом месте, прижимая к своей груди слабо кряхтевшего ребенка. Иван то входил в балаган, то выходил и, видимо, не знал, что ему делать.

— Бабушку-то позвать, что ли? — сурово спросил он, не глядя на больную.

— Нет... не надо... так управлюсь...— шепотом ответила Дунька, не имея сил открыть глаза.— Ох, смертонька моя приходила... испить бы...

Иван принес воды в деревянной ведерке и поставил ее к изголовью Дуньки, которую вместе с ребенком прикрыл полушубком Перемета; потом он развел огонь около входа в балаган, чтобы хоть часть тепла попадала на больную. Ночь была не холодная, но на Дуньке, кроме ситцевого сарафанишка, ничего не было. В дырявый платок, который был у нее на голове, она завернула своего ребенка. Бродяга просидел у огонька целую ночь, не смыкая глаз. В нем самом происходило что-то такое необыкновенное, чего он еще никогда не испытывал,— ему и жутко было, и как-то легко, и что-то такое хорошее теплилось у бездомного бродяги на самом дне его души, именно то светлое человеческое чувство, которого не в состоянии вытравить никакая каторга. Вот здесь, почти у него на глазах, родился новый человек, и бродяга смутно сознавал все величие свершившегося акта природы: новая жизнь теплилась в балагане, как блуждающий огонек... Небо точно выше поднялось над грешной землей, тонувшей во мраке бродивших по ней ночных теней, и частые звездочки глядели с него так приветливо и чисто, как детские глазки. «Это ангелы божии... святые душеньки,— думал бродяга, глядя на звезды, и торопливо творил какую-то молитву.— У каж-

ного человека, сказывают, своя звезда обозначена... и у Дунькина ребенка тоже хошь маленькая звездочка, да есть,— ведь тоже живая душа». А Дунька, эта женщина, полная греха, крепко прижимала к своей груди новое маленькое существо и с каким-то страхом ощущала теплоту маленького тельца, точно у нее на груди шевелился целый необъятный мир.

Рано утром, когда Исеть была еще закутана густым белым туманом, явился протрезвившийся за ночь Иосиф Прекрасный. Он не решался подойти к Ивану прямо, а только показал издали жестяной чайник и глиняную чайную чашку. Ему было совестно за свое вчерашнее глупое поведение, да он и побаивался Ивана, который шутить не любил.

— Ну, давай сюда чайник-то, да смотри у меня...— пригрозил Иван.

— И чаю раздобылся и комышек сахару, во... Дунька насчет чаю большая охотница, уж я знаю. Сластена она, зелéна муха.

— Да где ты ее добыл вечор-то?..

— Где?.. А я в Пятигорах был с Улитой, ну, она осталась, а я домой пошел. Бреду это пьяный-то, а Дунька, как зайчиха, под кустом мается — разродиться, значит, не может. Ну, я ее тогда пожалел да на остров и приволок. На себе тащил через реку-то... тоже живой человек, не помирать же под кустом-то. Померла бы беспременно, кабы не я. А только и Дунька эта самая, вот придумала штуку.

Иосиф Прекрасный никак не мог удержаться от душившего его смеха и только закрывал свое птичье лицо локтем.

— Чему ты смеешься-то, дурак? — озлился на него Иван.

— А то как же? По всем этапам эта самая Дунька известна, до самого Омскова: и рестанты, и солдаты, и лётные — все ее очень хорошо знают. Сволочь она, эта Дунька самая, а тут дите.

— Дите не виновато.

— Знамо, не виновато... А я про Дуньку... Сказывали, зиму-сь в Камышлове болталась, ну, там, значит, и приспособила себе это самое дите... И я и Перемет знавали ее еще в остроге... как же! Она за отраву в каторгу ушла... мужа, значит, сулемой стравила. А теперь в бегах который год шляется. Спроси хошь кого про Дуньку

Непомнящую, всяк скажет. Ну и Дунька, выкинула колено, зеле́на муха! Я Перемету сказывал — ругается и меня ругает, зачем я Дуньку пожалел...

— Дураки вы оба с Переметом-то!

— Может, и дураки... Я ведь так молвил.

Измученная родами, Дунька проспала в балагане целый день, а с ребенком попеременно возились то Иван, то Иосиф Прекрасный. Последний сбегал в деревню за молоком и за соской, но ребенок плакал и не хотел брать соски. Бродяги ругались и грели плаксу перед огнем.

— Прокоптим его хорошенько, так дольше проживет...— добродушно смеялся Иосиф Прекрасный.

К вечеру Дунька проснулась, но долго притворялась, что спит: ей было совестно возившихся с ее ребенком бродяг. Только когда стемнело, она подала голос и приняла ребенка. Целуя его, бродяжка тихо плакала.

— Меня-то узнала, Дунька, а? — спрашивал Иосиф Прекрасный, просовывая голову в балаган.

— Убирайся к черту, лешак...

— Славного ты мальчонку приспособила, зеле́на муха. А чаю хошь?

Дунька больше не откликалась. Она лежала, повернувшись лицом к стене балагана, и не смела пошевелиться, чтобы не растревожить ребенка, жадно припавшего к материнской груди.

Появление Дуньки как-то вдруг оживило Ивана, и он точно позабыл про свое собственное горе. Да если разобрать, какое его горе было по сравнению вот с этой самой Дунькой, которую всякий обижал, а потом над нею же ругался? В остроге, по этапам, в бегах Дунька везде оставалась Дунькой — самой последней тварью, которая бродила, сама не зная куда, как бездомная собака, чтобы получать новые пинки, ругань и всяческое поношение. Положение лётного мужика в тысячу раз легче, и Иван теперь стыдился за собственное малодушие. Кроме того, у него явилась смутная цель, неясная и сбивчивая, но все-таки цель: он, бродяга Иван Несчастной Жизни, нужен вот той же Дуньке, которая пропала бы без него, как подстреленная птица. Кто бы стал за ней ходить? Лежала бы где-нибудь в яме и сгнила бы заживо. Ивану доставляло удовольствие ухаживать за больной Дунькой — кипятить чайник с водой, при-

крывать ее по ночам полушубком, подкладывать огня к самому балагану, придумывать новую еду.

Через три дня Дунька настолько оправилась, что могла выйти нз балагана и посидела у огонька с полчаса. Она была совсем не такая, какою показалась Ивану ночью,— курносая, с веснушками, темноглазая н еще очень молодая. Загорелое лицо Дуньки точно просветлело от перенесенной мукн, глаза смотрелн чистым взглядом, и только запекшнеся губы придавали лицу болезненное выражение. Она, виднмо, стеснялась н все повторяла:

— Не заживусь я у вас тут: только поправлюсь малость — н уйду.

— Да куда ты уйдешь-то, глупая?

— Надо... нельзя мне. Я не одна... Бродяжка тут есть, «Носи-не-потеряй» прозывается, так я с ним. Он теперь в Камышловом содержнтся: от него дите-то.

Прн последннх словах Дунька вся застыднлась, точно боялась, что Иван ей не повернт относительно пронсхождения ребенка: у этого новорожденного бродяги был отец, и Дунька горднлась, что могла назвать его,— это было самое большое счастье в ее собачьей жизни.

X

Неожиданное появленне Дуньки на Татарском острове произвело в Тебеньковой настоящее волнение, особенно среди тебеньковскнх баб, которые совсем «решнлись ума», как говорил Родька Беспалый. В обсуждении этого важного вопроса приняли горячее участие решительно все, начнная с солидной Степаниды Обросимовны и кончая Фимушкой. Всякая разница между настоящимн бабамн н «путанымн бабенками» на время совершенно исчезла: снохн старого Гаврнлы, жены брательников Гущнных, Акснnья-кузнечнха, поповская стряпка Егоровна не только якшались с писарской «Лысанкой», но н с Фимушкой, с заблудящей Улнтой и даже с солдаткой Степанькой.

— Статочное лн это дело, чтобы бабы бродяжили,— с негодованием говорнла Аксинья-кузнечиха.— Ежелн мужикн бегают нз острогов, так это еще не указ бабам: одна мужичья часть, другая — бабья...

— Где уж с мужиками тягаться: первое дело — забрюхатит,— прибавила жена Сысоя, испитая, лядащая бабенка.

— Теперь куда с дитем-то повернется эта самая отчаянная Дунька.

— А вот поправится после сносей, так наших мужиков станет сманивать к себе на остров.

— Уж это как есть. Разорвать ее, стерву, мало. Листар сказывал, что Дунька-то свово мужа сулемой стравила... ужо наших мужиков чем бы не напоила тоже,— ведь у мужиков-то немного ума.

Дядя Листар принимал самое живое участие в общей бабьей суете и по возможности старался растравить баб, чтобы хоть этим путем насолить Ивану за его машинку. Через Иосифа Прекрасного дядя Листар знал все подробности появления Дуньки на Татарском острове и то, как отнесся к ней Иван. Все было на руку хитрому Листару, и он втихомолку поджигал взбеленившихся баб.

— Погодите, выправится Дунька-то, так она всех ваших мужиков перепортит,— предупреждал он особенно податливых бабенок.— Подсунет какого приворотного зелья, тут и шабаш... всю деревню стравит.

Этот бунт тебеньковских баб против Дуньки Непомнящей являлся одною из тех необъяснимых житейских несообразностей, которые так заразительно действуют на массы. Отсутствие логики и самых обыденных человеческих чувств служит только к развитию тех мелких глупостей и нелепостей, которые выплывают, как сор, на поверхность вскрывшейся текучей воды. Всего естественнее было ожидать, что именно бабы пожалеют Дуньку, тем более что она находилась в таком исключительном бабьем положении, но выходило как раз наоборот. Те самые бабы, которые каждый вечер клали лётным кусочки, теперь готовы были разорвать Дуньку в клочья. Женщины-бродяги — большая редкость, и это одно могло служить некоторым объяснением вспыхнувшему недоразумению, а тут Дунька поселилась вдруг под самым носом и всем мозолила глаза своим присутствием. Самые обстоятельные деревенские мужики чувствовали себя как-то неловко и даже заметно конфузились, когда заходил разговор о Дуньке. Большинство старалось не обращать внимания на ополоумевших баб, и только самые решительные из мужиков осмеливались

заметить: «Будет вам, бабы, языки-то чесать... право, сороки вы короткохвостые!» Но такие замечания только подливали масла в огонь, и бабы готовы были выцарапать глаза каждому, кто скажет слово за ненавистную Дуньку.

А виновница этого переполоха продолжала лежать в балагане у лётных пласт пластом. Сначала ей как будто полегчало, а потом наступила страшная слабость,— ныла и болела каждая косточка, и Дунька на все расспросы о болезни отвечала только одно: «Вся не могу». Да и к себе она относилась как-то совсем равнодушно, сосредоточив все помыслы и желания на своем ребенке.

Так прошла незаметно целая неделя. Иван по-прежнему ухаживал за больной, хотя чувствовал, что кругом творится что-то неладное. Перемет совсем не показывался на острове, Иосиф Прекрасный тоже начинал, видимо, сторониться, являлся на остров только затем, чтобы передать, что говорят про Дуньку в деревне. Ивана злило это, и, улучив минутку, когда Дунька могла остаться одна, он отправился в деревню, чтобы повидать Феклисту. Жнивье уже поспело, и весь народ был в поле. Иван дождался Феклисты, и первое, что поразило его, было то, что Феклиста сильно смутилась перед ним и даже покраснела.

— Ну, как поправляешься?..— спросил Иван, стараясь не глядеть на нее.

— Да ничего... по малости управляемся. Сено все поставили, теперь за жнивье принялись.

— Я ужо как-нибудь на неделе приду помогать.

Феклиста совсем смешалась и, запинаясь, проговорила:

— Нет, Иванушка, уж лучше ты не ходи...

Этим было все сказано. Феклиста была против Дуньки, а Иван не хотел ей объяснять, почему и как попала Дунька к ним на остров, потому что это было бы бесполезно. «Это другие бабы настроили Феклисту..» — думал бродяга, выходя из Феклистиной избы. На дворе он встретился с Пимкой, который запрягал лошадь в телегу.

— Здорово, малец...— проговорил Иван и хотел потрепать мальчика по голове, как иногда делал.

— Не трожь!..— закричал Пимка, и глаза его засверкали, как у настоящего волчонка.— Ты вот Дунь-

ку-то свою гладь по голове... Погоди ужо, наши мужики доберутся и покажут тебе Дуньку.

— Сильно грозятся?..

— Башку, бают, отвернем...

Иван понимал, что Пимка говорит с чужого голоса и что его, очевидно, научил кривой Листар, но все-таки бродяге сделалось ужасно обидно. Что в самом деле сделала Дунька им всем? И Феклиста заодно с другими бабами... Куда же ее, хворую, деть, не в Исеть же спустить, да и дите тут примешалось. Дело было под вечер, и Иван зашел в кабак к Беспалому.

— Давай полштоф...— заявил он, не здороваясь.

— Что, больно угорел? — засмеялся Родька.

— И то угорел...

В кабаке было пусто, только на лавке спал пьяный старик нищий, да на крылечке сидели двое обратных ямщиков. Иван без передышки выпил два стаканчика и сразу захмелел — давно он не пил водки настоящим образом. Родька делал вид, что будто переставляет у себя за стойкой какую-то посудину, а сам все время не спускал глаз с бродяги.

— Иван, а Иван...— окликнул Родька вполголоса.

— Ну?

— Мотри, худо твое дело... Из-за самой этой Дуньки примешь большое горе — мужики сильно серчают...

— Пусть... хворая она лежит, так не за ноги мне ее тащить с острова.

— Она точно, что тово...

Наступило тяжелое молчание. Иван налил третий стаканчик и долго смотрел осовелыми глазами куда-то под лавку, где валялся разный кабацкий сор. Родька по-прежнему наблюдал его своими лукавыми глазами и наконец проговорил:

— А куда твои-то дружки ушли?

— Какие дружки?

— Ну, Перемет и этот, Иосиф Прекрасный. Вечор заходили выпить по шкалику и болтали, что на острове больше не останутся: мужиков наших устрашились, чтобы за Дуньку чего не было...

— Устрашились, говоришь?..

— Да разве они сами-то тебе ничего не сказывали?

Иван тяжело ударил кулаком по стойке и сердито плюнул на пол. Это была явная измена со стороны то-

варищей. И кого устрашились? — тебеньковских баб...

— А ты, Иван, в сам-деле поберегайся: неровен час... Теперь будто жнивье подоспело, все в поле, а вот праздник подвернется, так жди гостей.

— Ладно... Куда же ушли мои-то дружки?

— Перемет поколь у кузнеца Мирона приспособился, а Осип махнул прямо на трахт...

— Подлецы они, дружки-то... А я Дуньку не выдам. Что она им далась, чертям?.. Нашему-то брату, мужику, каково достается бродяжить-то? В другой раз жизни своей постылой не рад, а бабе в тыщу раз потяжельше нашего достается.

— Уж это что и говорить: больно слабо место... Только вот наши-то тебеньковские бабенки ощетинились: так и рвут!..

— Ну, и пусть рвут... Робеньчишко у Дуньки-то, а малость выправится — сама уйдет.

Действительно, лётные ушли с Татарского острова, и Иван остался в балагане с глазу на глаз с Дунькой. Она женским чутьем догадалась, в чем дело, и порывалась тоже уйти, хотя сама не могла еще держаться на ногах.

— Уйду я, Иван, а то в сам-деле мужики тебя еще, пожалуй, изувечат...— говорила она, собирая какое-то тряпье.

— Перестань, дура... Куда ты уйдешь-то?.. Никого я не боюсь.

В ближайший праздник к берегу Исети с утра начали собираться деревенские ребятишки, а это было дурным знаком. Иван узнал своих старых знакомых — и Авдошку, и Кулку, и Семку. С ними толклась белоголовая Сонька, сосредоточенно засунув пальцы в рот. Так продолжалось до самого вечера, когда со стороны деревни показалась толпа мужиков. Иван понял, что они шли на Татарский остров, и сунул за пазуху короткий нож. Живым он не хотел отдаваться в руки.

Толпа подошла к берегу и, засучив порты выше колен, побрела к острову. Впереди всех шел без шапки седой сгорбленный старик, известный в деревне под именем Вилка. Это был самый вздорный и зубастый мужичонка, горланивший на волостных сходах до хрипоты. За ним шли кузнец Мирон, Сысой, Кондрат, Родька Беспалый, а позади всех — степенный старик Гаврило с двумя старшими сыновьями.

— В гости к тебе пришли...— заявил Вилок своим скрипучим голосом, заглядывая в балаган.

— Милости просим...— ответил Иван и прибавил: — Насчет Дуньки?

— Видно, что так, милый друг... Где она у тебя спрятана, принцесса-то твоя?

— Чего мне ее прятать... в балагане лежит.

Мужики немного замялись и переглядывались между собой. Родька Беспалый первый вошел в балаган, но Дунька сама вышла оттуда с ребенком на руках и молча поклонилась миру.

— Ишь, змея, с дитем тоже...— обругался Вилок и даже плюнул.

— Уж ты, Иван, как хошь, а ослобони нас от Дуньки...— заговорил Кондрат из-за спины Гаврилычей.— Мы лётных не гоним, живите, Христос с вами, а главная причина, что вот бабенка у вас объявилась на острову. Очень это неспособно.

— Нас бабешки-то наши поедом съели...— вставил свое слово смирный Сысой.— Житья не стало.

— А ежели Дунька хворая? — спросил Иван спокойно.

— Знамо, что хворая...— загалдели мужики, почесывая в затылках.— Обнакновенно, бабье дело. Оченно хорошо понимаем...

— Ну, так зачем пришли, коли знаете? — огрызнулся Иван.

— А ты что больно ощетинился-то? — начал задирать Вилок, угрожающим образом наступая на бродягу.— Не больно велик в перьях-то.. Тебе мир приказывает, а ты щетинишься..

— Уж это, как мир хочет, а я Дуньку не дам в обиду...— заявил побледневший Иван и инстинктивно положил руку за пазуху.

— Так и сказать?

— Так и скажите...

— Ну, мотри, парень...— грозился Вилок, потряхивая своей седой головой.

— И то смотрю, как вами бабы помыкают...

— Ребята, пойдемте домой...— неожиданно заявил старик Гаврило, и «ребята» без слова пошли за ним, как оглашенные.— Дело ведь бродяга-то говорит...

Мужики ругались всю дорогу, пока шли до Тебеньковой. Неожиданный отпор бродяги сбил их с тол-

ку, а с другой стороны этот Гаврило сомустил всех.

— Один против мира идет, стерва!..— ругали мужики бродягу.— Колъем его с острова-то, варнака... Вишь, какой выискался дошлый!

— Он не против миру, а маненько будто насчет баб...— спорил старик Гаврило.— Правильное слово сказал: все из-за баб загорелось, ну их к ляду!.. Жили лётные цельное лето, а по заморозкам-то сами уйдут.

Дядя Листар тоже приходил вместе с другими, но благоразумно остался с ребятишками на берегу, пока мужики были на острове. Он ругался больше всех, но его никто не слушал.

XI

Что-то такое страшное и неумолимое чувствуется в слове «осень». Это — медленная агония умирающей природы... Бесконечные темные ночи, голые поля, осиротевший печальный лес, темная вода в реке, мертвый шорох валяющихся на земле желтых листьев, дождь, грязь и вечная песня осеннего ветра, который разгуливает с жалобными стонами по раздетой земле. Особенно печальна осень в Зауралье, где мертвые поля тянутся на сотни верст и, после короткого северного лета, кажутся такими жалкими, точно оставленное поле сражения. Хорошо тому, у кого есть свой теплый угол, своя семья, свое место, где сам большой, сам маленький.

Около Тебеньковой теперь везде красуются клади хлеба и стога сена, а на гумнах начинается с раннего утра громкая молотьба, точно землю клюют сотни громадных птиц своими деревянными носами. Тук, тук, тук... А вон веселый дымок стелется над овином — сушится мужицкое богатство. Зато Исеть стала такая темная, бурливая; она поднялась от дождей в горах и теперь крутится в пологих берегах с глухим ворчаньем. Валы так и хлещут, особенно по ночам, когда поднималась настоящая сиверка. Татарский остров сделался точно ниже, желтый лист сохранился в кустах только кое-где, как позабытые лохмотья, голые ветви черемухи, вербы и тальника жалко топорщились во все стороны, и глазу неловко за их наготу после пышного летнего наряда. С дороги в Тебеньково можно рассмотреть балаган, устроенный лётными на острове, и куривший-

ся перед ним огонек. Дунька все еще лежала больная в балагане и только изредка выползала погреться к огоньку; она любила смотреть на черневшую реку и задумчиво говорила:

— Иван, вон уж птица стала грудиться...

— Это она к отлету в стан сбивается,— объяснял Иван.

Лесная птица уже улетела, за ней двинулась болотная. Дольше всех держалась водяная — утки, гуси, лебеди. У бродяги Ивана щемило на сердце, когда по небу с жалобным курлыканьем неслись в теплую сторону колыхавшиеся косяки журавлей, точно они с собой уносили последнее тепло. На Исети появлялись отдельные стаи чирков, крохалей, гоголей, черняди, кряковых; пара лебедей долго плавала у самой деревни. Раз ночью, захваченный холодным ветром, на Татарский остров пал целый гусиный перелет. Птица выбилась из сил и была такая смирная, хоть бери ее руками. За день гуси успели отдохнуть, покормились и с веселым гоготаньем двинулись вперед.

— Ну, видно, и нам скоро пора, Дунька, тепла искать,— заговаривал несколько раз Иван, провожая глазами улетавшие птичьи станицы.— Ты куда думаешь идти?

— А мне в Камышлов... Боюсь, чтобы «Носи-не-потеряй» куда в другое место не услали. Весточку хотел прислать.

— Да где он тебя искать будет, глупая?

— Найдет... Вот только бы поправиться. Другой раз цельный день здоровая бываю, а тут точно вся размякну: ноженьки не держат.

— В силу еще не вошла, оттого и не держат. Поправляйся скорее.

Странная была эта Дунька, какая-то совсем безответная, и точно она боялась Ивана все время. Бродяга это чувствовал и не мог понять, зачем Дунька боится его. Раньше ему было жаль ее, как больного человека, а теперь он жалел просто замотавшуюся бабу, которая переносила свою судьбу с непонятным равнодушием. Дунька никогда не жаловалась, не плакала, а только изредка вполголоса затягивала какую-то печальную песню:

Не взвивайся, мой голубчик,
Выше лесу да выше гор...

Иван знал только, что Дунька откуда-то с уральскнх горных заводов, а откуда нменно — она не говорила.

— Твой-то «Носи-не-потеряй» тоже заводский? — спрашивал Иван.

— А я почему знаю..,

Прошло уже недель пять, как Дунька поселилась на Татарском острове. Время летело как-то незаметно. Дунькин ребенок понемногу рос и уже мог улыбаться, когда Иван брал его к себе на рукн.

— Бродяжить пойдем, пострел... а?.. — говорил Иван, подбрасывая ребенка кверху.

В половине сентября на Татарскнй остров неожиданно явился Иоснф Прекрасный, худой, мокрый, грязный, так что Иван едва его узнал.

— Откудова это тебя прннесло? — спрашнвал Иван недоверчнво.

— Где был, там нет... Мне бы зелену́ муху повидать, Дуньку. Весточку прннес ей... Меснл-месил от Шадрнна-то, просто хоть умереть, а нельзя: больно проснл «Носи-не-потеряй». Он в Шадрине теперь, в остроге, так наказывал, чтобы Дунька беспременно к ему шла... серчает.

Это известие н обрадовало н смутило Дуньку, хотя она ждала его с часу на час. Она даже не расспрашнвала про своего возлюбленного, что он н как, а знала только одно: ей непременно нужно ндти в Шадрнно н повндаться с «Носи-не-потеряй». Иван молчал и только исподлобья поглядывал на Иоснфа Прекрасного, точно сердился на него.

— Ты чего на меня буркалы-то выворачиваешь? — спросил Иоснф Прекрасный.

— А смотрю, где у тебя совесть, у анафемы. Зачем тогда убеглн, дьявола?

— Известно, не от радости ушлн... эк пристал!.. Все Перемет сманивал...

— Да ведь ты один ушел на трахт?

— Ну, сначала однн, а потом и Перемет пришел... он и сомустил тогда меня, а то я бы нн в жнсть не поддался тебеньковскнм-то мужнкам.

— Перестань врать. А где теперь Перемет?..

— Перемет, брат, на казенное тепло перебрался... И прокурат только этот самый хохол!.. Как холода началнсь, он махнул на Шадрнно и прямо к следствен-

нику: так и так, бродяга, не помнящий родства, желаю поступить в острог. Молодой следственник-то, славный такой, ну и говорит Перемету: «Мне сейчас некогда тебя в острог садить — мертвое тело производить еду, а ты меня обожди — приеду, тогда в лучшем виде тебя в острог предоставлю». Ну, Перемет и ждал до самых вечерен, а потом забрался в кухню к следственнику-то, да там и заснул. Следственник-то приезжает ночью, ему и говорят: «Бродяга вас дожидается, вашескородие!» — «Какой бродяга?» — «А что даве приходил».— «Да где он?» — «Да в кухне у вас спит». Ну, разбудили Перемета, следственник записал его в бумагу и с бумагой послал в острог одного, потому казака не случилось. Перемет и говорит: «Не сумлевайтесь, вашескородие, не заблудимся...» Так и предоставился сам в острог с бумагой, зелéна муха!

— А много лётных идет в острог?

— Идут помаленьку... по двое, по трое идут. Больше-то не видно. Ну, да еще и настоящего холоду не было; крепятся, которые в полушубках.

— Ну, а ты как со своей головой полагаешь?

— Да что полагать-то, один конец...

Иосиф Прекрасный неожиданно захохотал и долго не мог успокоиться.

— Чего ржешь-то, дьявол? — спрашивал Иван.

— Ох, и потеха только была... Ведь я сюда прибег с веревочки, ей-богу!.. Вот сейчас провалиться!.. Шатался я, шатался по трахту, заморозки пошли, и так мне тошно сделалось, так тошно: н-на, ложись да помирай. Лист это кругом облетел, птица всякая потянула в теплую сторону, все по своим углам схоронились, одни лётные замешкались. Ни ты человек, ни ты зверь, ни ты птица какая... всем свое место есть, одному лётному земля — клином. Ах ты, зелéна муха, пошел в первую деревню да прямо в волость и объявился: так и так, мол, Иосиф Прекрасный... А уж в волости-то штук восемь лётных до меня сидело — кого пымали, кто сам пришел. Ну, нас всех, рабов божиих, на веревочку да к ундеру, а ундер нас и повел в Шадрино... И смех только: нас восьмеро, и такие все орлы — упаси боже, а ундер-то один. Мы его, ундера, на смех и подняли дорогой: «Куда ты, кислый черт, ведешь нас?» Он нас варнаками крестит, а мы хохочем. Только тут уж я вспомнил про Дуньку-то, что ей наказывал «Носи-не-

потеряй», ну, развязался и удрал от ундера, а остальные за мной. Ундер-то с палкой за нами гнался верст с пять...

— Ну, а теперь куда думаешь насчет своей глупой головы?

— К тебе пришел: прогонишь — уйду, не прогонишь — останусь.

— Чего мне тебя гнать: оставайся, коли глянется, только уговор дороже денег — с кривым Листаром не якшаться.

— Ну вот, зелена́ муха, да с чего я полезу к нему!..

— А от большого ума и полезешь... Этот самый Листар унюхал про машинку-то и все зубы грызет на меня с тех пор.

— Н-но?

— Верно... Да ты же, поди, проболтался тогда ему. Ну, да все равно... Листар тогда и баб настроил против Дуньки и мужиков подсылал на остров, чтобы я Дуньку прогнал. Знает пес, чем насолить...

Иван сначала был сердит на Иосифа Прекрасного, потом ему стало жаль этой беспутной головы, да и Дунька уйдет — вдвоем веселее будет горе горевать. Так Иосиф Прекрасный и поселился снова на Татарском острове, как настоящая перелетная птица.

— Мы еще ребенка у Дуньки крестить будем,— говорил он.— Так, Дунюшка... ась?..

— Отстань, сера горючая...

— Стосковалась, поди... а?.. А мы вот с Иваном возьмем да и не пустим тебя, ха-ха!.. Может, мы еще лучше твоего «Носи-не-потеряй»... Погляди-ка на меня-то, а?..

XII

Начались крепкие заморозки. Земля по утрам глухо гудела под ногой, как прокованная полоса железа. На Исети образовались закраины; последняя зеленая травка, топорщившаяся кое-где отдельными кустиками, замерзла, и только одни утки продолжали кружиться на самой середине реки. Перед покровом выпал первый «гнилой» снежок и через три дня растаял. Сейчас после покрова Дунька собралась уходить, несмотря ни на какие уговоры лётных повременить еще.

— Нельзя... надо...— твердила Дунька, собирая свои тряпицы.

— Да ведь ты замерзнешь, окаянная!

— Нет, ждет он меня.

Так Дунька и не сдалась на уговоры, собралась и в одно холодное осеннее утро отправилась в путь, поблагодарив лётных за хлеб-соль и за ласковое слово. Иосиф Прекрасный, в виде последней любезности, перенес Дуньку на спине через реку и долго смотрел ей вслед, повторяя: «Ах ты, зелена́ муха... право, зелена́ муха!» Иван тоже следил глазами с острова за уходившей Дунькой, и его сердце ныло, точно он провожал ее на прямую погибель.

— Ох, не надо бы пущать Дуньку-то...— говорил вечером Иосиф Прекрасный, когда они варили на огне кашу.— Погибнет она, а бабенка-то уж больно безответная. Как собачонка ходит за этим «Носи-не-потеряй», а он же ее и колотит... Видел я его в остроге-то, такой углан.

— Самим надо уходить...

— В скиты?

— Да, в скиты к раскольникам... за Верхотурье...

Лётные решили уйти с острова дня через три. Ивану хотелось проститься с Феклистой, и он все собирался к ней каждый день. Может, теперь баба опомнилась, а ссориться с ней Иван не хотел. Он был даже доволен, что благодаря Дуньке они на время разошлись с Феклистой: враг силен — мало ли что могло быть. Выбрав подходящий вечерок, Иван отправился в деревню. С реки дул сильный ветер, по небу бежали свинцовые тучи, осенняя непроглядная темь захватила все кругом, точно могила. Иван пробрался к Феклистиной избе задами, но на беду Феклисты не случилось дома: она ушла куда-то в соседи, а в избе оставалась одна Сонька. Иван подождал с полчаса, а потом пошел обратно.

— Скажи мамке, что Иван прощаться приходил,— наказывал он белоголовой девчурке.— Скажешь?..

— Скажу...— лениво ответила Сонька; она давно хотела спать и готова была разреветься.

Иван шел назад старой дорогой, и когда подходил уже к самому острову, небо вдруг осветилось горячим заревом — горело Тебеньково с самой середины, и ветер гнал колыхавшееся пламя в обе стороны.

— Здорово запаливает...— говорил Иосиф Прекрас-

ный, из-под руки рассматривая пожар.— Страшенное пальмо занялось... Вон у Гущиных изба горит, к Кондрату пошло. Ох, страсть какая: так и дерет пальмо-то... Разве сбегать в деревню-то?

— Ну, придумал...— остановил его Иван.— Не до нас мужикам-то, неровен час, пожалуй, и в шею накладут.

— В лучшем виде... потому как народ одуреет совсем. Вон как поворачивает огонь-то, на обе стороны пошел.

Деревенский пожар, особенно в ночную пору,— страшная вещь. Через каких-нибудь полчаса половина Тебенькова была в огне: одна изба горела за другой, и страшное «пальмо» с ревом кружилось по улице, прахом пуская нажитое пóтом и кровью крестьянское добро, от которого оставались только одни головни да густая полоса черного дыма. По небу разлилось кровавое зарево и далеко осветило окрестности своим зловещим светом, точно к небу вставала сама мужицкая кровь. Вой ветра сливался с ревом скотины, метавшейся по конюшням и пригонам. Спавший народ выскакивал на улицу, кто в чем был: мужики — босые, простоволосые бабы — в одних рубахах, ревевшие ребятишки — полураздетые. На церкви лихорадочно звонили во все колокола, у ворот везде стояли старухи с иконами в руках и громко читали молитвы; со всех сторон в Тебеньково летели крестьянские телеги с мужиками. Мирное село превратилось в ад. Народ совсем обезумел, и мужики метались по селу вместе с одуревшей скотиной, которая обрывала привязи и рвалась в горевшие стойла. Коровы бросались прямо в огонь. Ополоумевшие бабы растеряли своих ребятишек и еще более увеличивали общую суматоху своим воем и причитаньями. Какой-то слепой и глухой старик ни за что не хотел выходить из горевшей избы, и его должны были вытащить на руках силой.

Когда пожарище охватило полдеревни, у мужиков опустились руки: нечего было спасать и некуда. Единственная пожарная машина сгорела вместе с волостным правлением, да и какая машина могла остановить это море бушевавшего огня. От избы Гущиных остались одни трубы, догорала новая изба Кондрата, у Сысоя его плохая избенка загоралась уже два раза, но он с топором в руках отстаивал свое последнее добро. Ря-

дом с ним работал дядя Листар, подставляя огню свою горбатую спину.

— Господи, да откуда это началось-то? — голосили бабы.

У дяди Листара, как молния, мелькнула мысль, и он закричал с крыши одуревшей толпе:

— Кому поджигать-то, окромя лётных!..

Эта мысль, как искра, упавшая в порох, произвела в головах обезумевших мужиков и баб другой пожар. «Лётные подожгли... лётные!» — ревела вся деревня, как один человек. Выискался кто-то, кто видел, как вечером Иван пробирался задами к Феклистиной избе — сейчас после него и занялся пожар. Отыскали Феклисту — она не видала Ивана, ей дали тумака и пообещали выдрать, зачем якшается с лётными. Зато маленькая Сонька рассказала все, что знала.

— Это он из-за Дуньки деревню подпалил!..— кричал седой Вилок, выскакивая из толпы.— Робята, тащите их, варнаков, суды...

Толпа мужиков бегом бросилась к Татарскому острову... Иосиф Прекрасный думал спастись бегством, но его поймали верховые и потащили по земле за волосы, как теленка. Иван не сопротивлялся и шел в деревню среди толпы остервенившихся мужиков с побелевшим мертвым лицом.

— А куда Дуньку дел?..— ревели голоса, и на бродягу посыпались удары.

— Ушла... третьева дня ушла.

— Так и есть! Дуньку спровадили, а сами деревню подпалили! Ваших рук дело, варначье... кайтесь!..

— Братцы, Христос с вами... опомнитесь!..— умолял Иван, но его голос замирал в общем гвалте, как крик ребенка.

— Мы тебя живо рассудим, стерва!..— кричал Вилок, стараясь ударить Ивана кулаком по лицу.— Листар все видел...

Иосиф Прекрасный был уже на пожарище, когда привели в деревню Ивана. Бродяги были в разорванных рубахах и оба в крови, которая струилась у них по лицам.

— Вот они... поджигатели!..— ревела деревня.

В толпу протолкался дядя Листар и закричал, указывая на Ивана:

— При мне он грозился на деревню...

Изба Сысоя горела, как сноп соломы: он, захлебываясь от ярости, пробился тоже к бродягам и вцепился в Ивана, как кошка.

— Это он поджег!..— неистово голосил Сысой, стараясь укусить бродягу за плечо.— Своими глазами видел...

— В огонь их!..— пронеслось в толпе.

Этот страшный крик стоил пожара. За Ивана схватились разом десятки рук, и, несмотря на самое отчаянное сопротивление, он повис в воздухе — его тащили к первой горевшей избе.

— Батюшки... батюшки... батюшки!..— отчаянно вопил Иван, напрасно цепляясь за чужие руки, шеи, головы.

— В огонь!..

В воздухе мелькнул какой-то живой ком, болтавший ногами и руками, и беглый попал в самое пекло. Через несколько секунд он выкатился оттуда, обгорелый, окровавленный, продолжая лепетать: «Батюшки... батюшки...» Но толпа не знала пощады, и бродяга полетел в огонь во второй раз, а чтобы он не выполз оттуда, кто-то придавил его тяжелой слегой.

К утру Тебеньково представляло собой дымящееся пожарище, а от Ивана Несчастной Жизни не осталось даже костей. Иосиф Прекрасный через день от полученных на пожаре побоев умер в кабаке Родьки Беспалого.

БОЙЦЫ

*Очерки весеннего сплава
по реке Чусовой*

Ой, дубинушка, ухнем!..

I

Мы приехали на пристань Каменку ночью. Утром, когда я проснулся, ласковое апрельское солнце весело глядело во все окна моей комнаты; где-то любовно ворковали голуби, задорно чирикали воробьи и с улицы доносился тот неопределенный шум, какой врывается в комнату с первой выставленной рамой.

Весна, бесспорно, самое лучшее и самое поэтическое время года, о чем писано и переписано поэтами всех стран и народов; но едва ли где-нибудь весна так хороша, как на далеком, глухом севере, где она является поразительным контрастом сравнительно с суровой зимой. Притом южная весна наступает исподволь, а на севере она, наоборот, производит быстрый и стремительный переворот в жизни природы, точно какой невидимой могучей рукой разом зимние декорации переменяются на летние. С ясного голубого неба льются потоки животворящего света, земля торопливо выгоняет первую зелень, бледные северные цветочки смело пробиваются через тонкий слой тающего снега,— одним словом, в природе творится великая тайна обновления и, кажется, самый воздух цветет и любовно дышит преисполняющими его силами. Прибавьте к этому освеженную глянцевитую зелень северного леса, веселый птичий гам и трудовую возню, какими оглашаются и вода, и лес, и поля, и воздух. Это величайшее торжество и апофеоз той великой силы, которая неудержимо льется с голубого неба, каким-то чудом претворяясь в зелень, цветы, аромат, звуки птичьих песен, и все кругом наполняет удесятеренной, кипучей деятельностью. Я люблю этот великий момент в бедной красками и звуками жизни северной природы, когда смерть и немое оцепенение зимы сменяется кипучими радостями короткого северного лета. Именно такой весенний апрельский день смотрел в окна моей комнаты, когда я проснулся на Каменке: весна гудела на улице,

точно в воздухе катилось какое-то громадное колесо.

Распахнув окно, я долго любовался расстилавшейся перед моими глазами картиной бойкой пристани, залитой тысячеголосой волной собравшегося сюда народа; любовался Чусовой, которая сильно надулась и подняла свой синевато-грязный рыхлый лед, покрытый желтыми наледями и черными полыньями, точно он проржавел; любовался густым ельником, который сейчас за рекой поднимался могучей зеленой щеткой и выстилал загораживавшие к реке дорогу го́ры. В логах еще лежал снег, точно изъеденный червями; по проталинам зеленела первая весенняя травка, но березы были еще совсем голы и печально свесили свои припухшие красноватые ветви.

Каменка, одна из нижних чусовских пристаней, раскинула свои полтораста бревенчатых изб по крутому правому берегу в углу, который образовала с Чусовой бойкая горная речка Каменка. Моя комната была во втором этаже, и из окна открывался широкий вид на реку и собственно на пристань, то есть гавань, где строились и грузились барки, на шлюз, через который барки выплывали в Чусовую, лесопильню, приютившуюся сейчас под угором, на котором стоял дом, где я остановился, и на красовавшуюся вдали двухэтажную караванную контору, построенную на самом юру, на стрелке между Каменкой и Чусовой. За рекой Каменкой, на низком, отлогом берегу, приткнулась маленькая деревушка, точно она сейчас вылезла из воды своими двумя десятками избушек и теперь сушилась на солнечном пригреве. Гавань устроена, вероятно, из островка или песчаной косы, которая образовалась в самом устье Каменки; нижняя часть этой косы была соединена с крутым берегом, на котором раскинулась пристань широкой плотиной. Берега гавани всплошную обставлены деревянными магазинами для склада металлов, строившимися и совсем готовыми барками; везде валялись бревна, сложенные в желтые квадраты, свежий тес, обломки сгнивших барок, кучи пакли, ко́зла и платформы спущенных в гавань барок. Несколько огней, около которых варили смолу для барок, дополняли картину. Весь берег был залит народом, который толпился главным образом около караванной конторы и магазинов, где торопливо шла нагрузка барок; тысячи четыре бурлаков, как живой муравейник, облепили все кругом, и в воздухе висел глухой гул человеческих голосов, резкий лязг нагружаемого железа, удары

топора, рубившего дерево, визг пил и глухое постукивание рабочих, конопативших уже готовые барки, точно тысячи дятлов долбили сырое, крепкое дерево. И над всей этой картиной широкой волной катилась бесшабашная бурлацкая «Дубинушка», с самыми нецензурными запевами. Не успевал замереть в одном месте дружный окрик работавших бурлаков, как сейчас же с новой силой вставал в другом. Могучий вал самой пестрой смеси звуков гулким эхом отдавался на противоположном берегу и, как пенистая волна вешней полой воды, тянулся далеко вниз по реке, точно рокот живого человеческого моря. Эта картина кипучей деятельности тысяч людей представляла неизмеримый контраст с тем глубоким мертвым сном, каким покоится пристань Каменка целый год, за исключением двух-трех недель весеннего сплава. Еще день или два, река взломает лед, и вместе с водой уплывет вся эта бешеная работа, неистовый шум и крик, и опять все будто тихо и мертво кругом вплоть до будущей весны.

— С весной, голубчик! С весной поздравляю! — кричал хриплым голосом хозяин моей квартиры, врываясь в комнату в высоких охотничьих сапогах и в коротком ваточном пиджаке.

— А скоро река тронется, Осип Иваныч?

— Э, голубчик, чего вы захотели... Да послушайте, милый человек, вы, кажется, еще не проснулись порядком: это бессовестно!.. Слышите: бессовестно... Я с четырех часов утра колочусь, как каторжный, а вы тут прохлаждаетесь. Вы посмотрите хоть на нашу пристань — ведь это целый ад, пекло какое-то... Ох, подлецы, подлецы!!!

— Кто это провинился так?

— Как кто? А бурлаки? Ведь их четыре тысячи, анафем, а у меня горло одно... Понимаете: одно! Сразу охрип... Ох, моченьки моей не стало с этими мошенниками!..

Осип Иваныч энергично вытер свое вспотевшее румяное лицо бумажным платком, поправил спутавшиеся на голове редкие русые кудри, закрывавшие на макушке порядочную лысину, и залпом опрокинул две рюмки водки из графина, который стоял на угловом столике. Приземистая широкоплечая фигура Осипа Иваныча с красным затылком и высокой грудью служила как бы олицетворением преисполнявшей его энергии; выкатившиеся карие глаза с опухшими красноватыми веками смотрели блуждающим, усталым взглядом, как у человека,

который только что сейчас вырвался из жестокой свалки. Русая бородка и большие усы носили следы самого бесцеремонного обхождения: Осип Иваныч, когда начинал сердиться, немилосердно ерошил свою бороду и грыз усы, а так как рассердиться ему решительно ничего не стоило, то бороде и усам доставалось порядком.

— Ох, подлецы! — ворчал Осип Иваныч сквозь зубы, с ожесточением прожевывая сухую корочку хлеба.— Аспиды!..

— Да чем они вас обидели, Осип Иваныч?

— Как чем?.. Сегодня какой день... а? — грозно приступил он ко мне, размахивая руками.— Какой день?

— Кажется, двадцать третье апреля...

— Вот то-то и есть: «кажется»... Вы бы в моей коже посидели, тогда на носу себе зарубили бы этот денек... двадцать третьего апреля — Егория вешнего — поняли? Только ленивая соха в поле не выезжает после Егория... Ну, обыкновенно, сплав затянулся, а пришел Егорий — все мужичье и взбеленилось: подай им сплав, хоть роди. Давеча так меня обступили, так с ножом к горлу и лезут... А я разве виноват, что весна выпала нынче поздняя?..

Наругавшись всласть и пропустив еще две рюмки, Осип Иваныч совсем другим тоном проговорил:

— Пойдемте со мной, посмотрите, как мы в смоле кипим. Сначала надо завернуть в кабак...

— Зачем?

— Народ гнать на работу. Только отвернись — сейчас в кабак... Я вам говорю: разбойники и протоканальи! А всех хуже наши каменские... Заберут задатки — и в кабак, а там как хочешь и выворачивайся, хоть сам сталкивай барки в воду да грузи!..

В передней мы натолкнулись на мужика в разорванной красной рубахе; одной рукой он держался за стену, стараясь сохранить равновесие. По красному лицу и блуждающему взгляду мутных глаз можно было принять этого мужика за трудно больного, если бы от него не отдавало на целую версту специфическим ароматом перегорелой водки.

— Это ты, Савоська? — окликнул мужика Осип Иваныч.

— А то как же... я... я!..

— Чего тебе надо?

Мужик только что раскрыл рот для необходимых объ-

яснений, как Осип Иваныч уже обрушился на него с необыкновенным азартом:

— Да ты где, каналья, шары-то[1] налил?.. а?!. С какой радости... а?!. Люди работают, надрываются, а он...

— Осип Иваныч... дай опохмелиться!

— Чего?

— Опохмел...

— Вот тебе опохмелиться, а вот закусить! — крикнул Осип Иваныч, схватывая Савоську за ворот и ловким подзатыльником выталкивая за дверь.

Мужик только загремел ногами по лестнице и кубарем выкатился на улицу, к удивлению толпившегося около дома народа.

— Гли, робя: Савоську опохмелили! — слышался из толпы чей-то веселый голос.— Ай да Осип Иваныч! уважил! Хороший стаканчик поднес!

— Видели? — спрашивал Осип Иваныч с улыбкой.

— Да...

— А между тем этот Савоська один из лучших сплавщиков у нас... Золото, а не мужик. Только вот проклятая зараза: как работа, так он без задних ног. Чистая беда с этими мерзавцами!

Когда мы вышли на улицу, Савоська писал мыслете по самой середине улицы, сдвинув свою рваную шляпенку на одно ухо. Это был красивый мужик лет сорока, с широким бородатым лицом и русыми кудрями, которые лезли из-под шляпенки во все стороны шелковыми кольцами. Он пробовал было затянуть песню, но выходило какое-то дикое мычание, и Савоська принялся ругаться в пространство, неровно взмахивая руками. Оглянувшись, он заметил Осипа Иваныча, остановился, подпер руки фертом и, пошатываясь, закричал:

— А я тебе... покажу, Оська!.. Подвяжу куфтой хвост-от... Веррно!..

— Ты у меня еще поразговаривай! — закричал Осип Иваныч.

— А мне плевать на тебя... Слышал?.. Плев...

Осип Иваныч ринулся вперед, но Савоська уже летел далеко впереди на всех рысях, потеряв свою шляпу.

— Прямо в кабак, шельмец, задул! — ругался Осип Иваныч, подбирая Савоськину шляпу.

---

[1] Шары — глаза. (*Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.*)

II

Осип Иваныч служил на пристани приказчиком. Это был русский человек в полном смысле слова: бесхарактерный, добрый, вспыльчивый. Он обладал счастливой способностью с совершенно спокойной совестью ничего не делать по целым месяцам и просто лез на стену, когда наваливалась работа. Во время сплава он, собственно, был золотой человек, потому что лез из кожи в интересах транспортного общества «Нептун», которое отправляло металлы с Каменки, но, как часто бывает с такими людьми, от его работы выходило довольно мало толку. Осип Иваныч без всякого пути разносил в щепы совершенно невинных людей, также без пути снисходил к отъявленным плутам и завзятым мошенникам и в конце концов был глубоко убежден, что без него на пристани хоть пропадай.

— Я их всех насквозь вижу, разбойников,— уверял он, когда мы шли по широкой улице к кабаку.— Это варначье только меня и боится; у меня разговор короткий: раз-два и к черррту!! Они меня знают! Да вон посмотрите, как зашевелились у кабака: завидели грозу... Ха-ха!

Мы шли сначала по берегу Чусовой, миновали часовню, чей-то высокий деревянный дом с зеленой железной крышей и завернули за угол. Попадавшиеся на пути избы производили хорошее впечатление своими толстыми бревнами, крепкими воротами, крытыми наглухо, по-раскольничьи, дворами и белыми кирпичными трубами; известное довольство сказывалось во всем, начиная с тесовых крепких крыш и кончая стекольчатыми окошками и расписными ставнями. На берегу и около домов — везде попадались кучки бурлаков, с котомками и без котомок, в рваных полушубках, в заплатанных азямах и просто в лохмотьях, состав которых можно определить только химическим путем, а не при помощи глаза.

— Ишь, молодцы, только что явились на сплав! — ругался Осип Иваныч, когда попадались бурлаки с котомками. — Ужо я вам покажу кузькину мать!..

— А что же вы им сделаете?

— Я?!. У нас, голубчик, все это оформлено: просрочил явку на пристань — штраф; не явился на спишку барок — штраф; не пришел на нагрузку — штраф...

Дорогу нам загородила артель бурлаков с котомка-

ми. Палки в руках и грязные лапти свидетельствовали о дальней дороге. Это был какой-то совсем серый народ, с испитыми лицами, понурым взглядом и неуклюжими, тяжелыми движениями. Видно, что пришли издалека, обносились и отощали в дороге. Вперед выделился сгорбленный седой старик и, сняв с головы что-то вроде вороньего гнезда, нерешительно и умоляюще заговорил:

— Осип Иваныч! Мы уж к твоей милости...

— Откуда вы?

— Вятские мы, родимой мой, вятские...

— Ты не в первый раз на сплав пришел?

— Нет, не в первой... Раз с двадцать, может, уж сплыл.

— Ну, так чего тебе от меня нужно?

— Да вот запоздали мы, Осип Иваныч... Грех такой вышел; непогодье нас захватило, а дорога дальняя.

— Знать не хочу... Вздор!.. Что у тебя в контракте сказано... а?..— заорал Осип Иваныч, выкатывая глаза.— Я, что ли, буду сталкивать да грузить барки за вас?.. Задатки любите получать?!. а?!.

— Да ведь задатки в волость пошли, за подушное...— как-то равнодушно оправдывался старик, совсем подавленный величием обступивших его нужд.— Подушное, Осип...

— А мне плевать на ваше подушное! Знать не хочу!! Просрочил трое суток — за трое суток и штраф по контракту...

— Осип Иваныч, родимой! Мы ведь тысячу верст с залишком брели сюды... изморились! А тут ростепель захватила...

— Вздор!.. Я не бог... понимаешь? Я не бог...

Старик только махнул рукой и пожевал сухими синими губами. Артель стояла как вкопанная; на изветрившихся лицах трудно было прочитать произведенное этой сценой впечатление. Старик, перебирая в руках свое воронье гнездо, что-то хотел еще сказать, но Осип Иваныч уже бежал к кабаку и с непечатной руганью врезался в толпу. Около кабака народ стоял стеной; звуки гармоники и треньканье балалаек перемешивались с пьяным говором, топотом отчаянной пляски и дикой пьяной песней, в которой ничего не разберешь. Эта толпа глухо колыхнулась и загудела, когда Осип Иваныч ворвался в самый центр и с неистовым криком принялся разгонять народ.

— Аспиды! Разбойники! Мошенники!! — ревел Осип Иваныч, как сумасшедший, не зная, на кого броситься; по пути он сыпал подзатыльниками и затрещинами.

Савоська выглянул из-за косяка кабацкой двери и быстро спрятался; на его месте показалась согнутая фигура заводского мастерового с запеченным лицом и слезившимися глазами.

— Осип Иваныч! Ты неправильно нас обижаешь,— заговорил он, когда Осип Иваныч протолкался сквозь густую толпу до самых дверей. — Сегодни наш день, а завтра — твой... Мы тебе отробим, все отробим, а ты нас не тронь...

— Ах ты...

Мастеровой вылетел из кабака от одного удара могучей десницы Осипа Иваныча, а за ним вслед, как вилок капусты, полетел Савоська и растянулся плашмя на земле.

Пока Осип Иваныч совершал свои подвиги, записные пьяницы успели попрятаться за углами ближайших изб, чтобы опять забраться в кабак, когда гроза пронесется. Другие делали вид, что идут к гавани, но, завернув за угол первой улицы, совершали обходное движение, чтобы попасть в кабак с противоположной стороны. В числе последних был и Савоська в компании с ругавшимся и запеченным мастеровым, захватив по пути каких-то самых подозрительных девиц в коротких сарафанах и ярких платках на голове. В этой толпе женские лица попадались только в качестве исключений; домовитые хозяйки были завалены работой по горло, потому что нужно было прокормить чем-нибудь эту трехтысячную голодную толпу. Конечно, бурлацкое брюхо не отличается особенной прихотливостью, но и оно боится пустоты.

После долгого неистовства верного служаки музыка и песни смолкли, и толпа кабацких завсегдатаев медленно начала расходиться, потянувшись длинным хвостом к гавани.

— Вы посмотрите только, что это за народ! — кричал Осип Иваныч, выскакивая из кабака уже без шапки. — Мошенник на мошеннике... И все наши каменские, либо заводские! Уж только и нарродец...

Действительно, большинство бурлаков, собравшихся около кабака, были каменские бурлаки и заводские мастеровые. И тех и других отличишь сразу. Для них весенний сплав — разливное море, вечный праздник. Ка-

менские славятся по всей Чусовой как лучшие бурлаки, но зато и отчаяннее этих каменских не найти по всей Чусовой. Даже заводские мастеровые, тоже разбитной народ, не отличающийся особенной скромностью, далеко уступают каменским. Каменского бурлака вы сразу узнаете, хоть будь это распоследний пропойца и забулдыга, у которого весь костюм состоит из одних заплат. Он так умеет надеть на себя свои заплаты и идет по улице с таким самодовольным видом, что сейчас видно птицу по полету. А если он раздобылся красной рубахой, дырявыми сапогами и мало-мальски приличным чекменем, он ходит по пристани гоголем и знать ничего и никого не хочет. Лихорадочная, каторжная работа на сплаву, бесконечная ленивая зима, когда бурлаку решительно нечего делать, затем водка при отвале каравана, водка на каждой хватке, водка на съемке обмелевших барок и самое кромешное, беспросыпное пьянство, когда караван привалит благополучно в Пермь,— все это взятое вместе создало совершенно особенный тип. Весенний сплав для Каменки — праздников праздник, и все одеваются в самое лучшее платье и ставят последний грош ребром.

Заводские мастеровые отличаются от каменских своими запеченными в огненной работе лицами, изможденным видом и тем особенным, неуловимым шиком, с каким умеет держать себя только настоящая заводская косточка. И чекмень на нем не так сидит, и шляпа сдвинута на ухо, и ходит черт чертом. Впрочем, на сплав идут с заводов только самые оголтелые мастеровые, которым больше деваться некуда, а главное — нечем платить подати.

— Много у вас заводских? — спросил я Осипа Иваныча, когда он несколько отдышался после горячей сцены у кабака.

— Достаточно и этих подлецов... Никуда не годен человек,— ну и валяй на сплав! У нас все уйдет. Нам ведь с них не воду пить. Нынче по заводам, с печами Сименса да разными машинами, все меньше и меньше народу нужно — вот и бредут к нам. Все же хоть из-за хлеба на воду заработает.

— А сколько вы платите бурлакам за сплав?

— Рублей восемь, десять, смотря по контрактам, у нас ведь круговая порука: артелями нанимаем. Один из из артели не явился — вся артель в ответе.

— Да ведь таким образом при расчете на руки артели может ничего не достаться.

— Сплошь и рядом... В другой раз еще с артели следует получать, только взять-то с них нечего. А без артели — беда! Чуть запоздал сплав — все расползутся, как тараканы.

III

От кабака мы пошли к караванной конторе.

По пути нам попадались те же кучки бурлаков, которые росли и увеличивались с каждым шагом, пока не перешли в сплошную движущуюся массу. Эти лохмотья, изможденные лица, пасмурные взгляды и усталые движения совсем не гармонировали с ликующим солнечным светом и весенним теплом, которое гнало с гор веселые, говорливые ручьи.

— Осип Иваныч, ослобони! — взмолился было давешний седой старик, выступая из толпы.

— Нет, друг мой, не могу: у меня слово — закон! — отрезал неумолимый Осип Иваныч, торопливо шагая к караванной конторе.

Сейчас под угором, где начиналась плотина гавани, стояла пильня. Подавленный визг пил и какой-то особенный, хриплый звук разрезываемого сырого дерева мешался с всплесками и шумом вырывавшейся из-под водяного колеса воды. Пахло смолистым ароматом свежей сосны и елей, которые с хрипением умирающего вылезали из-под станка белыми правильными полосами досок. На плотине бурлаки смешались в сплошную массу, сквозь которую приходилось пробираться с большими усилиями, причем Осип Иваныч обратился опять к помощи самых отборнейших ругательств, выбор которых у него был замечательно разнообразен и приводил в изумление даже бурлаков.

— С этим народом иначе невозможно,— объяснял он, когда мы наконец продрались в караванную контору, где Осипа Иваныча уже дожидалось много народа. — Ох, смерть моя! — стонал он, не зная, кому отвечать. — У кабака с каменскими да с мастеровыми горло дери, а здесь мужичье одолевает.

Толпа колыхалась и гудела, как пчелиный улей. Здесь действительно собрались все крестьяне, пришедшие на пристань из Вятской, Казанской и Уфимской губерний.

Кого-кого тут не было!.. Но на всех лицах в выражении глаз сказывалась одна общая печать: это были люди деревни, загнанные за сотни верст на сплав горькой, неотступной нуждой. Здесь не было и помину о той отчаянности, какой выделялись каменские бурлаки, не было и своеобразного шика заводских мастеровых: одна общая мысль, одна общая забота связывала эти тысячи бурлаков в один могучий стройный аккорд. Во всех взглядах можно прочитать одну мысль — мысль о земле, которая в такую горячую вешнюю пору сиротеет где-нибудь за тысячу верст. Общий интерес придавал этому оторванному от родной земли уголку крестьянского мира совершенно своеобразную физиономию: они принесли сюда свою великую крестьянскую заботу, от которой давно «ослобонились» мастеровые и разный другой сброд, какой набирается на сплав. Они подавляли молчаливым величием крикливые «качества» вырванных из земли с корнем людей, индивидуализированных в духе известной экономической школы.

Все время, пока мы шли до конторы, за нами по пятам пробирался небольшой взлохмаченный мужичонка в лаптях и в широком халате, какие носят только вятские. Он терпеливо и покорно выжидал, пока Осип Иваныч ругался направо и налево, а потом как-то вяло проговорил:

— А я к твоей милости, Осип Иваныч!

Осип Иваныч быстро вскинул глазами на мужика и с каким-то отчаянием замахал руками.

— Да ты зарезать меня хочешь, мошенник! — завопил он, с бешенством накидываясь на несчастного мужика. — Ну чего тебе от меня нужно?.. а?.. Ну говори, говори, не тяни за душу!

— Вторую неделю проживаемся на пристани-то... — спокойно отвечал мужик, переминаясь. — Обносились, хлебушка нет... двое из артели-то в лежку лежат: огневица прихватила.

— Ну и пусть лежат, я-то чем виноват... а?.. Я разве бог?.. Мне-то какая радость держать вас на пристани?..

— А я к тому говорю, что кабы артель не выворотилась в деревню...

— Ах ббожже ммой!!. А контракт? Что у тебя в контракте сказано: «Обязуюсь ждать сплава по первое число мая месяца, а свыше сего, ежели сплав затянется, назначается поденная плата в размере...»

— Оню тошно, што оно по контракту, Осип Иваныч... и обязались мы ждать, и насчет поденной платы... Только вот севодни Егория, а через неделю Еремея-запрягальника. Сумлеваюсь насчет артели, Осип Иваныч, как бы со сплаву не выворотилась.

— Я вот вам, подлецам, такого запрягальника пропишу, что до будущего сплава будете меня помнить! — горячился Осип Иваныч, начиная жестикулировать самым решительным образом. — «Сумлеваюсь, как бы артель не выворотилась»!.. Мошенники!.. Ты — первый зажигатель и бунтовщик... понимаешь? Сейчас позову казаков, руки к лопаткам и всю шкуру выворочу наизнанку...

— Река-то когда еще пройдет, а пашня не ждет, — точно вслух думал бунтовщик.

— А ты все свое долбишь! а? — грозно зарычал Осип Иваныч, бросаясь с кулаками на бунтовщика. — Если ты мне еще раз покажешь свою рожу... да я... Ну купи, черт ты этакий, гармонику или балалайку и наигрывай, в кабак бы зашел от скуки... Разве я запрещаю?!

Мужик почесывался, переминался и опять начинал свою песню про Еремея-запрягальника, пашню и артель. Сцена кончилась тем, что Осип Иваныч наконец не вытерпел и выгнал бунтовщика из конторы в шею.

— Зачем вы его выгнали? — спросил я. — Ведь он совершенно верно говорил все...

— А я разве спорю, что не верно? Только он заключил контракт и должен его выполнить... А выгнал я его потому, что этот мужичонка-коновод расстраивает других. Таких молодцов на пристани до десятка наберется, всю душу вытянули. Да вон и другой лезет... Ах боже ммой!!

Каменская караванная контора представляла собой красивое двухэтажное здание с мезонином и широким железным балконом, выходившим прямо на реку. Во втором этаже была квартира караванного, Семена Семеныча, а в нижнем, в одной громадной комнате, помещалась собственно караванная контора, которая, как и все конторы, отличалась страшнейшим беспорядком, канцелярски-промозглым воздухом и специально деловой пылью и грязью. Двери, письменные столы, стулья, деревянная решетка, которой отгораживалось отделение для приходящих,— все было захватано сальными, потными руками, и в некоторых местах жирная грязь скопилась

в толстые черные полосы. За двумя длинными столами помещались служащие, обложенные кипами бумаг; у самой решетки, за отдельным столиком, сидел кассир, старик лет под шестьдесят, с выбритым деревянным лицом и старинными очками в серебряной оправе на носу. Он методически, как заведенная машина, опускал правую руку в железный ящик, брал ассигнацию, большей частью рубль, и, мельком взглянув на предъявленный бурлаком контракт и расчетную книжку, передавал ее в мозолистые, корявые руки. Бумажка завертывалась в какую-нибудь тряпицу или в пестрядевый кисет и затем исчезала за пазухой или за голенищем или просто уносилась из конторы в крепко сжатой руке. Перед кассиром дефилировал бесконечный ряд бурлацких лиц и лохмотьев.

— Эти все штраф заплатят? — спрашивал, сидя на окне, жирный подрядчик с толстой шеей.

— Да, запоздали...— весело отвечал молодой служащий с румяным лицом и белокурой шевелюрой. — Рубль штрафу за каждый просроченный день...

— А Осип-то Иваныч как поправляется с бурлачиной! — лениво протянул подрядчик, закуривая крючок из махорки. — Он у вас теперь вроде как главнокомандующий... Ишь, так петухом и наступает, так и наступает!.. Только и пасть же уродил ему господь: труба трубой.

Служащие переглянулись и засмеялись. В углу на скамейке дремал оренбургский казак с нагайкой через плечо; фуражка с голубым околышем сбилась на одну сторону, по безусому молодому лицу бродило несколько мух. Два других казака, сидя рядом на подоконнике, играли в «хлюст». Это была стража при становом, который обязательно является на каждый сплав для устранения недоразумений. Когда Осип Иваныч, окруженный бурлаками, начинал голосить особенно неистово и с отчаянием вздымал обе руки к небу, казаки вскакивали с подоконника и на минуту вытягивались в струнку.

— Тьфу!! Черт вас всех возьми... Провалитесь вы совсем! — ругался Осип Иваныч, задыхаясь от жары.

В конторе было страшно накурено и сгущался тот специфический миазм, какой приносит с собой в комнату наш младший брат в лаптях. А в большие запыленные окна гляделось весеннее солнышко, полосы голубого неба, край зеленого леса. Я поскорее вышел на крыльцо, чтобы дохнуть свежим воздухом.

Около конторы народ по-прежнему стоял стена сте-

ной, и по-прежнему это был крестьянский люд. Выгнанный Осипом Ивачычем бунтовщик был окружен целой толпой односельчан, с нетерпением ждавшей результатов ходатайства.

— Ну чего, дядя Силантий? — спросил белобрысый молодой парень с рябым лицом.

— По контракту, говорит... — ответил дядя Силантий, почесывая за ухом.

— Выворотимся! — решил плечистый мужик в рваном зипуне.

— Надо обождать,— заметил Силантий. — Много ждали, маленько обождем.

Толпа загалдела. На ходока посыпались упреки и ругательства, но он только моргал глазами и отмахивался бессильным жестом рук. К этой артели присоединились другие, и в воздухе поднялся какой-то стон от взрыва общего негодования. Тут же толклись чердынцы, кунгуряки, соликамцы и тоже галдели и ругались, размахивая руками.

— Ну вас к богу совсем! — проговорил Силантий, усаживаясь на приступок крыльца. — Ступайте, коли хотите, а я останусь... Тебе, Митрей, видно, охота, чтобы шкуру спустили в волости, когда со сплаву прибежишь,— заметил он, вынимая из котомки берестяный бурак.

— И пусть спущают,— горячился белобрысый парень.— Я сам-сём в семье, а ежели пашню пропущу изза вашего сплаву — все по миру пойдут... это как?..

— А так... Осип Иваныч сказывает: «Купи, говорит, гармонь али балалайку и наигрывай...» Ну, будет тебе, Митрей, вот садись, ужо закусим хлебушка.

Митрий, олицетворенная черноземная сила, вдруг отмяк от одного ласкового слова дяди Силантия и присел на корточки около его таинственного бурака.

— Зачерпни-кось водицы, Митрей, бурачком-то!

Пока Митрий ходил с бураком за водой, Силантий неторопливо развязал небольшой мешок и достал оттуда пригоршню заплесневелых, сухих, как камень, корок черного хлеба.

— Что, плохи сухари-то? — спросил я Силантия.

— А какие есть, барин. И этих едва раздобылся: все приели бурлаки на пристани. Пристанские-то бабы денежку наживают около нашего брата. С лета начинают копить пищу про бурлаков, значит, к вешнему сплаву. Корочка хлебушка завалялась, заплесневела, огрызок

ребятишки оставили — все копят бабы, потому бурлаки съедят все, только бы хлебушком пахло. Тоже вот которая редька тронется, продрябнет, кислы[1] испортятся, картошка почернеет — все берегут для нас, а мы им за это деньги платим. Из дому не понесешь за тыщу-то верст...

Когда Митрий вернулся с водой, Силантий спустил в бурак свои сухари и долго их размешивал деревянной облизанной ложкой. Сухари, приготовленные из недопеченного, сырого хлеба, и не думали размокать, что очень огорчало обоих мужиков, пока они не стали есть свое импровизированное кушанье в его настоящем виде. Перед тем как взяться за ложки, они сняли шапки и набожно помолились в восточную сторону. Я уверен, что самая голодная крыса и та отказалась бы есть окаменелые сухари из бурака Силантия.

— Вы издалека? — спросил я, когда бурлаки выхлебали из бурака остатки мутной воды с плававшей плесенью, мелкими крошками и опять помолились.

— Дальние будем; дальние, барин. Из-под Лаишева пришли... — отвечал Силантий, надевая шапку. — Ну, Митрей, на сёдни потрапезовали, а к завтрю тебе промышлять пропитал... Дойди до деревни, может, найдешь где еще корочек-то.

Молодой мужик переминался и не шел.

— Што не идешь? Видно, в кармане пусто... Эх ты, горе липовое! У меня тоже не густо денег-то: совсем прохарчились на этой треклятой пристане, штобы ей пусто было...

Дядя Силантий из глубины пазухи добыл пестрядевый мешочек, бережно его развязал и высыпал на ладонь несколько медяков.

— Все тут. На, сходи к бабам, поищи.

Конфузливо собрав деньги с ладони дяди Силантия, Митрий исчез в толпе.

— Зачем вы нанимаетесь на сплав? — спрашивал я Силантия.

— Нельзя, милый барин. Знамо, не по своей воле тащимся на сплав, а нужда гонит. Недород у нас... подати справляют... Ну, а где взять? А караванные приказчики уж пронюхают, где недород, и по зиме все де-

[1] Кислы — проквашенная мелкая капуста. (*Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.*)

ревни объедут. Приехали — сейчас в волость: кто подати не донес? А писарь и старшина уж ждут их, тоже свою спину берегут, и сейчас контракт... За десять-то рублев ты и должон месить сперва на пристань тыщу верст, потом сплаву обжидать, а там на барке сбежать к Перме али дальше, как подрядился по контракту.

— Ведь это для вас невыгодно?

— Какое выгодно! Нож вострой нам эти сплавы, вот што! Рассуди сам: сам теперь я из дому должон выйти на сплав за шесть недель, да сплаву прождешь другой раз все две недели, да на барке бежишь до Перми четыре дни, а дальше клади еще неделю. Сколь всего-то выйдет?

— Почти два с половиной месяца...

— Так, а другой раз и все три. А деньги-то, из десяти-то рублей, семь в подать пошли, рупь выдали, как пришли на сплав, а два рубли получим, когда караван привалит в Перме. На три-то месяца бурлаку рупь и приходится, а куды ты его повернешь? Теперь сколько одной лопотины[1] в дороге проносишь, сколько обуя[2], а пить-есть само собой... Вот Осип Иваныч-то даве говорит: купи гармонь али ступай в кабак, а того не думает, што у меня всю душеньку выворотило. Ночей не спишь, все про свое думаешь... За эти десять-то рублей я три месяца проболтаюсь да пашню опущу,— ну, а какой я мужик без пашни? Вон Митрей-то сам-сём: вот тебе и гармонь!

— Чем же вы живете эти три месяца? Неужели на один рубль?

— На рупь, барин, на него... Пока из дому бредем, так свойский, домашний хлебушко жуешь, а на пристане свой рупь и проживешь. На верхних пристанях дают бурлакам по пуду муки, а то и по два. Говядины тоже, сказывают, дают фунтов по пяти на брата...

— Все-таки рубль на три месяца...

— Это еще што! И рупь деньги! А ты вот посуди, какое дело: теперь мы бежим с караваном, а барка возьми да и убейся... Который потонул — того похоронят на бережку, а каково тем, кто жив-то останется? Расчету никакого, котомки потонули, а ты и ступай месить свою

[1] Лопоти́на — верхняя одежда, вообще платье. (*Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.*)

[2] Обуй — обувь. (*Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.*)

тысячу верст с пустым брюхом... Вот где нашему брату беда бедовенная!

— А тебе случалось так уходить со сплаву?

— Нет, меня господь миловал, а другие много приходят домой чуть не под Петров день... Ей-богу! Ведь это мужику разор, всю семьишку измором сморишь!

— Чем же бурлаки питаются, когда бредут домой с разбитой барки?

— А бог?..

Последнее было сказано с такой глубокой верой, что не требовало дальнейших пояснеиий. Я долго смотрел на убежденное, спокойное выражение облупившегося под солнцем лица Силантия, на его песочную бороденку и крошечные слезившиеся глазки; от этого лица веяло такой несокрушимой силой, перед которой все препятствия должны отступить.

Наш разговор и мои размышления были прерваны появившейся ватагой пьяных бурлаков, которая валила к конторе с песнями и пляской, диким гиканьем и присвистом.

— Ишь как камешки да мастеровые разгулялись,— задумчиво проговорил Силантий.— Им што: сполагоря — весь тут. Получил задаток и гуляй... Самый бросовый народ, ежели разобрать. Никакой-то заботушки, окромя кабака... Ох-хо-хо!.. Мы каменских бурлаков камешками зовем, барин...

— Да и они тоже не от радости в кабак идут, Силантий.

— Может, и так, кто их знает, а я к тому вымолвил, што супротив наших деревенских очень уж безобразничают. Конечно, им на сплав рукой подать, и время они никакого не знают...

IV

Я долго бродил по пристани, толкаясь между крестьянскими артелями и другим бурлацким людом. Шум и гам живого человеческого моря утомили слух, а эти испитые лица и однообразные лохмотья мозолили глаза. Картины и типы повторялись на одну тему; кипевшая сумятица начинала казаться самым обыкновенным делом. Сила привычки вступала в свои права, подавляя свежесть и ясность первого впечатления.

После обеда, когда я успел немного отдохнуть от вороха воспринятых ощущений, я опять отправился бродить по пристани, только на этот раз пошел не к караванной конторе, а в противоположную сторону, по нагорному берегу Чусовой, где виднелись сплавные избы и толпы бурлаков не были так густы. Между прочим, здесь мне кинулись в глаза несколько бурлацких групп, которые отличались от всех других тем, что среди них не слышалось шума и говора, не вырывалась песня или веселая прибаутка, а, напротив, какая-то мертвая тишина и неподвижность делали их заметными среди других бурлаков. Кроме рваных овчинных полушубков, серых кафтанов и лаптей, здесь попадались белые войлочные шляпы с широкими полями, меховые треухи, оленьи круглые шапки с наушниками и просто невообразимая рвань, каким-то чудом державшаяся на голове. Обладатели этих треухов, белых шляп и оленьих шапок совсем не принимали никакого участия в общем шуме и гвалте, а боязливо держались поодаль от остальных бурлаков. По всему было заметно, что эти люди чувствовали себя совсем чужими в этом разгулявшемся море, а сознание своей отчужденности заставляло их сбиться в отдельные кучки.

— И уродит же господь-батюшко эку страсть! — богобоязливо и с заметным отвращением говорила какая-то старушонка, тащившая к гавани решетку с свежими калачами.

Несколько мальчишек образовали около молчаливых людей две-три весело смеявшихся шеренги; мальчишки посмелее пробовали заговорить с ними, но, не получая ответа, ограничивались тем, что громко хохотали и указывали пальцами.

— Гли, робя, шапка-то кака на ём! — резко выкрикивал босой мальчуган, вытирая нос рукавом рубахи.— Как мухомор... А глаза узенькие да чернящие! Страсть!

— А у другого-то, робя, ременный пояс и скобка прикована к поясу... Дядя, на что скобку приковал?

— Это бороться, надо полагать.

— Врешь. Они топоры в скобках носят... Гли-ко, огниво у каждого! Тоже вот нехристи, а огонь любят.

Эти странные, молчаливые люди — инородцы, которых на каждый сплав сбирается из разных мест Урала иногда несколько сот. Были тут башкиры из Уфимской губернии, пермяки из Чердынского уезда, вогулы из

Верхотурского, зыряне из Вологодской губернии, татары из Кунгурского уезда и из-под Лаишева. Из-под белых войлочных шляп сверкали черные с косым разрезом глаза кровных степняков цветущей Башкирии; из-под оленьих шапок и треухов выглядывали прямые жесткие волосы с черным отливом, а приподнятые скулы точно сдавливали глаза в узкие щели. Белобрысые пермяки с бесцветными, как пергамент, лицами, серыми глазами и неподвижно сложенными губами казались еще безжизненнее и серее рядом с пронырливыми и хитрыми зырянами. Основные типичные черты монгольского типа перемешались здесь с финскими, и, право, трудно было решить, кто из них был жалче. Русская бедность и нищета казались богатством по сравнению с этой степной голытьбой и жертвами медленного вымирания самых глухих лесных дебрей. Как ни беден русский бурлак, но у него есть еще впереди что-то вроде надежды, осталось сознание необходимости борьбы за свое существование, а здесь крайний север и степная Азия производили подавляющее впечатление своей мертвой апатией и полнейшей беспомощностью. Для этих людей не было будущего; они жили сегодняшним днем, чтобы медленно умереть завтра или послезавтра.

Живее других казались башкиры и татары, которые поэтому и сосредоточивали на себе особенное внимание мальчишек.

— Сплав гулял, вода ташшил, барка кунчал...— задорно поддразнивал какой-то белоголовый мальчуган.

Моя попытка разговориться с этими дикарями кончилась полной неудачей и вызвала только неумолкаемый смех маленькой веселой публики. При помощи трех слов: «гулял», «ташшил» и «кунчал» трудно было разговориться с незнакомыми людьми, а пермяки и этого не знали. Один, впрочем, как-то апатично произнес одно слово: «клэп», то есть хлеб.

— Нянь? — спросил я.

— Нянь, нянь...— ответил пермяк и даже не удивился, услыхав свое родное слово; по-пермяцки «нянь» значит хлеб.

Других пермяцких слов в моем лексиконе не оказалось, и я расстался с молчаливыми людьми, приговоренными историей к истреблению. Но эти лица и это единственное русское слово «клэп» все время не вы-

ходили у меня из головы. Какая сила выбила этих людей из их дремучих лесов и привольных степей и выкинула сюда, на берег далекой горной реки? Ответ, конечно, один: нужда, которая в лесу и степи еще страшнее и беспощаднее, чем по городам и селам. Как солнечная теплота, заставляя таять зимний снег, собирает воду в известные водоемы, так и нужда стягивает живую человеческую силу в определенные боевые места, где не существует разницы племен и языков. Наблюдая этих позабытых историей людей, эту живую иллюстрацию железного закона вымирания слабейших цивилизаций под напором и давлением сильнейших, я испытывал самое тяжелое, гнетущее чувство, которое охватывало душу мертвящей тоской. Ведь вся история человечества создана на подобных жертвах, ведь под каждым благодеянием цивилизации таятся тысячи и миллионы безвременно погибших в непосильной борьбе существований, ведь каждый вершок земли, на котором мы живем, напоен кровью аборигенов, и каждый глоток воздуха, каждая наша радость отравлены мириадами безвестных страданий, о которых позабыла история, которым не приберем названия и которые каждый новый день хоронит мать земля в своих недрах...

V

Вечер этого шумного дня мне привелось провести в караванной конторе, где в квартире поверенного от общества «Нептун» собралась веселая компания.

Квартира занимала второй этаж; светлая высокая гостиная была убрана с роскошью, хотя бы и не для Каменки. Мягкая мебель, драпировки на окнах, ковры, бронза — одним словом, все было убрано во вкусе той буржуазной роскоши, какую создает русский человек, когда чувствует за собой теплое и доходное местечко. Правда, поговаривали, что дела компании «Нептун» в очень незавидном положении, но у нас уж как-то так на Руси устроилось, что чем плоше дела какого-нибудь предприятия, тем вольготнее живут его учредители, члены, поверенные, контролеры, ревизоры и прочая братия, питающаяся от крох падающих. Специально о караванных конторах на Урале существует что-то вроде

математической аксиомы: стоит только попасть поближе к каравану, и все блага сего грешного мира повалятся на такого мудреца. Если вы удивитесь, что такой-то ничего не имел несколько лет назад и был беден, как церковная мышь, а теперь ворочает десятками тысяч собственного капитала, имеет несколько домов в Перми или в Екатеринбурге, вам совершенно серьезно ответят стереотипной фразой: «Да ведь он служил в караване...» Дальнейших пояснений не требуется, все равно как для человека, побывавшего в Калифорнии, сопричисленного к интендантскому ведомству или ограбившего какой-нибудь банк. Для меня эти караванные метаморфозы всегда составляли неразрешимую задачу, и я упомянул о них только между прочим, потому что в экономической жизни Урала вообще встречается очень много самых непонятных феноменов.

— Шшш...— встретил меня многозначительным шипением караванный поверенный, умоляюще воздевая руки кверху.

— Кто-нибудь болен, Семен Семеныч? — поспешил я осведомиться.

— О нет... Все, слава богу, здоровы; только в кабинете у меня *сам* отдыхает.

— Кто *сам?*

Поверенный назвал фамилию одного из членов-учредителей общества «Нептун», пользовавшегося между Нижним и Екатеринбургом громкой репутацией финансовой головы и великого промышленного дельца. Сам поверенный, которого я встречал на горных заводах, был одной из тех неопределенных и бесцветных личностей, которыми особенно богато наше время; они являются неизвестно откуда, по каким-то таинственнейшим протекциям занимают самые теплые местечки, наживают кругленькие капиталы и исчезают неизвестно куда. Каменский караванный принадлежал именно к этому сорту людей, и в крайнем случае о нем можно сказать только то, что одевался он совершенно безукоризненно, обладал счастливым аппетитом и любил угостить. Как известно, на угощение русский человек необыкновенно падок, и бесцветные люди отлично пользуются этой кровной чертой славянской натуры.

Мы на цыпочках прошли в следующую комнату, где сидели два заводских управителя, доктор, становой и еще несколько мелких служащих. На одном столе

помещалась батарея бутылок всевозможного вина, а за другим шла игра в карты. Одним словом, по случаю сплава всем работы было по горло, о чем красноречиво свидетельствовали раскрасневшиеся лица, блуждающие взгляды и не совсем связные разговоры. Из опасения разбудить «самого» говорили почтительным полушепотом.

— Слышите, что делается? — говорил поверенный, указывая мне движением головы на окно, откуда доносился глухой гул от собравшихся вокруг конторы бурлаков.— Чистая беда!

Вся обстановка и выражение лиц собравшейся компании как-то не вязались с этим отчаянием.

— Конечно, вам легко рассуждать,— вступился один из управителей,— ваше дело сторона, а вот посадить бы на наше место... Чей ход, господа?..

— Господа, нужно промочить горлышко,— суетился поверенный, разливая вино по рюмкам.— Авось Чусовая скорее пройдет...

Все, конечно, поспешили на помощь застоявшейся Чусовой. В углу сидел заводский доктор и, видимо, дремал; я присоединился к нему.

— Много больных на пристани? — спросил я.

Доктор с недоумением посмотрел на меня, пожевал губами и с уверенной улыбкой проговорил:

— Вы лучше спросите, чем они живы, эти бурлаки... Помилуйте! Каждая лошадь лучше питается, чем весь этот народ. А работа? Да это чистейший ад... Тиф, лихорадка,— так и валятся десятками!

— Больница есть?

Доктор только махнул рукой и опять задремал.

Игра, несмотря на предупредительное шипение хозяина, разгоралась. Кучки денег на зеленом столе росли, а с ними росло и оживление игроков. Особенно типичны были управители, которые живут на Урале как помещики. Это совершенно особенный тип, создавший кругом себя новое крепостное право, которое отличается от старого своими изящными, но более цепкими формами. С каждым годом заводскому населению приходится тяжелее, а параллельно с этим возвышается благосостояние управителей, управляющих, поверенных и целого сонма служащего люда. Как это происходит — мы поговорим в другом месте, а теперь ограничимся только указанием на существующую аналогию

плохого положения компании «Нептун», бурлаков и процветания администрации. Вероятно, это странное явление можно подвести под самый простой закон переливания жидкости из одного сосуда в другой: что убыло в одном, то прибыло в другом.

Один из управителей, еще молодой господин, с жирным лицом и каким-то остановившимся взглядом, выглядывал настоящим американским плантатором; другой, какой-то безыменный немец, весь красный, до ворота охотничьей куртки, с взъерошенными волосами и козлиной бородкой, смахивал на берейтора или фехтовального учителя и, кажется, ничего общего с заводской техникой не имел. Немец хлопал рюмку за рюмкой, но не пьянел, а только начинал горячиться, причем ломаные русские фразы так и сыпались у него из-под лихо закрученных рыжих усов.

— Пастаки!..— постоянно повторял немец, когда у него убивали карту.— Сукина сына, туда твой дорог... Швинья — карт!

Служащие помельче сбились в самый дальний уголок и там потихоньку перешептывались о своих делах. К заветному столику с винами они подходили не иначе, как по приглашению хозяина.

— Егор Фомич изволят шевелиться...— змеиным сипом докладывал хозяину какой-то господин, нечто среднее между служащим и лакеем.

— Шш...— зашипел опять хозяин, а потом, обратившись к «среднему», категорически объявил: — У меня смотреть в оба! И ежели где-нибудь что-нибудь пошевелится или застучит — ты в ответе... Понял?

«Среднее» исчезло, чтобы через пять минут опять появиться в дверях.

— Егор Фомич изволили проснуться...

Это известие всех заставило встряхнуться и принять надлежащий вид. Руки как-то сами собой застегивали пуговицы у сюртуков и визиток, поправляли галстуки, лезли в карманы за носовыми платками, и соответственно этому слышались глубокие вздохи, осторожные покашливания,— словом, производились все необходимые действия, соответствующие величию Егора Фомича.

— Господа! Пожалуйте в залу! — пригласил всех хозяин.— Егор Фомич, вероятно, будут сейчас кушать чай.

В светлой зале за большим столом, на котором кипел самовар, ждали пробуждения Егора Фомича еще несколько человек. Все разместились вокруг стола и с напряженным вниманием посматривали на дверь в кабинет, где слышались мягкие шаги и легкое покашливание. Через четверть часа на пороге наконец показался и сам Егор Фомич, красивый высокий мужчина лет сорока; его свежее умное лицо было слегка помято недавним сном.

— Не помешали ли вам отдыхать, Егор Фомич? — суетился поверенный, забегая петушком перед «самим».

— Ах нет, прекрасно выспался,— небрежно ответил Егор Фомич, галантно здороваясь с гостями.

С особенным вниманием отнесся Егор Фомич к высокому седому старику раскольничьего склада. Это был управляющий ...ских заводов, с которых компания «Нептун» отправляла все металлы. Перед нужным человеком Егор Фомич рассыпался мелким бесом, хотя суровый старик был не из особенно податливых: он так и выглядел последышем тех грозных управителей, которые во времена крепостного права гнули в бараний рог десятки тысяч людей.

— Надеюсь, вы всё видели, все наши порядки? — лебезил перед стариком Егор Фомич, заискивающе улыбаясь.

— Да, видел-с.. Народ распустили — безобразие! — коротко отвечал старик.— Порядку настоящего нет...

— Ах, Парфен Маркыч, Парфен Маркыч! — взмолился Егор Фомич, делая выразительный жест.— Не старые времена, не прежние порядки! Приходится покоряться и брать то, что есть под руками. Сознаю, вполне сознаю, глубокоуважаемый Парфен Маркыч, что многое выходит не так, как было бы желательно, но что делать, глаза выше лба не растут...

Говорить умел Егор Фомич необыкновенно душевно и вместе уверенно. Голос у него был богатый, с низкими грудными нотами; каждое слово сопровождалось соответствующим жестом, улыбкой, игрой глаз, отражалось в позе. Одним словом, это был тертый калач, видавший виды. Семен Семеныч с благоговением заглядывал в рот своему божку и не смел моргнуть. Глядя на бесцветную вытянутую фигуру Семена Семеныча, так и казалось, что она одна, сама по себе, не имела реши-

тельно никакого значения и получала его только в присутствии Егора Фомича, являясь его естественным продолжением, как хвост у собаки или как в грамматике прямое дополнение при сказуемом. Бывают такие люди-дополнения, смысл существования которых выясняется только в присутствии их патронов: люди-дополнения, как планеты, в состоянии светить только заимствованным светом.

— Я рад, господа, видеть в вашем лице людей, которые являются носителями промышленных идей нашего великого века! — ораторствовал Егор Фомич, закругляя руку, чтобы принять стакан чая.— Мы живем в такое время, когда просто грешно не принимать участия в общей работе... Помните евангельского ленивого раба, который закопал свой талант в землю? Да, наше время именно время приумножения... Не так ли, Павел Петрович? — обратился он к становому.

— А... что?.. Так точно-с...— отозвался Павел Петрович, бурбон чистейшей воды.

— Надеюсь, вы не откажетесь в числе других принять участие в общем труде?

— Помилуйте-с, с большим удовольствием!

— И отлично. Значит, вы поступаете в число акционеров нашего «Нептуна»?

— Дда... то есть нет, пока... Вот мы с доктором пополам возьмем одну акцию.

— Я, право, еще не знаю,— отозвался доктор.— Да и денег свободных нет... Нужно подумать...

— Чего же тут думать? — вежливо удивлялся Егор Фомич.— Помилуйте!.. Дело ясно как день: государственный банк платит за бессрочные вклады три процента, частные банки — пять-семь процентов, а от «Нептуна» вы получите пятнадцать — двадцать процентов...

Управитель-плантатор выразил сомнение относительно такой смелой пропорции, но «сам» не смутился возражением и заговорил еще мягче и душевнее:

— Я понимаю, что́ вас, Алексей Самойлович, смутило. Именно, вы сомневаетесь в таком высоком дивиденде при начале предприятия, когда потребуются усиленные затраты, неизбежные во всяком новом деле. Не правда ли?

— Да... Мне кажется, что вы преувеличиваете, Егор Фомич,— возражал Алексей Самойлыч неуверенным

тоном.— Когда предприятие окончательно окрепнет, тогда, я не спорю...

— Я то же думаю,— вставил свое слово Парфен Маркыч.

— Ах, господа... А если я ручаюсь вам головой за верность этих пятнадцати — двадцати процентов?

— Но ведь здесь может быть много побочных обстоятельств,— заметил доктор с своей стороны.— Один неудачный сплав, и вместо дивидендов получатся дефициты...

— Совершенно верно и справедливо... если мы будем иметь в виду только один год,— мягко возражал Егор Фомич, прихлебывая чай.— Но ведь в промышленных предприятиях сметы приходится делать на известный срок, чтобы такие случайные убытки и прибыли уравновешивали друг друга. Возьмемте, например, десятилетний срок для нашего сплава: средняя цифра убитых барок вычислена почти за целое столетие, средним числом из тридцати барок бьется одна. Следовательно, здесь мы имеем дело с вполне верным расчетом, даже больше, потому что по мере необходимых улучшений в условиях сплава процент крушений постепенно будет понижаться, а вместе с этим будет расти и цифра дивиденда. Только взгляните на дело совершенно беспристрастно и на время позабудьте, что вы намереваетесь записаться в число наших акционеров.

Эта шутка рассмешила всех; даже сам Парфен Маркыч улыбнулся.

— Пастаки! — провозгласил за всех немец, выкатывая глаза.— Барка нэт умер.

Чай незаметно перешел на закуску, а затем в ужин. Будущие промышленные деятели обратили теперь особенное внимание на уху из живых харюзов, а Егор Фомич налег на вина. Шестирублевый шартрез привел станового в умиление, и он даже расцеловал Семена Семеныча, на обязанности которого лежал самый бдительный надзор за рюмками гостей.

— А Чусовая все еще не прошла? — спрашивал Егор Фомич в середине ужина, не обращаясь собственно ни к кому.

— Никак нет-с,— почтительно отвечал Семен Семеныч.

— Гм... жаль! Но приходится помириться, как мы миримся с капризами всех хорошеньких женщин. Наша

Чусовая самая капризная из красавиц... Не так ли, господа?

За ужином, конечно, все пили, как умеет пить только один русский человек, без толка и смысла, а так, потому что предлагают пить.

— Урал — золотое дно для России,— ораторствовал Егор Фомич,— но ахиллесова пятка его — пути сообщения... Не будь Чусовой, пришлось бы очень плохо всем заводчикам и крупным торговым фирмам. Пятьдесят горных заводов сплавляют по Чусовой пять миллионов пудов металлов, да купеческий караван поднимает миллиона три пудов. Получается очень почтенная цифра в восемь миллионов пудов груза... Для нас даже будущая железная дорога[1] не представляет ни малейшей опасности, потому что конкурировать с Чусовой — немыслимая вещь.

— О, совершенная пастаки! — подтвердил немец.

— То есть что пустяки: железная дорога или Чусовая?

— Дорог пастаки...

Егор Фомич долго распространялся о всех преимуществах, какие представляет сплав грузов по реке Чусовой сравнительно с отправкой по будущей железной дороге, и с уверенностью пророчил этой реке самое блестящее будущее, как «самой живой уральской артерии».

— Теперь большинство заводов и купечество отправляют грузы в одиночку,— говорил он, играя массивной золотой цепочкой.— Всем это обходится дорого, и все несут убытки только оттого, что не хотят соединиться воедино. Другими словами, стоит передать эксплуатацию всей Чусовой в руки одной какой-нибудь компании, и тогда разом все устроится само собой. Что невыгодно теперь, тогда будет давать дивиденды... Компания организует дело на самых рациональных основаниях, по самым последним указаниям науки и опыта, и все неблагоприятные условия сплава по Чусовой в настоящем его виде падут сами собой, а главное — мы избавимся от разъедающей нас язвы, то есть от необходимости каждый раз нанимать бурлаков из дальних местностей.

---

[1] Настоящий очерк относится ко времени, предшествовавшему открытию Уральской горнозаводской железной дороги. *Автор.*

— Да, бурлаки — совершенная язва,— почтительно вторил Семен Семеныч.

— Но как же вы обойдетесь без рабочих? — спрашивал кто-то.

— Очень просто: мы заменим сплав на потесях сплавом на лотах, тогда рабочих потребуется в пять раз меньше, то есть как раз настолько, насколько могут дать рабочих чусовские пристани и отчасти заводы. Теперь какая-нибудь лишняя неделя — бурлаки бегут, и мы каждый раз должны переживать крайние затруднения, а тогда...

— Но ведь для сплава на лотах потребуется вдвое больше времени,— заметил доктор,— а вода спадает через неделю...

— Мы устроим в верховьях Чусовой громадный водоем и будем сплавлять караван по паводку. На помощь главному водоему устроим несколько побочных... Одним словом, с технической стороны все предприятие не представляет особенных препятствий, а вся суть заключается в том, чтобы добиться согласия всех заводчиков — передать сплав грузов в одни руки, а затем привлечь к участию в предприятии общество. Теперь частные капиталы лежат непроизводительно, а тогда они будут давать двадцать — тридцать процентов дивиденда. Все выиграют...

Мы усердно пили шампанское за великую будущность Чусовой, за будущую компанию, за гениальный план Егора Фомича и за него самого.

— Деньги, деньги и деньги — вот где главная сила! — сладко закатывая глаза, говорил Егор Фомич на прощанье.— С деньгами мы устроим все: очистим Чусовую от подводных камней, взорвем на воздух все бойцы, уничтожим мели, срежем крутые мысы — словом, сделаем из Чусовой широкую дорогу, по которой можно будет сплавлять не восемь миллионов груза, а все двадцать пять.

Будущие сподвижники и осуществители грандиозных планов Егора Фомича только почтительно мычали или издавали одобрительное кряхтенье, глупо хлопая осовелыми, помутившимися глазами. Становой несколько раз принимался ощупывать себе голову, точно сомневался, его ли это голова...

VI

— Вам куда? — спрашивал меня доктор, когда мы выходили из конторы.

— Я к Осипу Иванычу...

— У него остановились? Гм... Нам по пути. Мне еще нужно зайти кое к кому из пациентов.

Мы пошли по плотине к селению. Весенняя белая ночь стояла над горами, над лесом, над рекой. Такие ночи бывают только на Урале. Кто не переживал такой ночи, тому трудно понять ее чарующую прелесть. Тихо, тихо везде; прохваченный весенней изморозью воздух дремлет чутким сном. Далекие горы чуть повиты молочной дымкой. Дремлет темный лес на берегу, дремлет пристань с своими избушками на крутом угоре, дремлет все кругом под наплывом весенних грез. Ручейки, которые днем весело бороздили по всем улицам, разъедая «череп»[1], тоже заснули, превратившись в грязно-бурые полосы и наплывы. Я люблю такие ночи, когда так легко и вольно дышится здоровому человеку. Чувствуешь, как сам оживаешь вместе с природой и как в душе накопляется что-то такое хорошее, бодрое, счастливое. Не хочется верить, что эти белые ночи уносят вместе с весенними ручейками столько человеческих жизней — эту неизбежную жертву всякой весны...

Мне доставляет удовольствие присутствие доктора, который шагает рядом со мной; он постоянно спотыкается по своей близорукости, размахивает руками и как-то забавно причмокивает губами. Время от времени он снимает свою баранью шапку и осторожно ощупывает голову, как давеча делал становой.

— Что, доктор? — спрашивал я, удерживаясь от желания пощупать свою голову.

— Это черт знает что такое!.. Мы-то с какой радости пили... а? Вы не акционер «Нептуна»?

— Нет...

— Я тоже... Этот Семен Семеныч подсунул за ужином какую-то такую монашескую специю...

— Шартрез?

— Нет, шартрез само собой: это еще милостиво.

[1] Черепом называется тонкий слой льда, который весной остается на дороге; днем он тает, а ночью замерзает в тонкую ледяную корку, которая хрустит и ломается под ногами. (*Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.*)

Доктор засмеялся. Его добродушное старческое лицо покрылось розовыми пятнами, глаза блестели. Это был типичный представитель тех славных стариков докторов, которые сохранились только еще в провинции.

— Скажите, пожалуйста, доктор, что это за комедия сегодня разыгрывалась в конторе?

— Это вы насчет Егора Фомича?

— Да...

— Гм... Комедия самая обыкновенная: дела «Нептуна» не сегодня-завтра ликвидируются,— вот Егор Фомич и хватается за соломинку, чтобы выплыть. Акционеров вербует...

— Это-то понятно, только он едва ли чего-нибудь добьется. Никто ему не верит, и соглашаются с ним только из вежливости, то есть, вернее сказать, из-за угощения. Я уверен, что Егор Фомич не сбудет ни одной акции...

— Ну, это трудно сказать вперед. Конечно, ему не верят, даже смеются за глаза над ним, а, наверно, кончится дело тем, что все попадут в лапы к этому же самому Егору Фомичу. Такие превращения случаются сплошь и рядом. Меня собственно интересует манера Егора Фомича добывать акционеров: сначала оглушит проектами, а потом навалится с едой... Ведь глупости, кажется, а между тем действует, да еще как действует! Взять теперь хоть Парфена Маркыча — человек замечательно умный, насквозь видит Егора Фомича со всеми его проектами, а все-таки Егор Фомич слопает Парфена Маркыча... И ведь как просто; сегодня завтрак, завтра ужин, послезавтра обед — дело и сойдет как по маслу. Подите вот вы с человеческой природой: против всего человек устоит, а едой его проймут.

— Вы шутите?

— Нет, говорю совершенно серьезно. Вот сами увидите, как Егор Фомич всех обделает: и Парфена Маркыча, и Алексея Самойлыча, и Павла Петровича, и, по всей вероятности, еще многих других. В природе ведь то же бывает: стоит какая-нибудь этакая скала; кажется, и веку ей не будет, а между тем точит ее ручеек, точит-точит — глядишь, наша скала и рухнула. Так и с нашими акционерами: наживают деньги правдами и неправдами десятки лет, крепятся, скалдырничают, а тут подвернулся Егор Фомич — благоразумный раб и распоясался. Ведь сам не верит ни Егору Фомичу, ни его

двадцати процентам, а все-таки идет в ловушку... Черт знает что за глупость!

Мы подошли к квартире Осипа Иваныча.

— Вы спать? — спрашивал доктор, останавливаясь.

— Да.

— В этакую-то ночь? Да побойтесь бога, батенька! Это, наконец, бессовестно... Лучше пройдемтесь по берегу, вы погуляете, а я навещу двоих тифозных. Совсем безнадежны... Идет?

— Пожалуй.

— Нет, в самом деле таких белых ночей не много выпадает на нашу долю.

Мы шли по берегу Чусовой, мимо крепких бревенчатых изб, где все покоилось мертвым сном. Где-то глухо брехнет спросонья собака, и опять мертвая тишина кругом; только молодой месяц обливает и лес, и реку, и деревню своим трепетным молочным светом. Теперь пристань походила на громадное поле убиенных, которые там и сям лежали кучками. Ближе эти кучки превращались в груды лохмотьев, из которых выставлялись руки, ноги и головы. Спавшие люди виднелись везде, под малейшим прикрытием: под навесами изб, на завалинках, за углами, а то и просто на бугорке, который солнце за день успело обсушить и прогреть. Ни дать ни взять — настоящее поле убиенных, на котором не успели даже хорошенько прибрать трупов, а просто, для порядку, стаскали их в несколько куч. Дальше, на самом берегу, красным глазом мелькал огонек, около которого можно было различить несколько неподвижных фигур.

— Где же ваши пациенты? — спросил я доктора, когда мы подходили уже к концу деревни.

— А вот сейчас... предпоследняя изба.

У предпоследней избы не было ни ворот, ни крытого сплошь двора, ни хозяйственных пристроек; прямо с улицы по шатавшемуся крылечку ход был в темные сени с просвечивавшей крышей. Огня нигде нет. Показалась поджарая собака, повиляла хвостом, точно извиняясь, что ей караулить нечего, и опять скрылась.

— Осторожнее, здесь нет ступеньки...— предупредил доктор, нащупывая рукой бревенчатую стену.

Он толкнул дверь, и она растворилась черным зияющим пятном, как пасть чудовища.

— Осторожнее, здесь люди...— шептал доктор, чиркая спичкой о двери.

Действительно, весь пол в сенях был занят спящими вповалку бурлаками. Даже из дверей избы выставлялись какие-то ноги в лаптях: значит, в избе не хватало места для всех. Слышался тяжелый храп, кто-то поднял голову, мгновение посмотрел на нас и опять бессильно опустил ее. Мы попали в самый развал сна, когда все спали как зарезанные.

Доктор зажег стеариновый огарок и, шагая через спавших людей, пошел в дальний угол, где на смятой соломе лежали две бессильно вытянутые фигуры. Наше появление разбудило одного из спавших бурлаков. Он с трудом поднял голову и, видимо, не мог понять, что происходит кругом.

— Это ты, Силантий? — проговорил доктор.

— Я, ваше благородие... я...— отозвался старик, с тяжелым кряхтеньем поднимаясь с пола.

В этой сгорбленной старческой фигуре я сразу узнал давешнего бунтовщика Силантия, который трапезовал с Митрием заплесневелыми корочками.

— Ну, что больные? — спрашивал доктор.

— Да кто их знает, ваше благородие, лежат в лежку... Даве Степа-то испить попросил, а Кирило и головы не подымает.

— Да ведь ты спал и, наверно, ничего не слышал?

— Может, и не слышал...— равнодушно согласился Силантий, движением лопаток почесывая спину.— Уж как бог...

— А ты лекарство подавал?

— Подавать-то подавал...

Больные — Кирило, пожилой мужик с песочной бородой, и Степа, молодой, безусый парень с серым лицом,— лежали неподвижно, только можно было расслышать неровное, тяжелое дыханье. Доктор взглянул на Кирилу и покачал головой. Запекшиеся губы, полуоткрытый рот, провалившиеся глубоко глаза — все это было красноречивее слов.

— Кончается? — спрашивал Силантий так же равнодушно.

— К утру будет готов...

— А Степа?

Доктор ничего не отвечал, а только припал головой к больному парню. Когда он взял его за руку, чтобы

сосчитать пульс, больной с трудом открыл отяжелевшие веки, посмотрел на доктора мутным, бессмысленным взглядом и глухо прошептал всего одно слово:

— Сапоги...

— Какие сапоги он спрашивает? — шепотом осведомился доктор у Силантия.

— Он так это, ваше благородие, не от ума городит,— объяснял старик.— Ишь, втемяшилось ему беспременно купить сапоги, как привалим в Пермь, вот он и помнит их... И что, подумаешь, далось человеку! Какие уж тут сапоги... Как на сплав-то шли, он и спал и видел эти самые сапоги и теперь все их поминает. Не нашивал парень сапогов-то отродясь, так оно любопытно ему было...

Сапоги для мужика — самый соблазнительный предмет, как это уже было замечено многими наблюдателями. Никакая другая часть мужицкого костюма не пользуется такой симпатией, как именно сапоги. Происходит ли эта необъяснимая симпатия оттого, что сапоги являются роскошью для всероссийского лапотника, или это наша исключительно национальная особенность — трудно сказать.

— Так Кирило-то, говоришь, помрет? — спрашивал Силантий, провожая нас на крыльцо.

— Да...— коротко ответил доктор, задувая огарок.

— Ах ты, грех какой вышел... а?.. Чего делать-то будем?

— Похоронят как-нибудь...

— Известно, похоронят... Нет, дома-то у Кирилы семьища осталась — страсть! Сам-восьмой был, и все мал мала меньше... А средствия никакого не будет Кириле от вашего благородия?

— Нет, не будет...

— Ах, грех какой... И попа-то на этой треклятой пристани нет; пожалуй, без покаяния и отойдет. Вот бы еще денька два повременил, поп наедет к отвалу каравана, уж за попутьем бы и упокойничка похоронить.

Мы вышли молча. Силантий остался на крыльце, почесываясь лопатками и позевывая. Давешняя собака показалась опять из-за угла, присела задом и тихо завыла.

— Чует упокойничка...— проговорил Силантий.

— Вот вам жертва голодного тифа...— угрюмо проговорил доктор, чмокая губами.

— И много таких?

— Десятка полтора наберется.

Когда еще доктор осматривал больных, с улицы доиесся какой-то подавленный стои. Немного погодя звук повторился и застыл в воздухе протяжиым уиылым воем. Без сомнения, это были волки.

— Доктор, слышите? — спрашивал я.

— Да...

Мы остановились и прислушались. Это были волки. Оии перебежали через реку иа иаш берег и тянули убийствеиную ноту где-то тут, совсем близко.

— Целая стая...— заметил я.

Доктор вдруг засмеялся.

— А ведь вы и меия иа грех иавели,— проговорил ои.— Ха-ха... Нашли волков!.. Я и позабыл совсем, что сегодия у иироодцев праздиик. Аллах им послал *веселую скотинку* — вот оии и поют! Огонек-то видите иа берегу? — там идет пир горой.

Действительно, теперь можно было совершеиио ясио определить, что звуки иеслись имеино от горевшего иа берегу огонька.

— Я не поиимаю, доктор, про какую веселую скотинку вы говорите?

— Неужели иикогда ие слыхали?.. Очеиь просто: у одиого здешнего мужика сбесилась корова; по всей вероятиости, ее искусала бешеиая собака, иу-с мужик и взвыл с своей коровой. Убыток убытком, да еще иужио ее зарезать, отвезти в лес и закопать поглубже в землю. А время самое горячее,- до того ли тут... Пока мужик горевал, добрые люди и надоумили: отдать бешеную корову башкирам. А им это целый праздиик; оии взбесившийся скот зовут веселой скотиикой и едят его за настоящий, здоровый. Вся пристань давеча сбежалась смотреть, как оии будут расправляться с бедиой коровой... Мигом оборудовали все дело: закололи корову, развели огоиек иа берегу и закутили. Имеиио закутили, потому что совсем отощали и пьяиеют от еды. Я сам ходил смотреть иа иих: наестся человек и шатается, как пьяный; глаза блуждают, иу, одиим словом, все призиаки отравлеиия алкоголем.

— Может быть, это происходит от отравлеиия заражеииым мясом?

— Сиачала я и сам то же подумал, но дело в том, что такое опьяиеиие происходит и от хлеба. Ест-ест,

пока замертво не свалится, потом отдышится и опять ест. Страшно на них смотреть. Не хотите ли полюбопытствовать?

— Нет, благодарю... На этот день достаточно впечатлений. Я видел этих инородцев давеча...

— Да, да... Голод согнал сюда народ со всех сторон. И болезнь у всех одна: голодный тиф.

— Разве у вас нет какой-нибудь больнички на всякий случай? — спрашивал я.

— Какая тут больничка... Лекарств даже нет. Хинин стоит дорого, поэтому лечим александрийским листом. Да и что может сделать медицина там, где все условия точно нарочно собраны для разрушения самого железного здоровья: голод, холод, каторжный труд...

Мы опять заговорили о проектах медоточивого Егора Фомича.

— Все это вздор,— отрезал доктор, безнадежно махнув рукой.— Жаль только, что все эти медовые речи отзываются все на той же бурлацкой спине.

— Именно?

— Откуда эти деньги у всех караванных, поверенных и прочей братии? Конечно, все с тех же бурлаков... Ведь их набирается на Чусовую тысяч двадцать пять, кладите по рублю с человека — и то получается порядочный куш, а тут еще нагрузка барок, опять новая статья дохода. Все наживаются около каравана, потому что не существует никакого контроля. Поставили на барку сорок человек, записали пятьдесят; за нагрузку заплатили сто рублей, а в книгу занесли триста. Кто их может проверить? Рука руку моет... Вы поплывете с караваном?

— Да.

— Ну, так досыта наглядитесь, чего стоят эти роскошные ужины, дорогие вина и тайные дивиденды караванной челяди. Живым мясом рвут все из-под той же бурлацкой спины... Вы только подумайте, чего стоит снять с мели одну барку в полую воду, когда по реке идет еще лед? Люди идут на верную смерть, а их даже не рассчитают порядком... В результате получается масса калек, увечных, больных.

— А их куда девают?

— Как куда? Не тащить же с собой — оставят на бережку, и вся недолга. Как негодный балласт, так

и выбрасывают живых людей. Да еще больные туда-сюда: отлежатся — твое счастье, умер — добрые люди похоронят, а вот куда деваться калекам да увечным?

— Может быть, им выдаются пособия?

— Какие там пособия! Обратите внимание на то, что главная масса увечных происходит благодаря все этим же безгрешным доходам караванных служащих; поставят людей в обрез, чтобы прописать в книгу побольше, снимают барки воротом, что запрещено законом. Да мало ли тут пакостей творится! Вот поплывете, так своими глазами насмотритесь. Главное, совсем бессудная земля, и если является на сплав полиция, так она всецело действует только в интересах судоотправителей, то есть усмиряет крестьянские бунты, когда сплав затянется.

Я распрощался с доктором. Осип Иваныч спал мертвым сном, но я долго не мог заснуть. Мне «мерещилось» все виденное и слышанное за день: эти толпы бурлаков, пьяный Савоська, мастеровые, «камешки», ужин в караванной конторе и, наконец, больные бурлаки и этот импровизированный пир «веселой скотинкой». Целая масса несообразностей мучительно шевелилась в голове, вызывая ряды типичных лиц, сцен и мыслей. Как разобраться в таком хаосе впечатлений, как согласовать отдельные житейские штрихи, чтобы получить в результате необходимое целостное представление? Каждый раз, когда хотелось сосредоточиться на одной точке, мысли расползались в разные стороны, как живые раки из открытой корзины.

А в окна моей комнаты гляделся молодой месяц матовыми белыми полосами, которые прихотливо выхватывали из ночного сумрака то угол чемодана с медной застежкой, то какую-то гравюру на стене с неизвестной нагой красавицей, то остатки ужина на столе, то взлохмаченную голову Осипа Иваныча, который и во сне несколько раз принимался ругаться с бурлаками. В ушах у меня все еще стоял страшный вой пировавших инородцев, и мне казалось, что я опять слышу эти тянущие душу ноты. Наконец я забылся тревожным сном. Но сегодня нам с Осипом Иванычем, видно, не суждено было спать, потому что в середине ночи под окнами послышался страшный стук, который заставил нас вскочить с постелей.

— Какой там черт ломится? — сердито закричал Осип Иваныч, подбегая к окну.

— От караванного,— слышался голос под окном.

— Черти полунощные!..— ругался Осип Иваныч, отправляясь отворять дверь.— Умереть не дадут спокойно... Ну, какого черта понадобилось караванному, чтобы ему провалиться вместе с конторой? — спрашивал он в передней посланца.

— Вот писульку прислали,— почтительно докладывал неизвестный голос.

Осип Иваныч достал огня и торопливо пробежал записку караванного. Не дочитав до конца, он скомкал несчастную писульку и принялся неистово плеваться.

— Что случилось, Осип Иваныч? — спросил я, тронутый этим безмолвным горем.

— А вот извольте, полюбуйтесь!..— сердито сунул мне под нос принесенную писульку Осип Иваныч и начал торопливо одеваться.

Я пробежал записку. Караванный просил Осипа Иваныча немедленно отправить нарочного в Тагил, чтобы купить там омаров и несколько страсбургских пирогов. В постскриптуме стояла лаконическая фраза, подчеркнутая карандашом: *от этого все зависит...*

— Подлецы! Аспиды! — неистовствовал Осип Иваныч, облекаясь в архалук.— Гнать нарочного за семьдесят верст за омарами... Тьфу! Это Егор Фомич придумал закормить управителей... Знает, шельмец, чем их пробрать: едой города берут, а наши управители помешались на обедах да на закусках. Дорого им эти закуски вскочат!

Через полчаса Осип Иваныч вернулся; нарочный был послан в ночь сейчас же. Но только что мы улеглись, как опять послышался стук в окно и прилетела вторая писулька от караванного: просит немедленно послать рабочих на какую-то речку за харюзами, которые должны быть готовы к обеду. У Осипа Иваныча руки затряслись со злости, и он должен был выпить три рюмки водки, чтобы успокоиться, снова одеться и отдать соответствующие приказания. Я не дождался, когда он вернется, но сквозь сон слышал новый стук в окно; это, вероятно, был новый заказ караванного на какое-нибудь мудреное яство.

VII

Каменка — название исторического происхождения. Строгановы на реке Чусовой поставили Чусовской городок, а брат сибирского султана, Махметкул, на 20 июля 1573 года «со многолюдством татар, остяков и с верхчусовскими вогуличами» нечаянно напал на него, многих российских подданных и ясачных (плативших царскую дань мехами — ясак) остяков побил, жен и детей разбежавшихся и побитых жителей полонил и в том числе забрал самого посланника государева, Третьяка Чубукова, вместе с его служилыми татарами, с которыми он был послан из Москвы «в казацкую орду». У Строгановых для обороны всегда была под рукой разная казацкая вольница, но они побоялись вступить в бой с Махметкулом и преследовать его, «опасаясь дальних случаев», то есть как бы этим не нанести «худых следствиев от сильной сибирской стороны» своим острожкам и пермским городкам. Так Махметкул и вернулся восвояси «с немалою добычею и пленом», а Строгановы послали в Москву просьбу, чтобы им позволили ходить войной на сибирцев; царь отписал Строгановым, чтобы они всех бунтовщиков и изменников воевали и под руку царскую приводили.

Воспользовавшись этой царской грамотой, Строгановы к своей казацкой вольнице присоединили разных охочих людей, недостатка в которых в то смутное время не было, и двинули эту орду вверх по реке Чусовой, чтобы в свою очередь учинить нападение на «недоброжелательных соседей», то есть на тех вогуличей и остяков, которые приходили с Махметкулом. Повторилась обратная история: недоброжелательные соседи избивались, их жилища превращались в пепел, а жены и дети забирались в полон. Таким образом строгановские казаки поднялись вверх по реке Чусовой верст на триста и остановились только при впадении в Чусовую реки Каменки. Идти дальше казаки не отваживались, опасаясь «многолюдства татарского и вогульского и сибирского владения». Чтобы закрепить за собой завоеванную сторону, Строгановы поселили на ней своих крестьян, причем селение, поставленное на усторожливом местечке, при впадении реки Каменки в Чусовую, сделалось крайним пунктом русской колонизации, смело выдвинутым в самую глубь сибирской украйны. Даже

неутомимые и предприимчивые Строгановы не решились забираться дальше в сибирское владение, «понеже тогда, за сопротивлением сибирцев и вогулич, далее оной реки Каменки по Чусовой заселение иметь им, Строгановым, было опасно». Последовавшей затем царской грамотой вся завоеванная сторона отдана Строгановым вплоть по реку Каменку.

Таким образом, основание Каменки предупредило на несколько лет знаменитый поход Ермака, и эта пристань долго еще служила Строгановым опорным пунктом в борьбе с соседями. Вообще бассейн реки Чусовой в течение нескольких столетий служил кровавой ареной, на которой кипела самая ожесточенная борьба аборигенов с безвестными пришлецами. Нечаянные нападения, разрушения городков, одоление или полон чередовались здесь с переменным счастьем для враждовавших сторон. Для нас может показаться странным только одно: где Строгановы, частные люди, могли набрать столько народа не только для войны с сибирской стороной, но и для ее колонизации разом на сотни верст? Такие крупные задачи, пожалуй, были не под силу и самой Москве, не то что частным предпринимателям. Дело объясняется очень просто, если мы взглянем на него с исторической точки зрения. Созидание Москвы и патриархальная неурядица московского уклада отзывались на худом народе крайне тяжело; под гнетом этой неурядицы создался неистощимый запас голутвенных, обнищалых и до конца оскуделых худых людишек, которые с замечательной энергией тянули к излюбленным русским человеком украйнам, а в том числе и на восток, на Камень, как называли тогда Урал, где сибирская украйна представлялась еще со времен новгородских ушкуйников самой лакомой приманкой. Истинными завоевателями и колонизаторами всей сибирской украйны были не Строгановы, не Ермак и сменившие его царские воеводы, а московская волокита, воеводы, подьячие, земские старосты, тяжелые подати и разбойные люди, которые заставляли «брести врознь» целые области.

Мы не станем вдаваться в подробности того, как голутвенные и обнищалые людишки грудью взяли и то, что лежало перед Камнем, и самый Камень, и перевалили за Камень,— эти кровавые страницы русской истории касаются нашей темы только с той стороны,

поскольку они служили к образованию того оригинального населения, какое осело в бассейне Чусовой и послужило родоначальником нынешнего. После одоления сибирской стороны тяга русских людишек на Камень постоянно увеличивалась, чему способствовали некоторые новые мотивы русской истории. Так, в течение последних двух веков на Камень со всех сторон бежали раскольники. Мы встречаем название Каменки уже не в царских грамотах, а в делах Преображенского приказа, когда князь Иван Федорович Ромодановский пытал за «государственные слова».

Именно, мы приведем коротенький эпизод о «государевых слове и деле», которые залетели даже на Каменку. Этот эпизод отлично характеризует порядки того времени и людей, из которых образовалось нынешнее уральское население.

Летом 1722 года на Каменку приходит неизвестного звания человек и останавливается в доме крестьянина Якова Солнышкина[1]. Странника приняли и обогрели как своего человека, потому что незнаемый пришлец назвался приверженным к расколу. Собралась однажды вечерком вся семья Солнышкиных, и пошли те разговоры, какие перебегали по петровской Руси, как электрические искры. Первыми, конечно, затрещали бабы, жена Якова Солнышкина да его сноха. Они рассказали неизвестному человеку, что проходили через Каменку неизвестные гулящие люди и сказывали, что государь-де в Казани часовни ломает и иконы из часовен выносит, и кресты с часовен сымает. И к тем словам разболтавшихся каменских баб сын Якова Солнышкина, тоже Яков, прибавил про императорское величество, что взял бы-де его и в мелкие части разрезал и тело бы его растерзал. Неизвестный человек хорошо запомнил горячую выходку младшего Солнышкина, пожил в Каменке недели две, а затем отправился, как объяснил гостеприимным хозяевам, разыскивать медную руду, о которой наслышался раньше.

Из Каменки неизвестный человек прошел на Тагилреку и там действительно отыскал медную руду и в то же время усмотрел в лесу две кельи, в которых жили три раскольничьих старицы Платонида, Досифея и

[1] Дело о Солнышкине нами заимствовано у Есипова из его раскольничьих дел XVIII века. (*Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.*)

Варсонофия и старец Варфоломей. Встретившись с раскольниками, неизвестный человек сам назвался раскольником и поселился на время у них. Повторилась старая история: неизвестный человек вкрался в доверие пустынножителей, и опять пошли разговоры. Старицы обрадовались случаю поболтать с новым человеком, причем Платонида называла царя «обменным шведом», который не может «воздержать посту», затем говорила, что образа́ пишут с шведских персон, и так далее. Старицы-сестры, Варсонофия и Досифея, прибавили к этому, что государь-де сжился с царицей Екатериной Алексеевной прежде венца и что от царевича-де Алексея Петровича родился от шведки царевич мерою аршин с четвертью и с зубами, не прост человек. Старец Варфоломей читал неизвестному человеку какие-то божественные книги, называл попов еретиками и говорил про крещение, что еретическое крещение не есть крещение, а паче осквернение, и так далее и так далее.

После этого мы видим неизвестного человека уже в Тобольске, где он объявляет «государевы слово и дело» и прямо указывает на «государственные слова», какие говорили старицы со старцем и Яков Солнышкин. Из Тобольска немедленно посылается надежный профос (солдат), который и забирает всех, на кого донес неизвестный человек, а затем всех пятерых везет в Тобольск. Дорогой старица Платонида умирает, а старец Варфоломей убегает из-под стражи. Трое, оставшиеся в наличности, вместе с доносчиком отправляются в Москву и сдаются с рук на руки в Преображенский приказ, под крылышко князю Ромодановскому.

Кто же был этот неизвестный доносчик и что за цель была у него подводить людей, которые приютили его, обогрели и кормили?

Вот что показал на допросе доносчик: родом он казачий сын, из Сибирской губернии, города Тюмени, по имени Дорофей Веселков. Из Тюмени в 1721 году он поехал на Ирбитскую ярмарку с товаром, но дорогой воевода Нефедьев товары его побрал себе и его самого посадил под караул. Из-под караула Веселков вскоре бежал, несколько времени проживал в Уфимской губернии и на Уктусском заводе, а потом наслышался про медные руды в имениях Строгановых, куда и отправился. Чем кончился этот сыск медной руды, мы уже видели. Что касается цели, какой мог добиваться

своим доносом Веселков, то мы, рассматривая все дело, приходим к тому заключению, что единственной целью этого доносчика было освободиться самому из того неловкого положения, в какое он попал благодаря воеводе Нефедьеву. Другого мотива мы, к сожалению, не можем подыскать; Веселков поступил так, как в то смутное время поступали тысячи людей. Чтобы выгородить себя, жертвовали другими — и только.

Конец всего дела носит трагический характер. Якова Солнышкина и старицу, не довольствуясь их повинными, вздернули на дыбу и секли плетьми. Старице Варсонофии было около семидесяти лет, и после трех пыток она скончалась в «бедности» Преображенского приказа, то есть в тюрьме. Яков Солнышкин едва пережил ее двумя неделями, а старица Досифея пережила своих товарищей на полгода, и князь Ромодановский особенно крепко сыскивал с нее. Бедную старуху много раз поднимали на дыбу, били плетьми и жгли огнем, пока она не скончалась в той же «бедности».

Главный герой всего дела, Дорофей Веселков, получил за правый донос денежное вознаграждение и был отпущен с миром восвояси.

Из сказанного выше видно, каким путем складывалось население далекого Урала и какие невзгоды налетали на его голову. Мы с сожалением смотрим в темную глубь истории, где перед нашим взором нескончаемыми вереницами тянутся голутвенные и обнищалые до конца людишки, выкинутые волной нашего исторического существования на далекую восточную окраину. Нам кажется, что история не повторяется... Но вымирали поколения, изменялись формы, в какие отливалась народная жизнь, а голутвенные людишки продолжают существовать по-прежнему и по-прежнему безвестно творят русскую историю, как микроскопические ракушки и полипы образуют громадные рифы, мели, острова и целые скалы. Вглядываясь в кипевшую на Каменке сплавную сутолоку, я невольно припомнил исторических голутвенных людишек: они опять были налицо, живописуя и иллюстрируя настоящее. На одной Чусовой ежегодно набирается бурлаков до двадцати пяти тысяч, а сколько их бьется на других горных речонках в это горячее время? Прогрессируя, наша историческая русская нужда пустила множество новых разветвлений и создала почти неуловимые формы. Воз-

никли, развились и созрели такие злобы мужицкой жизни, о каких даже и не снилось бродившим врознь русским людишкам прошлых столетий. Приписные к заводам крестьяне, крепостное право — да мало ли цветов, выращенных неутомимым тружеником-временем! А впереди в форме капитализма уже встает нечто горшее, которое властно забирает все кругом...

В этом живом муравейнике, который кипит по чусовским пристаням весной под давлением одной силы, братски перемешались когда-то враждебные элементы: коренное чусовское население бассейна Чусовой с населявшими ее когда-то инородцами, староверы с приписными на заводе хохлами, представители крепкого своими коренными устоями крестьянского мира с вполне индивидуализированным заводским мастеровым, этой новой клеточкой, какой не знала московская Русь и которая растет не по дням, а по часам.

VIII

Чусовая — одна из самых капризных горных рек. Самые заурядные явления, повторяющиеся периодически, не поддаются наблюдению и каждый раз создают новые подробности, какие в таком рискованном деле, как сплав барок, имеют решающее значение. Это зависит от тех физических условий, какими обставлено течение Чусовой на всем ее протяжении. Начать с того, что падение Чусовой превосходит все сплавные русские реки: в своей горной части, на расстоянии четырехсот верст до того пункта, где ее пересекает Уральская железная дорога, она падает на восемьдесят сажен, что составит на каждую версту реки двадцать сотых сажени, а в самом гористом месте течения Чусовой это падение достигает двадцати двух сотых сажени на версту. Для сравнения этой величины достаточно указать на падение Камы, Волги и Северной Двины, которое равняется всего двум-трем сотым сажени. Затем, коренная вода на перекатах и переборах в межень стоит четыре вершка, а весной здесь же сплавной вал иногда достигает страшной высоты в семь аршин.

Для сплава, конечно, самое важное, когда лед вскроется на реке. Но и здесь примениться к Чусовой очень трудно, может выйти даже так, что при малых

снегах река сама не в состояннн взломать лед, и главный запас весенней воды, при помощн которого сплавляются караваны, уйдет подо льдом. Поэтому вопрос о вскрытии Чусовой для всех расположенных на ней прнстаней в теченне несколькнх недель составляет самую горячую злобу дня, от него завнснт все. Чтобы предупредить неожиданные сюрпрнзы капрнзной рекн, обыкновенно взламывают лед на Чусовой, выпуская воду из Ревдинского пруда. А так как вода в каждом заводском пруде составляет жнвую двнгающую силу, капитал, то такой выпуск нз Ревдннского пруда обставлен множеством недоразумений н препятствнй, самое главное нз которых заключается в том, что судоотправнтели не могут никак прийти к соглашенню, чтобы действовать заодно. Однnм нужно раньше выпустнть воду, другим позже, ндут бесконечные препирательства, пока ревдинское заводоуправленне в вндах отправления собственного каравана не сделает так, как ему угодно. Остальным пристаням прнходится уже только ловить золотые мннуты, потому что пропустнл какойннбудь час — и все дело можно нспортить. Поэтому ожндание, когда Ревдннский пруд спустнт воду, чтобы взломать на Чусовой лед, принимает самую напряженную форму; все разговоры ведутся на эту тему, одна мысль вертнтся у всех в голове.

Понятно то ожнвление, какое охватнло всю Каменку, когда на улице пронесся крик:

— Вода прншла!.. Вода... Лед тронулся!..

Это был глубоко торжественный момент.

Все, что было живо и не потеряло способности двигаться, высыпало на берег. В серой, однообразной толпе бурлаков, как мак, запестрелн женские платки, яркие сарафаны, цветные шугаи. Ребятишкам был настоящий праздник, и они металнсь по берегу, как стан воробьев. Выползлн старые-старые старикн н самые древнне старушки, чтобы хоть однnм глазом взглянуть, как нынче взыграла матушка Чусовая. Некоторые старнкн плохо видели, былн даже совсем слепые, но им было дорого хоть послушать, как идет лед по Чусовой, и как галднт народ на берегу. Вероятно, многие нз этнх ветеранов чусовского сплава, вдоволь поработавшнх на своем веку на Чусовой, и пришлн на берег с печальным предчувствием, что они, может быть, в последннй раз любуются своей понлнцей-кормнлнцей. Сюда же на

берег выползли, приковыляли и были вытащены на руках до десятка разных калек, пострадавших на весенних сплавах: у одного ногу отдавило поносным, другому руку оторвало порвавшейся снастью, третий корчится и ползет от застарелых ревматизмов. Эти печальные диссонансы как-то совсем исчезали в общем веселье, какое охватило разом всю пристань. Это был настоящий праздник, нагонявший на все лица веселые улыбки.

— Вам, может быть, идет пенсия? — спросил я одного такого калеку.

— Какая пенсия? — переспросил он с удивлением.

— Из караванной конторы пенсия... пособие.

— Нет, у нас никаких пособиев не полагается, барин.

— Да ведь тебе руку-то оторвало во время сплава, на караванной работе?

— Снастью отрезало... Я у огнива стоял, а снасть-то и оборвись.

— Ну, так караванная контора и должна была тебе назначить денежное пособие, рубля хоть три в месяц. Какой ты работник без руки?

— Уж это што говорить: калека — калека и есть, куды меня повернуть. Пока около сродственников прокармливаюсь, а там и по миру доведется идти. Так контора-то обязана, говоришь, насчет пособия?

— Конечно, обязана...

Мужик задумался: перспектива получить пособие смутила его, хотя он и не доверял моим словам. После минутного раздумья он махнул оставшейся рукой и проговорил:

— Нет, барин, это никак невозможно...

— Почему?

— А ты посчитай-ка, сколь у нас на одной Каменке калек, а тут мы все и приползем в контору насчет пособиев... Да это и денег недостанет! Которым сплавщикам увечным — это точно, пособие бывает, а штобы нашему брату, бурлаку... Вон он, Осип-то Иваныч, стоит, сунься-ко к нему, он те задаст такое пособие! Ишь, как глазищами ворочает, вроде как осетёр...

Вид на реку с балкона караванной конторы был особенно хорош и даже заслужил одобрение самого Егора Фомича, который в числе других в течение нескольких минут любовался игравшей рекой.

— Немного диковато...— нерешительно заметил кто-то из собравшейся на балконе публики.

Нахлынувший вал поднял лед, как яичную скорлупу; громадные льдины с треском и шумом ломались на каждом шагу, громоздились одна на другую, образуя заторы, и, как живые, лезли на всякий мысок и отлогость, куда их прибивало сильной водяной струей. Недавно мертвая и неподвижная река теперь шевелилась на всем протяжении, как громадная змея, с шипением и свистом собирая свои ледяные кольца. Взломанный лед тянулся без конца, оставляя за собой холодную струю воздуха; вода продолжала прибывать, с пеной катилась на берег и жадно сосала остатки лежавшего там и сям снега. Вместе с льдинами несло оторванные от берега молодые деревья, старые пни, какие-то доски и разный другой хлам; на одной льдине с жалобным визгом проплыла собачонка. Поджавши хвост, она долго смотрела на собравшийся на берегу народ, пробовала перескочить на проходившую недалеко льдину, но оступилась и черной точкой потерялась в бушевавшей воде. Вся картина как-то разом ожила, точно невидимая рука подняла занавес громадной сцены, и теперь дело остановилось только за актерами.

— Сплавщики пришли проздравлять! — доложило «среднее» в сюртуке.

В передней набралось человек пятнадцать сплавщиков; остальные толпились на лестнице и на крыльце. Осип Иванович, конечно, был здесь же и с кем-то вполголоса ругался. Впереди других стояли меженные[1] сплавщики. Вот степенный высокий старик Лупан, с окладистой большой бородой и строгими глазами; он походит на раскольничьего начетчика, говорит не торопясь, с весом. Из-за него выставляется на диво сколоченная фигура Кряжова, который, как говорится, сделан из цельного дерева; балагур и весельчак Окиня выставляет вперед свою бородку клином, причмокивает и подмигивает. Прижался в уголок в своем рваном азяме Пашка, тоже хороший сплавщик, который, к со-

---

[1] Из сплавщиков на пристанях особенно ценятся меженные, то есть те, которые плавают по Чусовой летом,— по межени, когда река стоит крайне мелко и нужно знать до мельчайших подробностей каждый вершок ее течения. (*Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.*)

жалению, только никак не может справиться с самим собой на сухом берегу. Мелькают бородатые и молодые лица, почтенная седина матерого сплавщика с безусой юностью «выученика». Общее впечатление от сплавщиков самое благоприятное, точно они явились откуда-то с того света, чтобы своими смышлеными лицами, приличным костюмом мужицкого покроя и общим довольным видом еще более оттенить ту рваную бедность, которая, как выкинутый водой сор, набралась теперь на берегу.

— Пришли проздравить Егора Фомича...— заявляет Лупан, когда в дверях показывается Семен Семеныч.

— Сейчас, сейчас выйдут! — торопливо шепчет караванный, оглядывая сплавщиков, точно в их фигурах или платье могло затаиться что-нибудь обидное для величия Егора Фомича.

— Ох, старый — не молоденький... А у меня, Осип Иваныч, еще ночесь брюхо болело: слышало вашу водку! — смеется Окиня, потряхивая своими русыми волосами.— У меня это завсегда... В том роде как часы!..

— Ну, ну, будет тебе молоть-то!

Окиня показывает два ряда мелких белых зубов, какие бывают только у таких богатырей, и продолжает свою неудержимую болтовню.

— Шш!..— шипит караванный, опять вбегая в переднюю.— Входите по одному... да не стучите ножищами. Кряжов! Пожалуйста, того... не изломай чегонибудь... Лупан, ступай вперед!

Сплавщики одернули кафтаны, пригладили ладонями волосы на голове и гуськом потянулись в залу, где их ждал сам Егор Фомич.

— С вешней водой... со сплавом! — говорил Лупан, отвешивая степенный поклон.

— Спасибо, спасибо, братцы! — ласково ответил Егор Фомич, подавая Лупану стакан водки.— Уж постарайтесь, братцы. Теперь время горячее, в три дня надо поспеть...

— Как завсегды... Егор Фомич,— говорит Лупан, вытирая после водки рот полой кафтана.— Перепоможемся... Вот как вода...

— А что вода?

— Надо полагать, что кабы над меженью-то больно

высоко не подняла. Снега ноне глубоки, да и весна выпала дружная: так солнышко варом и варит...

— Ну, бог не без милости, казак не без счастья!

— Обнаковенно, даст господь-батюшко, и сбежим, как ни на есть. Разве народ што...

— Это уж наше дело, Лупан; не ваша забота... А! Окиня! здравствуй! Ну-ко, попробуй, какова водка?

— Водка первый сорт, Егор Фомич,— не запинаясь, отвечает Окиня,— да стаканчик-то у тебя изъянный: глонул раз и шабаш, точно мимо на тройке проехали...

— С большого стаканчика у тебя голова заболит, а теперь нужно работать вплотную,— милостиво шутил Егор Фомич.— Как привалим в Пермь, тогда будет тебе и большой стаканчик.

— Не омманешь?

— Зачем же...

У Егора Фомича для всякого было наготове ласковое словцо; он половину сплавщиков знал в лицо и теперь балагурил с ними с барским добродушием. Глядя на эту патриархальную картину, завзятый скептик пролил бы слезы невольного умиления: делец и носитель великих промышленных планов братался с наивными детьми народа — чего же больше?

— Господская водка хороша, да мужицкая рука коротка,— говорил Окиня, проталкиваясь к выходу.— Видно, добавить придется из своих денежек. Старый — не молоденький.

— А когда караван отвалит? — спрашивал я Лупана.

— Да дня этак три сождем, барин. Паводка будем ревдинского дожидаться. Вишь ноне какая весна-то ударила, того гляди не подняло бы Чусовую-то...

Около конторы в собравшейся артели сплавщиков мелькали красные рубахи и шляпы с лентами франтовкосных. При каждой казенке, то есть барке, на которой плывет караванный, полагается десятка два самых отборных бурлаков, которые помогают снимать обмелевшие барки, служат вестовыми и так далее. Это и есть косные; самое название произошло от «косной» лодки, в которой они разъезжают. На всех пристанях они одеваются в цветные рубахи и щеголяют в шляпах с лентами. Собственно косные не исправляют никакой особенной должности, а существуют по исстари заве-

денному порядку, как необходимая декоративная принадлежность каждого сплава.

Чусовские сплавщики — одно из самых интересных и в высшей степени типичных явлений своеобразной жизни чусовского побережья. Достаточно указать на то, что совсем безграмотные мужики дорабатываются до высших соображений математики и решают на практике такие вопросы техники плавания, какие неизвестны даже в теории. Чтобы быть заправским, настоящим сплавщиком, необходимо иметь колоссальную память, быстроту и энергию мысли и, что всего важнее, нужно обладать известными душевными качествами. Прежде всего сплавщик должен до малейших подробностей изучить все течение Чусовой на расстоянии четырехсот — пятисот верст, где река на каждом шагу создает и громоздит тысячи новых препятствий; затем он должен основательно усвоить в высшей степени сложные представления о движении воды в реке при всевозможных уровнях, об образовании суводей, струй и водоворотов, а главное — досконально изучить законы движения барки по реке и те исключительные условия сочетания скоростей движения воды и барки, какие встречаются только на Чусовой. Нужно заметить еще то, что каждый вершок лишней воды в реке вносит с собой коренные изменения в условиях: при одной воде существуют такие-то опасности, при другой — другие. При малой воде выступают «огрудки»[1] и «таши»[2], а при высокой с баркой под «бойцами» невозможно никак справиться. Но одного знания, одной науки здесь мало: необходимо уметь практически приложить их в каждом данном случае, особенно в тех страшных боевых местах, где от одного движения руки зависит участь всего дела. Хладнокровие, выдержка, смелость — самые необходимые качества для сплавщика: бывают такие случаи, что сплавщики, обладающие всеми необходимыми качествами, добровольно отказываются от своего ремесла, потому что в критические моменты у них «не хватает духу», то есть они теряются в случае опасности. Кроме всего этого, сплавщик с одного взгляда должен понять свою барку и внушить бурлакам полное доверие и ува-

[1] **Огрудки** — мели в середине реки, где сгруживается речной хрящ. (*Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.*)

[2] **Таши** — подводные камни. (*Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.*)

жение к себе. Но все сказанное вполне можно понять только тогда, когда видишь сплавщика в деле на утлом, сшитом на живую нитку суденышке, которое не только должно бороться с разбушевавшейся стихийной силой, но и выйти победителем из неравной борьбы.

Понятно, что тип чусовского сплавщика вырабатывался в течение многих поколений, путем самой упорной борьбы с бешеной горной рекой, причем ремесло сплавщика переходило вместе с кровью от отца к сыну. Обыкновенно выучка начинается с детства, так что будущий сплавщик органически срастается со всеми подробностями тех опасностей, с какими ему придется впоследствии бороться. Таким образом, бурная река, барка и сплавщик являются только отдельными моментами одного живого целого, одной комбинации.

IX

В гавани работа кипела. Половина барок была совсем готова, а другая половина нагружалась. При нагрузке барок непременно присутствуют сплавщик и водолив; первый следит за тем, чтобы барка грузилась по всем правилам искусства, а второй принимает на свою ответственность металлы.

Я отыскал в гавани барку Савоськи. Он был «в лучшем виде», и только синяк под одним глазом свидетельствовал о недавнем разгуле. Теперь это был совсем другой человек, к которому все бурлаки относились с большим уважением.

— Пришли поглядеть, как барки грузятся? — спрашивал он меня.

— Да. А ты разве не ходил поздравлять с вешней водой? Я тебя что-то не видал в конторе.

Савоська только махнул рукой и стыдливо проговорил:

— Я уж проздравился... Три дни пировал без просыпу, а теперь трёкнулся.

— Как ты сказал?

— Говорю: трёкнулся... Ну ее, эту водку, к чомору! «Трёкнулся» — значит отрекся.

Как самому лучшему сплавщику, ему грузили штыковую медь. Начинающим сплавщикам обыкновенно сначала дают барки с чугуном, а потом доверяют же-

лезо и медь. Расчет очень простой: если барка убьется с чугуном — металл не много потерял от своего пребывания в воде, а железо и медь — наоборот. Медная штыка имеет форму узкого кирпича; такая штыка весит полпуда. Для удобства нагрузки штыки связываются лыковыми веревками в тюки, по шести штук. Потаскать в течение дня из магазина на барку трехпудовые тюки меди — работа самая тяжелая, и у непривычного человека после двух-трех часов такой работы отнимается поясница и спина теряет способность разгибаться.

— Много осталось грузиться? — спросил я Савоську.

— Четь[1] барки осталось...

Сначала скажем, как устроена чусовская барка, чтобы впоследствии было вполне ясно, какие препятствия она преодолевает во время сплава, какие опасности ей грозят и какие задачи решаются на каждом шагу при ее плавании.

Начать с того, что барка в глазах бурлаков и особенно сплавщика — живое существо, которое имеет, кроме достоинств и недостатков, присущих всему живому, еще свои капризы, прихоти и шалости. Поэтому у бурлаков не принято говорить «барка плывет» или «барка разбилась», а всегда говорят — «барка бежит», «барка убилась», «бежал на барке». По своей форме барка походит на громадную, восемнадцать сажен длины и четыре сажени ширины, деревянную черепаху, у которой с носа и кормы, как деревянные руки, свешиваются громадные весла-бревна. Эти весла называются потесями или поносными. Постройка такой барки носит самый первобытный характер. Где-нибудь на берегу, на ровном месте, вымащивают на деревянных ко́злах и клетках платформу, на которую и настилают из двухвершковых досок днище барки; она обрезывается в форме длинной котлеты, причем боковые закругления получают названия плеч: два носовых плеча и два кормовых. В носовых плечах барка строится шире кормовых вершка на четыре, чтобы центр тяжести был ближе к носу, от чего зависит быстрота хода и его ровность.

— Ежели плечи сделать ровные на носу, как и на

[1] Четь — четверть. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

корме,— объяснял Савоська,— барка не станет разводить струю и будет вертеться на ходу.

Собственно, здесь применяется всем известный факт, что бревно по реке всегда плывет комлем вперед; полозья у саней расставляются в головке шире, тоже в видах легкости хода.

На совсем готовое днище в поперечном направлении настилают кокоры, то есть бревна с оставленным у комля корнем: кокора имеет форму ноги или деревянного глаголя. Из этих глаголей образуются ребра барки, к которым и «пришиваются» борта. Когда кокоры положены и борта еще не пришиты, днище походит на громадную челюсть, усаженную по бокам острыми кривыми зубами. В носу и в корме укрепляется по короткому бревну — это пыжи; сверху на борты накладывается три поперечных скрепления, озды, затем барка покрывается горбатой, на два ската, палубой — это конь. В носовой и кормовой части барки настилаются палубы для бурлаков, которые будут работать у поносных. Около пыжей укрепляются в днище два крепких березовых столба — это огнива, на которые наматывается снасть; пыжей и огнив — два, так что в случае необходимости барка может идти вперед и кормой. Средняя часть барки, где отливают набирающуюся в барку воду, называется льялом.

На каждую барку идет около трехсот бревен, так что она вместе с работой стоит рублей пятьсот. Главное достоинство барки — быстрота хода, что зависит от сухости леса, от правильности постройки и от нагрузки. Опытный сплавщик в несколько минут изучает свою барку во всех подробностях и на глазомер скажет, где пущено лишних полвершка. Чтобы спустить барку в воду, собирается больше сотни народа. От платформы, на которой стоит барка, проводятся к воде склизни, то есть бревна, намазанные смолой или салом; по этим склизням барка и спускается в воду, причем от крика и ругательств стоит стоном стон. Спишка барок не идет за настоящую работу, как, например, нагрузка, хотя от бестолковой суеты можно подумать, что творится и бог весть какая работа. Самый трагический момент такой спишки наступает тогда, когда барку где-нибудь «заест», то есть встретится какое-нибудь препятствие для дальнейшего движения. При помощи толстых канатов (снасть) и чегеней (обыкновенные колья) барка

при веселой «Дубинушке» наконец всплывает на воду и переходит уже в ведение водолива, на прямой обязанности которого находится следить за исправностью судна все время каравана. Сплавщик обязан только сплавить барку в целости, а все остальное — дело водолива. Так что на барке настоящим хозяином является водолив, а сплавщик только командует бурлаками.

— А как вы грузите барку? — спрашивал я Савоську.

— Барку-то? А так и грузим... Льяло садим четвертей на пять, носовые плечи на два вершка глубже, а кормовые на два вершка мельче. Носовой пыж грузим легче плеч, чтобы барка резала носом и не сваливалась на сторону. На верхних пристанях барки грузят на четверть мельче.

— А сколько барка поднимает всего?

— Да как тебе сказать: какая барка, какая вода. Приноравливаешься к воде больше. Ну, тыщев двенадцать пудов грузим, а то и все пятнадцать.

По сходням, брошенным с берега на барку, бесконечной вереницей тянулись бурлаки с тюками меди. Каменские и мастеровые, конечно, резко выделялись от остальной деревенщины и обращались с трехпудовыми ношами как с игрушками. Для них это была привычная и легкая работа; притом у каждого на запасе были кожаные вачеги[1], что значительно облегчало работу: веревки не резали рук, и тюк со штыками точно сам собой летел на свое место. На бурлаков-крестьян было тяжело и смешно смотреть: возьмет он и тюк не так, как следует, и несет его, точно десятипудовую ношу, а бросит в барку — опять неладно. Водолив ругается, сплавщик заставляет переложить тюк на другое место.

— Едва поднял,— утирая пот рукавом грязной рубахи, говорит какой-то молодой здоровенный бурлак.

— Ах ты, пиканное брюхо! — передразнивает кто-то.

Тут же суетились башкиры и пермяки. Эти уж совсем надрывались над работой.

— Муторно на них глядеть-то,— заметил равнодушно сплавщик.— Нехристь, она нехристь и есть: в ём

---

[1] Вачеги — рукавицы, подшитые кожей. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

и силы-то, как в другой бабе... Куды супротив нашей каменской — в подметки не годится!

Между тюками меди бегал, как угорелый, водолив. Это был плотный, среднего роста мужик с окладистой бородой песочного цвета, бегающими беспокойно карими глазами и тонким фальцетом. Он все время ворчал и ругался, точно каждая новая штыка меди для него была кровной обидой. Особенно доставалось от него крестьянам и несчастным башкирам; несколько раз он схватывал кого-нибудь за шиворот, тащил к брошенному тюку и заставлял переложить его на другое место. Вся эта суета пересыпалась нескончаемой и какой-то бесхарактерной руганью, которая даже никого и обидеть не могла; расходившиеся бабы владеют даром именно такой безобидной ругани, которая только зудит в ухе, как жужжание комара.

— Да будет тебе, Порша, собачиться-то,— заметил наконец Савоська, когда водолив начал серьезно мешать рабочим.— Ведь ладно кладут... Ну, чего еще тебе?

— Это ладно?! — как-то завизжал Порша, тыкая ногой ряды штык.— По-твоему, это ладно... а?

— Обнаковенно ладно... Маненько поразбились тюки, ну так дорогой еще успеешь поправить. Время терпит...

— Ну, уж нет, Савостьян Максимыч, я тебе не слуга, видно... Поищи другого водолива, получше меня!

— Да перестань ты кочевряжиться, купорос медный...

— Нет, шабаш! Порша тебе не слуга!..

Последние слова водолив проговорил каким-то меланхолическим тоном и, точно желая подтвердить свои слова, снял шапку, вачеги и с отчаянием бросил их на палубу.

— А вы на караване думаете сплыть? — спрашивал меня сплавщик, не обращая никакого внимания на самые осязательные доказательства отказа Порши от своей «обязанности».

— Да.

— В Пермь?

— Да...

— На казенке поплывете?

— Не знаю еще...

— А то плывите со мной. Порша казенку наладит,

тоже насчет чаю обварганит дело в лучшем вида.

— Да ведь Порша отказался от своей должности? — проговорил я.

Порша сидел на берегу без шапки и злыми маленькими глазами смотрел на сновавших мимо бурлаков; время от времени он начинал отплевываться и что-то тихонько голосил себе под нос.

— Порша-то? — проговорил сплавщик, не глядя на берег.— Нет, мы с Поршей завсегда вместе на барке ходим... А это у него уж карахтер такой несообразный: все быргает. Вот ужо́ уходится маненько, так сам придет на барку.

Осип Иваныч недаром хвалил Савоську: в этом мужике что-то было совершенно особенное, начиная с того, что он держал себя с тем неуловимо тонким тактом, с каким держат себя только настоящие умственные мужики. Если разобрать, так нигде нет такой массы самых тонких приличий и известных требований такта, как в крестьянской среде. Меня в этом отношении всегда особенно интересовали новички в крестьянском кругу; каждому задается такой строгий экзамен, какой выдерживают только счастливцы. Малейший промах со стороны новичка, лишнее, на ветер брошенное слово, робость, торопливое движение — и все пропало. Только исключения могут позволять себе некоторые вольности. Например, посмотрите, как мужик относится к пьяным: кажется, что если уж есть где-нибудь равенство между людьми, так оно именно и должно существовать между пьяными, а на деле выходит не так. Пирует Савоська или пирует другой сплавщик — кажется, все равно, а между тем получается чувствительная разница: над пьяным Савоськой посмеются; при случае, если уж сильно закарячится, дадут хорошего подзатыльника, а затем, как проспался, из Савоськи вышел Савостьян Максимыч. Всякая слабость отражается на авторитете, а такая слабость, как пьянство, в особенности; зашибающие водкой сплавщики обыкновенно много теряют в глазах бурлаков; поэтому пример Савоськи очень меня заинтересовал, и я нарочно прислушивался, что о нем галдят бурлаки.

— Савоська обнаковенно пирует,— говорил рыжий пристанский мужик в кожаных вачегах,— а ты его погляди, когда он в работе... Супротив него, кажись, ни единому сплавщику не сплыть; чистенько плавает.

И народ не томит напрасной работой, а ежели слово сказал — шабаш, как ножом отрезал. Под бойцами ни единой барки не убил... Другой и хороший сплавщик, а как к бойцу барка подходит — в ём уж духу и не стало. Как петух, кричит-кричит, руками махает, а, глядишь, барка блина и съела о боец.

— Што говорить! — соглашалась кучка слушателей.— Ежели по-настоящему, так Савоське цены нет...

Сплавщики с разных пристаней славятся разными достоинствами: с одних пристаней не садятся на огрудки, с других ловко проводят барки под бойцами или на переборах. Но и у самых лучших сплавщиков есть известные, почти органические недостатки и роковые места; если раз сплавщик убьет барку под бойцом, в следующий раз он уже теряет присутствие духа под ним. Случается так, что сплавщик бьет барки всего только под одним бойцом. Это зависит, раз, от совершенно особенных условий, с которыми приходится бороться под каждым новым бойцом, а с другой стороны, оттого, что предыдущая неудача «отнимает дух».

X

Вода в Чусовой спала. Ждали второго вала, того паводка, по которому сплавляются все караваны. Обыкновенно его выпускают из Ревдинского пруда дня через три после первого вала. Эти три дня прошли. Барки почти все нагрузились. Приехал священник с ближайшего завода и остановился у Осипа Иваныча, то есть в одной комнате со мной.

— Святить караван, отец Николай?

— Да... Покойнички есть, человека два, надо будет их похоронить, исповедать и причастить больных, мало ли работы нашему брату на сплаву.

Я вспомнил про больных мужиков, которых навешал доктор: живы ли они или уж больше ничего не требуют, кроме могилы?

— Ночью придет вода, а завтра — отвал...— заговорил Осип Иваныч.— А это кто с вами?

— Да так... псаломщик хочет сплыть на караване в Пермь, посвящаться во дьякона.

— Так-с... Что же, доброе дело,— согласился Осип Иваныч.

— Он думает записаться бурлаком, Осип Иваныч...

— И превосходно... Даром сплывет, да еще заработает рублей восемь. Глядишь, и пригодятся, как в консисторию пойдет...

Отец Николай сделал серьезное лицо и даже поправил полки своего подрясника из синего люстрина, точно хотел совсем закрыться от прозрачного намека Осипа Иваныча; будущий дьякон, рослый детина с черной гривой, только смиренно кашлянул в свою громаднейшую горсть и скромно передвинулся с одного кончика стула на другой.

— Я ведь отлично знаю ваши порядки,— не унимался Осип Иваныч.— У меня есть знакомый один, рассказывал всякую процессию...

— А вы все воюете? — политично переменил батюшка неприятный разговор.

— Да... Что будете делать? Такая уж наша обязанность, отец Николай.

— Конечно... Вот и голос у вас будто немного того...

— Охрип, как пес! Летом поправлюсь... Сами знаете: одолели бурлачье.

Батюшка ничего не отвечал, а только вздохнул и покачал с участием головой. Отец Николай, как большинство заводских священников, держал себя с достоинством. Лицо у него было умное и красивое, карие глаза смотрели проницательно, говорил он не торопясь, с весом, улыбался редко — вообще выглядел человеком себе на уме. Псаломщик был из простецов и не знал, куда деваться с своими громадными руками и ногами. Дьякон из него, по всем признакам, должен был выйти хороший — и по фигуре и по голосу, только вот как он сумеет пролезть через консисторские мытарства.

Мы спали, когда набежал паводок. Все на пристани зашевелилось и загудело, точно разбудили спавший улей. К свету всё и все были уже на ногах. День выдался пасмурный. Горы казались ниже, по серому небу низко ползли облака не облака, а какая-то туманная мгла, бесформенная свинцовая масса. Чусовая играла на славу, как вырвавшийся из неволи зверь. С глухим ревом и стоном летел вниз пенистый вал, шипучей волной заливая низкие берега и с бешеным рокотом превращаясь на закруглениях береговой линии в гряды майданов, то есть громадных белых гребней. Картина

для художника получалась самая интересная: в этом сочетании суровых тонов сказывалась могучая гармония разгулявшейся стихийной силы.

Барки в гавани были совсем готовы. Батюшка с псаломщиком с утра были в караванной конторе, где все с нетерпением дожидались желанного пробуждения великого человека. Доктор показался в конторе только на одну минуту; у него работы было по горло. Между прочим он успел рассказать, что Кирило умер, а Степа, кажется, поправится, если переживет сегодняшний день. Во всяком случае и больной и мертвый остаются на пристани на волю божию: артель Силантия сегодня уплывает с караваном.

— Пора! — слышался сдержанный шепот.— А то вода уйдет или набежит сверху караван.

Семен Семеныч только разводил руками и вытягивал вперед шею: дескать, ничего не поделаешь, ежели они изволят почивать. Минуты тянулись страшно медленно, как при всяком напряженном ожидании. С улицы доносился глухой гул человеческих голосов, мешавшийся с шумом воды.

— Пять четвертей над меженью! — шепотом докладывал в передней какой-то сплавщик.

— И еще прибудет?

— Надо полагать, что прибудет.

К десяти часам Егор Фомич наконец изволили проснуться, а затем показались в зале. Как покорный сын церкви, Егор Фомич подошел под благословение батюшки и даже поцеловал у него руку.

— Все готово? — обратился он к караванному.

— Все... Освятить караван и в путь.

— Гм... Время, кажется, терпит,— заметил лениво Егор Фомич, взглянув на свой полухронометр.— Успеем позавтракать... Ведь так, Семен Семеныч?

— Совершенно верно-с, Егор Фомич, успеется! — подобострастно соглашался караванный, хотя трепетал за каждую минуту, потому что вот-вот налетит сверху караван, и тогда заварится такая каша, что не приведи истинный Христос.

Завтрак походил на все предыдущие завтраки: так же было много пикантных яств, истребляли их с таким же аппетитом, а между отдельными кушаньями опять рассуждали о великом будущем, какое ждет Чусовую, о значении капитала и предприимчивости и так далее.

Вино лилось рекой, управители сидели красные, немец выкатил глаза, а становой тяжело икал, напрасно стараясь подавить одолевавшую дремоту. Караванный и служащие сидели как на иголках; батюшка тоже тревожно поглядывал все время на реку и несколько раз наводил чуткое ухо к передней, откуда доносился сдержанный ропот сплавщиков.

После нескольких тостов за великое будущее «главной артерии Урала» завтрак наконец кончился.

— Можно начинать? — осведомился батюшка.

— Пожалуйста, отец Николай! — с утонченной вежливостью отозвался Егор Фомич.— Как это в священном писании сказано: «Аще ли не созиждет... созиждет...»

Тысячи народа ждали освящения барок на плотине и вокруг гавани. Весь берег, как маком, был усыпан человеческими головами, вернее, бурлацкими, потому что бабьи платки являлись только исключением, мелькая там и сям красной точкой. Молебствие было отслужено на плотине, а затем батюшка в сопровождении будущего дьякона и караванных служащих обошел по порядку все барки, кропя направо и налево. На каждой барке сплавщик и водолив встречали батюшку без шапок и откладывали широкие кресты.

— Вот и ваша каюта,— обратился батюшка ко мне, когда очередь дошла до казенки.— Отлично прокатитесь с Осипом Иванычем...

— Дай бог, дай бог! — отвечал за нас Егор Фомич.— В добрый час...

Сейчас после освящения толпы бурлаков серой волной хлынули на барки, таща за спиной котомки с необходимым харчем на дорогу.

— Ох, воду пропустили! — стонал наш водолив Порша.— Непременно набежит сверху караван...

— Успеем выйти в реку, а там пусть догоняют,— успокаивал сплавщик.— К поносным, ребятушки, к поносным! Пошевеливай, молодцы!..

Бурлаки живым роем копошились по палубам, всякий старался подальше спрятать свою котомку в трюме. Порша при таком благоприятном случае, конечно, свирепствовал, отплевывался, бросал свою шапку на палубу, ругался, стонал.

Наконец народ разместился; убрали сходни, оставалось открыть шлюз, чтобы выпустить барки в реку.

Осип Иваныч остался на берегу и, как шар, катался по горбатому мосту, под которым должны были проходить барки.

— Разве он останется? — спросил я Савоську.

— Нет, зачем же... После на косной догонит. Наша казенка пойдет в последних.

— А почему не первой?

— На всякий случай: какая барка убьется или омелеет — мы сымать будем. Тоже вот с рабочими. Всяко бывает. Вон ноне вода-то как играет, как бы еще дождик не ударил, сохрани господи. Теперь на самой мере стоит вода — три с половиной аршина над меженью.

На балконе показался Егор Фомич в сопровождении своей свиты; можно было отчетливо рассмотреть синюю рясу батюшки и мундир станового. Вот кто-то на балконе махнул белым платком, на берегу грянул пушечный выстрел, и ворота шлюза растворились. Барка за баркой потянулись в реку; при выходе из шлюза нужно было сейчас же делать крутой поворот, чтобы струей, выпущенной из шлюза, не выкинуло барку на другой берег, и пятьдесят человек бурлаков работали из последних сил, подбрасывая тяжелые потеси, как игрушку. Одна барка черпнула носом, другая чуть не омелела у противоположного берега, но вовремя успела отуриться, то есть пошла вперед кормой.

Наступила наша очередь. Савоська поднялся на свою скамеечку, поправил картуз на голове и заученным тоном скомандовал:

— Отдай снасть!..

Двое косных подобрали отвязанный на берегу канат к огниву, и барка тихо поплыла к горбатому мосту. Заметно было, что Савоська немного волнуется для первого раза. Да и было отчего: другие барки вышли в реку благополучно, а вдруг он осрамится на глазах у самого Егора Фомича, который вон стоит на балконе и приветливо помахивает белым платком. Вот и горбатый мост; вода в открытый шлюз льется сдавленной струей, точно в воронку; наша барка быстро врезывается в реку, и Савоська кричит отчаянным голосом:

— Нос направо, молодцы!! Сильно-гораздо, нос направо! Направо нос!.. Корму поддержи!!.

Барка делает благополучно крутой поворот и с увеличивающейся скоростью плывет вперед, оставляя берег, усыпанный народом. Кажется в первую минуту,

что плывет не барка, а самые берега вместе с горами, лесом, пристанью, караванной конторой и этими людьми, которые с каждым мгновением делаются все меньше и меньше.

Вот в последний раз взмыл кверху белой шапкой клуб дыма, и гулко прокатился по реке рокот пушечного выстрела, а барка уже огибает песчаную узкую косу, и впереди стелется бесконечный лес, встают и надвигаются горы, которые сегодня под этим серым свинцовым небом кажутся выше и угрюмее.

Каменка быстро скрылась из вида. Мимо зеленой шпалерой бежит темный ельник, шальная вешняя волна с захватывающим стоном хлещет в крутой берег, и барка несется вперед все быстрее и быстрее.

— Похаживай, молодцы! — весело покрикивает Савоська, прищуренными глазами зорко вглядываясь на быстро бегущую нам навстречу синевато-серую даль.

XI

Барка быстро плыла в зеленых берегах, вернее, берега бежали мимо нас, развертываясь причудливой цепью бесконечных гор, крутых утесов и глубоких логов. Это было глухое царство настоящей северной ели, которая лепилась по самым крутым обрывам, цеплялась корнями по уступам скал и образовала сплошные массы по дну логов, точно там стояло стройными рядами целое войско могучих зеленых великанов.

Река неслась, как бешеный зверь. В излучинах и закруглениях водяная струя с шипением и сосущим свистом свивалась в один сплошной пенившийся клуб, который с ревом лез на камни и, отброшенный ими, развивался дальше широкой клокотавшей и бурлившей лентой. В этом бешеном разгуле могучей стихийной силы ключом била суровая поэзия глухого севера, поэзия титанической борьбы с первозданными препятствиями, борьбы, не знавшей меры и границ собственным силам. Это был апофеоз стихийной работы великого труженика, для которого тесно было в этих горах и который точил и рвал целые скалы, неудержимо прокладывая широкий и вольный путь к теплому южному морю. Нужно видеть Чусовую весной, чтобы понять те поэтические грезы, предания, саги, песни и целые рели-

гнозные системы, какие вырастают около таких же рек так же естественно и законно, как этот сказочный богатырь — лес.

Только когда нашу барку подхватило струей, как перышко, и понесло вперед с неудержимой бешеной быстротой, только тогда я понял и оценил, почему бурлаки относятся к барке как к живому существу. Это нескладное суденышко, сшитое на живую нитку, действительно превратилось в одно живое целое, исторически сложившееся мужицким умом, управляемое мужицкой волей и преодолевающее на своем пути почти непреодолимые препятствия мужицкой силой, той силой, которая смело вступала в борьбу с самой бешеной стихией, чтобы победить ее.

Первое впечатление от этой живой бурлацкой массы, которая волной шевелилась на палубе, получалось самое смутное: отдельные фигуры исчезали, сливаясь в бесформенную кучу тряпья и рвани. Вы видите только, как два поносных с страшной силой распахивают воду, вздымают два пенящиеся вала и снова подымаются из воды. Только мало-помалу из этой бесформенной шевелящейся массы начинают выступать отдельные фигуры и лица, и вы наконец разбираетесь в работе этого муравейника. Вот у поносных под губой — конец поносного с кочетом — стоят плечистые ребята: это подгубщики, которые выбираются из самых сильных и опытных бурлаков. У нас все четыре подгубщика были «камешки», самый отчаянный народ и замечательно ловко работавший. Не успевала команда сорваться у Савоськи с языка, как подгубщики уже бросали поносное в воду, налегая на губу всей грудью. На такую работу «одним сердцем» можно залюбоваться. На каждой палубе по два поносных. У левого поносного подгубщиком стоит рослый бурлак Гришка; он в одной пестрядевой рубахе, пестрядевые порты щеголевато забраны под новые онучи, забинтованные крест-накрест свежими веревочками новых лаптей. Из-под кожаной фуражки, которая сидит на голове Гришки как блин, глядит узкими черными глазами корявое, изрытое оспой лицо с жидкой растительностью на подбородке. «Ошшо навались, робя!» — говорит он, всей грудью напирая на свою губу; видно, как под рубахой напруживаются железные мускулы, лицо у Гришки наливается кровью, даже синеет от напряже-

ния, но он счастлив и ворочает свое бревно как шестигодовалый медведь. Через два кочета от Гришки виднеется женская фигура в заношенном коричневом платке; тщедушная бабенка жалко цепляется костлявыми руками за свой кочет и только другим мешает работать.

— По закону, кажется, нельзя ставить на барки женщин? — спрашиваю я у сплавщика.

— По закону-то оно точно что не дозволено...— ухмыляясь, отвечает Савоська.— Да уж оно так выходит, что на каждую барку беспременно эти самые бабенки попадут... И кто их знает, как они залезут. Отваливает барка, нарочно поглядишь — все мужики стоят, а как отвалила — бабы и объявятся, вроде как тараканы из щелей.

— А плата им какая?

— Ну, обнаковенно, бабе бабья и цена: мужику восемь рублей, а бабе четыре.

— Что больно дешево? Другая баба, может быть, сильнее мужика...

— Всякие и бабы бывают, только по нашему делу они несподручны. Теперь взять, омелела барка — ну, мужики с чегенями в воду, а бабу, куды ты ее повернешь, коли она этой воды, как кошка, боится до смерти.

— А много наберется на караване баб?

— Да штук двести, поди, наберется... Вон у Гришкинова поносного третья с краю робит бабенка — это его жена. Как же... Как напьется — сейчас колотить ее, а все за собой по сплавам таскает. Маришкой ее звать... Гришка-то вон какой, Христос с ним, настоящий деревянный черт, за двоих ворочает,— ну, жена-то и идет на придачу.

Очевидно, присутствие женщин на караване, помимо всяких интимных соображений, имело великое «промышленное значение», потому что Семен Семеныч всех баб запишет бурлаками, а с миру и набежит ребятишкам на молочишко. Великое это дело — мир... По рублику, по двугривенному, по пятаку с рыла, а глядишь — в результате получается целый кус. Это один из величайших секретов нашей преуспевающей промышленности. Большинство женщин, которые плывут с караваном,— бездомовный, самый жалкий сброд, который река сносит вниз, как несет гнилые щепы, хлам и разный никому не нужный сор. Роль таких женщин

самая незавидная, и они попадают на барки вместе со своими любовниками или просто оттого, что некуда больше деваться. Мужние жены представляют некоторое исключение, с той разницей, что всегда щеголяют с фонарями на физиономии, редкий день не бывают биты и вообще испивают самую горькую чашу.

Под правым поносным стоял подгубщиком прожженный бурлак с карими большими глазами и черной бородкой; его звали Исачкой Бубновым. В своем рваном азяме и какой-то поповской шляпе Бубнов выглядел самым отчаянным проходимцем, каким и был в действительности. Достаточно было взглянуть на эту вечно улыбающуюся рожу, чтобы сразу разглядеть плута по призванию, с настоящей артистической жилкой. Бубнов не столько любил плоды своих замысловатых операций, сколько самый процесс хитро придуманной механики. Чистенько сделать самое пакостное дело было величайшей его слабостью. Все это прикрывалось бесконечными шутками, раскатистым смехом и самым добродушным весельем, какого никогда не испытывают самые чистые сердцем. Наш водолив Порша стонал и сокрушался все время нагрузки, а когда завидел Исачку — только всплеснул руками.

— Что, обрадовался небось? — балагурил Исачка, пробираясь под палубу с какой-то сомнительной котомкой.— Больно я о тебе соскучился.

— Да в котомке-то у тебя что... а? — кричал Порша.

— Муниция.

— То-то, муниция... Знаем мы тебя.

— Меня Савоська в подгубщики звал, я с ним завсегда плаваю. Ничего, не бойся, Порша.

Но Порша никак не мог успокоиться и несколько раз нарочно вылезал из-под палубы, чтобы взглянуть на Бубнова, причем охал, вздыхал и начинал ругаться.

Под командой Бубнова у правого поносного работал и дядя Силантий с своей артелью. Я рассмотрел добродушное лицо Митрия и еще несколько крестьянских физиономий. «Похаживай, пиканники! — покрикивал на них Бубнов.— Што брюхо-то распустили?» Мужики не умели «срывать поносного», как настоящие бурлаки, перепутывали команду и, видимо, трусили, когда около барки начинали хлестать пенистые волны. Тут же, среди сосредоточенных мужицких фигур, замешалась разбитная заводская бабенка в кумачном крас-

ном платке и с зелеными бусами на шее; она ухмылялась и скалила белые зубы каждый раз, как Бубнов отмачивал какое-нибудь новое коленце.

— Ты, умница, с кем плывешь? — спрашивал Бубнов, с убийственной любезностью поглядывая на бабенку.

— Одна... С кем мне плыть-то!

— Обнаковенно, живой человек — не полено! — объясняет Бубнов, к удовольствию остальной публики.— По весне-то и щепы парами плавают.

Бабенка сердито отплевывается и кокетливо опускает глаза. Кто-то ржет на задней палубе, где есть свой балагур в лице хохла Кравченки. Палубы начинают обмениваться взаимными остротами, пересыпая их крепкими словцами, без которых, как хлеб без соли, мужицкий разговор совсем не вяжется. Кравченко, худой сгорбленный субъект в какой-то бабьей кацавейке и рваной шляпенке, смеется задорным рассыпчатым смехом, весело щурит большие глаза и не выпускает изо рта коротенькой деревянной трубочки. Он очень доволен своим положением, потому что попал между двумя щеголихами-девками, которые плывут с косными. Это настоящие дамы каменского полусвета и держат себя очень прилично, хотя заметно довольны веселым соседом, которому уже успели отпустить несколько полновесных затрещин, когда он нечаянно попадал руками куда не следует. Одна, постарше, с красивыми голубыми глазами, держалась особенно степенно, стараясь не глядеть на своего сожителя, молодого молчаливого парня в красной рубахе, который работал за подгубщика. Кравченко фамильярно называл ее Оксей (сокращенное от Аксиньи). Другая девка, молодая и вертлявая, постоянно закрывала свое курносое лицо рукавом ситцевой кофточки и хихикала, закидывая голову назад.

— Ты, Даренка, чего зубы-то моешь? — спрашивал Кравченко, любезно толкая свою соседку локтем.— Мотри, как дьякон-то на тебя зенки выворачивает... Кабы грех какой не стрясся.

— Да ведь он женатый,— отзывается Даренка, поглядывая на бедного псаломщика, который попал на нашу барку.

Будущий дьякон конфузится и старается смотреть в другую сторону.

— Что́ что женатый... Женатому-то еще лучше, по-

тому как его девки не опасятся: женатый, мол, чего его бояться! нехай поглядит, а он и доглядит.

Псаломщик чувствовал себя, кажется, очень неловко в этой разношерстной толпе; его выделяло из общей массы все, начиная с белых рук и кончая костюмом. Вероятно, бедняга не раз раскаялся, что польстился на даровщинку, и в душе давно проклинал неунимавшегося хохла. Скоро «эти девицы» вошли во вкус и начали преследовать псаломщика взглядами и импровизированными любезностями, пока Савоська не прикрикнул на них.

— Перестаньте вы, плехи, приставать к мужику!.. Точите зубы-то об себя.

Девки обиделись и замолчали.

— Сам с плехой плывешь! — огрызнулась немного погодя Окся, поглядывая на переднюю палубу.

Савоська промолчал, сделав вид, что не слышит.

На задней палубе толклось несколько башкир. Они держались особняком, не понимая остроумной русской речи. Это были те самые, которые три дня тому назад лакомились «веселой скотинкой». Кравченко попробовал было заговорить с одним, но скоро отстал: башкиры были настолько жалки, что никакая шутка не шла с языка, глядя на их бронзовые лица.

Мало-помалу все присмотрелись друг к другу, и на барке образовалось сплоченное общество, причем все элементы заняли надлежащее место. Меня всегда удивляла необыкновенная способность русского человека к быстрому образованию такого общества; достаточно нескольких часов, чтобы люди, совершенно незнакомые, слились в одну органическую массу, причем образовалось что-то вроде безмолвного соглашения относительно достоинств и недостатков каждого. Без слов все отлично понимали сущность дела, и общественное мнение сейчас же вступило в свои права. Я особенно любовался Савоськой, которому достаточно было окинуть глазом эту пятидесятиголовую толпу, чтобы сразу определить, кто и чего стоит. Настоящего работника он чувствовал уже по тому, как тот брался за кочет поносного. Тысячи мельчайших примет, приобретенных постоянным обращением «на людях», выработали у Савоськи тот глазомер, который безошибочно определяет микроскопические особенности.

Савоськин глаз давно привесился к рабочим. Вон

на корме у правого поносного «робят» рядом кривой парень в посконной рубахе и чахоточный мастеровой с зеленым лицом; на вид вся цена им расколотый грош, а из последних сил лезут ребята, стараются. Тоже вот молодец в красной рубахе, с которым плывет Окся, хорошо робит, совсем обстоятельный мужик и держит себя серьезно. Есть еще старик да мужик с рыжей бородой — и те дружно робят. На передней палубе подгубщики хороши, потом человек пять каменских бурлаков и пиканники. Остальные бурлаки идут между прочим, на придачу. В артели все сойдет. Кравченко, конечно, ленится, но он на съемках первый в воду идет. Есть тут же два-три человека хороших работников, да водкой зашибают... Всех знает Савоська, всякого оценил и со всяким у него свое обхождение: кривого парня, рыжего мужика и кое-кого из крестьян он приветливым словом заметит, чахоточного мастерового с дьяконом не пошлет в воду, в случае ежели барка омелеет, и так далее. На передней палубе заметил Савоська низенького, худенького бурлака: это Никифор с Каменки; с ним надо осторожнее: вздорный и «сумлительный» мужик, всех может смутить в случае чего. Чистая заноза, а не мужик.

— Веселенько похаживай, голубн! — покрикивает Савоська, глядя вдаль.— Нос налево ударь.., нос-от!.. Шабаш, корма!

Я любовался этим Савоськой, который, расставив широко ноги на своей скамеечке, теперь служил олицетворением движения. Голос звучал уверенно и твердо, в каждом движении сказывалась напряженная энергия. Он слился с баркой в одно существо. Но нужно было видеть Савоську в трудных местах, где была горячая работа; голос его рос и крепчал, лицо оживлялось лихорадочной энергией, глаза горели огнем. Прежнего Савоськи точно не бывало; на скамейке стоял совсем другой человек, который всей своей фигурой, голосом и движениями производил магическое впечатление на бурлаков. В нем чувствовалась именно та сила, которая так заразительно действует на массы.

— У нас Савостьян Максимыч — орелко, одно слово! — переговаривались между собой бурлаки.— Сказал слово, как отрубил... Уж супротив него никакому сплавщику не сделать — верно!.. У него глаз востро́й.

Осип Иваныч скоро обогнал нас на косной с шестью

лихими гребцами — косными. Лодка летела стрелой.

— Куда это он плывет? — спрашивал я Поршу.

— Да так, по баркам... На всякий случай, мало ли чего бывает с караваном.

Порша и Савоська все время особенно наблюдали переднюю барку, которая бежала перед нами. Там сплавщиком стоял оборванец Пашка. Лодка с косными пристала к этой барке.

— Что поглядываешь часто на переднюю барку? — спрашивал я Савоську.— Разве Пашка плохо плавает?

— Нет, плавает ничего, а вот кабы ему в голову не попало... Того гляди убьет!

За нами плыла барка старика Лупана. Это был опытный сплавщик, который плавал не хуже Савоськи. Интересно было наблюдать, как проходили наши три барки в опасных боевых местах, причем недостатки и достоинства всех сплавщиков выступали с очевидной ясностью даже для непосвященного человека: Пашка брал смелостью, и бурлаки только покачивали головами, когда он щукой проходил под самыми камнями; Лупан работал осторожно и не жалел бурлаков: в нем недоставало того творческого духа, каким отличался Савоська.

Здесь необходимо сделать несколько замечаний относительно движения барки по реке.

Различают три рода движения барки: первое, когда барка идет тише воды, подставляя действию водяной струи один бок,— это называется «бежать нос на отрыск»; второе, когда барка идет наравне с водой,— это «бежать щукой», и третье, когда барка идет быстрее воды, зарезывает носом,— это «бежать в зарез». Эти три комбинации скорости движения воды и скорости движения барки служат единственным средством для управления баркой. Работа потесей во всяком случае ничтожна для борьбы с такой неизмеримо громадной силой, как напор воды в Чусовой; они служат только средством для управления движением барки. Известно, что вода в реке, как кровь в наших артериях, движется не с одинаковой быстротой. Если возьмем поперечный разрез реки, получится такая картина: самое сильное движение занимает середину реки, что на поверхности обозначается рубцом водяной струи; около берегов и на дне вода вследствие трения движется значительно медленнее. Все это можно отчетливо проследить,

если сделать внимательное наблюдение над движением по реке простых щеп или пены. Возьмем самый простой пример, именно — движение барки в полосе одинаковой скорости. Для того чтобы сделать движение направо, сначала потесями поворачивают нос направо, потом выравнивают корму, затем опять нос направо, и опять корма выравнивается, пока барка не перемещается в надлежащем направлении. Форма движения получается самая неуклюжая, как у человека, у которого одна половина тела разбита параличом. При движении барки в полосах воды разной скорости пользуются той силой инерции, какую барка получает от своего предыдущего движения по реке. Для того чтобы перевалить с одного берега на другой, барку носом прижимают к берегу и постепенно отводят корму. Струя воды напирает на борт барки и отбивает нос от берега. Барка идет теперь тише воды, делая «нос на отрыск». Потеси помогают такому боковому движению, подставляя все тот же борт напору струи. Когда барка из тихой полосы попала на струю, она сначала идет вровень с водой, а потом начинает обгонять ее, что можно всегда заметить по движению пены и сора, который несет с собой рубец струи. Барку выравнивают потесями и, когда она пошла «в зарез», ставят нос к тому берегу, куда нужно сделать привал.

Когда и как пользоваться этими тремя движениями — зависит от множества условий: от свойств течения реки — куда бьет струя, как стоит боец, какое делает река закругление или поворот, от ранее приобретенной баркой скорости движения и от тех условий движения реки, которые последуют дальше; наконец от количества и качества той живой рабочей силы, какой располагает сплавщик в данную минуту, от характера самой барки и, главное, от характера самого сплавщика. От сплавщика зависит, каким движением барки воспользоваться в том или другом случае, в его руках тысячи условий, которые он может комбинировать по-своему. Определенных правил здесь не может быть, потому что и река, и барка, и живая рабочая сила меняются для каждого сплава. Ясное дело, что, решая задачу, как наивыгоднейшим образом воспользоваться данными, сплавщик является не ремесленником, а своего рода художником, который должен обладать известного рода творчеством. Мы можем указать несколько примеров применения трех родов движения барки, хотя

они совсем не обязательны для сплавщиков и сплошь и рядом не применяются на практике. Движение «в зарез» употребляется чаще всего на главных закруглениях реки, где представляется возможность постепенного бокового перемещения. Барка в этом случае расходует ту силу, какую приобрела от своего предшествовавшего движения скорее воды. На крутых поворотах и под бойцами барки обыкновенно проходят «щукой». «Нос на отрыск» применяется тогда, когда барка должна идти носом близко к берегу, как это бывает около мысов. В таких случаях, если барка не поставлена «нос на отрыск», она, задев днищем за берег, принуждена бывает «отуриться», то есть идти вперед кормой.

Савоська был именно такой творческой головой, какая создается только полной опасностей жизнью. С широким воображением, с чутким, отзывчивым умом, с поэтической складкой души, он неотразимо владел симпатиями разношерстной толпы.

— Где ты всему выучился? — спрашивал я его.

— Учеником сперва плавал, еще с отцом с покойником. С десяти лет, почитай, на караванах хожу. А потом уж сам стал сплавщиком. Сперва-то нам, выученикам, дают барку двоим и товар, который не боится воды: чугун, сало, хромистый железняк, а потом железо, медь, хлеб.

— Сколько же вы получаете за сплав?

— Смотря по грузу: которые с чугуном плывут, тем тридцать пять — сорок рублей платят, а которые с медью — пятьдесят — шестьдесят рублей за сплав. Ежели благополучно привалит караван в Пермь — награды другой раз дают рублей десять.

Такое вознаграждение работы сплавщика просто нищенское, если принять во внимание, как оплачивается всякий другой профессиональный труд, и в особенности то, что самый лучший сплавщик в течение года один раз сплывет весной да другой, может быть, летом, то есть заработает в год рублей полтораста.

XII

Самая гористая часть Чусовой находится между пристанями Демидовой Уткой и Кыном. Мы теперь плыли именно в этой живописной полосе, где по сторо-

нам вставали одна горная картина за другой. Чусовая в межень, то есть летом, представляет собой в горной своей части ряд тихих плёс, где вода стоит как зеркало; эти плёсы соединяются между собой шумливыми переборами. На некоторых переборах вода стоит всего на четырех вершках, а теперь она поднялась на три аршина и неслась вперед сплошным пенистым валом, который покрыл все плёсы и переборы. Самые опасные переборы, вроде Кашкинского, сделались еще страшнее в полую воду, потому что здесь течение реки сдавлено утесистыми берегами.

Главную красоту чусовских берегов составляют скалы, которые с небольшими промежутками тянутся сплошным утесистым гребнем. Некоторые из них совершенно отвесно подымаются вверх сажен на шестьдесят, точно колоссальные стены какого-то гигантского средневекового города; иногда такая стена тянется по берегу на несколько верст. Представьте же себе размеры той страшной силы, которая прорыла такие коридоры в самом сердце гор! Все эти сланцы и известняки теперь представляют сплошные отвесные громады буро-грязного цвета с ржавыми полосами и красноватыми пятнами. В некоторых местах горная порода выветрилась под влиянием атмосферических деятелей, превратившись в губчатую массу, в других она осыпается и отстает, как старая штукатурка. На некоторых скалах вполне ясно обрисовано расположение отдельных слоев; иногда эти слои идут в замечательном порядке, точно это работа не стихийной силы, а разумного существа, нечто вроде циклопической гигантской кладки. Разорванный верхний край этих скал довершает иллюзию. Пронеслись тысячи лет над этой постройкой, чтобы разрушить карнизы, арки и башни. Услужливое воображение дорисовывает действительность. Вот остатки крепких ворот, вот основание бойницы, вот заваленные мусором базы колонн... Ведь это те самые Рифейские горы, куда Александр Македонский на веки веков заточил провинившихся гномов.

Под такими скалами река катится черной волной с подавленным рокотом, жадно облизывая все выступы и углубления, где летом топорщится зеленая травка и гнездятся молоденькие ели и пихты. Все, что успевает вырасти здесь за лето, река смывает и безжалостно уносит с собой, точно слизывая широким холодным язы-

ком всякие следы живой растительности, осмеливающейся переступить роковую границу, за которой кипит страшная борьба воды с камнем. Барка под такими скалами плывет в густой тени: свет падает сверху рассеивающейся полосой. Сыростью и холодом веет от этих каменных стен, на душе становится жутко, и хочется еще раз взглянуть на яркий солнечный свет, на широкое приволье горной панорамы, на синее небо, под которым дышится так легко и свободно. Малейший звук здесь отдается чутким эхом. Слышно, как каплет вода с поднятых поносных, а когда они начинают работать, разгребая воду,— по реке катится оглушающая волна звуков. Команда сплавщика повторяется эхом, несколько раз перекатываясь с берега на берег. Даже неистовая река стихает под этими скалами и проходит мимо них в почтительном молчании.

Самые высокие и массивные скалы — еще не самые опасные. Большинство настоящих «бойцов» стоит совершенно отдельными утесами, точно зубы гигантской челюсти. Опасность создается направлением водяной струи, которая бьет прямо в скалу, что обыкновенно происходит на самых крутых поворотах реки. Обыкновенно боец стоит в углу такого поворота и точно ждет добычи, которую ему бросит река. Душой овладевает неудержимый страх, когда барка сделает судорожное движение и птицей полетит прямо на скалу... На барке мертвая тишина, бурлаки прильнули к поносным, боец точно бежит навстречу, еще один момент — и наше суденышко разлетится вдребезги. Савоська меряет глазами быстро уменьшающееся расстояние между бойцом и баркой и, когда остается всего несколько сажен, отдает команду как-то всей грудью. Бурлаки испуганно шарахнутся по палубе, и поносные, эти громадные бревна, даже изогнутся под напором человеческой силы. Нужно видеть, как работали Бубнов, Гришка и другие бурлаки: это была артистическая работа, достойная кисти художника. Но вот барка быстро повернула нос от бойца и вежливо проходит мимо него одним бортом; опасность так же быстро минует, как приходит, и не хочется верить, что кругом опять зеленые берега и барка плывет в совершенной безопасности.

— С коня долой! — командует Савоська.

Перед каждым бойцом, как при отвале и привале, а также и после прохода под бойцом, бурлаки усердно

молятся. Такая молитва еще увеличивает торжественность критического момента, но она является самым естественным проявлением того напряженного состояния духа, который переживает невольно каждый. Хорошо делается на душе, когда смотришь на эту картину молящегося народа; и молитва, и труд, и недавняя опасность — все сливается в один стройный аккорд. Савоська на своей скамейке походит на капельмейстера. Не желая утрировать аналогию, мы все-таки сравним бурлаков с отдельными музыкальными нотами, из которых здесь слагается живая мелодия бесконечной борьбы человека с слепыми силами мертвой природы.

После скал и утесов главную красоту чусовских берегов составляет лес. Седые мохнатые ели с побуревшими вершинами придают горам суровое величие. Строгая красота готических линий здесь сливается с темной трaурной зеленью, точно вся природа превращается в громадный храм, сводом которому служит северное голубое небо. Особенно красивы молоденькие пихты, которые смело карабкаются по страшным кручам; их стройные силуэты кажутся вылепленными на темном фоне скал, а вершины рвутся в небо готическими прорезными стрелками. Из таких пихт образуются целые шпалеры и бордюры. Мертвый камень причудливо драпируется густой зеленью, точно его убрала рука великого художника. Малейший штрих здесь блещет неувядаемой красотой: так в состоянии творить только одна природа, которая из линий и красок создает смелые комбинации и неожиданные эффекты. Человеку только остается без конца черпать из этого неиссякаемого, всегда подвижного и вечно нового источника. Особенно хороши темные сибирские кедры, которые стоят там и сям на берегу, точно бояре в дорогих зеленых бархатных шубах. Как настоящие кровные аристократы, они держатся особняком и как бы нарочно сторонятся от простых елей и пихт, которые отличаются замечательной неприхотливостью и растут где попало и как попало, только было бы за что уцепиться корнями,— настоящее лесное мужичье.

По мыскам, заливным лугам и той полосе, которая отделяет настоящий лес от линии воды, ютятся всевозможные разночинцы лесного царства: тут качается и гибкая рябина — эта северная яблоня, и душистая че-

ремуха, и распустившаяся верба, и тальник, и кусты вереска, жимолости и смородины, и колючий шиповник с волчьей ягодой. Здесь же отдельными пролесками и островками стоят далекие пришлые люди — горькая осина с своим металлически-серым стволом, бесконечно родная каждому русскому сердцу кудрявая береза, изредка липа с своей бледной, мягкой зеленью. Но теперь все эти пришлые люди и разночинцы стоят голешеньки и жалко топорщатся своими набухшими ветвями: тяжело им на чужой, дальней стороне, где зима стоит восемь месяцев. Кое-где попадаются вырубленные полосы, где рядами стояли свежие пни. Со стороны тяжело смотреть на этот результат вторжения человеческой деятельности в мирную жизнь растительного царства. Свежие поруби удивительно похожи на громадное кладбище, где за трудовым недосугом некогда было поставить кресты над могилами.

— Это все на барочки наши лес пошел,— объяснял Савоська.— Множество этого лесу изводят по пристаням... Так валом и валят!

Вся Чусовая, собственно говоря, представляет собой сплошную зеленую пустыню, где человеческое жилье является только приятным исключением. Несколько заводов, до десятка больших пристаней, несколько красивых сел — и все тут. Это на шестьсот верст протяжения. Да и селитьба какая-то совершенно особенная: высыплет на низкий мысок десятка два бревенчатых изб, промелькнет полоса огороженных покосов, и опять лес и лес без конца-краю. Некоторые деревушки совсем спрятались в лесу, точно гнезда больших грибов; есть починки в два-три дома. Здесь воочию можно проследить, как и где селится русский человек, когда ему есть из чего выбрать.

Из встречавшихся по пути селений больше других были пристани Межевая Утка и Кашка. Первая раскинулась на крутом правом берегу Чусовой красивым рядом бревенчатых изб, а пониже видна была гавань с караванной конторой и магазинами, как на Каменке. Два-три дома в два этажа с мезонинами и зелеными крышами выделялись из общей массы мужицких построек; очевидно, это были купеческие хоромины.

— Скоро шабаш, видно, Утке-то,— говорил Савоська, поглядывая на пристань.

— А что?

— А вот железную дорогу наладят, так на Утке, пожалуй, и делать нечего. Теперь барок полсотни отправляют, а тогда, может, и пяти не наберут...

— По железной дороге дороже будет отправлять металлы, чем по Чусовой.

— Дороже-то оно дороже, да, видно, уж так придется, барин. Лесу не прохватывает на Утке барки строить — вот оно что! И теперь подымают снизу барки на Утку, а чего это стоит! Больно ноне леса-то по Чусовой пообились около пристаней. Ведь кажинный сплав, считай, барок пятьсот, а на барку идет триста дерев.

— Полтораста тысяч бревен!

— Так... Страсть вымолвить. Да еще лес-то какой идет на барку — самый кондовый, первый сорт! Ну, теперь и скучают по пристаням-то об лесе. Больно скучают, особливо на Утке. Да и по другим пристаням начинают сумлеваться насчет лесу.

Глядя на берег Чусовой, кажется, что здесь лесные богатства неистощимы, но это так кажется. В действительности лесной вопрос для Урала является в настоящую минуту самым больным местом: леса везде истреблены самым хищническим образом, а между тем запрос на них, с развитием горнозаводского дела и промышленности, все возрастает. Насколько похозяйничали заводовладельцы и промышленники над чусовскими лесами, можно проследить по течению этой реки шаг за шагом. Владельческие участки накануне полного обезлесения, какое уже постигло некоторые заводские дачи на Урале, как, например, дачу Невьянских заводов. Как бы в противовес этой картине запустения являются приятными исключениями казенные участки, но на Чусовой они представляют уже только оазисы среди захватывающего их рокового безлесного кольца. Такова, например, казенная уткинская лесная дача, а затем все пространство, начиная от деревушки Иоквы, верст семь ниже пристани Кашки, до другой деревушки Чизмы. Здесь, на расстоянии ста верст, правый берег представляет казенную собственность, и на нем леса сохранились почти неприкосновенными. Вообще эта часть Чусовой, между Иоквой и Чизмой, самая гористая и вместе самая лесистая; если между этими точками провести прямую линию и соединить ее с казенным заводом Кушвой, получится громадный треугольник, почти нетронутый нашей роковой цивилизацией.

В Среднем Урале этот угол является каким-то исключением и представляет беспросветную лесную глушь. Вероятно, в недалеком будущем и этот обойденный потоком нашей промышленности угол разделит участь капитальных владельческих земель, но пока он представляет совсем девственную, нетронутую территорию. Его отлично защищают горы, непроходимые леса, топи.

Пристань Кашка рассыпала свои домики на левом берегу Чусовой, на низкой отлогости, которую далеко заливает вешняя вода. Вид на пристань чистенький и опрятный. Напротив селения правый берег Чусовой поднимается крутым каменистым гребнем, течение суживается, образуя очень опасный Кашкинский перебор. Здесь вода шумит с страшной силой и барки летят мимо пристани, как птицы. Падение реки здесь настолько сильно, что заметно простым глазом: река катится прямо под гору. Таких мест в гористой части Чусовой немало, и река в них играет с особенной яростью.

— На что в межень — и то по Кашкинскому перебору, пожалуй, не вдруг в лодке проедешь,— объяснял Савоська.— Того гляди выворотит вверх дном... Сердитое место.

После Кашки вплоть до Кыновской пристани, на протяжении шестидесяти верст, не встречается ни одного большого селения, а маленькие деревнюшки, вроде Иоквы, Пермяковой и Деминевой, издали представляются кучкой домиков, которые разбрелись по берегу без всякого плана и порядка. Вид Пермяковой отличается, пожалуй, довольно оригинальной красотой, хотя и поражает непривычного человека своей дикостью, как вообще вся Чусовая. Всего какой-нибудь десяток изб точно сейчас выползли на левый низкий берег — и все тут. Кругом лес; напротив, через реку, крутой лесистый берег. Пермякова замечательна тем, что представляет собой типичное разбойничье гнездо. По рассказам, лет двести тому назад здесь поселился разбойник Пермяков, который грабил проходившие мимо суда,— от него и произошло настоящее население Пермяковой. Конечно, теперь о разбоях на Чусовой не может быть и речи, но Пермякова между бурлаками пользуется плохой репутацией.

— Что так? — спрашивал я Савоську.

— Да так... Когда идешь со сплаву домой, засветло стараешься пройти эту самую Пермякову.

— Разве здесь грабят бурлаков?

— Нет, не слышно... А так, пронес господь — и слава богу. Одним словом, не баское место... Старики-то сказывали, что сам-то Пермяков, старик-от, промышлял насчет бурлаков, которые со сплаву шли. Выйдет этак с винтовкой на тропу, по которой бредут бурлаки, и караулит: который отстал от артели, он его и залобует[1]. Все же лопотина какая ни на есть на бурлаке, деньги, может, у другого, оно, глядишь, и покорыстуется. А промысел — дома. Белку еще ищи там по лесу или оленя, а бурлачки сами идут под пулю. Может, это и неправда,— прибавил Савоська,— мало ли зря болтают про допрежние времена...

Немного пониже деревни Пермяковой мы в первый раз увидели убитую барку. Это была громадная коломенка, нагруженная кулями с пшеницей. Правым разбитым плечом она глубоко легла в воду, конь и передняя палуба были снесены водой; из-под вывороченных досок выглядывали мочальные кули. Поносные были сорваны. Снастью она была прикреплена к берегу,— очевидно, это на скору руку устроили косные, бурлаков не было видно на берегу.

— Где же рабочие? — спрашивал я.

— Ушли, значит. Чего им теперь делать у убившей барки. Водолив должон быть во всяком случае у барки... Да вон и он. Надо полагать, за хлебом ходил. Теперь наладит себе на бережку шалашик и будет дожидать купца... Купеческая посудина-то, с верхних пристаней.

Водолив шел по берегу и неприветливо смотрел в нашу сторону.

— Чьих вы будете? — крикнул Порша, выставляя голову из люка.

Водолив что-то крикнул, но его ответ был заглушен работой поносных. Через пять минут разбитая барка скрылась из вида.

— С людьми несчастиев, значит, не было на убившей барке,— проговорил Савоська в раздумье.

— Отчего ты так думаешь?

— Кабы кого порешило, так лежал бы на бережку тут же, а то, значит, все целы остались. Барка-то с пшеницей была, она как ударилась в боец — не ко дну сейчас, а поманеньку и отползла от бойца-то. Это не то

[1] Залобует — убьет. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

что вот барка с чугуном: та бы под бойцом сейчас же захлебнулась, а эта хошь на одном боку, да плывет.

Бурлаки долго галдели об «убившей» барке, обсуждая обстоятельства последовавшего крушения с приемами завзятых специалистов. Бубнов и Кравченко ругали сплавщика, более обстоятельные мужики вступались за него, потому что на грех мастеров нет, и т. д. Новички сплава внимательно вслушивались в непонятную для них терминологию споривших.

Савоська не обращал никакого внимания на эту болтовню и время от времени тревожно поглядывал кверху, на серое небо, которое будто ниже и ниже опускалось над рекой.

— Мотросит...— проговорил он, выставляя руку под накрапывавший мелкий дождь.

— А что?

— Худо будет...

Я понял этот лаконический ответ. Как всякая другая горная река, Чусовая от одного хорошего дождя может подняться на несколько аршин, потому что все бесчисленные ручейки и речонки, которые бегут в нее, раздуваются в бешеные потоки, принося массу шальной воды.

— А где будем хвататься? — спрашивал я.

— Под Кыном надо будет хватку сделать. Эх, задарма сколько время потеряли даве, цельное утро, а теперь, того гляди, паводок от дождя захватит в камнях! Беда, барин!.. Кабы вы даве с Егором-то Фомичом покороче ели, выбежали бы из гор, пожалуй, и под Молоковым успели бы пробежать загодя... То-то, поди, наш Осип Иваныч теперь горячку порет,— с улыбкой прибавил Савоська, делая рукой кормовым знак «поддоржать корму».— Поди, рвет и мечет, сердяга.

В шести верстах от деревни Пермяковой стоит на правом берегу боец Писаный. Свое название он получил от надписи, которая сделана на нем в двадцати саженях от уровня реки. Надпись выветрилась, так что ничего нельзя разобрать; с барки можно рассмотреть только высеченный в скале крест. Здесь в 1724 году родился Никита Акинфиевич Демидов, о чем и гласила надпись. Самая скала представляет отвесный утес, поросший лесом. На противоположном низком берегу стоит массивный крест, высеченный из цельного камня. Двумя верстами ниже Писаного стоит другой боец,

Столбы. Это почти правильной круглой формы известковые колонны в двадцать сажен высоты; около них поднимается несколько меньших колонн. Можно подумать, что это остатки какой-то гигантской колоннады, заваленной мусором; только благодаря героическим усилиям Чусовой выглянул на свет божий один угол этой скрытой в земле постройки.

Глядя на эти толщи настланных друг на друга известняков, сланцев и песчаников, исчерченных белыми прожилками доломита, так и кажется, что пред вашими глазами развертывается лист за листом история тех тысячелетий и миллионов лет, которые бесконечной грядой пронеслись над Уралом. Чусовая в летописях геологии является самой живой страницей, где ученый шаг за шагом может проследить полную неустанного труда и всяческих треволнений автобиографию нашей старушки земли. Она была настолько предупредительна, что переложила все листы своей рукописи соответствующими происхождению каждого окаменелыми представителями тогдашней флоры и фауны. Но ученые с русскими фамилиями до сих пор как-то обходят своим благосклонным вниманием Чусовую, и если мы что-нибудь знаем о ней, то исключительно благодаря кропотливым исследованиям любознательных иноземцев — Р. И. Мурчисона, Э. Эйхвальда и так далее. Скажем несколько слов о Чусовой именно с геологической точки зрения.

Представьте себе на месте нынешнего Урала первобытный океан, тот океан, который не занесен ни в какие учебники географии. Земля недавно родилась — недавно, конечно, только сравнительно, то есть накиньте несколько миллионов лет,— первобытный океан омывает ее, как повивальная бабка моет только что появившегося на свет ребенка, а затем этот же океан в течение неисчислимых периодов времени совершает свою стихийную работу, разрушая в одном месте и созидая в другом. Из этих разрушенных частиц, которые носятся в морской воде, медленно осаждаются все те известняки, песчаники и доломиты, которыми мы любуемся уже в готовом виде. Все это идет очень хорошо, в самом строгом порядке, но потом первобытный океан исчезает, образованные им осадочные пласты начинают подниматься и дают широкую трещину от нашего Ледовитого океана вплоть до плоской возвышенности,

именуемой в географиях Усть-Уртом. Вот в эту-то трещину и выливаются наружу плутонические породы, производят страшный беспорядок в существовавшем порядке и наконец застывают в виде порфировых и гранитных скал, образуя основную горную ось с побочными разветвлениями. С человеческой точки зрения, вся эта история поражает своими размерами во времени и пространстве, но в жизни планеты она, вероятно, прошла так же незаметно, как складывается на нашем лице новая морщина, а на ней садится несколько прыщей. Таким образом, на Урале мы имеем, с одной стороны, плутонические породы, с другой — нептунические; первые резче выражены на восточном, сибирском склоне Урала, вторые преимущественно на западном, а между ними, в толще осадочных нептунических пород, пробила себе дорогу Чусовая, делая тысячи интересных обнажений, разрезов, своих собственных отложений и так далее. На пластах силурийской системы вы видите постепенные наслоения горноизвестковой формации, где чередуются все эти песчаники, сланцеватые глины, известняки, пропластки доломитов. Глаз любуется этими причудливыми изгибами отдельных пластов, в трещинах и изломах которых вкраплены сростки известкового кремния, гипс, слюда, гнезда металлических руд. Все это засыпано уже выветрившимися, разрушенными породами, но опытный глаз чувствует себя здесь как в гигантской лаборатории, разрушенной в момент производившихся опытов и продолжающей работать уже на обломках и развалинах.

По Чусовой барка плывет среди великолепной геологической панорамы, распадающейся, как мозаика, на тысячи отдельных геологических картин. Эта превращенная в камень история переживает новую стихийную метаморфозу, где к силурийской и девонской формациям присоединяются новые осадочные образования, как результаты работы могучей горной реки и атмосферических деятелей. Едва ли где-нибудь в другом месте геолог найдет столь необозримое поле для исследований, как на Чусовой, которая с чисто геологическим терпением ждет русских ученых и русской науки, чтобы развернуть пред их глазами свои сокровища.

От Урала как геологической морщины мы перейдем теперь к Уралу как нашему историческому порогу в Азию, потому что наша барка уже подплывает к устью

р. Серебрянки, по которой в 1581 году Ермак перевалил в Сибирь.

Устье Серебрянки по наружному виду ничем особенным не отличается. Правый высокий берег Чусовой точно раздался широкими воротами, в которые выбегает бойкая горная речонка,— и только. Мы уже говорили выше о значении похода Ермака как завоевателя Сибири, и теперь остается только повторить, что этому походу историками и исследователями придается совсем не та окраска, какой он заслуживает. Истинными завоевателями и колонизаторами Сибирской украйны были голутвенные и обнищалые русские людишки, а Ермак шел уже по протоdo proторенной новгородскими ушкуйниками дорожке и имеет историческое значение постольку, поскольку служил интересам исконной русской тяги к украйнам, этим предохранительным клапанам нашей исторической неурядицы. Народ по достоинству оценил Ермака и поет о нем в своих былинах как о казацком атамане, составлявшем только голову живого казацкого тела. Казацкий атаман никогда не мог быть ни Колумбом, ни Магелланом, ни Куком; атаман был только выборным от казацкого круга, где, как во всякой общине, все равны. Он тянул за Камень, потому что туда тянул его казацкий круг.

Не доплывая до Кына верст пятнадцать, мы издали увидели вереницу схватившихся барок. Это был наш караван. Он привалил к левому берегу, где нарочно были устроены ухваты для хватки, то есть вкопаны в землю толстые столбы, за которые удобно было крепить снасть. Широкое плёсо представляло все удобства для стоянки.

— За Кыном по-настоящему следовало бы схватиться,— объяснял Савоська.— Да видишь, под самым Кыном перебор сумлительный... Он бы и ничего, перебор-от, да, вишь, кыновляне караван грузят в реке, ну, либо на караван барку снесет, либо на перебор, только держись за грядки. Одинова там барку вверх дном воротило. Силища несосветимая у этой воды! Другой сплавщик не боится перебора, так опять прямо в кыновский караван врежется: и свою барку загубит, и кыновским достанется.

Хватка — одно из самых трудных условий благополучного сплава, особенно в большую воду. Нам схватиться за готовые барки уже не представляло особен-

ной опасности. Порша выкинул снасть на самую последнюю барку, там положили ее мертвой петлей на огниво, теперь оставалось только осторожно травить снасть — то есть, завернув ее на огниво, спускать кольцо за кольцом, чтобы несколько ослабить силу напряжения. В первый момент, когда Порша завернул канат вокруг огнива двумя петлями, он натянулся, как струна, барка вздрогнула и точно сознательно рванулась вперед. В этот критический момент, когда натянувшийся канат мог порваться, как гнилая нитка, Порша осторожно начал его спускать на огниве. От сильного трения огниво задымилось и, вероятно, загорелось бы, но Исачка вовремя облил его водой из ведерка.

— Крепи снасть намертво! — скомандовал Савоська.— С коня долой...

Все сняли шапки и помолились на восток.

— Спасибо, братцы! — коротко поблагодарил Савоська бурлаков.

— Тебе спасибо, Савостьян Максимыч... С веселенькой хваткой!

XIII

Весь берег, около которого стояло десятка два барок, был усыпан народом. Везде горели огни, из лесу доносились удары топора. Бурлаки на нашей барке успели промокнуть порядком и торопились на берег, чтобы погреться, обсушиться и закусить горяченьким около своего огонька. Нигде огонь так не ценится, как на воде; мысль о тепле сделалась общей связующей нитью.

При выходе с барки Порша с обычными причитаньями ощупывал каждого бурлака, чтобы грешным делом нечаянно не зацепил с собой полупудовой штыки. Исачка и Кравченко были осмотрены им особенно тщательно, начиная с котомки и кончая сапогами.

— А я у тебя, Порша, беспременно сдую штыку,— шутил Исачка во время осмотра. — Верно тебе говорю...

— Без тебя знаю, что сдуешь,— стонал Порша.— Варнаки, так варнаки и есть... Одна у вас вера-то у всех, охаверники!..

Когда очередь осмотра дошла до баб, шуткам и забористым остротам не было конца. «У нас Порша вроде

как куриц теперь щупает»,— острил кто-то в толпе. Но Порша с замечательной последовательностью и философским спокойствием довершал начатый подвиг и пропустил без осмотра только одну Маришку.

— Ну, ты и так еле ноги волочишь,— проговорил Порша, махнув рукой.— Ступай себе с богом...

Появился Осип Иваныч. Он совсем охрип от трехдневного крика и теперь был под хмельком.

— Где это вы все время были? — спрашивал я его.

— Как где? С караваном плыл... Ведь на всех барках нужно было побывать, везде поспеть... Да!.. У одной барки под Кашкой кормовое поносное сорвало, у другой порубень[1] ободрало. Ну что, Савоська, благополучно?

— Все благополучно, Осип Иваныч... Только вот кабы дождичек не подгадил дела.

— Ох, не говори... А все из-за этого Егорки, чтобы ему ни дна ни покрышки!..

— Я то же говорю! Пожалуй, настигнет нас паводок в камнях, не успеем выбежать...

— Ну, бог милостив... Вы с чем пьете чай: с ромом нли коньяком? — обратился ко мне Осип Иваныч.

— Все равно, только поскорее чего-нибудь горячненького...

— Ха-ха... Вндно, кто на море не бывал, тот досыта богу не маливался. Ну, настоящая страсть еще впереди: это все были только цветочки, а уж там ягодки пойдут. Порша! скомандуй насчет чаю н всякое прочее.

Мы поместились в каюте, где для двонх было очень удобно, то есть можно было растянуться на лавке во весь рост и заснуть мертвым сном, как спится только на воде. Огня на барке разводнть не дозволяется, и потому Порша отрядил одного бурлака с медным чайником на берег, где ярко горели огни. Сальная свечка, вставленная в бутылку из-под коньяка, весело осветила нашу каюту, где все до последнего гвоздя было с иголочки и вместе сшито на живую нитку. Савоська прн помощи досок устроил между скамейкамн нмпровизированный стол, на котором появилась разная дорожная провизия: яйца, колбаса, балык, сыр и так далее.

— Савоська! Выпьешь для первого привала? —

[1] Порубень — борт. (*Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.*)

спрашивал Осип Иваныч, наливая серебряный стаканчик.

— Нет, ослобоните, Осип Иваныч... Не могу теперь.

— В Перми наводить будешь? Ха-ха!

— Уж как доведется,— скромно отвечал Савоська.

Скоро Порша поставил на стол медный чайник с кипяченой водой, и мы принялись пить чай из чайных чашек без блюдечек. Осип Иваныч усердно подливал себе то рому, то коньяку, приговаривая:

— Я, батенька, на переменных гоню: скорее доедем...

Савоська поместился с нами и пил чашку за чашкой в каком-то оторопелом состоянии, как вообще мужики пьют чай «с господами». Осип Иваныч был красен до ворота рубахи и постоянно вытирал вспотевшее лицо бумажным желтым платком.

— Самая собачья наша должность,— хрипел он, дымя папироской.— Хуже каторги... А привычка — что поделаете! Ждешь не дождешься этой самой каторги. Так ведь, Савоська?

— Точно так, Осип Иваныч...

— То-то!.. Ты ведь у меня золото, а не сплавщик. Ну, кто у тебя на барке плывет? — уже шутливо спрашивал он.

— Да так, всякого народу довольно...

— И Даренка плывет? Знаю, знаю... Сорока на хвосте принесла. Нет, я тебе скажу, у Пашки на барке плывет одна девчонка... И черт его знает, где он такую отыскал!

Савоська улыбнулся какой-то неопределенной улыбкой и ничего не ответил.

— Вы уж меня извините, голубчик,— обратился ко мне Осип Иваныч,— живой о живом и думает... Ей-богу, отличная девчонка!

— Хорошая девка на сплав не пойдет, Осип Иваныч,— почтительно заметил Савоська, опрокидывая чашку вверх донышком.

— А нам на кой ее черт, хорошую-то? На сплав не в монастырь идут... Ха-ха!.. Нет, право, преаппетитная штучка!

Пришли сплавщики с других барок, и я отправился на берег. Везде слышался говор, смех; где-то пиликала разбитая гармоника. Река глухо шумела; в лесу было темно, как в могиле, только время от времени вырыва-

лись из темноты красные языки горевших костров. Иногда такой костер вспыхивал высоким столбом, освещая на мгновение темные человеческие фигуры, прорезные силуэты нескольких елей, и опять все тонуло в окружающей темноте.

Я долго бродил между огней. Где варилась каша в чугунных котелках, где уже спали вповалку, накрывшись мокрым тряпьем, где балагурили на сон грядущий. Исачка и Кравченко, конечно, были вместе и упражнялись около огонька в орлянку; какой-то отставной солдат, свернувшись клубочком на сырой земле, выкрикивал сиповатым баском: «Орел! Орешка!..» Можно было подумать, что горло у службы заросло такой же шершавой щетиной, как обросло все лицо до самых глаз. Двое фабричных и один косной апатично следили за игрой, потягивая крючки из серой бумаги.

— Ошарашим по стаканчику? — говорил Исачка, улыбаясь глазами.

В другом месте, под защитой густой ели, расположилась другая компания: на первом плане лежал, вытянувшись во весь рост, Гришка; он спал богатырским сном. В ногах у него, как собачонка, сидела Маришка и апатично сосала беззубым ртом какую-то корочку. Тут же сидел на корточках чахоточный мастеровой, наклонившись к огню впалой грудью; очевидно, беднягу била жестокая лихорадка, и он напрасно протягивал над самым огнем свои высохшие руки с скрюченными пальцами. Псаломщик, скорчившись, сидел на обрубке дерева и курил папиросу.

— Садитесь к огоньку,— предложил мне фабричный.

Я подсел к будущему дьякону, который вежливо уступил мне часть своего обрубка. Наступило короткое молчание.

— Мы тут про разбойника Рассказова разговариваем,— глухо заговорил мастеровой.— Он на Чусовой разбойничал...

— А давно это было?

— Да лет полсотни тому будет. Чудесный был человек, такие слова знал, что ему все нипочем. Сколько раз его в Верхотурье возили в острог. Посадят, закуют в кандалы, а он попросит воды испить — только его и видели... Верно!.. Ему только дай воды, а уж там его не

удержишь, как сквозь землю провалится. Замки целы, стены целы, окна целы, а Рассказов уйдет, точно по воде уплывет. Сила, значит, в ней, в воде-то. Один надзиратель в остроге-то и похвастался, что не выпустит Рассказова, и не стал ему давать воды совсем, а все квас да пиво. В десятый раз, может, Рассказов-то сидел тогда... Ну, а Рассказов все-таки ушел: нарисовал на стенке угольком лодочку и ушел, ей-богу... Разные он слова знал! Ищут его теперь по лесу, окружили, деваться совсем Рассказову некуда, а он скажет слово, да всем глаза и отведет...

— Как глаза отведет?

— Да так: из глаз уйдет, все равно как потемки напустит... Тоже вот разными голосами умел говорить, сам в одном месте, а закричит в другом. Бросятся туда — а Рассказова и след простыл.

Мне не один раз приходилось слышать на Чусовой рассказы о разбойнике Рассказове с самыми разнообразными вариациями; бурлаки любят эту темную, полумифическую личность за те хитрости, какими обходил Рассказов своих врагов. Главное, Рассказов никогда не трогал своего брата мужика, а только купцов и богатых служащих. Притом он не проливал человеческой крови, что ставилось всеми рассказчиками разбойнику в особенную заслугу. У этого Рассказова на Чусовой был устроен в пещере разбойничий притон, где он хоронил награбленные сокровища. Мужицкая фантазия, как и фантазия привилегированных человеков, здесь к маленьким былям, очевидно, щедрой рукой подсыпала большие небылицы.

Свой рассказ мастеровой закончил глухим чахоточным кашлем.

— Нездоровится? — спрашивал будущий дьякон.

— Какое уж тут здоровье... Мы на катальной машине робили, у огня. В поту бьешься, как в бане. Рубаха от поту стоит коробом... Ну, прохватило где-то сквозняком, теперь и чахну: сна нет, еды нет.

— А семья у тебя есть?

— Как же... Ребятенок трое, жена. Старика тоже воспитываю... У нас на заводе рано в старики записываются, сорок лет — и старик. Мой-то старик робил на сортовой катальной, где проволоку телеграфную тянут, а тут к тридцати годам без ног наш брат. Работа вся бегом идет... В семье-то нас два работника, а

вместо работников выходит два едока. В допрежние времена всем калекам и неспособным к тяжелой работе было место: кого куда рассуют, а ноне другие порядки: извелся на работе — и ступай куды глаза глядят. Машины везде пошли, гонят народ...

— Это вроде как у нас тоже,— вставил свое слово будущий дьякон.— У нас хоть и нет машин, а тоже гонят изо всех мест. Меня из духовного училища выгнали за то, что табаку покурил... Прежде лучше было: налупят бок, а не выгонят.

— Лучше было, что говорить! — повторял мастеровой, хватаясь рукой за грудь.— Знамо, что лучше... Как уж жить будем! Тоже не от сладкого, поди, житья с нами, мужиками, у поносного обедню служишь?

Псаломщик только встряхнул гривой и посмотрел на свои медвежьи лапы.

— А я к дождю-то больно разнемогся вечор,— прибавил мастеровой, запахивая вытертый суконный халат около шеи.— Вишь как частит!.. Другие в мокре стоят — ничего, только пар от живого человека идет, а меня цыганский пот пробирает.

К огню подошла пара. Это был Савоська. Он шел, закрыв широким чекменем востроглазую заводскую бабенку, которая работала у нас на передней палубе. Увидев меня, он немного смутился, а потом проговорил:

— Вот места сухонького ищем... Зарядил, видно, наш дождичек, так и сыплется, как скрозь решето.

— Рано завтра отвалит караван?

— А кто его знает?!. Как Осип Иваныч.

Подруга Савоськи засмеялась, показывая белые зубы.

— На два вершка воды прибыло в Чусовой,— заметил Савоська, подсаживаясь к огоньку. — Ужо что утро скажет...

На барке сидел один Порша, ходивший по палубе, как часовой. Осипа Иваныча не было; он ночевал где-то на берегу. Река глухо и зловеще шумела около бортов, в ночной темноте нельзя было рассмотреть противоположного берега.

Ночь я провел самую тревожную и просыпался несколько раз. Казалось, что около барки живым клубом шипела и шевелилась масса змей. Когда я проснулся, наша барка подплывала уже к Кыновской пристани.

В окошечко каюты сквозь мутную сетку дождя едва можно было рассмотреть неясные очертания гористого берега. Кыновский завод засел в глубокой каменистой лощине на левом берегу, где Чусовая делает крутой поворот. «Кыну» по-пермяцки значит «холодный», и действительно, в Среднем Урале не много найдется таких уголков, которые могли бы соперничать с Кыном относительно дикости и угрюмого вида окрестностей. Както всем существом чувствуешь, что здесь глухой, бесприютный север, где все точно придавлено. Караван кыновской успел уже отвалить до нас; на берегу едва можно было рассмотреть ряды заводских домиков, совсем почерневших от дождя.

— На пол-аршина вода прибыла за ночь, — как-то таинственно сообщил мне Савоська, когда барка прошла Камасинский перебор.

— Опасно?

— Середка на половине... А та беда, что дождик-то не унимается. Речонки больно подпирают Чусовую с боков: так разыгрались, что на́-поди! А чем дальше плыть, тем воды больше будет.

— А где Осип Иваныч?

Савоська только махнул рукой, движением головы показав на барку Пашки, которая теперь казалась мутным пятном.

Бурлаки стояли на палубах тихо; лица вытянулись, пропитанные водой лохмотья глядели еще жальче. Богатырь Гришка стоял под своей «губой» в одной пестрядевой рубахе, которая облепила его тело мокрой тряпицей; Маришка посинела и едва волочилась за ходившим поносным. Бубнов нарядился в какую-то женскую кацавейку и, чтобы согреться, работал за десятерых. На задней палубе тоже не было веселых лиц, за исключением неугомонной востроглазой Даренки, которая, кажется, очень хорошо познакомилась с Кравченкой и задорно хихикала каждый раз, когда тот отпускал каламбуры. Большинство лиц было серьезно, с тем апатично-покорным выражением, с каким относятся к каждому неизбежному злу: если некуда деваться, так, значит, нужно робить и под весенним дождем. Желая согреть бурлаков, Савоська делал совсем ненужные удары поносными направо и налево, но подгубщики сразу видели эту политику насквозь, и работа шла вяло, через пень колоду.

— Три аршина три четверти!— крикнул Порша, меряя воду наметкой.

Савоська промолчал, а только потуже подпоясался и глубже нахлобучил на голову свою шляпу, точно приготовляясь вступить врукопашную с невидимым врагом.

Прибывавшая вода скоро дала себя почувствовать. Барка плохо слушалась поносных и неслась вперед с увеличивавшейся скоростью. На бойких местах она вздрагивала, как живая.

— Нос налево! Постарайтесь, родимые! — кричал Савоська, стараясь вглядеться в мутную даль.— Голубчики, поддоржи корму! Сильно-гораздо поддоржи!..

Порша показывался на палубе только для того, чтобы сердито плюнуть и обругать неизвестно кого. В одном месте наша барка правым бортом сильно черкнула по камню; несколько досок были сорваны, как соломинки.

— Барка убившая...— послышался шепот.

Впереди под бойцом можно было рассмотреть только темную массу, которая медленно поднималась из воды. Это и была «убившая» барка. Две косных лодки с бурлаками причаливали к берегу; в воде мелькало несколько черных точек — это были утопающие, которых стремительным теченнем неудержимо несло вниз.

— Наша каменская барка... Гордей плыл,— проговорил Савоська, всматриваясь в тонувшую барку. — Сила не взяла...

«Убившая» барка своим разбитым боком все глубже и глубже садилась в воду, чугун с грохотом сыпался в воду, поворачивая барку на ребро. Палубы и конь были сорваны и плыли отдельно по реке. Две человеческие фигуры, обезумев от страха, цеплялись по целому борту. Чтобы пройти мимо убитой барки, которая загораживала нам дорогу, нужно было употребить все наличные силы. Наступила торжественная минута.

— Ударь нос направо, молодцы!!! Сильно-гораздо ударь!!!— не своим голосом крикнул Савоська, когда наша барка понеслась прямо на убитую.

Трудно описать то ощущение, какое переживаешь каждый раз в боевых местах: это не страх, а какое-то животное чувство придавленности. Думаешь только о собственном спасении и забываешь о других. Разбитая барка промелькнула мимо нас, как тень. Я едва рас-

смотрел бледное, как полотно, женское лицо и снимавшего лапти бурлака.

— Как же они остались там?— спрашивал я Савоську, оглядываясь назад.

— Ничего, косные снимут. Нам вон тех надо переловить...

В косную, которая была при нашей барке, бросились четверо бурлаков. Исачка точно сам собой очутился на корме, и лодка быстро полетела вперед к нырявшим в воде черным точкам. На берегу собрался народ с убитой барки.

Около Кына и дальше Чусовая имеет крайне извилистое течение, делая петли и колена. На этих изгибах расположены четыре очень опасных бойца. Сначала Кирпичный, на правой стороне. Это громадная скала, точно выложенная из кирпича. Затем, на левом берегу, в недалеком расстоянии от Кирпичного, нависла над самой рекой громадная скала Печка. Свое название этот боец получил от глубокой пещеры, которая черной пастью глядит на реку у самой воды; бурлаки нашли, что эта пещера походит на «чело́» печки, и окрестили боец Печкой. Сам по себе боец Печка представляет серьезные опасности для плывущих мимо барок, но эти опасности усложняются еще тем, что сейчас за Печкой стоит другой, еще более страшный боец Высокий Камень. Если сплавщик побоится Печки и пройдет подальше от каменного выступа, каким он упирается в реку, барка неминуемо попадает на Высокий, потому что он стоит на противоположном берегу, в крутом привале, куда сносит барку речной струей. Чусовая под этими бойцами делает извилину в форме латинской буквы S; в первом изгибе этой буквы стоит Печка, во втором — Высокий Камень. Сам по себе Высокий Камень — один из самых замечательных чусовских бойцов. Достаточно представить себе скалу в пятьдесят сажен высоты, которая с небольшими перерывами тянется на протяжении целых десяти верст... У этих двух бойцов в высокую воду бьется много барок. Высокий Камень отделяет от себя еще новый боец, Мултык, который считается очень опасным. Бойцы поменьше, как Востряк в пяти верстах от Кына и Сосун в четырнадцати, в счет нейдут.

В двадцати верстах от Кына стоит казенная пристань Ослянка; с нее отправляется казенное железо,

вырабатываемое на заводах Гороблагодатского округа. Около Ослянки каким-то чудом сохранились две вогульские деревушки, Бабенки и Копчик. Обитатели этих чусовских деревушек для этнографа представляют глубокий интерес как последние представители вымирающего племени. Когда-то вогулы были настолько сильны, что могли воевать даже с царскими воеводами и Ермаком, а теперь это жалкое племя рассеяно по Уралу отдельными кустами и чахнет по местным дебрям и трущобам в вопиющей нужде. Сохранили же чусовские известняки разных Amplexus multiplex, Fenestella Veneris, Chonetes sarcinulata[1] и так далее, а от вогул останется только одно смутное воспоминание.

В тридцати четырех верстах от Кына стоит камень Ермак. Это отвесная скала в двадцать пять сажен высоты и в тридцать ширины. В десяти саженях от воды чернеет отверстие большой пещеры, как амбразура бастиона. Попасть в эту пещеру можно только сверху, спустившись по веревке. По рассказам, эта пещера разделяется на множество отдельных гротов, а по преданию, в ней зимовал со своей дружиной Ермак. Последнее совсем невероятно, потому что Ермаку не было никакого расчета проводить зиму здесь, да еще в пещере, когда до Чусовских Городков от Ермака-камня всего наберется каких-нибудь полтораста верст. В настоящее время Ермак-камень имеет интерес только в акустическом отношении; резонанс здесь получается замечательный, и скала отражает каждый звук несколько раз. Бурлаки каждый раз, проплывая мимо Ермака, непременно крикнут: «Ермак, Ермак!..» Громкое эхо повторяет слово, и бурлаки глубоко убеждены, что это отвечает сам Ермак, который вообще был порядочный колдун и волхит, то есть волхв. Даже Савоська верил в чудеса Ермака.

— Пять!..— кричал Порша, прикидывая своей наметкой. — Ох, подымает вода!..

— Придется сделать хватку,— говорил Савоська. — Вечор Осип Иваныч наказывал, ежели вода станет на пять аршин, всему каравану хвататься...

— Опасно дальше плыть?

— Опасно-то опасно, да тут пониже есть деревушка

[1] названия вымерших пород моллюсков (*лат.*).

Кумыш... Вот она где сидит, эта самая деревушка,— прибавил Савоська, указывая на свой затылок.

— А что?

— Больно работы много за Кумышом, да и место бойкое... Есть тут семь верст, так не приведи истинный Христос. Страшенные бойцы стоят!..

— Молоков?

— Он самый, барин. Да еще Горчак с Разбойником... Тут нашему брату, сплавщику, настоящее горе. Бойцы щелкают наши барочки, как бабы орехи. По мерной воде еще ничего, можно пробежать, а как за пять аршин перевалило — тут держись только за землю. Как в квашонке месит... Непременно надо до Кумыша схватиться и обождать малость, покамест вода спадет хоть на пол-аршина.

— А если придется долго ждать?

— Ничего не поделаешь. Не наш один караван будет стоять... На людях-то, бают, и смерть красна.

— Братцы, утопленник плывет... утопленник!— крикнул кто-то с передней палубы.

В воде мимо нас быстро мелькнуло мертвое тело утонувшего бурлака. Одна нога была в лапте, другая босая.

— Успел снять один-то лапоть, сердяга, а другой не успел,— заметил Савоська, оглядываясь назад, где колыхалась в волнах темная масса.— Эх, житье-житье! Дай, господи, царство небесное упокойничку! Это из-под Мултыка плывет, там была убившая барка.

Бурлаки приуныли. Картина плывшего мимо утопленника заставила задуматься всех. Особенно приуныли крестьяне. Старый Силантий несколько раз принимался откладывать широкие кресты.

— Нет, придется схватиться,— решил Савоська, поглядывая на серое небо.— Порша! Приготовь снасть!.. Вот Лупан тоже налаживается хвататься.

Бурлаки обрадовались возможности обсушиться на берегу и перехватить горяченького. Ждали лодки, на которой Бубнов отправился спасать тонувших бурлаков. Скоро она показалась из-за мыса и быстро нас догнала.

— Двоих выдернули,— объявил Бубнов, когда лодка причаливала к барке.— Одного я схватил прямо за волосья, а он еще карячится, отбивается... Осатанел, как заглонул водицы-то!

XIV

Вторая хватка для нас не была так удачна, как первая. Пашка схватился на довольно бойком перекате, но с нашей барки не успели вовремя подать ему снасть. Пришлось самим делать хватку прямо на берегу. Снасть, закрепленная за молоденькую ель, вырвала дерево с корнем, и барку потащило вдоль берега, прямо на другие барки, которые успели схватиться за небольшим мыском. Волочившаяся по берегу снасть вместе с вырванной елью служила тормозом и мешала правильно работать. Произошла страшная суматоха; каждую минуту снасть могла порваться и разом изувечить несколько человек. Бедный Порша метался по палубе с концом снасти, как петух с отрубленной головой. Нужно было во что бы то ни стало собрать снасть в лодку и устроить новую хватку по всем правилам искусства.

— Руби снасть! — скомандовал Савоська Бубнову.

Повторять приказания было не нужно. Бубнов на берегу обрубил канат в том месте, где он мертвой петлей был закреплен за вырванное дерево. Освобожденный от тормоза канат был собран в лодку, наскоро была устроена новая петля и благополучно закреплена за матерую ель. Сила движения была так велика, что огниво, несмотря на обливанье водой, загорелось огнем.

— Крепи снасть намертво! — скомандовал Савоська.

Канат в последний раз тяжело шлепнулся в воду, потом натянулся, и барка остановилась. Бежавший сзади Лупан схватился за нашу барку.

По правилам чусовского сплава каждая барка обязана принять снасть на свое огниво со всякой другой барки, даже с чужого каравана. Это нечто вроде международного речного права.

— Отчего ты не выпустил каната совсем? — спрашивал я Поршу.— Тогда косные собрали бы его в лодку и привезли в барку целым, не обрубая конца...

— А как бы я стал мокрую-то снасть на огниво наматывать? Што ты, барин, Христос с тобой! Первое — мокрая снасть стоит коробом, не наматывается правильно, а второе — она от воды скользкая сделается, свертывается с огнива... Мне вон как руки-то обожгло, погляди-ко!

Порша показал свои руки, на которых действительно красными подушками всплыли пузыри.

Было всего часов двенадцать дня. Самое время, чтоб плыть да плыть, а тут стой у берега. Делалось обидно за напрасно уходившую воду и даром потраченное время на стоянку.

— Пять аршин с вершком выше межени,— проговорил Порша, прикидывая свою наметку в воду.

А дождь продолжал идти с немецкой последовательностью, точно он невесть какое жалованье получал за свою работу. На бурлаках не было нитки сухой.

— Надо первым делом разыскать, где здесь кабак,— разрешил все недоуменья Бубнов.— Простоим долго...

— Типун тебе на язык, Исачка!

— Не от меня будете стоять, милые, а от воды. Говорю: первым делом кабак отыскать...

— Какой тебе в лесу кабак, отпетая душа?

— Должон быть беспременно... На Чусовой да водки не найти — дудки!.. Хлеба не найдешь, а водку завсегда. Тут есть пониже маненько одна деревнюшка...

— Всего двенадцать верст,— заметил Савоська,— и на твою беду как раз ни одного кабака. Народ самый непьющий живет, двоеданы[1].

— Для милого дружка семь верст не околица, Савостьян Максимыч. А с двоеданами я этой водки перепил и не знаю сколько: сначала из отдельных рюмок пьют, а потом — того, как подопьют — из одной закатывают, как и мы, грешные. Куды нас деть-то: грешны, да божьи.

— У меня не разбродиться по берегу,— говорил Савоська почти каждому бурлаку, пока Порша производил неизбежную щупку,— а то штраф... На носу это себе зарубите. Слышали?

— А как насчет харчу?

— Пока доедайте у кого что припасено, а там косные привезут всякого провианту.

— Ну, уж это тоже на воде вилами писано,— ворчал Бубнов.

В общих чертах повторилась та же самая картина,

[1] На Урале раскольников иногда называют *двоеданами.* Это название, по всей вероятности, обязано своим происхождением тому времени, когда раскольники, согласно указам Петра Великого, должны были платить *двойную подать.* Раскольников также называют и *кержаками,* как выходцев с реки Керженца. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

что и вчера: те же огни на берегу, те же кучки бурлаков около них, только недоставало вчерашнего оживления. Первой заботой каждого было обсушиться, что под открытым небом было не совсем удобно. Некоторые бурлаки, кроме штанов и рубахи, ничего не имели на себе и производили обсушивание платья довольно оригинальным образом: сначала снимались штаны и высушивались на огне, потом той же участи подвергалась рубаха.

— У святых угодников еще меньше нашего одежи было, да не хуже нашего жили,— утешал всех Бубнов, оставшись в одной рубахе.

Место хватки было самое негостеприимное: крутой угор с редким лесом, который даже не мог защитить от дождя. Напротив, через реку, поднималась совсем голая каменистая гряда, где курице негде было спрятаться. Пришлось устраивать шалаши из хвои, но на всех не прихватывало инструменту, а к Порше и приступиться было нельзя. Кое-как бабы упросили его пустить их обсушиться под палубы.

— Пусти их в самом-то деле, Порша,— просил вместе с другими Савоська.— Не околевать же им... Тоже живая душа, хоть баба.

— А у меня курятник, что ли, барка-то? — ругался Порша.

— Может, и в самом деле по яичку снесут, как обсушатся,— острил кто-то.

— Ах, будьте вы все прокляты!! Савостьян Максимыч! Я тебе больше не слуга... Только Осип Иваныч приедет, сейчас металл буду сдавать. Вот те истинный Христос!!

— Перестань божиться-то, Порша! Неровен час — подавишься!

Дождь продолжал идти; вода шла все на прибыль. Мимо нас пронесло барку без передних поносных; на ней оборвалась снасть во время хватки. Гибель была неизбежна. Бурлаки, как стадо баранов, скучились на задней палубе; водолив без шапки бегал по коню и отчаянно махал руками. Несколько десятков голосов кричали разом, так что трудно было что-нибудь разобрать.

— Лодку у них унесло водой,— догадался Савоська.— Эй, братцы, кто побойчее — в лодку да захватите запасную снасть.

Порша не давал было снасти, но его кое-как угово-

рили. Лодка с Бубновым на корме понеслась догонять уплывавшую барку.

— Постарайтесь, братцы! — кричал Савоська вслед.— Тут верстах в пяти есть изворот; кабы не убилась барка-то...

— Успеем! — отозвался Бубнов, не поворачивая головы.

— Молодцевато плывут! — полюбовался Савоська, следя глазами за удалявшейся лодкой.— Все наши камешки... Уж на воде лучше их нет, а на берегу не приведи истинный Христос.

В казенке опять появился медный чайник и чашки без блюдечек.

Пришел Лупан.

— Больно неладно, Савостьян Максимыч,— проговорил старик, усаживаясь на лавочку.

— На что хуже, дедушко Лупан.

Лупан придерживался старинки, хотя и якшался с православными. Он даже не пил чаю, который называл антихристовой травой.

— Ты не гляди, что она трава, ваш этот самый чай,— рассуждал старик.— А отчего ноне все на вонтаранты пошло? Вот от этой самой травы! Мужики с кругу спились, бабы балуются... В допрежние времена и звания не было этого самого чаю, а народу было куды вольготнее. Это уж верно.

— А как же, дедушко, по деревням люди божии маются еще хуже нашего? — спрашивал Порша, любивший пополоскать свою требушину кипяченой водой.— Там чай еще не объявился и самоваров не видывали...

— Там своя причина! Земляной горох[1] стали есть — ну и бедуют. Всему есть причина... Враг-то силен.

В душе Лупана жило непоколебимое убеждение, что все злобы нашего времени происходят от табаку, картофеля и чаю. На первый раз такое оригинальное миросозерцание кажется смешным, но стоит внимательнее вглядеться в то, что табак, картофель и чай служили для Лупана только символами вторгнувшихся в жизнь простого русского человека иноземных начал. Впрочем, может быть, Лупан смотрел на дело гораздо проще, без

---

[1] Раскольники называют картофель земляным горохом. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

всякой символики. В мужицкой голове еще сохранились воспоминания о тех картофельных бунтах, какие разыгрывались на Урале во времена не столь отдаленные. Табак и чай завоевали права гражданства на Руси более мирным путем и своей антихристовой силой постепенно побеждают даже завзятых раскольников.

— А вот что мы будем делать, дедушко, как дождь с неделю пройдет? — спрашивал Савоська.— Вода не страшна, да народ-то взбелеинтся... Наши пристанские да мастерки-то останутся,— только дай им поденную плату,— а вот крестьянишки — те беспременно разбегутся.

— Уйдут,— соглашался Лупан.— Севодни двадцать восьмое число, говорят, а там Еремей-запрягальник на носу ... Уйдут!

— Как же мы останемся без бурлаков? — спрашивал я.

— Да уж, видно, так, как бог велит. Заводы придется запереть, чтоб народ согнать на караван. Не иначе...

Эти ожидания оправдались в тот же день вечером, когда к берегу привалила косная Осипа Иваныча. «Пиканники» собрались в одну кучу и глухо зашумели, как волны прилива.

— А... бунт!!.— зарычал Осип Иваныч, меряя глазами собравшуюся толпу.— Ах мошенники, протобестии!

— Бялеты, Осип Иваныч... Нам ждать не доводится! — послышались нерешительные голоса в толпе.

— Что-о?? Как?!.— взметнулся Осип Иваныч, отыскивая коноводов.— Почему... а?!. Кто это говорит, выходи вперед!

Таких дураков не нашлось, Осип Иваныч победоносно отступил, пообещав отдуть лычагами каждого, кто будет бунтовать. Крестьянская толпа упорно молчала. Слышно было, как ноги в лаптях топтались на месте; корявые руки сами собой лезли в затылок, где засела, как у крыловского журавля, одна неотступная мужицкая думушка. Гроза еще только собиралась.

— Уйдут варнаки, все до последнего человека уйдут! — ругался в каюте Осип Иваныч.— Беда!.. Барка убилась. Шесть человек утонуло... Караван застрял в горах! Отлично... Очень хорошо!.. А тут еще бунтари... Эх, нет здесь Пал Петровича с казачками! Мы бы эту мужландию так отпарировали — все позабыли бы: и Егория, и Еремея, и как самого-то зовут. Знают варна-

ки, когда кочевряжиться... Ну, да не на того напали. Шалишь!.. Я всех в три дуги согну... Я... у меня, брат... Вы с чем: с коньяком или ромом?..

— Как же мы дальше поплывем, Осип Иваныч, если народ разбежится? — спрашивал я.

— Как? Э, все вздор и пустяки: нагонят народ с заводов.

— Да ведь долго будет ждать. Вода успеет уйти за это время...

— И пусть уходит, черт с ней! Второй вал выпустят из Ревды. Не один наш караван омелеет, а на людях и смерть красна. Да, я не успел вам сказать: об нашу убитую барку другая убилась... Понимаете, как на пасхе яйцами ребятишки бьются: чик — и готово!.. А я разве бог? Ну скажите ради бога, что я могу поделать?..

Власть положительно вскружила голову Осипу Иванычу, и личное местоимение «я» сделалось исходным пунктом его помешательства. Как все «административные» головы, он в каждом деле прежде всего видел «я», а потом уж других.

Бубнов вернулся на косной только к вечеру. Лица гребцов были красные, языки заплетались.

— Где вы, черти, пропадали? — накинулся на них Порша.

— На хватке были...

— А шары-то где налили?

— Говорят, на хватке...

— Да ты не вертись, как береста на огне, а сказывай прямо: в деревню успели съездить?.. Ну?...

Бубнов посмотрел на Поршу, покрутил головой и проговорил:

— Насчет харча, Порша... Вот те истинный Христос!..

— Оно и видно, за каким вы харчем ездили: лыка не вяжете.

— А ты благодари бога, что снасть тебе в целости-сохранности привезли... Вот мы какие есть люди: кругом шестнадцать... То-то! А барку мы пымали... нам по стаканчику поднесли. В четырех верстах отседова пымали. Мне снастью руку чуть-чуть не отрезало.

— Надо бы обе вместе отрезать: не стал бы воровать...

— Порша, мотри!

— Я и то гляжу.

Оказалось, что Бубнов с компанией действительно привезли и харчу, то есть несколько ковриг хлеба. Между прочим, бурлаки захватили целого барана, которого украли и спрятали под дном лодки. Эта отчаянная штука была в духе Исачки, обладавшего неистощимой изобретательностью.

— Шкурку променял на водку, а тут и закуска,— отшучивался Исачка.— Только бы Осип Иваныч не узнал... А ежели увидит, скажу, что купил, когда хозяина дома не было.

Другим бурлакам оставалось только удивляться и облизываться, когда Исачка принялся жарить свою добычу. На его счастье, Осип Иваныч спал мертвым сном в казенке.

Всю ночь около огней, где собрались крестьянские «артелки», шли разговоры о том, как быть со сплавом, которому не предвиделось и конца. С одной стороны, кондракт, пачпорты в руках Осипа Иваныча, порка в волостном правлении, а с другой — до Еремея оставалось всего «два дни». «Выворотиться» — было общей мыслью, о которой старались не говорить и которая тем настойчивее лезла в голову. Другой не менее важной общей мыслью была забота о «пропитале», в частности — о харчах. В самом деле, не еловую же кору глодать, сидя на пустом берегу.

— Вам поденные будут платить,— говорил я старику Силантию, у которого теперь не было даже заплесневелых сухарей.

— По кондракту, барин, обязаны поденные платить, а нам это не рука... Куды мы с ихними поденными?..

— Осип Иваныч обещал по полтине каждому в сутки.

— И рупь даст, да нам ихний рупь не к числу. Пусть уж своим заводским да пристанским рубли-то платят, а нам домашняя работа дороже всего. Ох, чтобы пусто было этому ихнему сплаву!.. Одна битва́ нашему брату, а тут еще господь погодье вон какое послал... Без числа согрешили! Такой уж незадачливый сплав ноне выдался: на Каменке наш Кирило помер... Слышал, может?

— Слышал.

— Так без погребения и покинули. Поп-то к отвалу только приехал... Ну, добрые люди похоронят. А вот Степушки жаль... Помнишь, парень, который в огневице

лежал. Не успел оклематься[1] к отвалу... Плачет, когда провожал. Что будешь делать: кому уж какой предел на роду написан, тот и будет. От пределу не уйдешь!.. Вон шестерых, сказывают, вытащили утопленников... Ох-хо-хо! Царствие им небесное! Не затем, поди, шли, чтобы головушку загубить...

— А ваша артель не выворотится, Силантий?

— Ничего не знаю, барин, ничего... Не работа, а один грех! Больно галдят наши-то хрестьяны. Так и рвутся по домам. Вот не знаем, сколь времени река не пустит дальше...

— Этого никто не знает.

— Вот в том-то и беда.

На другой день, когда я проснулся, Осип Иваныч в бессильной ярости неистовствовал на барке. Около него собрались кучки бурлаков.

— Ведь убежали! — встретил он меня.

— Кто убежал?

— Да мужландия... Целая артель убежала. Помните этого бунтовщика... ну, старичонка, бородка клинышком: он всю артель за собой увел. Жалею, что не отпорол этого мерзавца еще на Каменке. Ну, да наше не уйдет... Я еще доберусь до него... я... я...

— Какой бунтовщик? Я что-то не припомню.

— Ах, господи... Ну, как его там звали, Савоська?

— Силантием, Осип Иваныч. У носового поносного робил с артелью.

— Подлецы, подлецы, подлецы!

«Мужландия» не вытерпела наконец и «выворотилась».

— Шесть аршин над меженью! — крикнул Порша, меряя воду.

— Не может быть! Ты не умеешь мерять...— усомнился Осип Иваныч, выхватывая наметку из рук Порши.

— Как вам будет угодно, Осип Иваныч...— обиделся водолив.— Уж если я не умею воду мерять, так после этого... Позвольте расчет, Осип Иваныч!..

— Убирайся ты к черту, дурак! Не до тебя! Ах, черт возьми, действительно шесть аршин над меженью!.. Ведь это целых две сажени... Паводок в две сажени!..

[1] Оклематься — поправиться. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

— Севодни ночью две барки пронесло мимо, Осип Иваныч,— докладывал Савоська.— Должно полагать, с ухвата сорвало или снасть лопнула... Так и тарабанит по Чусовой, как дохлых коров.

А дождь продолжал свою работу, не останавливаясь ни на минуту.

XV

В течение каких-нибудь трех дней Чусовая превратилась в бешеного зверя. Это был двигающийся потоп, ломавший и уносивший все на своем пути. Высота воды достигала шести с половиной аршин, а вместе с каждым вершком прибывавшей воды увеличивалась и скорость ее движения. При низкой воде вал идет по реке со скоростью пяти с половиной верст в час, а теперь он мчался со скоростью восьми верст; барка по низкой воде делает в час средним числом верст одиннадцать, а по высокой — пятнадцать и даже двадцать. В последнем случае все условия сплава совершенно изменяются: там, где достаточно было сорока человек, теперь нужно становить на барку целых шестьдесят, да и то нельзя поручиться, что вода не одолеет под первым же бойцом.

Сила напора водяной струи была так велика, что нашу барку привязали к ухвату еще вторым канатом. Кругом все по-прежнему было серо. Берег превратился в стоянку каких-то дикарей. Бурлаки не походили на самих себя: спали в мокре и грязи, почернели от дыма, отощали. Оказалось несколько больных, которые лежали под прикрытием своих шалашиков. О медицинской помощи нечего было и думать, когда не было хлеба и харчей. Вся надежда оставалась на то, как и при лечении дорогих патентованных врачей, что авось человек «сам отлежится». До ближайшей деревни было верст двенадцать, но попадать туда было крайне замысловато: горой, то есть по берегу, нельзя было пройти — не пускали разбушевавшиеся горные речки; по Чусовой, конечно, было можно попасть, но тяжело было возвращаться назад против течения. Даже отчаянный Бубнов — и тот отказывался от поездки в деревню, хотя сам второй день сидел впроголодь. Осип Иваныч больше не показывался к нам на барку.

— Где он пропадает? — спрашивал я у Савоськи,

— У Пашки на барке и днюет и ночует... Народ голодает, а он плёшничает.

На третий день нашей стоянки «выворотилась» вторая крестьянская артелька. Это случилось как раз первого мая, в день Еремея-запрягальника. На этот раз побег «пиканников» был встречен всеми равнодушно, как самое обыкновенное дело. Нервы у всех притупились, овладевала та апатия, которая создается безвыходностью положения. Оставались пристанские бурлаки и «камешки»: этим некуда было бежать, благо заплатят поденщину.

На четвертый день стоянки скрылись башкиры. Они сделали это так же незаметно, как вообще оставались незаметными все время сплава.

— Уж куда эта нехристь торопится — ума не приложу! — ругался Порша.— Крестьянин — тот к пашне рвется, а эта погань куда бежит? Робить не умеет, а туда же бежит... Чисто как лесное зверье, прости ты меня, господи!..

В казенке, кроме меня, помещался теперь будущий дьякон, а ночевать приходил еще чахоточный мастеровой. Время тянулось с убийственной медленностью, и один день походил как две капли воды на другой. Иногда забредет старик Лупан, посидит, погорюет и уйдет. Савоська тоже ходил невеселый. Одним словом, всем было не по себе, и все были рады поскорее вырваться отсюда.

Под палубой устроилась целая бабья колония, которая сейчас же натащила сюда всякого хламу, несмотря ни на какие причитания Порши. Он даже несколько раз вступал с бабами врукопашную, но те подымали такой крик, что Порше ничего не оставалось, как только ретироваться. Удивительнее всего было то, что, когда мужики голодали и зябли на берегу, бабы жили чуть не роскошно. У них всего было вдоволь относительно харчей. Даже забвенная Маришка — и та жевала какую-то позёмину, вероятно, свалившуюся к ней прямо с неба.

— И откуда у них что берется? — удивлялся Порша.— Ведь и на берег, почитай, совсем не выходят, а, глядишь, все жуются... Оказия, да и только!..

— Ты на штыки-то смотри, Порша,— советовал Савоська.— Бабы — они, конечно, бабы, а все-таки и за ними глаз да глаз нужен...

— Смотрю, Савостьян Максимыч... Кажинный день поверяю чуть не всю барку. Все ровно в сохранности, как следовает тому быть.

Другое обстоятельство, которое очень беспокоило Поршу, заключалось в том, что из Бубнова, Кравченки и Гришки составился некоторый таинственный триумвират. Их постоянно видели вместе. Будущий дьякон уверял, что несколько раз слышал, как они шептались между собой.

— Уж, наверное, это Исачка какую-нибудь пакость сочиняет,— уверял Порша.— Недаром они шепчутся...

Все дело скоро объяснилось.

Однажды, когда Порша пред рассветом дремал на палубе, что-то булькнуло около барки. Порша бросился на подозрительный звук и увидал, во-первых, Маришку, которая не успела даже спрятаться в люк, во-вторых, доску, которая плыла около барки.

— Ты что тут делаешь? — закричал Порша, бросаясь ловить доску багром.

Маришка ничего не ответила и продолжала стоять на том же месте, как пень. Когда доска была вытащена из воды, оказалось, что снизу к ней была привязана медная штыка. Очевидно, это была работа Маришки: все улики были против нее. Порша поднял такой гвалт, что народ сбежался с берегу, как на пожар.

— Ах ты, паскуда! Ах, шельма! — вопиял Порша, вытаскивая Маришку за волосы на палубу.— Сказывай, кто тебя научил украсть штыку?

Забитая бабенка, оглушенная всем случившимся, только вся вздрагивала и испуганно поводила кругом остановившимися, бессмысленными глазами. Порша дал ей несколько увесистых затрещин, встряхнул за шиворот и, как кошку, бросил на палубу.

— Задувай ее, курву, Порша! — крикнул кто-то из толпы.

Этот нервный крик, требовавший возмездия за попранное право, сразу наэлектризовал Поршу, и он принялся обрабатывать Маришку руками и ногами.

— Ты ее по рылу-то, Порша, по рылу,— поощрял какой-то бурлак с барки Лупана, почесывая руки от нетерпения.— А потом по льну дай раза, суке этакой... Ишь, плёха, не хочет на ногах стоять!

Маришка действительно от каждого удара Порши

комком летела с ног, вызывая самый искренний смех собравшейся публики. Это побоище продолжалось с четверть часа, пока не явился заспанный Савоська.

— Что вы тут делаете? — спрашивал он.

— Порша Маришку учит,— обязательно объяснял кто-то.

— Ах вы, дураки... Порша, оставь! Отцепись, деревянный черт, тебе говорят! — кричал Савоська, стараясь оттащить Поршу от Маришки.

— Она штыку украла! — хрипел Порша, выкатывая налитые кровью глаза.

— Дурак!.. Да на что ей штыку? Надо сперва разобрать дело, а ты...

— Я... я... она украла штыку...— повторял Порша.— Запирается...

— А ежели окажется, что не она украла штыку?

Порша на мгновение задумался, потом вдруг бросил на палубу свою шапку и запричитал:

— Нет, я тебе не слуга, Савостьян Максимыч... Ищи другого водолива!... Я — шабаш, только металл сдать Осипу Иванычу.

Составилось нечто вроде народного суда. Савоська стал допрашивать Маришку, как было дело, но она только утирала рукавом грязного понитка окровавленное избитое лицо с крупным синяком под одним глазом и не могла произнести ни одного слова.

— Кто тебя научил, говори? — допрашивал Савоська.

Молчание. Маришка только на мгновение подымает свои большие, когда-то, вероятно, красивые глаза и с изумлением обводит ими кругом ряд суровых или улыбающихся лиц. На одно мгновение в этих глазах вспыхивает искра сознания, по изможденному, сморщенному лицу пробегает нервная дрожь, и опять Маришка погружается в свое тупое, одеревенелое состояние, точно она застыла.

— Ты ей поддуй раза, Савостьян Максимыч... Заговорит небось.

Голос знакомый. Оборачиваюсь: это говорит чахоточный мастеровой. Лицо у него злое и совсем позеленело, глаза горят лихорадочным возбуждением. Он вытягивает вперед свою тонкую шею и сжимает костлявые кулаки.

— Гришка с Бубновым идут! — послышался шепот.

— Ну, ступай, черт с тобой! — заканчивает свой суд

Савоська.— Вот приедет Осип Иваныч, тогда твое дело разберем...

— Хоть бы лычагами постегать, Савостьян Максимыч! — просит чей-то голос.— Чтобы вперед было неповадно...

Бубнов и Гришка подходили к барке как ни в чем не бывало. Толпа почтительно расступилась пред ними, давая дорогу к тому месту, где стояла Маришка. Услужливые языки уже успели сообщить Гришке о подвиге Маришки.

Гришка, не говоря ни слова, так ударил Маришку своим десятипудовым кулаком, что несчастная бабенка покатилась по земле, как выброшенный из окна щенок.

— Наливай ее! — поощрял Бубнов, давая Маришке несколько пинков ногой.— Ишь, притворилась... Язва! Валяй ее, зачем воровать не умеет... Под другой глаз наладь ей!

На Маришку посыпался град ударов. Собравшаяся толпа с тупым безучастием смотрела на происходившую сцену, и ни на одном лице не промелькнуло даже тени сострадания. Нечто подобное мне случилось видеть только один раз, когда на улице стая собак грызла больную старую собаку, которая не в состоянии была защищаться.

Когда я обратился к Савоське с просьбой остановить эту бойню, он только пожал плечами.

— За что он ее бьет? — спрашивал я.— Может быть, окажется, что и не она украла штыку...

— Да ведь она жена ему, Гришке-то? — удивился мужик.

— Ну так что из этого, что «жена»?

— Жена — значит, своя рука владыка. Хошь расшиби на мелкие крошки — наше дело сторона... Ежели бы Гришка постороннюю женщину стал этак колышматить, ну, тогда, известно, все заступились бы, а то ведь Маришка ему жена. Ничего, барин, не поделаешь...

Коротко и ясно.

После Гришкиной науки Маришка замертво была стащена куда-то в кусты.

Вечером, когда явился Осип Иваныч, было произведено строжайшее следствие по делу о краже медной штыки Маришкой. Оказалось следующее: вся механика кражи была устроена, конечно, Бубновым, в чем он и сознался, когда улики были все налицо.

— Ну рассказывай, братец, как ты штыку у Порши воровал? — допрашивал Осип Иваныч Исачку.

— Да что тут рассказывать-то, Осип Иваныч,— хвастливо отвечал Бубнов.— Известное дело... Мы с Гришкой да с Кравченкой, значит, в уговоре были, а Маришка должна была штыку с барки пущать. Кравченко пущал сверху от берега доску по реке. Маришка ее ловила, потом привязывала штыку и спущала в воду. А мы, значит, с Гришкой должны были ловить доску и плотик уже наладили, да Маришка, окаянная, подвела.

— Значит, Маришка только вам помогала?

— Выходит, видно, так,— соглашался Бубнов.

— Ну, это дело мировой судья в Перми разберет... А теперь скажите, зачем вы Маришку до полусмерти избили?

— Это не я, а Гришка, Осип Иваныч. Кабы я бил Маришку, так сразу бы ее убил... Ей-богу! Все дело испортила...

Гришку даже не спрашивали, зачем он колотил жену.

— Уж я спустил бы им три шкуры,— ругался Осип Иваныч,— да теперь без них нельзя... Что будете делать? Головорезы!.. Бубнов, шельма, знает, что рабочие до зарезу нужны, и бахвалится. Уж я ему прописал бы, ежели бы Пал Петрович здесь был... я... Ну, да черт с ними! Вы с чем будете чай пить?

Немного погодя в казенку явился Бубнов.

— Я до твоей милости, Осип Иваныч.

— Ну, чего тебе?

— Да вот мы с Гришкой да с Кравченкой пришли...

Гришка и Кравченко показались в дверях.

— Ну?

— Уж лучше прикажи лычагами наказать нас, Осип Иваныч, а к мировому не таскай. Посадят на высидку, тебе от этого не легче будет.

— А как Порша?

— Да уж с Поршей как ни на есть помиримся... Четверть водки ему поставим, леший его задери.

Составлен был совет из Савоськи, Порши и Лупана. Пошумели, побранились и порешили, что не в пример лучше отодрать воров лычагами, а то еще в Перми по судам с ними таскайся да хлопочи. Исполнение этого решения было предоставлено косным, которые устроили

порку тут же на палубе. Всем троим было дано по десяти лычаг.

— Ну, вперед у меня чтобы ни-ни!..— кричал Осип Иваныч, пока наказанные приводили в порядок необходимые принадлежности костюма.— А то всех к черту...

— А без нас тоже не далеко уплывешь, Осип Иваныч,— говорил Бубнов, поправляя рубаху.— Крестьяны-то все, видно, разбежались, нам же доведется робить...

— С вами, разбойники, с вами! Только вы душеньку всю из меня вытянули, распротоканальи...

Этот невинный эпизод неудавшегося воровства точно послужил сигналом для погоды, которая наконец заметно начала разгуливаться, хотя вода держалась на прежнем уровне. Крестьяне поголовно бежали со всех караванов, несмотря ни на какие угрозы и самые заманчивые обещания. Одним словом, выражаясь языком наших администраторов, произошел настоящий бунт.

— Только подождем, как вода спадет на пять аршин, сейчас побежим,— говорил Савоська.— Недоколе нам здесь ждать... Последний народ разойдется.

— Да ведь по такой высокой воде опасно плыть?

— Не одни мы поплывем, барин. И другие прочие караваны с нами поплывут тоже... Уж кому што достанется, тот тем, значит, и владей.

Всеми овладело вполне понятное нетерпение, когда вода наконец пошла на убыль. Дождь перестал. Высыпала по взлобочкам и на солнечном пригреве первая травка, начали развертываться почки на березе. Только серые тучки по-прежнему не сходили с неба, точно оно было обложено кошмами, и недоставало солнца.

Когда вода спала на три четверти аршина, подошла партия бурлаков из Кыновского завода. Нужно было дорожить временем, чтобы не запоздать. Новые бурлаки нанесли самых невеселых новостей, которые главным образом вертелись около «убивших» барок на камнях, то есть между Уткой и Кыном. Их считали десятками. Вообще нынешний сплав задался совсем не в пример прошлым годам, и получалась невероятная цифра крушений, когда еще не было пройдено и половины пути.

— Под Высоким Камнем, сказывают, шесть барок убивших,— рассказывал один мастеровой в розовой ситцевой рубашке.— Да под Печкой две... Страсть гос-

подня! У нас под Кыном две коломенки затонули тоже. Так и поворачивает эта самая вода!

Кыновские мастеровые как две капли воды походили на мастеровых других горных заводов; такой же отчаянный народ, вышколенный с детства работой на фабрике. Соседство Чусовой придавало им бурлацкий закал и природную страсть к воде, чем кыновляне особенно славятся.

— Ну, братцы, как-то мы теперича поплывем! — слышались голоса в собравшихся кучках бурлаков.

— Двух смертей не будет, одной не миновать...

— В семьдесят третьем году не экую страсть видели, да ничего, господь пронес.

— Уж известно: все от господа. Обнаковенно...

Сплав семьдесят третьего года надолго останется в памяти чусовлян. Это был совершенно исключительный год, может быть даже единственный за целое полстолетие. Из шестисот барок тогда разбилось шестьдесят четыре барки да обмелело тридцать семь, то есть из пяти барок дошли до Перми только четыре, тогда как средним числом бьется из тридцати барок одна. Интересно проследить, от каких причин произошли крушения и обмеления в этом году. Из шестидесяти четырех убитых барок тридцать шесть потерпели крушение от естественных опасностей сплава, семь — от тесноты, пятнадцать — вследствие столкновения судов между собой, пять — при причале к берегу о подводные камни и от разрыва снастей, одна подрезана льдом; из тридцати семи обмелевших барок двадцать три судна были занесены ветром и четырнадцать обмелели от неосторожности и неизвестных причин. В общем выводе, теснота при сплаве дает сорок процентов всех несчастий с барками. Случалось так, что все чусовские караваны мелели во всем своем составе, как это было в 1851, 1866 и 1867 годах, когда требовался для их сплава вторичный выпуск воды из Ревдинского пруда; бывали годы, что из всех караванов разбивалось три-четыре барки, и даже был такой один год, когда совсем не было ни крушений, ни обмелений, именно 1839-й. Потери рабочих, понятное дело, возрастают с числом убитых барок; каждый сплав погибнет три-четыре человека, но бывают страшные года, когда число убитых и утонувших людей возрастает до страшной цифры в сто человек.

XVI

Мы простояли на одном месте целых пять дней, что в сплавное горячее время очень много.

— Мы севодни отваливаем,— говорил Савоська утром шестого дня.

— А сколько над меженью воды стоит?

— Пять аршин без вершка...

Я посмотрел на Савоську, желая убедиться, что он пошутил. Но Савоська смотрел совершенно серьезно и прибавил:

— На свету ревдинский караван пробежал... Того гляди с других пристаней коломенки налетят, тогда хуже будет. Осип Иваныч еще вечор заказали, чтобы все было готово к отвалу.

— А сколько народу у нас на барке?

— Человек с сорок пять наберется — не наберется.

— Мало...

— Все, сколь есть...

Теперь все было понятно: если ревдинский караван пробежал, так нам уж не статья была сидеть у моря и ждать погоды. Все думали одно и то же: ревдинские уплыли — и мы уплывем, а как уплывем — это другой вопрос.

Наша барка и барка Лупана стали готовиться к отвалу. Бурлаки опять потащились с своими котомками под палубы; у поносных встали те же подгубщики. Убежавших «пиканников» заменили кыновскими мастеровыми, но людей было мало вообще, а для такой высокой воды в особенности. Но велик русский «авось» на воде, может быть даже больше, чем на суше.

Когда все было готово на обеих барках, все стали нетерпеливо поглядывать вверх по реке, где из-за мыска должна была показаться барка Пашки. Как только она показалась, отвалил Лупан, а через десять минут — и мы.

— Ну, братцы, теперь будет работы досыта,— говорил Савоська бурлакам.— Постарайтесь...

Чусовая мчалась теперь в горах бешеным валом, который точно когтями рвал по пути землю и уносил молодые деревья десятками. Барка делала в час больше двадцати верст, что при постоянных поворотах реки создавало массу новых препятствий. Горы заметно понижались, не было такой цепи утесов, как до Кына. Мало-помалу прояснилось и небо, точно над горами по-

ставили голубой шатер, затканный всеми переливами солнечного света. В бездонной выси поплыли серебристыми грядами белогрудые облачка. Наконец мы увидели солнце, которое было скрыто от наших глаз в течение целой недели. При ярком солнечном свете, заливавшем берега струившейся волной, самые опасности не были так страшны, как в ненастье. Отдохнувшие и обсохшие люди молодецки срывали поносные, точно стараясь наверстать столько потерянного даром времени. Только одна Маришка представляла резавшее глаз исключение: все лицо у нее вздулось под один багровый пузырь, начинавший зеленеть по краям. Одна губа была рассечена, левый глаз едва смотрел из-под отекшей брови.

— Чистые звери, вишь чего сделали из бабенки,— пожалел Савоська несчастную Маришку.— Вон какие патреты наладили на роже-то...

До Кумыша мы уже встретили несколько разбитых барок. Одна из них была подрезана льдом. Несколько утопленников лежали на берегу под рогожкой. Одного откачивали на разостланных зипунах. Белое тело мертвым движением перекатывалось в руках качавших, а русая голова болталась в такт раскачиваний.

— Царствие небесное упокойничку...

Впечатление от второго «упокойничка» не было так сильно, как от первого. Бурлаки отнеслись к нему совершенно пассивно, как к самому заурядному делу. Да оно и понятно: теперь на барке исключительно работали пристанские и заводские бурлаки, которые насмотрелись на своем веку на всяких «упокойничков».

Немного ниже убитой барки нам пришлось «отуриться» под бойцом, то есть идти дальше кормой вперед, что иногда делается в опасных местах. Барка была на волосок от гибели, и только присутствие духа и находчивость Савоськи спасли ее. Лупан тоже отурился, а Пашка потерял кормовое поносное.

Перед самым Кумышом мы набежали еще на две убитых барки. Картина была та же, что и раньше: от барки выставлялась только крыша, на берегу собрались кучками бурлаки, лежало несколько «упокойничков» и так далее.

— Вот и Кумыш! — послышались голоса, когда впереди на берегу показалась небольшая деревня.

Деревня Кумыш не представляет собой ничего осо-

бенного среди других глухих чусовских деревушек. Савоська пристально посмотрел на ближайшие избушки и только покачал головой.

— Ни единой живой души во всей деревне нет,— проговорил он.

— На сплав ушли?

— Мужики на сплаву, а остальной народ убежал к бойцам... Много, надо полагать, там убивших барок.

Бойцы, расположенные за деревней Кумышом, представляют последнюю каменную преграду, с какой борется Чусовая. Старик Урал напрягает здесь последние силы, чтобы загородить дорогу убегающей от него горной красавице. Здесь Чусовая окончательно выбегает из камней, чтобы дальше разлиться по широким поемным лугам. В камнях она едва достигает пятидесяти сажен ширины, а к устью разливается сажен на триста.

— С коня долой!—скомандовал Савоська, когда издали послышался глухой шум.

На барке давно стояла мертвая тишина; теперь все головы обнажились и посыпались усердные кресты. Народ молился от всей души той теплой, хорошей молитвой, которая равняет всех в одно целое — и хороших и дурных, и злых и добрых. Шум усиливался: это ревел Молоков.

— Постарайтесь, братцы... Нос налево! Похаживай, молодцы, веселенько... Сильно-гораздо ударь нос-от!!! Милые, постарайтесь!

Под Молоковым и Разбойником, как под Печкой и Высоким Камнем, река делает два последовательных оборота, причем бойцы стоят в углах этих поворотов и струя бьет прямо на них с бешеной силой.

Скоро мы завидели и Молоков. Это была громадная скала, стоявшая к верховьям реки покатым ребром, образуя наклонную плоскость, по которой вода взбегала пенящимся валом на несколько сажен и с ужасным ревом скатывалась обратно в реку, превращаясь в белую пену. Вся река под Молоковым представляла белую вспененную массу, точно кипящее молоко; отсюда и название бойца Молоков. Другим ребром боец выступал в реку, точно выдвигая каменный таран. Отброшенная скалой вода пересекает реку наискось вплоть до противоположного берега, образуя целую гряду ревущих майданов; они далеко бегут вниз по реке, точно

стадо белых овец. Сила движения воды здесь настолько велика, что за бойцом образуется суводь, то есть вода тихим током медленно возвращается к бойцу, что можно заметить по плывущей вверх по реке пене. Таким образом, с одной стороны страшная гряда майданов, а рядом с ней совершенно тихая полоса суводи. Получается поразительный контраст, резко обозначенный водяным рубцом.

Трудность прохода под Молоковым заключается в следующем: водяная струя бьет прямо в скалу, делая здесь угол, и идет к следующему бойцу, Разбойнику; барка должна пересечь эту струю под Молоковым в самом углу, чтобы дальше попасть в суводь. Если она этого не успеет сделать и попадет на майданы, ее неудержимо унесет прямо на Разбойника. Чтобы не попасть ни на первый, ни на второй боец, барке приходится перерезать реку в косом направлении, с одного мыса на другой, причем ей необходимо переваливать через рубец. Но расстояние между бойцами всего две версты, и барка не в состоянии при условиях своего движения и при страшной быстроте течения вовремя перерезать струю за первым бойцом, если не перебьет ее под самым бойцом. Получается роковая дилемма: если барка пройдет далеко от первого бойца и не перережет струи в углу, она разобьется о второй боец; если барка не побоится бойца, то какое-нибудь одно просчитанное мгновение — и она в щепы разобьется о каменный выступ. При мерной воде эта мудреная задача разрешается сравнительно легче, но при высокой все зависит от сплавщика: нужно иметь крепкую душу, чтобы не дрогнуть, когда на вас понесется боец... Именно в таких боевых местах начинает казаться, как при всяком быстром движении, что не сам движешься, а все кругом летит мимо тебя с увеличивающейся, захватывающей дух скоростью.

— Три убивших барки...— прошептал Савоська, вглядываясь в бежавший навстречу боец.— И заплавни выброшены на берег... Лупан пробежал, кажется, благополучно.

Около самых опасных бойцов, как Косой, Бражка, Владычный, Волегов, Узенький, Дружной, Кирпичный, Печка, Мултык, Горчак, Молоков и Разбойник, в воду спускаются деревянные брусья, составленные из четырех восьмивершковых бревен. Они огораживают боец

подвижной деревянной рамой, которая укрепляется в скале деревянными пружинами, то есть громадными брусьями, которые при ударе барки о заплавни несколько подаются вбок и этим уменьшают силу удара. Такие заплавни несколько предохраняют барки от крушений, но при высокой воде первая налетевшая на боец барка ломает их и даже выбрасывает на берег. Когда мы подходили к Молокову, заплавни не действовали: пружины были сломаны и брусья лежали на берегу.

Наша барка подходила к бойцу в мертвом молчании. Майданы ревели все сильней. В воздухе висела водяная пыль, садившаяся на лицо паутиной. С каждым мгновением расстояние между баркой и бойцом делалось все меньше и меньше. Можно было рассмотреть все впадины и трещины на ожидавшей нас скале. Бурлаки прильнули к поносным; ни одного звука, ни одного движения. Савоська застыл на своей скамеечке в одной позе и не сводит глаз с шестика, который укреплен на носу нашей барки, как прицел на ружье. Вот барка врезалась носом в клокочущую гряду майданов и тяжело колыхнулась, точно ее подхватили тысячи могучих рук и понесли на боец. До страшного выступа всего несколько сажен, чувствуешь, как холодеет внутри, в глазах рябит... Чувство физического ужаса овладевает всеми одинаково, сознание едва теплится. Нет, скорее что-нибудь одно: или конец, или счастливый исход, только не эти страшные мгновения страшного ожидания. Кажется, что все погибло, спасения нет... Вон сосенка на скале, а там, на берегу, мелькают какие-то люди. Гребни волн обдают палубу дождем брызг... В каком-то полусне слышишь сорвавшуюся команду; когда до бойца остается всего несколько аршин, поносные с страшной силой падают в воду, поднимаются, опять падают... Барка повернулась к бойцу боком и прошла около него всего на расстоянии каких-нибудь шести четвертей,— можно рукой достать, но ведь это всего одно мгновение, и не хочется верить, что опасность промелькнула, как сон, и так же быстро теперь бежит от нас, как давеча бежала навстречу. Мы в суводи, барка плывет ровно, навстречу подымаются по реке клочья пены. Впереди две исковерканные массы, около которых бурлит вода: это «убившие» барки. На берегу десятки людей, которые разбились на отдельные

кучки. Все смотрят на боец, к которому теперь бежит Пашка.

— Ох, Пашка не ладно отрабатывает от камня!..— как-то застонал Савоська, оглядываясь назад.— Нет, не пересекет струю...

Пашкина барка прошла дальше нашей от Молокова и попала на майданы. Видно, как бегает по палубе водолив со своей наметкой. Поносные судорожно загребают воду, но струя отбрасывает барку каждый раз, когда она хочет перевалить через рубец в суводь.

— Шабаш, под Разбойником зарежет барку! — говорит Савоська, махнув рукой.— Сила не берет...

Хорошие сплавщики редко обвиняют других сплавщиков в неудачах, а стараются свалить вину на что-нибудь другое.

Но нам теперь не до Пашки, а до себя. Две версты промелькнули в пять минут, а впереди уже встает знаменитый боец Разбойник, который подымает свою каменную голову на пятьдесят сажен кверху и упирается в реку роковым острым гребнем.

— Похаживай, молодцы! — покрикивает Савоська, когда барка начинает подходить к мысу.

Когда мы вышли из-за мыса и полетели на Разбойника, нашим глазам представилась ужасная картина: барка Лупана быстро погружалась одним концом в воду... Палуба отстала, из-под нее с грохотом и треском сыпался чугун, обезумевшие люди соскакивали с борта прямо в воду... Крики отчаяния тонувших людей перемешались с воем реки.

— О чужую убившую барку Лупан убился,— объяснил Савоська.

Действительно, из-за барки Лупана теперь можно было рассмотреть расщепанную корму другой барки, на которой уже никого не было. Нам пришлось пройти рядом с тонувшей баркой Лупана, которую тихо заворачивало кормой вниз. Несколько человек бурлаков успели перескочить к нам; какой-то несчастный старик поскользнулся и упал в воду, где и скрылся сейчас же под захлестнувшей его волной. Сам Лупан оставался на барке и с замечательным хладнокровием отвязывал прикрепленную к борту неволю. Несколько черных точек ныряло в воде, это были спасавшиеся вплавь бурлаки. Редкий из них не тащил за собой своей котомки в зубах. Расстаться с котомкой для бурлака настолько

тяжело, что он часто жертвует из-за нее жизнью: барка ударилась о боец и начинает тонуть, а десятки бурлаков, вместо того чтобы спасаться вплавь, лезут под палубы за своими котомками, где часто их и заливает водой.

Мы пробежали мимо Разбойника совсем благополучно. За Разбойником весь берег был усыпан бурлаками с убившихся здесь барок, которых насчитывали больше десятка. Эта картина страшного разрушения быстро промелькнула мимо нас, оставя в душе самое смутное впечатление. Несколько утонувших бурлаков лежали на берегу, двоих откачивали на холстах, которые притащили бабы из Кумыша. Среди больших покойников выдавался только труп мальчика лет двенадцати. Он лежал на левом боку, с голыми ногами, в одной розовой ситцевой рубашке, точно спал. Вероятно, это был ученик сплавщика. Три бабы стояли около него и с соболезнованием смотрели на бездушное детское тело. А солнце так весело освещало весь берег и Чусовую, точно кругом была идиллия.

— Вон Пашка летит на боец...

Я оглянулся. Пашка действительно прямо бежал на роковой гребень. Бурлаки выбивались из сил, работая поносными. Издали казалось, что по палубам каталась какая-то серая волна, точно барка делала конвульсивные движения, чтобы избежать рокового удара. Но все напрасно: еще одно мгновение — и барка Пашки врезалась одним боком в выступ скалы, послышался треск ломавшихся досок, крик людей, грохот сыпавшегося чугуна, а поносные продолжали все еще работать, пока не сорвало переднюю палубу вместе с поносными и людьми и все это не поплыло по реке невообразимой кашей. Доски, люди, бревна — все смешалось в живую кучу, которая барахталась и ползала под бойцом, как раздавленное пятидесятиголовое насекомое. От берега к бойцу плыли косные лодки, чтобы спасать погибающих.

— Эка страсть, милостивый господь,— шепчет кто-то в ужасе.— Народичку сколько погибнет позанапрасну...

Мы можем пожалеть только об одном, что в среде русских художников не нашлось ни одного, кто в красках передал бы все, что творится на Чусовой каждую весну.

XVII

Бойцы под Кумышом, как мы уже сказали выше, составляют последнюю каменистую преграду течению Чусовой; дальше она течет в холмистых берегах и разливается все шире и шире. Сообразно изменяющимся условиям течения меняются и условия сплава: «убившие» барки больше не встречаются; за редкими исключениями, на сцену выступают мели и огрудки, которыми усеяно все течение Чусовой вплоть до самого устья. Но впечатлений от прохода «в камнях» слишком много, и бурлаки долго передают взаимные наблюдения, воспоминания и примеры. Героями являются все те же бойцы, о которые бьются коломенки, а действующие лица, бурлаки, фигурируют в этих рассказах в форме специфического chair à boïetz [1]...

— Одначе здорово нонче Чусовая играет! — говорит Бубнов, работавший под Молоковым и Разбойником за десятерых.— Барок с тридцать убьется в камнях... Один Разбойник залобовал уж десяток, да еще Лупан с Пашкой нарезались. Уж наши ли каменские сплавщики не люты проходить под бойцами, а тут сразу две барки...

— Сила не берет.

— Известно, кабы сила... Тут только держись за грядки. Ведь пять аршин над коренной водой бежим... Дьякон даве под Молоковым страсть испужался нашей бурлацкой обедни! Помушнел весь...

— Осип-то Иваныч на косной объехал бойцы,— передает Даренка своей подруге Оксе.

— Один?

— Нет... Испужался, видно.

До Кумыша чусовское население можно назвать горнозаводским, за исключением некоторых деревень, где промышляют звериной или рыбной ловлей; ниже начинается сельская полоса — с полями, нивами и поемными лугами. Несколько сел чисто русского типа, с рядом изб и белой церковью в центре, красиво декорируют реку; иногда такое село, поставленное на крутом берегу, виднеется верст за тридцать.

Нам скоро попалось несколько обмелевших барок. Около них кипела самая горячая работа; десятки

[1] бойцового мяса... *(франц.)*

бурлаков стояли в воде с чегеиями и под дружиую «Дубинушку» старались столкиуть барку. Работа пятидесяти — шестидесяти человек при пятнадцати тысячах груза иа каждой барке — крайне тяжелая и опасная.

— Нам здесь хуже, чем в камиях,— объяснял Бубнов.— Под бойцом либо пан, либо пропал, а здесь как барка залезла на огрудок — проваландаешься дня три в воде-то. А тут еще перегрузка, чтобы ей пусто было!

— Зато насчет водки здесь свободно...

— Хошь обливайся, когда гоият в ледяную воду или к вороту поставят. Только от этой работы много бурлачков иа тот свет уходит... Тут лошадь ие пошлешь в воду, а бурлаки по неделям в воде стоят.

В одиом месте, где Чусовая особеиио широко разлилась в иизких берегах, у самой воды на камешке сидел мальчик и замечательно хорошо пел какую-то заунывную песню.

— Наигрывай, голубчик, иаигрывай себе на здоровье! — улыбнулся Савоська, поглядывая на берег.— Ишь как разбирает!

Меия удивило явио враждебиое отношеиие Савоськи к малеиькому певцу; бурлаки смеялись тоже над ним, а Бубнов попробовал даже попасть в мальчишку камием.

— Зачем бурлаки смеются иад мальчиком? — спросил я.

— Это над париишком-то?.. А то и смеются, что больио хорошо песню задувает... Ишь какой дошлый!.. Много их по весие здесь распевает, а бурлаки или сплавщик зазевался, глядишь, барка и приткнулась на огрудок.

— Ну, а парнишка тут при чем?

— Его крестьяны из деревни подослали, чтобы работы себе добыть, ежели барка омелеет... Пой, милый, пуще старайся!..

Бурлаки рассказывали, что для вящего соблазна плывущих мимо барок на «сумлительиых» местах на берегу появлялись девки, раздевались и начинали купаться в глазах у бурлаков. Насколько это справедливо — не ручаюсь. По словам тех же бурлаков, для приманки иногда устраиваются на берегу уж совсем нецензурные сцены... Вероятно, здесь много добавлено пылкой фантазией, как в рассказах о поющих морских

сиренах, которые слушал привязанный к корабельной мачте Одиссей.

— Вот те Христос, своем глазом видел! — божился Бубнов.— Мы как-то с Андрияшкой из-под Сулему бежали, под Камасином этих самых плёх и видели, совсем нагишом и в воде валандаются, как лягуши. Верно тебе говорю, хошь у кого спроси... Пиканники, те хитреные-мудреные, ежели их разобрать. Здесь все пиканники пойдут; наши заводские да чусовские в камнях остались.

Работы теперь было значительно меньше, чем в камнях, где постоянно приходилось то отрабатывать от бойцов, то перебивать струю. Река текла заметно медленнее, и только местами попадались перекаты. Иногда на широком плёсе можно было рассмотреть до десятка барок. Вообще картина получалась очень оживленная. Особенно была заметна резкая климатическая разница сравнительно с камнями: там зелень едва пробивалась, а здесь поля уже давно стлались зеленым ковром и на деревьях показались первые клейкие весенние листочки, точно покрытые лаком. Солнце начинало сильно припекать и даже жгло спину, особенно тем, которые были в одних рубашках.

— Который бог вымочил, тот и высушил,— говорил Кравченко, сильно прихворнувший на последней хватке после стеганья лычагами.

— Отчего сплавщики не заведут себе карты Чусовой, чтобы удобнее было запомнить течение, мели, таши и повороты? — спрашивал я у Савоськи.

— У нас один приказчик эк-ту тоже поплыл было с картой,— отвечал Савоська,— да в остожье[1] и заплыл...

Под селом Вереи, которое стоит на крутом правом берегу, наша барка неожиданно села на огрудок благодаря тому, что дорогу нам загородила другая барка, которая здесь сидела уже второй день. Сплавщики обеих барок ругнули друг друга при таком благоприятном случае, но одной бранью омелевшей барки не снимешь. Порша особенно неистовствовал и даже плевал в сплавщика соседней барки, выкрикивая тончайшим фальцетом:

[1] Остожьем называется загородка из жердей вокруг стога сена. (*Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.*)

— Не стало тебе, рыжей багане, места-то в реке, зачем дорогу загородил?

Рыжий сплавщик обиделся, что его назвали «баганой», и ответил в том же тоне, так что наш Порша даже завизжал от злости, точно его облили серной кислотой. Посыпалась горохом терпкая мужицкая ругань, в которой бурлаки обеих барок приняли самое живое участие.

— А тебе черт ли не велел держать правее? — оправдывался рыжий сплавщик.— За поясом, что ли, у тебя глаза-то были?

— Ах, рыжий дьявол!.. Ах, рыжая багана! — завывал Порша, неизвестно для какой цели бегая по барке с шестом в руках.

Наконец это даровое представление надоело той и другой стороне, нужно было подумать, как сниматься с огрудка.

— Чего тут думать: думай не думай, а надо запущать неволю,— решил Бубнов.— Вот мы с Кравченкой и пойдем загревать воду, только чтобы нам за труды по первому стакану водки...

«Неволей» называется доска длиной сажен в пять и шириной вершков четырех, она обыкновенно вытесывается из целого дерева. Таких неволь при каждой барке полагается две, они плывут у бортов.

— Надо бы подождать косных,— говорил Савоська,— да кабы долго ждать не пришлось...

— Где их ждать! — кричал Бубнов.— Они проваландаются с убившими барками до морковкина заговенья, а мы еще десять раз успеем сняться до них...

На огрудки садятся и самые опытные сплавщики, потому что эти мели часто появляются на таких местах, где раньше проход для барки был совершенно свободен. Обыкновенно в «сумлительных» местах плывут по наметке, постоянно меряя воду. В данном случае Савоська поздно увидел омелевшую барку, прикрытую мысом, так что не было никакой возможности вовремя отработать от огрудка. Омелевшая барка повернулась кормой на струю и таким образом загородила дорогу нашей; Савоська побоялся убиться о корму и «переправил». Бурлаки отлично понимали весь ход дела и не роптали на сплавщика, как водится в таких случаях у плохих и «средственных» сплавщиков.

— Ведь черт его знал, что он тут сидит! — рассуждали бурлаки, срывая злобу на чужом сплавщике.—

Кабы знать, так не то бы и было... Мы вон как хватски пробежали под Молоковым, а тут за лягушку запнулись.

— Все чистенько бежали, а тут грех вон где попутал... Ну, Порша, налаживай снасть.

Действие неволи при съемках барок заключается в том, что при ее помощи производят искусственную запруду: струя бьет в неволю, поставленную в воде ребром, и таким образом помогают барке сняться с мели. Когда спустят неволю, с другой стороны барку сталкивают чегенями и в то же время в соответствующем направлении работают поносными.

Наша барка зарезала огрудок правым плечом, оставив струю влево, следовательно, чтобы опять выйти в вольную воду, нам необходимо было отуриться, то есть повернуть корму налево, на струю, и дальше идти несколько времени кормой вперед. Порша отвязал от левого борта неволю и широким концом подвел ее к левому плечу; свободный конец неволи, привязанный к снасти, был спущен с кормового огнива так, чтобы струя била в неволю под углом. Чтобы произвести запруду, оставалось только повернуть неволю на ребро и удержать ее в этом направлении все время, пока барку с другой стороны, под кормовым плечом, бурлаки будут сталкивать чегенями. Работать на неволе — необходимо иметь известную сноровку и ловкость. Бубнов и Кравченко вызвались на неволю и, оставшись в одних рубахах, с ловкостью записных бурлаков разом очутились на колыхавшейся осклизлой доске. Бубнов укрепил свой чегень в дыре, какие сделаны на обоих концах неволи, и ждал, пробуя воду голыми ногами, когда Кравченко устроит то же самое с противоположным концом неволи. Добраться до этого конца, выходившего на струю, было нелегкой задачей; неволя под ногами Кравченко колыхалась и вертелась, как фортепьянная клавиша, пока он не добрался до конца, на который и сел верхом.

— Готово! — крикнул он, ожигаясь от холодной воды.

Человек двадцать были уже в одних рубашках и с чегенями в руках спускались по правому борту в воду, которая под кормовым плечом доходила им по грудь. Будущий дьякон был в числе этих бурлаков, хотя Савоська и уговаривал его остаться у поносных с бабами.

Но дьякону давно уже надоели остроты и шутки над ним бурлаков, и он скрепя сердце залез в воду вместе с другими.

— Мотри, не пожалей после,— говорил Савоська.— Твое дело не обычное, как раз замерзнешь... Вода вешняя, терпкая.

— Ничего, как-нибудь! — говорил дьякон дрогнувшим голосом; зубы у него так и стучали от холода.

У поносных остались бабы, чахоточный мастеровой и несколько стариков. Не идти в воду на съемке — величайшее бесчестие для бурлака, и только крайность, нездоровье или дряхлость служат извиняющим обстоятельством.

Когда бурлаки выстроились с чегенями под правым плечом, Бубнов затянул высоким тенором припев «Дубинушки»:

Шла старуха с того свету,
Половины ума в ей нету...

Дружно подхватили бурлаки: «Дубинушка, ухнем...», и громкое эхо далеко покатилось по реке голосистой волной. В этот момент Бубнов с Кравченкой поставили неволю ребром, поносные ударили нос налево и барка немного подалась кормой на струю, причем желтый речной хрящ захрустел под носом, как ореховая скорлупа.

— Ишшо разик, навались, робя!! — неистово кричал Гришка, как медведь наваливаясь на свой чегень.— Идет барка...

— Как же, пошла... Держи карман шире!..

Несколько раз начинали «Дубинушку», повертывая неволю ребром, но толку было мало: барка больше не двигалась с места. Когда неволя вставала к воде ребром, напором воды гнуло ее, как туго натянутый лук, а конец постоянно вырывался кверху, так что Кравченке приходилось сильно балансировать на нем, как на брыкающейся лошади. Раза два он чуть не слетел в воду, где его утащило бы струей, как гнилую щепу, но он как-то ухитрялся удержаться на своей позиции и не выпускал чегеня из закоченевших рук. Бурлаки с чегенями скоро были мокры до ворота рубахи, лица посинели, зубы начали выбивать лихорадочную дробь. Но все крепились, потому что на соседней барке

шла точно такая же работа с неволей и неизменной «Дубинушкой».

Над Чусовой быстро спускались короткие весенние сумерки. Мимо нас проплыло несколько барок. Воздух похолодел; потянуло откуда-то ветерком. Искрившимися блестками глянули с неба первые звездочки. Бурлаки продрогли и начали ворчать. Недоставало одного слова, чтобы все бросили работу.

— Околевать нам, что ли, в воде?..— отозвался первым пожилой мужик с длинным, изрытым оспой лицом.— И то умаялись за день-то...

— Братцы! Еще разик ударьте! — упрашивал Савоська.— По стакану на брата... Ей, Порша, подноси! Только не вылезайте из воды, а то простоим у огрудка ночь, воду опустим, кабы совсем не омелеть.

Порша с бочонком обошел бурлаков, поднося каждому стакан водки. Корявые, побелевшие от холодной воды руки подносили этот стакан к посинелым губам, и водка исчезала.

— Валяй по-другому, Порша! — скомандовал Савоська, тревожно поглядывая на темневшую даль.

Снова «Дубинушка» покатилась по реке, но барка не двигалась, точно она приросла к огрудку.

— Ну, шабаш, ребятки! — проговорил Савоська.— Утро вечера мудренее. Что буди — будет завтра, а то и в самом деле не околевать в воде.

— О-го-го-го!..— гоготал Кравченко в темноте, прыгая на конце неволи.

— Повертывай неволю, Кравченко... Шабаш...

Все бурлаки продрогли до последней степени, и вдобавок им нечем было заменить своих мокрых рубах: приходилось их высушивать на себе. Весь костюм у большинства состоял из одной рубахи и портов с маленьким дополнением в виде какого-нибудь жилета, бабьей кацавейки или рваного халата.

— Отчего нет огня на берегу? — спрашивал я у Савоськи.

— Погоди, бабы разведут... Вдруг-то нельзя, из ледяной воды да к огню: сразу обезножеешь; надо сперва так согреться, а потом уж к огню. Вот я им плепорцию задам сейчас.. Порша, дава-кось по два стаканчика на брата, согреть надо ребят-то.

Бедного дьякона после полуторачасовой ледяной ванны трепала жестокая лихорадка, против которой

были бессильны даже такие всеисцеляющие средства, как ром и коньяк.

— Зачем вы не остались у поносного? — спрашивал я его, когда мы в казенке пили чай.

— Совестно было... Засмеют бурлаки.

— А теперь как себя чувствуете?

— Одеревенел весь... Голова болит.

Я предложил дьякону сейчас же натереться водкой и лечь спать в нашей каюте. К утру бедняга не мог поднять головы, у него открылся жесточайший тиф. Как провели эту ночь работавшие в воде бурлаки — трудно себе представить. Ранним утром, с пяти часов, они были опять по горло в воде, и опять «Дубинушка» далеко катилась вверх и вниз по Чусовой. К довершению нашего несчастья рыжий сплавщик снял свою барку и уплыл на наших глазах. Скоро поплыли мимо нас одна барка за другой; обидно было смотреть на это движение, когда самим приходилось сидеть на одном месте.

— Вода на вершок спала...— со страхом сообщал Порша сплавщику.

Савоська сам сделал необходимые промеры; действительно, вода начинала спадать и грозила серьезная опасность совсем обсохнуть на огрудке.

— Что будем делать? — спрашивал я Савоську.

— Чего делать-то... Придется, видно, воротом орудовать.

— А отчего не хочешь сделать разгрузку?

— Вода уйдет, да и бурлакам эти разгрузки нож вострой: в воду лезут, а перегружать барку хуже им смерти.

Съемка омелевших барок воротом запрещена законом ввиду тех несчастных случаев, какие могут здесь произойти и происходили. Ворот все-таки продолжает существовать как радикальное средство. Обыкновенно вкапывают на берегу столб, на него надевают пустую деревянную колодку, к колодке прикрепляют крест-накрест несколько толстых жердей, и ворот готов, остается только наматывать снасть на колодку.

Когда к вороту станут человек шестьдесят, сила давления получается страшная, причем сплошь и рядом лопается снасть. В последнем случае народ бьет и концом порвавшейся снасти, и жердями самого ворота. Бурлаки, конечно, отлично знают все опасности работы

воротом, и, чтобы заставить их работать на нем, прежде всего пускают в ход все ту же водку, этот самый страшный из всех двигателей. Субъектам вроде Гришки, Бубнова и Кравченки работа воротом — настоящий праздник.

— Ворот надо налаживать! — кричали бурлаки, которым надоело стоять в воде.— Околели совсем...

— Ну, ворот так ворот... Нечего, видно, делать...

Устроить ворот на берегу было дело полутора часа. Когда он совсем был готов, к барке подкатил Осип Иваныч на своей косной. Первым делом он, конечно, накинулся на сплавщика, обругал по пути Поршу, затопал ногами на бурлаков.

— Я вас всех, подлецов, в один узел завяжу!!.— неистовствовал он в качестве предержащей власти.— Не успел отвернуться, как ты уже и на мель сел?.. А?.. Я разве бог?.. а? Разве я разом могу на всех барках быть... а? Что-о?.. Бунтовать?.. Сейчас с чегенями в воду...

— Мы ворот наладили, Осип Иваныч,— заметил Савоська.

— Вздор!.. Сейчас сломать все! В воду! Все в воду!.. Ах, мошенники, подлецы! Я разве бог, что могу везде поспеть и все устроить!..

Осип Иваныч был пьян еще со вчерашнего дня и сам не понимал, что говорил и чего требовал. Эту расходившуюся власть кое-как усадили обратно в лодку и отправили дальше.

— Поедемте в Верею! — предлагал он мне.— Отлично кутнем... Я уже заказал, чтобы баня была приготовлена и всякое прочее... Ха-ха... Не хотите? Ну, до свидания... В Перми увидимся. Меня найдете в первом трактире...

При помощи ворота мы через несколько часов работы наконец снялись с державшего нас огрудка и поплыли дальше.

До Чусовских Городков от деревни Камасино Чусовая идет в красивых холмистых берегах. Там и сям на берегу стоят красивые деревни, зеленой лентой развертываются поля. Лес является только промежутками и не сплошной стеной, как в камнях. В заводях начали попадаться стаи уток и пары лебедей. На Чусовой эту красивую птицу почти совсем не стреляют, и мне случалось видеть лебединые стаи штук в пятьдесят, притом

в двух шагах от селенья. Омелевшие барки были теперь таким же заурядным явлением, как в камнях «убившие». Около них дыбом вставала «Дубинушка» и тяжело бурлили неволи. В двух местах барки перегружались, в третьем снимали барку воротом. Глядя на этот каторжный труд, нельзя было не согласиться с бурлаками, что уж лучше плыть в камнях, чем здесь.

Нижние и Верхние Чусовские Городки, расположенные в четырех верстах одни от других,— одни из самых красивых чусовских сел. С ними связаны самые старинные сведения о фамилии Строгановых, для которых эти села долго служили самым крепким гнездом и ключом ко всей Чусовой. Здесь отсиживались Строгановы от нечаянных нападений разных недоброжелательных соседей и отсюда же спарядили Ермака в его знаменитый сибирский поход. В настоящее время Чусовские Городки представляют только исторический интерес. Местность кругом открытая. Чусовая течет здесь широким плёсом. Издали приятно смотреть на это «усторожливое» местечко, на каких наши предки любили селиться в то беспокойное, тревожное время.

Пониже Чусовских Городков, на высоком левом берегу, стоит красивое село Монастырек. Глядя на него с Нижних Чусовских Городков, так и кажется, что все село с своей красивой белой церковью точно висит в воздухе. Здесь в XVI столетии подвизался преподобный Трифон, миссионер, действовавший в духе Стефана Великопермского. Он несколько времени жил среди остяков, на берегу р. Мулянки,— впадает в Каму ниже Перми,— где срубил и сжег громадную ель, которой молились остяки. Вскоре он переселился в Чусовские Городки и основал Успенский монастырь на том месте, где теперь стоит село Монастырек. Здесь преподобный Трифон прожил десять лет и принужден был оставить выбранное место по настоянию Строгановых. Передадим последний эпизод словами протоиерея Евгения Попова, заимствуя следующую выноску из его книги «Великопермская и Пермская эпархии (1379—1879 гг.)»:

«Здесь (в Монастырьке) Трифон подвергся страшной опасности. Чтоб иметь свою пашню для устроенного монастыря, он стал сжигать пни и корни дерев около своей хижины. А тут случилась буря. И вот произошел пожар, от которого сгорели дрова, приготовленные на

солеваренные заводы Строганова! (Дров сгорело до трех тысяч сажен.) Жители вооружились. Когда Трифон сидел на высоком берегу Чусовой, опустив ноги, вдруг они столкнули его вниз. По страшной крутизне покатился угодник божий. Но господь, сохраняющий *пришельцы* (Псал. 145, 9), сохранил его жизнь. Он нашел себе на берегу лодку и без всякого весла переплыл на другую сторону. Строганов заковал его в железа, вместо того чтоб в столь необыкновенном пожаре видеть божие посещение. Но дня через четыре сам подвергся, по предсказанию преподобного, оковам от царских послов. Вразумленный этим обстоятельством, которое не без труда мог поправить, Строганов тотчас дал свободу преподобному и испросил у него прощение; однако советовал Трифону уйти из своих вотчин».

От Чусовских Городков до устья Чусовой с небольшим сто верст. Здесь берега реки совершенно пустынны, так что в одном месте на расстоянии восьмидесяти верст встречается один починок в три двора.

На девятый день наш караван привалил в Пермь, недосчитывая шести убитых и омелевших барок.

XVIII

Пермь — самый глухой губернский городок, особенно зимой. Но с открытием навигации он сильно оживляется, особенно во время сплава караванов, когда в Перми скопляется до десяти тысяч бурлаков, набирающихся сюда со всех притоков глубокой Камы. Около Перми весь берег всплошную уставлен привалившими сюда барками, которые с берега рядом с баржами и пароходами кажутся просто жалкими суденышками. По пермским улицам с утра до вечера ходят ватаги бурлаков. Слышатся пьяные песни, ругань, треньканье балалайки. В кабаках и харчевнях яблоку упасть негде. Большинство бурлаков получает в Перми окончательный расчет и спешит пропить в первом кабаке последние гроши. Что будет дальше — бурлак не думает, и мы не обвиним его за эту отчаянную гульбу, которой он наверстывает все те лишения и невзгоды, какие перенес на весеннем сплаву.

Главным центром, где собирается камская бурла-

чина, служит Черный рынок. Это недалеко от пристаней и в центре города. Сам по себе Черный рынок, как вместилище непролазной грязи, специально пермской вони от полусгнивших знаменитых сигов и всяческого тряпья, на которое страшно смотреть, этот рынок заслуживает подробного описания, если бы мы захотели угостить читателя картинами во вкусе реалистов последних дней. Но грязь, вонь и тряпье такая необходимая принадлежность всех городских рынков, что мы не считаем нужным входить во все подробности описания этой живой клоаки. Бурлаки на Черном рынке стоят стеной с утра до ночи. Народ собрался сюда с нескольких губерний, говорит на нескольких языках и наречиях, но все это разнообразие великой нивелирующей силой нужды подогнано под один основной тип жалкого, оборванного бурлака. О подразделениях этого типа на заводских мастеровых, поречных, сельчан и инородцев мы уже говорили выше.

Я долго толкался в этой гудевшей, как расшевеленное гнездо шмелей, толпе. Заветревевшие, запеченные лица, покрытые какой-то бурой корой, тупой апатичный взгляд, растрескавшиеся губы, корявые руки — все это красноречивее всяких описаний говорило за те беды и напасти, которые должен пережить каждый бурлак, прежде чем попадет сюда, то есть на Черный рынок, это обетованное место, настоящий бурлацкий рай для всех Гришек, Бубновых и Кравченков. «Здорово погуляли в Перме...» — с удовольствием будет вспоминать каждый бурлак в течение восьмимесячной глухой зимы. А все бурлацкое «погулять» сводится на одну водку, которую он пьет в ужасающем количестве, пьет, пока есть деньги или пока не свалится с ног. Душа — мера этому отчаянному разгулу, созданному самой отчаянной, специально бурлацкой бедностью. Наесться вонючего сига, которого не будет есть самая голодная собака, набить брюхо весовым сырым хлебом — это уже роскошь.

Тут же на Черном рынке есть белая харчевня. Когда я проходил мимо, меня окликнул знакомый голос. Это был Савоська. Его русая кудрявая голова выставлялась в окно, и он улыбался мне.

— Заходите, барин, чайку попить со сплавщиками,— предлагал Савоська.

Белая харчевня стояла на солнечной стороне рынка,

ее содержал разбитной ярославец, малый лет сорока, в белой ситцевой рубашке с крапинками и с налощенными кудрявыми волосами. У этого субъекта совсем не было шеи, и хитрая ярославская голова приросла прямо к плечам; но, несмотря на такой органический недостаток, ярославец обладал замечательной подвижностью, как ученая собака, смотрел прямо в глаза и к каждому слову прибавлял самое деликатное *с*. Несмотря на плутоватость хозяина, белая харчевня была непроходимо грязна, так что ее можно смело было назвать черной или грязной. Зеленые, захватанные стены, облупившийся потолок, покрытая черными слоями грязи мебель — все говорило о неприхотливых вкусах посетителей этой харчевни.

Савоська сидел в углу за столом со своей подругой. На грязной салфетке, стоявшей коробом, помещалась пара чаю. Соседние столики были заняты тоже пившими чай сплавщиками. Народ был все плотный, дюжий. Очевидно, они только что успели получить расчет с хозяев и теперь благодушествовали в свою вольную волюшку. Красные лица и покрытые маслянистой влагой глаза красноречиво свидетельствовали о том, что сплавщики, кроме чая, успели попробовать и *чаихи*.

— Расчет, видно, получили? — спросил я Савоську, усаживаясь к столику.

— Точно так, сполна получил. Сейчас в кармане две четвертных бумажки лежат... Ей-богу!.. Вот хошь у Степаньки спроси...

— Удержатся — не удержатся до послезавтра,— ответила Степанька, та самая шустрая бабенка, которая работала у нас на передней палубе.

— Нет, я зарок на себя положил! Погуляю два дни и зашабашу. Остатошные деньги все домой понесу...

— Больно много, пожалуй, не донесешь...

— Ну, ну... Ежели теперь у меня зарок? Да я хошь сейчас икону со стены сниму... А вы, барин, видели Осипа-то Иваныча нашего?

— Нет.

— Шабаш... закурил... Сейчас от него. Сидит в гостинице, девчонка с ним с Пашкиной барки, и таку компанию завели — разливанное море. Всякого водкой накачивает, только пей. Я, грешный человек, впервой разрешил у него: ошарашил-таки стаканчика три.

Водка не водка, а такое вино забористое... Любит попировать наш Осип Иваныч!

— Да ведь нужны деньги, чтобы пировать?

— На вот... С караваном плыть да денег не добыть? Что ты, барин... Да разве Осип-то Иваныч без рук или без глаз? Он каждый раз уйму денег заворачивает со сплаву...

— Кажется, жалованье у него небольшое?

— Ах, барин, барин... Какое тут жалованье, да разе караванные жалованьем живут? Ха-ха... Взять Семена Семеныча или Осипа Иваныча, да по ихней жисти им тысячное жалованье надо класть, и того не прохватит.

— Теперь взять хоть приказчиков с других пристаней,— продолжал Савоська,— все та же музыка... Они вместе с нашим-то Осипом Иванычем пируют, потому как, значит, у всех у них денег невпроворот. Ей-богу!.. Где нашему брату горе да работа — им нажива! От каждой убившей барки сколь они денег наживут да от обмелевших. Везде надобна работа, а поди усчитайка его... Не побежишь за ним по берегу-то досматривать: што написал, то и ладно! Ведь теперь омелевшую барку надо сымать, надо людей — вот он и пишет сколько влезет, а об убивших говорить нечего: там, первое дело, рабочих не рассчитают — ступай, с чем остался, потом металл надо добывать из-под бойца, из воды — опять прибыток, потом сколь металлу недосчитывают, когда добывать из воды его станут,— с кого возьмешь. Вот оно куда хватило: изо всякой дыры караванным деньги лезут... Уж это верно!.. А еще ты возьми нынешний сплав, сколь мы дней простояли изза воды, рабочим должны поденное платить — опять тебе нажива... Уж я тебе говорю, только умей брать, а деньги — как вешняя вода на наших караванах. А привалили на место, примерно сказать в эту самую Пермь, надо делать рабочим окончательный расчет: тому недодал полтинника, с другого штраф вычел, третьего совсем не рассчитал — опять тебе прибыль... Так? А разе бурлак может что с приказчика искать, когда они за лишние дни рядились в лесу, без всякой бумаги?

Савоська сильно захмелел. Свою сожительницу он послал на рынок за какими-то покупками, а сам все пил стакан за стаканом невообразимую бурду, которую ярославец подавал за настоящую вишневую наливку.

— Ты бы уж лучше водку пил! — посоветовал я ему.

— Всему свое время: и водка от нас не уйдет... Гуляй, душа! Ха-ха... А ты помнишь, как меня Осип Иваныч тогда взашей с лестницы спустил? Я ведь тебя видел тогда, и совестно мне было такой срам принимать при чужом человеке... А Осип Иваныч такой же пьяница, как и мы, грешные. Небойсь ничего не останется, все пропьет дочиста. У других домá как грибы растут, а он только опухнет от сплаву... Ей-богу!..

— Зачем же ты пьешь-то, Савоська?

— Я-то?..

Савоська опустил свою кудрявую голову и задумался. Сквозь запыленные стекла лезли в комнату ласковые весенние лучи, делая грязь обстановки харчевни еще грязнее. Где-то катилась бесшабашная бурлацкая песня. Муха билась о стекло головой и звенела, как слабо натянутая струна. Около сплавщиков на столиках появились бутылки с разноцветными наливками, лица сделались еще краснее и покрылись точно жирным лаком. От разговоров стоял в комнате громкий бессвязный гул. Делалось невыносимо жарко и душно, точно в жарко натопленной бане. Я хотел уже уходить, но Савоська удержал, упрашивая остаться еще на минуточку.

— А ты любишь песни, барин?.. — неожиданно спросил Савоська, точно просыпаясь.

— Люблю. А что?

— Да так... Я одну тебе спою, нашу пристанскую. Мастак[1] я песни-то был петь прежде, вся пристань наша слушает, бывало, как Савòська поет...

Приложив руку к щеке, Савоська затянул богатейшим грудным тенором:

Ох, с по горам-горам,
Да с по высокием —
Там молодец гулял...

Все, что было в комнате, сразу затихло и затаилось. Проголосная песня полилась хватающими за душу переливами, как та река, по которой мы еще недавно плыли с Савоськой. Она, эта песня, так же естественно

---

[1] Мастак — мастер. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

вылилась из мужицкой души, как льются с гор весенние ручьи. Простором, волей, молодецкой удалью веяло от этих бесхитростных, но глубоко поэтических строф, и, вместе, в них сказалось такое подавленное горе, та тоска, которая подколодной змеей сосет сердце. Вся эта окружавшая нас грязь, эти потные пьяные лица — все на время исчезло, точно в комнату ворвался луч яркого света...

— Да откудова ты, леший тебя задери? — спрашивал мужик с встрепанной головой, начиная трясти Савоську за плечо.— Этакой черт... А?..

— Нет, не могу больше...— глухо проговорил Савоська, обрывая свою песню.— А прежде хорошо певал...

Сплавщики начали приставать к нему с угощением. Савоська не отказывался и залпом выпил несколько стаканчиков отчаянной сандальной наливки.

— А ведь прежде Савоська не был пьяницей, барин...— заговорил он, точно стараясь что-то припомнить.— Нет, не был... Справный был мужик, одно слово: чистяк-парень, хошь куды поверни. Да...

После короткой паузы Савоська, пододвинувшись ко мне, проговорил сдержанным полушепотом:

— А знаешь, барин, отчего Савоська пьяницей сделался?

— Нет.

— Да, пьяница, сам вижу, самому совестно, а не могу удержаться: душеньку из меня тянет, барин... Все видят, как Савоська пьет, а никто не видит, зачем Савоська пьет. У меня, может, на душе-то каменная гора лежит... Да!.. Ох, как мне тяжело бывает: жизни своей постылой не рад. Хоть камень да в воду... Я ведь человека порешил, барин! — тихо прибавил Савоська и точно сам испугался собственных слов.

— Как порешил?

— Да так: взял обух да живого человека и давай крошить... Верно!... Только давно это было, годов с двадцать тому времю быть. В те поры я еще совсем молодой парень был, хоть из подростков и вышел. Ну, было этак по двадцатому году, надо полагать. Не упомню хорошенько-то. Больно давно!.. Ну, у меня отец сплавщиком был на Каменке и меня выучил плавать на барке. У нас весь род сплавщики. Хорошо. Пониже Каменки есть пристань Утка, на ней жил у меня дядя,

Селифоном звали. Тоже сплавщиком был. Только карахтером этот Селифон был очненно уж строг: как огня его все боялись в нашей-то родне. Ну, вот этак перед пасхой, значит, самой дело было, отец мне и говорит, чтобы я съездил на Утку к дяде. Делишко маленькое было. У нас в допрежние времена насчет родительской воли была строжина: как сказал, все равно что отрубил. Поехал я на Утку, приезжаю, сделал, что наказывал отец,— надо домой ехать. А Селифон и говорит: «Савоська, оставайся у нас на пасху...» Ну, я было туда-сюда,— нет, дядя и слышать ничего не хочет. Видишь, тетка его подбила удержать-то меня, потому у них свадьба затевалась, дочь выдавать хотели. А мне не хотелось тогда на этой Утке оставаться, до смерти не хотелось — дядю Селифона я очень любил, да на Каменку меня уж больно тянуло: зазноба у меня там осталась. Хорошо. Перечить дяде не смею, остался. Пришла пасха. А надо тебе сказать, что в нашем роду все по старой вере, по беспоповщине. Старики да старушки у нас все справляют, что следовает. Хорошо. Вот на первый день пасхи собралось много наших староверов у дяди, старики отслужили свою службу, а когда лишний народ разошелся, сели мы разговляться: я, дядя Селифон, два старца, которые служили за попов, да тетка с дочерью. Сидим, разговляемся, все как следовает по порядку, а тетка наливает мне стакан водки и подносит: «Поздравь, говорит, дядю с праздником...» А я в те поры насчет этой водки ни-ни, ни единой капли в рот не брал. Ну, зачал я отпираться от водки, а тетка давай меня стыдить. Известно, старуха сама пропустила стаканчик и разгулялась... Дядя-то тоже смеется надо мной, что какой из меня сплавщик будет, коли я водки не умею пить. Ну, я и ожёг первый стаканчик, а потом, как забрало, другой. С непривычки-то у меня так столбы в башке и заходили, весело таково сделалось. Только сидим мы этак, разговляемся, а дядя-то Селифон и говорит тетке: «Мать, где у нас Федор?» А тетка этак ему сердито ответила: «Где ему, Федьке, быть, на сарае дрыхнет...» Дяде теткины-то слова и не поглянись, взбурил он на нее, как матерый волчище, а сам опять свое: «Надо позвать Федьку разговляться, а то нехорошо: сегодня всем праздник». А надо тебе сказать, что этот самый Федька был первый разбойник в наших местах,— продолжал Савоська.— Я о нем

раньше-то слыхивал много, а видеть не видывал. Федька-то был с ... заводов, из мастеровых. Ну, тогда еще все за барином жили, Федька и угодил в разбойники. Случай такой у него вышел с одним приказчиком... Полюбилась Федьке одна девка, а приказчик взял ее себе в плёхи силком. Тогда ведь этакие дела просто делались: подневольный был народ... Обнаковенно, Федьке это не по нутру пришлось, он и полыхнул приказчика ножом, а сам в лес, да в лесу и проживал, а по зимам у знакомых раскольников перебивался. Вот у дяди-то Селифона он частенько бывал... А в те времена за пристанодержательство страсть как доставалось: в остроге сгноят. Ну, Федька попервоначалу жил, как следовает, не обижал своих, а потом, как изварначился, и зачал шутки шутить над знакомыми раскольниками: приедет ночью, прямо в ворота: «Отворяй ворота!» Отворили. «Не хочу, разбирай забор!» Помнутся, помнутся, поругаются, а делать нечего — и забор разберут, потому с Федькой шутки плохие. Так Федька-то и галеганился над мужиками с год, этак сказать, ну и над дядей тоже, над Селифоном. А тут еще статья особенная подошла: у дяди, значит, у Селифона, дочь у его была, Матреной звали, красивая девка из себя, вот она возьми да с Федькой и сживись... Ну, дяде-то Селифону это уж нож вострый: Федьку-то он примал из милости, а уж дочь отдавать за разбойника — это другой разговор. Крут был дядя-то, вот он и удумал штуку над Федькой сделать...

— Только я про эти самые дела в долгом времени узнал, после уж, когда Матрена-то замужем была. Ее и замуж поскорее отдали, чтобы прикрыть Федькин грех, так, за пропащего парня и отдали. Ну, так сидим это мы за столом, а в избу и входит Федька... В красной рубахе, в бархатных шароварах — чистяк-парень, одно слово. Высокой, в крыльцах широкой, из себя молодчина, хоть куды повернуть. Было ему тогда лет за тридцать с небольшим. Ну, усадила тетка этого Федьку за стол, а дядя принялся его накачивать водкой: и ему подносит и сам пьет, и я, глядя на них, хлещу тоже водку. Хорошо... А потом, мало за малым, и зачался промежду них разговор... Дядя-то Селифон и давай корить Федьку за все про все, так напрямки ему и катит. Федька сидит и все молчит, а дядя отчитывал-отчитывал ему, а потом как схватится да как полыхнет

Федьку по уху!.. Здоров был этот Селифон, как медведь, лошадь кулаком с ног сшибал. Ну, как Федьке прилетело в ухо, он соскочил, сгреб со стола нож да с ножом на дядю... Тут и пошла кутерьма!.. Один старичонко ухватился Федьке за руку, а дядя опять в другое ухо. И схватились они втроем за Федьку, а Федька — куды тебе! — как зачал стариками поворачивать, у Селифона-то только седая борода мелькает. Ведь совсем зачал Федька одолевать стариков, могутный из себя парень, ну куда с ним старикам справиться. А тетка сперва убежала из избы, а потом, как увидела, что Федька насел совсем на стариков, как закричит: «Савоська, ты чего глядишь... Бей Федьку!..» А я все время дураком сидел и рукой не касался, а тут сразу расстервенился да как брошусь в кучу к старикам. Уж хорошенько и не помню, как мне топор в руки попал, надо полагать, тетка же и подсунула, я и давай благословлять обухом Федьку... Увидал он, что дело плохо,— в окошко, а старики уцепились за него, как клещи, ну он и их за собой в окошко вытащил. Ну, тут уж за окошком-то я его, Федьку, и прикончил... После положили на дровни да в лес. Так я и порешил Федьку, барин! Как теперь вижу: прямо по затылку как пластнул обухом — так Федька и покатился по земле...

— Воротился я после этого самого случая домой,— продолжал Савоська.— Ну, сперва-то немножко сумлительно было, блазнило Федькой, а потом все прошло. Даже ведь и забыл об ём, точно не я его и порешил. Хорошо. А тут меня женили на зазнобе на моей, на Аннушке. Эх, хороша была девушка Аннушка, барин, а вышла — еще стала краше да лучше. Вся пристань на нас, бывало, любуется... Хорошо ведь и со стороны глядеть, как люди душа в душу живут, как два голубя. Отец у меня скоро помер, остался я в дому полным хозяином, все у нас есть с Аннушкой, все спорится: живем да радуемся. Этак годов с восемь мы прожили, уж мальчонка сынишка у меня стал подрастать... Тут вот моей Аннушке что-то и попритчилось: сглазили ее, что ли, только стала она сохнуть — как все равно свеча тает. Уж лечили-лечили мою Аннушку — и лекарки, и знахарки, и старики знающие: нет ей легче, и шабаш! И взяло тогда меня горе, барин, такое горе, хоть руки на себя наложить, больно я любил мою Аннушку... Чтобы там пальцем ее пошевелить, как другие-прочие

делают,— ни боже мой! Год она, сердечная, маялась... Спросишь: «Где болит, Аннушка?» — «Нигде у меня не болит»,— ответит, а сама так ласково-ласково смотрит. Глаза-то у ней стали большие-большие; взглянет ими, вот как обожгет по сердцу... Пошло дело к весне, заиграла вода, начала совсем чахнуть моя Аннушка... Только однажды она мне и говорит: «Савося, не жилица я на белом свете, не топтать мне, видно, зеленой травушки, помру я скоро... Скажи мне одно, Савося, нет ли у тебя на душе какого греха?» Как она это самое слово промолвила, у меня точно что оборвалось: Федька-то мне тогда и вспал на ум... Ну, покаялся я Аннушке в своем грехе, усмехнулась она и говорит: «Это за *него* меня господь наказал...» Тут подошел сплав, я убежал с караваном, а Аннушка без меня и душу богу отдала. Остался я один-одинешенек, и так-то мне сделалось тошнехонько, что и сказать тебе не умею. Ну, а тут уж нашлись дружки-приятели, давай утешать, а какое у нас утешение: кабак... Стал я похаживать в кабак, отбился от работы, люди дивуются, как я дом свой зорю, меня бранят да ругают. А на что мне дом, когда я и жизни своей постылой не рад? И чем дальше я пью, тем Федька предо мной неотступнее: вижу его, как живого вижу, вот как теперь вижу тебя. Сначала все по ночам он приходил ко мне, а потом и днем... И молиться я принимался, и на скиты старицам подаяние посылал, и эпитимию на себя накладывал: не идет Федька у меня с ума, и шабаш! Жену у меня бог отнял из-за него, сынишка ушел за матерью, а теперь он за мной пришел... Только мне и легче, когда я песни пою! Может, это и грешно, да уж на сердце-то тошнехонько... Хорошо я певал, когда молодым был, а тут как выпью, пойду по улице и зальюсь: вся улица слушает, по которой иду. Старики-то которые да старухи и осудят меня за мои песни: «Вино в Савоське поет!», а того не подумают, что не вино во мне, а мое горе горькое поет... И тяжело мне и хорошо, когда пою!

Савоська задумался и опустил голову. По лицу у него катились пьяные слезы.

— Ходил я к одному старцу, советовался с ним...— глухо заговорил Савоська.— Как, значит, моему горю пособить. Древний этот старец, пожелтел даже весь от старости... Он мне и сказал слово: «Потуда тебя Федька будет мучить, покуда ты наказание не примешь... Сту-

пай, говорит, в суд и объявись: отбудешь свою казнь и совесть найдешь». Я так и думал сделать, да боюсь одного: суды ноне милостивы стали — пожалуй, без наказания меня совсем оставят... Куда я тогда денусь?

Через полгода я прочел в газетах заметку о крестьянине Севастьяне Кожине, который сам явился в ...ской суд и сознался в убийстве. Это был Савоська. Присяжные вынесли ему оправдательный вердикт.

Компания «Нептун» через год ликвидировала свои дела, заплатив своим акционерам по пять копеек за рубль.

22 Заказ 316

ЗОЛОТУХА

Очерки приисковой жизни

I

С широкого крыльца паньшинской приисковой конторы, на котором смотритель прииска Бучинский, по хохлацкой привычке, имел обыкновение отдыхать каждое послеобеда с трубкой в зубах, открывался великолепный вид как на весь Паньшинский прииск, так и на окружавшие его Уральские горы. И прииск и горы были «точно поднесены к конторе», по меткому выражению приисковой стряпки Аксиньи.

Уральские горы спускаются в сторону Азии крутыми уступами, изрытыми массой глубоких логов, оврагов и падей. На север от Уральской железной дороги горы начинают подниматься выше, и по дну логов бойко катятся безыменные горные речушки, которые образуют собой живую подвижную сетку. Лозьва и Тура принимают в себя такие горные реки тысячами; речка Панья, на которой расположился Паньшинский прииск, впадает в Туру, предварительно сделав сотни самых мудреных колен, поворотов и извилин. С крыльца приисковой конторы прииск представлял глубокий овраг, сдавленный с обеих сторон довольно высокими лесистыми горками; по самому дну этого лога прихотливыми извивами катится Панья. Вероятно, год назад она совсем была затянута кустами ивняка, ольхой, смородиной и густой, ярко-зеленой осокой, а теперь берега ее совсем обнажены, и только кой-где по ним валяются кучи покрасневшего на солнце хвороста, свежие бревна и маленькие поленницы новых дров. Сейчас за конторой, которая занимает пригорок, берега Паньи на протяжении двух верст изрыты на все лады, точно здесь прошел какой-то гигантский крот. Вообще, вся эта масса взрытой без всякого плана и порядка земли походила скорее на слепую работу стихийных сил, чем на результат труда разумно-свободного существа, как определяют человека учебники логики и психологии. По бокам прииска тянутся грядой

громадные свалки из верховых пластов, не содержащих золота; желтые валы перемывок, то есть промытого песку, чередуются с глубокими выработками, где добывается золотоносный песок, рядами шурфов, походящих на только что вырытые могилы, и небольшими мутными прудками, которые Панья образовала там и сям по своему теченью. Мутная вода этих прудов при помощи канав и деревянных желобов проведена к самым далеким частям прииска, где поднимаются свои перемывки и свалки. Присутствие людей оживляло всю картину и при ярком солнечном освещении делало ее даже красивой, как проявление самой кипучей человеческой деятельности. Пестрые кучки старателей были рассыпаны по всему прииску, по ним можно было определить положение вашгердов, на которых совершалась промывка песков. В выработках, куда въезжали и выезжали приисковые двухколесные тележки-таратайки, можно было рассмотреть только одни мужские головы, в валеных шляпах и фуражках, а около вашгердов суетилась голосистая пестрая толпа женщин. В глубине прииска, где дорогу Панье загородила невысокая каменистая горка, виднелась довольно сложная золотопромывательная машина; издалека можно было разобрать только ряды стоек и перекладин, водяное колесо и крутой подъем, по которому подвозились на машину пески. Люди, работавшие на машине, казались с крыльца конторы муравьями, а когда на подъем взбиралась таратайка, то лошадь можно было принять за комнатную муху. Рядом с промывкой весело попыхивала паровая машина; из высокой, тонкой трубы день и ночь валил густой черный дым, застилавший даль темной пеленой.

По бокам прииска, под прикрытием дремучего ельника, лепились старательские балаганы и землянки; кое-где около них курились веселые огоньки и суетились женщины, а в густой зеленой траве, на которой паслись спутанные лошади, мелькали белые детские головки. С внешним миром прииск соединялся извилистой узкой дорогой, которая желтой змейкой взбегала мимо приисковой конторы на крутой увал и сейчас же терялась в смешанном лесу из елей, сосен и пихт. На западе, из-за зубчатой стены хвойного леса, придавленной линией, точно валы темно-зеленого моря, поднимались горы все выше и выше; самые дальние из них были окрашены густым серо-фиолетовым цветом. Вся эта кар-

тинка прииска была вставлена в темно-зеленую раму дремучего хвойного леса, заполонившего все кругом на сотни верст. Гордо поднимали свои пирамидальные вершины столетние, поседевшие ели; воздушными стрелками, как готические башенки, летели прямо в небо молодые бархатные ели, и, широко раскинув свои могучие ветви, светло-зелеными шапками поднимались над всем лесом старые листвени. От этого непролазного, угрюмого северного леса веяло первобытной стихийной силой, которую не в состоянии сокрушить ни сорокаградусные морозы, ни трехаршинные снега, ни убийственный северо-восточный ветер, который заставляет деревья поворачивать свои ветви к далекому благословенному югу.

— У нас работа — как вода в котле кипит,— самодовольно говорил Бучинский, любуясь после обеда картиной прииска.— Человек триста работают... Да. Усим хлиб даемо. А сколько пользы государству приносим? Хе-хе!.. Золото... Всем золото треба, все его шукают... пхе! А оно у нас под носом... Пхни рылом землю, вот и золото.

Фома Осипыч, как все хохлы, после обеда впадал в философское настроение и любил побеседовать на тему о государственной пользе. Его круглое прыщеватое лицо с свиными глазками, носом луковицей и длинными казацкими усами подергивалось в эти минуты жирным блеском, и по толстым, отвислым губам блуждала самодовольная улыбка человека, который не желает ничего лучшего. Кто был Бучинский сам по себе, какими ветрами занесло его на Урал, как он попал на приисковую службу — покрыто мраком неизвестности, а сам он не любил распространяться о своей генеалогии и своем прошлом. На прииске Бучинского не любили, и старатели просто называли его беспалым Фомкой, потому что у него на левой руке недоставало одного пальца.

Жил Бучинский на приисках припеваючи, ел по четыре раза в день, а в хорошую погоду любил бродить по прииску, останавливаясь преимущественно около тех вашгердов, где работали красивые девки. До женского пола Бучинский был необыкновенно падок и не пропускал мимо ни одной смазливой рожицы. По целым часам, бывало, торчит, как индюк, около баб и не уйдет без того, чтобы не щипнуть самую хорошенькую. От баб иногда ему крепко доставалось, но на удары скребками или просто рукой наотмашь Бучинский только жму-

рился, как закормленный кот, и приговаривал с не оставлявшим его никогда юмором: «А ты, Апроська, побереги руку-то, глупая: пригодится еще».

Приисковая контора только что была поставлена весной и желтела на пригорке своими новыми бревнами и тесовой крышей. Она делилась на две половины. В одной помещалась собственно контора, где жил Бучинский и хранилась касса, а в другой была устроена кухня и людская. Собственно контора одним окном выходила на дорогу, а двумя другими на прииск, так что Бучинский из-за своего письменного стола мог видеть всякого, кто ехал на прииск или с прииска, а также и то, что делалось на прииске. Стены конторы внутри были только что выделаны и еще хранили следы топора, которым с грехом пополам были обтесаны бревна. Пол и потолок были сделаны из расколотых надвое бревен и подровнены как раз настолько, чтобы на полу нога не запиналась о края настланных плах. Желтый мох, которым были законопачены пазы между бревнами, не успел еще завянуть и таращился клочьями, усиками и колючей щетиной; когда по утрам горячее июльское солнце врывалось в окна конторы снопами ослепительных лучей, которые ложились на полу золотыми пятнами и яркими полосами, веселые зайчики долго и прихотливо перебегали со стены на стену, зажигая золотыми искорками капли свежей смолы, вытоплявшиеся из расщелившихся толстых бревен. Одно окно, как зеленым шатром, было запушено лапистыми ветвями старой ели; солнечные лучи, проходя через живую сетку из зеленых игл, окрашивались особенным желто-зеленым цветом, точно их пропустили сквозь тонко прокованный лист золота.

Обстановка конторы отличалась большой простотой и тем отчаянным беспорядком, какой всюду вносит с собой грубая половина человеческого рода. Сам Бучинский прибавил от себя специально хохлацкую грязь и какой-то особенный запах, который никогда не оставлял его. У самых окон, во всю длину наружной стены, на деревянных козлах были настланы доски и прикрыты толстым серым сукном; это и был письменный стол, около которого торчали два колченогих стула и новенькая табуретка со следами красноватой приисковой глины. На столе смешалась масса предметов в замечательном беспорядке. Можно было подумать, что все эти предметы были высыпаны на стол прямо из мешка да

так и остались в том положении, куда толкнула их сила инерции. Из-под слоя желтой приисковой пыли, рассыпанного табаку, пепла и окурков можно было рассмотреть чернильницу без чернил, несколько железных кружек с красными приисковыми печатями, пустую готовальню, сломанный ящик из-под сигар, коллекцию штуцерных пуль, дробь в мешочке, дробь в коробочке из-под пастилок Виши и дробь, просто рассыпанную по всему столу вместе с пистонами, оборванными пуговицами, обломками сургуча, заржавевшими перьями и тому подобной дряиью, которая неизвестно для чего и как забирается иа письменные столы. Кипы счетов и конторских книг были сложены отдельно, под прессом из золотосодержащего кварца; несколько раскрытых книг лежали там и сям в самых отчаянных позах, как только что раздавленные люди с раскинутыми руками.

В углах конторы, сейчас у дверей, были устроены на деревянных козлах две походные кровати; на одной спал Бучинский, а другую занимал я. Около постели Бучинского стояла приисковая касса, то есть железный сундук, а над постелью, на развешенном по стене тюменском ковре, в красивом беспорядке размещено было разное оружие, начиная с револьвера и кончая бельгийской двустволкой и заржавевшим турецким кинжалом. Около стен стояло несколько зеленых тагильских сундуков, в которых хранилась вся движимость Бучинского и разный домашний скарб.

II

Мне пришлось провести на Паньшинском прииске в обществе Бучинского иесколько недель, и я с особеиным удовольствием вспоминаю про это время. Для меня представляла глубокий интерес та живая сила, какой держатся все прииски иа Урале, то есть старатели, или, как их перекрестили по новому уставу о золотопромышленности, золотники.

— Старатели... пхе!.. Хочется вам с этими пьяиицами дело иметь! — не раз говорил мне Бучинский; он никак не мог понять, что меня могло тянуть к старателям.— Самый проклятый народ... Я говору вам, в высшем градусе безнравственый народ... Да!.. И живут, как свиньи... Им только дай горилки, а тут бери с него все:

он вам и золото продаст, и чужую лошадь украдет, и даже собственную жену приведет... Я вам говору!

— Мне кажется, что о старателях много лишнего говорят.

— Кажется?!. Тэ-тэ-тэ!.. Отто глупая скотына этот Бучинский! Ха-ха...— хриплым смехом залился Бучинский, причем вместо глаз у него образовались две жирные складки кожи.— Я теперь все понимаю... даже до капли все! Пссс... А все никак в свою глупую башку взять не мог. Да вы бы лучше прямо до меня обратились, и я устроил бы все, как ваше сердце желает... Хе-хе!.. Вот у Зайца смачная дивчина есть, у Силы... Знаете «губернатора»? Тэ-тэ-тэ... Да вы уж и без меня успели зацепить лихую дивчину! По глазам вижу... да. А я вам говору по совести: на всем прииске нет лучше губернаторовой Наськи! Да вы ж, наверно, раньше меня все это знаете?..

Разуверять Бучинского в чистоте моих намерений было напрасным трудом: он принадлежал к числу тех заматерелых скептиков, которые судят о всех по самим себе.

Прииск вблизи был совсем не то, чем он казался издали. Свалки, перемывки, выработки, шурфы, канавы, кучи песку и галек — все это напоминало издали работу сумасшедшего, который не стеснялся осуществлением своих диких фантазий, и то, что вырывал в одном месте, сваливал в другом. Нужно было пройти прииск из конца в конец, и только тогда «открывался в этом беспорядке порядок», и вся масса затраченного человеческого труда освещалась разумной мыслью. Точно так же и относительно старателей. Главное впечатление производила необыкновенная пестрота собравшегося здесь народа. И кого-кого только не было на прииске: мастеровые с горных заводов; староверы из глухих лесных деревень по реке Чусовой; случайные гости на прииске — воронянки, то есть переселенцы из Воронежской губернии, которые попали сюда, чтобы заработать себе необходимые деньги на далекий путь в Томскую губернию; несколько десятков башкир, два вогула и та специально приисковая рвань, какую вы встретите на каждом прииске, на всем пространстве от Урала до Великого океана. Этот гулящий, бездомный, разношерстный люд есть порождение бестолковой приисковой жизни и составляет настоящую язву, корень всяческих зол. Стоит раз взгля-

нуть на эти типичные лица и на живописные их лохмотья, чтобы угадать настоящих приисковых волков, которые голодными стаями бродят всю жизнь по приискам.

На первый взгляд кажется, что все эти люди, загнанные сюда, на прииск, со всех концов России одним могучим двигателем — нуждой, бестолково смешались в одну пеструю массу приисковых рабочих, но, вглядываясь внимательнее в кипучую жизнь прииска, мало-помалу выясняешь себе главные основы, на которых держится все. Шаг за шагом обрисовываются невидимые нити, которыми связываются в одно целое отдельные единицы, и наконец рельефно выступает основная форма, первичная клеточка, в которую отлилась бесшабашная приисковая жизнь. Эта руководящая нить для уразумения приисковой жизни заключается в понятии русской артели, которая нашла себе здесь глубокое применение. Без артели русский человек — погибший человек, поэтому артель живет на всех вольных промыслах, в тюрьмах и в монастырях; даже разудалая вольница, ничего не хотевшая знать, кроме своей вольной волюшки, и та складывалась в разбойничью артель. Если с испокон веку русский человек работал артелью, и грабил артелью, отсиживался по тюрьмам и острогам артелью, то такое широкое применение артельных начал вносило в них, на каждый специальный случай, специальные применения в форме и содержании. Старательская артель, в которую, если позволено так выразиться, выкристаллизовалась приисковая жизнь, решила ту же задачу, какую решают все русские артели, то есть как при наличности minimum'а благоприятных условий не только ухитриться просуществовать, но еще выполнить maximum работы.

Было светлое июльское утро, когда я в первый раз спускался от конторы на прииск. Солнце едва показалось из-за линии леса, и в низких местах стояла еще ночная сырость, а кое-где сохранившиеся клочки зеленой травы были покрыты каплями росы. Со стороны леса доносился нестройный птичий концерт: залетные гости короткого северного лета точно хотели удесятерить его радость своими веселыми песнями. В лесу еще стояла ночная прохлада; около балаганов огни едва дымились; по дороге мне попалось несколько таратаек, нагруженных песком. Лошадью правили босоногие мальчишки-подростки, а на одной таратайке кучером

сидела курносая рябая девка в красном платье и в желтом, высоко подтыканном сарафане. Я миновал целый ряд глубоких шурфов, при помощи которых производится разведка золота, и направился в ту сторону, где происходила добыча золотоносного песку, то есть к выработке. Из выработки в одном месте выставлялась голова гнедой лошади, а в другом — широкая лысина с остатками мягких русых кудрей. Выработка имела форму глубокой четырехугольной ямы с выемкой на одной стороне; по этой выемке осторожно поднялась гнедая мохнатая лошадка с нагруженной тележкой.

— Кузька! Мотри не балакай с бабами-то подолгу,— крикнул вслед выезжавшей тележке среднего роста широкоплечий старик, лысину которого я заметил еще издали.

Кузька, подросток лет четырнадцати, с бойким загорелым лицом, только взмахнул концом веревочных вожжей и трусцой направился к ближайшему прудку, около которого виднелись два вашгерда.

— Бог на помочь! — поздоровался я со стариком, который рукавом старой пестрядевой рубахи вытирал свое красивое широкое лицо, покрытое каплями крупного пота.

— Мир доро́гой! — весело отозвался старик.— Иди в выработку-то, лопатка и на твою долю найдется... Вон Никита умаялся с утра-то с кайлом играть.

Молодой мужик, длинный, нескладный, с острыми плечами и неприятным худым рябым лицом, только тряхнул спутанными волосами и опять принялся долбить кайлом осыпавшийся слой мокрого песку. Мужики были оба одинаково одеты в синие пестрядевые рубахи и порты, работы одной хозяйки; на ногах были лапти. Дно выработки было покрыто слоем липкой грязи, в одном углу стояла целая лужа мутной воды, на краю лежали свернутый чекмень и узелок с краюхой черного хлеба. Старик закурил коротенькую трубочку, пока я осматривал выработку, и принялся неспешно выбрасывать железной лопаткой скопившиеся турфа, то есть не содержащую золото землю, наверх, прямо на деревянные полати, настланные из досок у самого края выработки. Кузька успел свезти пески на вашгерд и теперь вернулся, чтобы навалить свою таратайку турфами и вывезти их к ближайшей свалке.

— Что, бабы благодарят за гостинец? — спрашивал старик.

— Доводить пора, тятька...

— Без них знаю, что пора. Никита, ты покедова поковыряй здесь, а как я доведу золото, па́ужинать будем. Вот барину охота поглядеть, как мужики золото добывают. Ну, барин, пойдем к грохоту, старый Заяц все тебе покажет, как на ладонке.

— А тебя как звать? — спрашивал я.

— Меня-то?.. Да Зайцем добрые люди зовут; это вот — мои зайчата, а у грохота сама Зайчиха. Теперь понял? А я тебе покажу все как есть...

Только тогда Заяц вылез из своей выработки, я хорошенько рассмотрел его атлетически сложенную фигуру. Ему было пятьдесят с лишком, но это могучее мужицкое тело смотрело еще совсем молодым и могло вынести какую угодно работу. Заметив мой пристальный взгляд, старик с добродушной улыбкой проговорил:

— Что на меня глядишь, барин?

— Да так смотрю: здоровый ты из себя очень.

— Здоровый... Какое уж мое здоровье, барин! Был когда-то Заяц, а теперь одна шкурка осталась... Да. Вот где моя погибель сидит! — проговорил старик, указывая на свои ноги.— Тут Зайцу и конец. Ну, куда он без ногто, барин?

— А что, разве у тебя болят ноги?

— Я тебе вот что скажу, барин: как теперь станет весна али осень, вода будет ледяная,— шабаш! Как поробил твой Заяц в выработке, пришел в балаган да лег, а встать и невмоготу. Другой раз недели с две Заяц без работы лежит, потому ноги — как деревянные.

— Простудил где-нибудь?

— А слыхал про завод Тагил?

— Как не слыхать.

— Ну, так в этом самом Тагиле есть Медный рудник, вот Заяц там и ножки свои оставил... Это еще когда мы за барином были, так Заяц в огненной работе робил, у обжимочного молота. А в те поры был управителем немец, вот Заяц согрубил немцу, а его, Зайца, за задние ноги да в гору — в рудник, значит. Думал, что оттедова живой не вылезу... По пояс в ледяной воде робили. Ключи там из горы бегут, студеные ключи!

От выработки до вашгерда было сажен двести с небольшим. У низенькой плотины стоял деревянный ящик,

длиной аршина два; один бок этого ящика был вынут, а дно сделано покатым, в несколько уступов. Это была нижняя часть вашгерда, или площадка; сверху она была прикрыта продырявленным железным листом в деревянной раме — это грохот. Площадка и грохот составляли весь нехитрый прибор, на котором производилась промывка золотоносных песков; на ученом языке горных инженеров этот прибор называется вашгердом.

— Тоже без снасти и клопа не убьешь,— обязательно объяснял мне старый Заяц.— Не больно хитро устроено, а в шапке золота не намоешь.

У вашгерда работали три женщины. Старшая, Зайчиха, высокая старуха в темном платке, набрасывала на грохот пески, которые Кузька сваливал около вашгерда. Две молодых бабы размешивали эти пески по грохоту маленькими железными лопаточками, скребками. По деревянному желобу из прудка была проведена к грохоту вода и падала на песок ровной струей. Когда песок смешивался с водой, частицы глины и мелкого песку относились струей, гальки оставались на грохоте, а золото вместе с черным песочком, шлихами, падало сквозь отверстия грохота прямо на площадку, где и задерживалось маленькими деревянными валиками. Ход всей операции был крайне незамысловат, и достаточно было посмотреть на него в течение пяти минут, чтобы усвоить вполне.

— У меня и семья вся налажена для прииску,— хвалился Заяц, указывая на баб.— Вот молодайка с Парашкой как поворачивают, того гляди, грохот изломают.

— Ну, будет тебе зубы-то точить,— заворчала Зайчиха.— Пристали без того...

— Я вправду говорю,— оправдывался старик.— Ну, девоньки, еще маненько навалитесь — и доводить.

Молодая высокая девка с румяным скуластым лицом, которую Заяц назвал Парашкой, по всем приметам принадлежала к семье Зайцев. То же завидное здоровье, веселый взгляд больших карих глаз, приветливая улыбка на красных губах — все говорило, что Парашка была дочь старого Зайца и его баловень. В своем ситцевом розовом сарафане и в такой же рубашке она выглядела настоящей приисковой щеголихой; подвязанный под самые мышки передник плохо скрывал ее могучие юные формы. Неправильное лицо

было красиво молодой, здоровой красотой, выращенной прямо под открытым небом, как растут безыменные полевые цветочки, которыми зеленая трава обрызнута, точно драгоценными камнями.

— Это невеста Фомки беспалого,— говорил Заяц, указывая на дочь.— Вот в Филиппов пост свадьбу будем играть. Фомка-то давно на нее губы распустил...

Молодайка, жена Никиты, не принимала участия в общем разговоре, шутках и смехе; как только последние лопатки песку были промыты, она сейчас же бегом убежала в сторону леса, где стоял балаган Зайца. Бледное лицо молодайки с большими голубыми глазами мне показалось очень печальным; губы были сложены сосредоточенно и задумчиво. Видно, не весело доставалась этой женщине приисковая жизнь.

— Ишь, как Лукерья побегла! — удивлялся добродушнейшим образом вслед своей снохе старый Заяц.— Там у нас в балагане еще два зайчонка есть, так вот матка и бегает к ним с работы. Старатели будут, как подрастут.

— А велики?

— Одному парнишке, старшенькому, около зимнего Николы два года будет,— отвечала Зайчиха.— А меньшенький еще матку сосет, всего по третьему месяцу... Здесь на прииске и родился.

— С кем же ребенок остается в балагане, пока мать работает здесь?

— С кем ему оставаться, барин?.. Лежит себе в зыбке, и все тут.

— Да ведь его комары заедят?

— Бывает и такой грех,— соглашался Заяц, вынимая из-под вашгерда щетку и небольшую железную лопаточку.— И комару надо летом чем-нибудь питаться. Ну, гляди, барин, сколько у Зайца золота напрело!.. Сейчас доводить стану.

Старик уменьшил струю, падавшую на грохот, и присел на корточки к площадке. По дну площадки темными полосами расположились шлихи, а в них светлыми искорками желтели крупинки золота. Старик осторожно, засучив рукава, повел щеткой вверх по дну площадки и взмутил воду; струя подхватила часть черного песочка и унесла его с площадки. С каждым движением щетки шлихов оставалось все меньше и меньше, а через десять минут работы в воде блестело

одно золото. При помощи лопаточки Заяц осторожно собрал его все и проговорил:

— Будет не будет ползолотника.

— Мало?

— Из-за хлеба на воду заробим. Потому считай: за золотник нам в конторе дают рубль восемь гривен, а за ползолотника приходится девять гривен... Так? Ну, а мы робим сам-шест, прикинь, сколько на брата придется в полдни.

— По пятиалтынному.

— А мы эту самую битву принимаем с самого солнцовосхода, значит с двух часов, по-вашему... Клади еще двух коней. Пообилось наше золото, видно, чтобы ему пусто было семь раз.

— А раньше лучше шло золото?

— День на день не приходится... В другой раз и два золотника падало за день на грохот, а то и четь золотника.

Старик высыпал золото в сухую тряпочку, высушил его в ней, а потом высыпал в круглую железную кружку с приисковой печатью.

— Бабы, зовите па́ужинать Никиту. Барин, хлеб-соль кушать с нами.

III

Мне часто доводилось бродить по прииску, и я быстро освоился с его пестрым населением. Все старательские артели были устроены, как одна, и носили смешанный семейный характер, сближавший их с кустарным промыслом. Малосильные семьи соединялись по две и по три, а если для артели недоставало одного человека, его прихватывали «на стороне», из тех лишних людей, каких набирается на каждом прииске очень много. Было несколько и таких артелей, члены которых не были связаны никакими родственными узами, а единственно соединились для одной работы. Но последний, по-видимому самый чистый тип артели, представлял на прииске, исключение, а главным правилом являлась артель-семья, как, например, Зайцы.

Главную массу приисковых рабочих составляли горнозаводские мастеровые и жители лесных деревень гористой части Верхотурского уезда, где почва камениста

и неродима; для них было во всех отношениях прямым расчетом работать на приисках семьями. Труд всех членов семьи утилизировался с замечательной последовательностью, и не пропадала даром ни малейшая его крупица. Приисковая тяга не миновала ничьей головы.

— Прежде как за барином жили,— рассуждал Заяц,— бывало, как погонят мужиков на прииски, так бабы, как коровы, ревели... Потому, известно, каторжная наша приисковая жизнь! Ну, а тут, как объявили волю да зачали по заводам рабочих сбавлять — где робило сорок человек, теперь ставят тридцать, а то и двадцать,— вот мы тут и ухватились за прииски обеими руками... Все-таки с голоду не помрешь. Прежде один мужик маялся на прииске да примал битву, а теперь всей семьей страдуют... И выходит, что наша-то мужицкая воля поравнялась, прямо сказать, с волчьей! Много через это самое золото, барин, наших мужицких слез льется. Вон погляди, бабы в брюхе еще тащат ребят на прииски, да так и пойдет с самого первого дня, вроде как колесо: в зыбке старатель комаров кормит-кормит, потом, чуть подрос,— садись на тележку, вози пески, а потом становись к грохоту или полезай в выработку. Еще мужику туды-сюды — оно тяжело, чего говорить, а все мужик — мужик и есть; а вот бабам, тем, пожалуй, и невмоготу в другой раз эти прииски...

Мастеровые — народ обтертый, разговорчивый, одним словом, заводская косточка. Присутствие постороннего человека не только не стесняло заводских артелей, а, напротив, доставляло им большое удовольствие... Это и понятно, потому что к барину, в лице своих служащих и приказчиков, мастеровые привыкли с малых лет. Исключение представляли раскольники, которые на прииске занимали совсем отдельный угол и выглядели особнячком. Познакомиться с жизнью раскольничьих артелей являлось делом очень трудным. Мужики отмалчивались, бабы косились и отплевывались. На самой работе около раскольничьих вашгердов лежала печать какого-то тяжелого отчуждения и подавленной, скрытой печали; не было слышно песен, не сыпались шутки и прибаутки, без которых не работается русскому человеку. Раскольники из лесных деревень, с реки Чусовой и из Чердынского уезда особенно бросались в глаза и своим костюмом, и полной неприступностью. Мне очень хотелось познакомиться поближе с жизнью этих именно

артелей, и счастливый случай свел меня с одной из них.

— Ты чего это к кержакам к нашим повадился? — фамильярно спросила меня однажды наша приисковая стряпка Аксинья, разбитная черноглазая бабенка, вечно щеголявшая в кумачных сарафанах и козловых ботиках.

— Да так... Посмотреть, как работают.

Аксинья молча посмотрела на меня и, показав два ряда, как слоновая кость, зубов, проговорила:

— А они тебя боятся... Думают, что ты не насчет ли золота досматриваешь. Право... Чистые дураки! Я им сколько говорю: барин простой, хороший... Ей-богу, вот сейчас с места не сойти, так и сказала! Ну, а брат-то мой... Видал, чай?

— Это с рыжей бородой?..

Аксинья взглянула на меня исподлобья и, улыбнувшись, кокетливо проговорила:

— Нет, это так... кум. Черт его знает, зачем шатается...

Кум, плотный старик с рыжей бородой, являлся к нам в контору периодически через каждые два дня; он обыкновенно усаживался на пороге кухни и терпеливо дожидался, пока щеголиха кума освободится от своей суеты. Я замечал, что таинственное появление этого рыжего кума всегда совпадало с самым скверным расположением духа Бучинского. Этот почтенный человек раза два совсем утратил свое обычное душевное равновесие и даже вступил с Аксиньей в жестокую перепалку. Нужно сознаться, что победа осталась не на стороне Фомы Осипыча: Аксинья принялась так неистово голосить и так трещала языком — точно свежий блин на каленой сковороде,— что Бучинский счел за самое лучшее отступить, хотя долго ругался на террасе и в конторе, посылая кума ко всем чертям и желая ему «четырнадцать раз сдохнуть». Очевидно, Аксинья крепко держала в своих руках женолюбивое сердце Бучинского и вполне рассчитывала на свои силы: высокая грудь, румянец во всю щеку, белая, как молоко, шея и неистощимый запас злого веселья заставляли Бучинского сладко жмурить глаза, и он приговаривал в веселую минуту: «Отто пышная бабенка, возьми ее черт!» Кум не жмурил глаз и не считал нужным обнаруживать своих ощущений, но, кажется, на его долю выпала львиная часть в сердце коварной красавицы.

— Ужо вот придет как-нибудь брат, так я скажу ему,— обещала Аксинья, когда я просил ее познакомить меня с кержаками, то есть с раскольниками.

Брат Аксиньи, который на прииске был известен под уменьшительным именем Гараськи, совсем не походил на свою красивую сестру. Его хилая и тщедушная фигура с вялыми движениями и каким-то серым лицом рядом с сестрой казалась просто жалкой; только в иззелена-серых глазах загорался иногда насмешливый, злой огонек, да широкие губы складывались в неопределенную вызывающую улыбку. В моих глазах Гараська был просто бросовый парень, которому нечего и думать тянуться за настоящим мужиком.

— Это Гараська-то бросовый?! — удивился Бучинский, когда у нас зашла речь о нем.— Да я вам скажу: дайте мне десять старателей, за них одного Гараську не отдам! Да-с.

— Да ведь он же не может работать, как другие старатели?

— Работать... Что такое работать... пхе!.. Лошадь работает, машина работает, вода работает... так? А Гараська — золотой человек. У него голова на плечах, а не капустный вилок, как у других. Знаете, что я вам скажу,— задумчиво прибавил Бучинский,— я не желал бы одной ночи провести вместе с этим Гараськой где-нибудь в лесу...

— Почему так?

Бучинский насосал свою трубку, исчез в облаках дыма и засмеялся.

— Вот вы живете неделю на прииске, и еще год проживете, и все-таки ничего не узнаете,— заговорил он.— На приисках всякий народ есть: разбойник на разбойнике... Да. Вы посмотрите только на ихние рожи: нож в руки — и сейчас на большую дорогу. Ей-богу... А Гараська... Одним словом, я пятнадцать лет служу на приисках, а такого разбойника еще не видел. Он вас среди белого дня зарежет за двугривенный, да еще и зарежет не так, как другие: и концов не найти.

Бучинский любил прибавить для красного словца, и в его словах можно было верить любой половине, но эта характеристика Гараськи произвела на меня впечатление против всякого желания. При каждой встрече с Гараськой слова Бучинского вставали живыми, и мне начинало казаться, что действительно в этом изможден-

ном теле жило что-то особенное, чему не приберешь названия, но что заставляло себя чувствовать. Когда Гараська улыбался, я испытывал неприятное чувство.

— А вам что смотреть у нас? — как-то равнодушно спрашивал Гараська, когда мы от конторы шли к его вашгерду.— Робим, как все другие...

Объяснить прямую цель своих посещений я не желал, а только постарался уверить загадочного парня в полной чистоте своих намерений.

Из выработки подозрительно глянуло на нас широкое и суровое лицо рыжего кума, а около вашгерда молча работали две женщины. Они даже не взглянули в нашу сторону. Одна, помоложе, со следами недавной красоты на помертвелом бледном лице, глухо кашляла; это была, как я узнал после, любовница Гараськи, попавшая на прииски откуда-то из глубины Чердынского уезда. Другая женщина, некрасивая и рябая, с тупым равнодушным лицом, служила живым олицетворением одной мускульной силы, без всяких признаков той сложной внутренней жизни, которая отпечатывается на человеческом лице.

— Ну, теперь видел? — коротко проговорил Гараська, когда мы осмотрели выработку и вашгерд; кум молчал, как затравленный волк, бабы смотрели в сторону.

— Отчего вас работает всего четверо? — спросил я.— Ведь неудобно.

— Кому как, а нам и так хорошо.

Я заходил несколько раз к Гараське, и эти посещения не привели ни к чему, за исключением того разве, что кум наконец расступился и заговорил. Поводом для нашего сближения послужила охота. Кум снизошел даже до того, что обещал когда-нибудь в праздник свозить меня под какую-то Мохнатенькую гору, где дичи водилось видимо-невидимо. Однажды, когда я сидел в выработке кума, до меня донеслись странные звуки: в первую минуту я подумал, что кто-то причитает по покойнике, но потом уже расслушал, что это была песня.

— Ишь, развылась! — строго заметил кум, не страдавший излишней словоохотливостью и болтливостью.

— Кто это поет?

— Да Гараськина Марфутка какую-то пла́чу все воет... Слышь, в ихней стороне на свадьбе такие песни играют. Марфутка-то чердынская, выходит, так к ненастью и тоскует.

— А другая девка заводская?

— Это Ховря-то? А черт ее знает, откудова она... Какая-то бесчувственная, Христос с ней.

Я долго вслушивался в «пла́чу» Марфутки. Голос у нее был хороший, хотя и надсаженный. Но в словах и самом мотиве «пла́чи» было столько безысходной тоски, глухой жалобы и нежной печали!..

Мне ночесь, молодешеньке,
Не спалось да много виделось:
. . . .
С-по лугам, лугам зеленым,
Разлилася вода вешняя,
По крутым красным бережкам,
По желтым песочкам.
Отнесло, отлелеяло
Милу дочь да от матери;
Шла по бережку родна матушка,
С-по круту родимая...
«Воротись, мое дитятко!
Воротись, мое родимое!»

IV

Кум угадал: действительно, Марфутка недаром разливалась в своем плаче,— вечером же небо обложилось со всех сторон серыми низкими тучами, точно войлоком, и «замотросил» мелкий дождь «сеногной». Утром картина прииска изменилась до того, что ее трудно было даже узнать сразу. А через три дня все кругом покрылось мутноватой водой и липкой приисковой грязью; песни смолкли, самые веселые лица вытянулись, и все смотрели друг на друга как-то неприязненно, точно это низкое серое небо придавило всех. Всякому было до себя, до своего измокшего, зябнувшего тела. Под этим ненастьем ярко выяснилась самая тяжелая сторона приисковой работы, когда по целым дням приходилось стоять под дождем, чуть не по колена в воде, и самый труд делался вдвое тяжелее. Рабочие походили на мокрых птиц, которые с тупым равнодушием смотрят на свои мокрые, опустившиеся крылья. Женщинам и здесь доставалось тяжелее, чем мужчинам, потому что сарафаны облепляли мокрое тело грязными тряпками, на подолах грязь образовывала широкую кайму, голые ноги и башмаки были покрыты сплошным слоем вязкой красной глины.

Сидеть в конторе в такую погоду, с глазу на глаз с Бучинским, было просто невыносимо. Натянув охотничьи сапоги, я побрел через весь прииск к машине, где рассчитывал посмотреть на работу под прикрытием какого-нибудь навеса или приисковых полатей. Около вашгердов шла молчаливая работа, точно все на кого-то сердились. В выработке Зайца я не заметил старика. Никита работал с каким-то молодым бойким мужиком в заплатанной кумачной рубахе и в рваном татарском азяме; сплющенная, как блин, кожаная фуражка была ухарски сбита на затылок. Загорелое бойкое лицо было не заводского типа.

— А где старый Заяц? — спросил я, подходя к выработке.

— В балагане лежит,— отвечал Никита.

— Обезножел старый Заяц,— прибавил мужик, не спуская с меня своих больших черных глаз.— А я вот на его место попал...

У вашгерда, где работала Зайчиха со снохою и дочерью, сидел низенький тщедушный старичок с бородкой клинышком. Он равнодушно глянул на меня своими слезившимися глазками, медленно отвернул полу длинного зипуна и достал из-за голенища берестяную табакерку; пока я раговаривал с Зайчихой, он с ожесточением набил табаком свой распухший нос и проговорил, очевидно доканчивая давешний разговор:

— Нет, Матвевна, не тово... не ладно...

— Сделай ты ладнее, сват Сила.

— Нет, не ладно, Матвевна...

— Ну, затвердил одно: не ладно да не ладно. А кого возьмешь? Работа не ждет, а Заяц третий день в балагане валяется. К ненастью, говорит, спина страсть тосковала, а потом и ноги отнялись. Никита и привел Естю...

— Да ведь Естя-то откуда ваш?

— А кто его знает... Спроси сам, коли надо...

— Видел я его даве: орелко... Нет, Матвевна, не ладно. Ты куда, барин? — спросил меня старик, когда я пошел от вашгерда.— На машину? Ну, нам с тобой по дороге. Прощай, Матвевна. А ты, Лукерья, что не заходишь к нам? Настя и то собиралась к тебе забежать, да ногу повихнула, надо полагать.

Мы пошли. Старик как-то переваливал на ходу и постоянно передвигал на голове свою высокую войлочную шляпу с растрескавшимися полями; он несколько

раз вслух проговорил: «Нет, Матвевна, не ладно... я тебе говорю, не ладно!»

— Что не ладно-то, дедушка? — спросил я.

— Как что?.. Орелка-то видел? Ну и не ладно выходит. Теперь Заяц в балагане лежит, а Естя будет работать. Так? А Лукерья, выходит, мне дочь... да и Паранька-то девчонка молодая. Чужой человек в дому хуже хвори... Теперь понял? Где углядишь за ними. Нет, Матвевна, не ладно! Глаз у этого у Ести круглый, как у уросливой лошади.

— «Губернатору» наше почтение!..— кричал какой-то мужик с черной бородой, когда мы проходили со стариком мимо одной выработки.

— Будь здоров, Евстрат! — добродушно отозвался старик, приподнимая свою шляпу.— Эх, вода одолела принск, барин! Теперь ненастье, надо полагать, зарядило ден на пять... верно.

— Тебя зачем «губернатором» зовут, дедушка?

— «Губернатором»-то? А вот заходи как-нибудь ко мне в балаган, так я тебе расскажу все по порядку. Только спроси, где, мол, «губернатор» старается: всякий мальчонок доведет. Ну, прощай, мне сейчас направо идти.

Старик приподнял свою разношенную шляпу и побрел по маленькой дорожке, которая отделилась вправо; шлепая по лужам, «губернатор» несколько раз передвинул шляпу на голове и проговорил не выходившую из его головы фразу: «Нет, Матвевна, не ладно!..»

Золотопромывательная машина вблизи представляла собою подъезд на высоких сваях и главный корпус, где шумело водяное колесо, и маленький шлюз, по которому скатывалась мутная вода. Если около старательских вашгердов земля была изрыта везде, как попало, зато здесь работы велись в строгом порядке, по всем правилам искусства. Прежде всего снят был в несколько правильных уступов верхний пласт земли, турфы, затем обнаженная золотая россыпь вырабатывалась шаг за шагом, чтобы не оставить в земле ни одной крупицы драгоценного металла. Накоплявшаяся в низких местах вода откачивалась паровой машиной. Для старательского вольного промысла здесь не было места, а работа велась наемными поденщиками. Это и была та приисковая голытьба и рвань, которая не в силах была соединяться в артели, а предпочитала поденщину.

Я пришел к той части машины, где на отлогом деревянном скате скоплялись шлихи и золото. Два штейгера в серых пальто наблюдали за работой машины; у стены, спрятавшись от дождя, сидел какой-то поденщик в одной рубахе и, вздрагивая всем телом, сосал коротенькую трубочку. Он постоянно сплевывал в сторону и сладко жмурил глаза.

— Где бы мне увидать смотрителя машины? — спросил я у штейгера.

— Да вон он торчит... Точно филин, прости господи! — сердито отозвался один из штейгеров, движением головы указывая наверх.

Я поднял голову и несколько мгновений остался в такой позе неподвижно. Наверху, облокотившись на перила подъезда, стоял небольшого роста, коренастый и плотный господин в осеннем порыжелом пальто; его круглая, остриженная под гребенку голова была прикрыта черной шляпой с широкими полями. Он смотрел на меня своими близорукими выпуклыми глазами и улыбался. Нужно было видеть только раз эту странную улыбку, чтобы никогда ее не забыть: так улыбаются только дети и сумасшедшие.

— Да ведь это Ароматов, Стратоник Ермолаич? — проговорил я наконец.

— Здгавствуйте, domine![1] — весело отозвался господин в осеннем пальто и как-то наотлет приподнял свою широкополую шляпу, причем открылся громадный выпуклый лоб и широкая лысина во всю голову.

Через минуту я имел удовольствие пожать небольшую, всегда холодную руку моего старого знакомого.

— Да ведь я вторую неделю живу на прииске, — говорил я, — как же это мы с вами не встретились до сих пор?

— Очень пгосто, domine... У нас с Бучинским контгы — вот и не встгетились, — добродушно отвечал Ароматов, не выпуская моей руки. — Пгедставьте себе... Однажды Бучинский идет мимо машины, я и кгичу ему: «Фома Осипыч, зайдите ко мне на минутку...» А он мне: «Стгатоник Егмолаич, хлеб за бгюхом не ходит». А я ему: «Извините, Фома Осипыч, я не знал, что вы хлеб, а я бгюхо...» Ну, и газошлись... Ну, да это все пустяки... А мы с вами давненько-таки не ви-

[1] господин! *(лат.)*

дались, domine!.. Позвольте, где это в последний газ я вас встгетил?.. Та-та-та!.. Помните отца Магка? Ведь у него? Да, да...

— Да на прииски-то вы как попали?

— Волею неисповедимых судеб служу специально златому тельцу втогой год... Как же-с! Некотогым обгазом споспешествуем пгеуспеяниям отечественной пгомышленности, а если пегевести сие на язык пгостых копеек — получаем двадцать гублей жалованья.

Широкое добродушное лицо Ароматова при последних словах точно расцвело от улыбки: около глаз и по щекам лучами разбежались тонкие старческие морщины, рыжеватые усы раздвинулись, и по широким чувственным губам проползла удивительная детская улыбка. Ароматов носил окладистую бородку, которую на подбородке для чего-то выбривал, как это делают чиновники. Черный шелковый галстук сбился набок, открывая сомнительной белизны ситцевую рубашку и часть белой, полной шеи.

— Да, я устгоился по-амегикански и живу настоящим янки,— прибавил Ароматов как бы в ответ на мой осмотр.— Да вот пойдемте в мою землянку, там все увидите.

Если вообще на Руси странных людей непочатый угол, то, без всякого сомнения, Ароматов принадлежал к числу самых странных, начиная с его детского выговора и сумасшедшей улыбки. Я с ним познакомился совершенно случайно, в глухой деревушке Зауралья, куда нас загнала жестокая зимняя метель. Как теперь вижу Ароматова, как он вошел в избу в волчьем тулупе и без церемоний заговорил своим комически возвышенным слогом: «Извините, если я помешаю вам своим пгисутствием... Но законы пгигоды стоят выше условных пгиличий. Полягным льдам угодно было скопиться в устьях Оби, обгазовалось ггомадное холодное течение, понеслась пугга, и вот мы nolens volens должны познакомиться. Да, человек является только ничтожной единицей в агифметических выкладках пгигоды, но он все-таки не дитя слепого случая.

Ты дхнешь — и двигнешь океаны,
Течешь — и вспять они текут.
А мы?.. одной волной подъяты,
Одной волной поглощены!» —

с неподдельным пафосом продекламировал Ароматов, не вылезая из своего тулупа.

— Имею честь гекомендоваться: сопгичислен к лику святых, к колену левитову,— прибавил Ароматов совершенно другим тоном и в первый раз улыбнулся своей сумасшедшей улыбкой.— А теперь пгинадлежу к взыскующим ггада.

Кому случалось по целым суткам отсиживаться от зимней метели где-нибудь в мужицкой избе, тот поймет, что Ароматов был для меня настоящей находкой. Он проговорил в течение десяти часов без умолку, пересыпая свою речь цитатами из Белинского, Добролюбова, Писарева, Бокля и Спенсера; несколько раз принимался декламировать стихи Некрасова и передавал в лицах лучшие сцены комедий Островского и Гоголя. Как актер Ароматов был замечательно хорош, но его погубила «проклятая буква р»; колоссальная память и начитанность придавали его разговорам живой интерес, и, что всего занимательнее, он владел счастливой способностью не только схватить, но и передать с замечательным искусством смешные стороны в людях и животных. Пока мы дожидались конца метели, наша изба превратилась в сцену: Ароматов скопировал своего ямщика, старуху, которая пряла нитки, кошку, лакавшую молоко; успел показать, как пьет курица, клюют ерши, как дерутся собаки, представил в лицах кошачий концерт и т. д. Бабы и ребятишки смотрели на Ароматова с разинутыми ртами, а когда он перешел к опытам чревовещания — в ужасе попятились от чудно́го барина и начали даже креститься.

Во второй раз я неожиданно столкнулся с Ароматовым на фабрике одного из уральских заводов, где он фигурировал в качестве простого рабочего. Но тяжелый фабричный труд оказался Ароматову не по силам, и в следующий раз я встретил его уже совершенно в новой роли. Мне нужно было взять из ...ского волостного правления какую-то справку. Захожу в волость и вижу целую толпу людей, которая окружила стол и хохотала как сумасшедшая. Проталкиваюсь вперед, смотрю — за столом сидит Ароматов и пишет обеими руками: одной — отношение становому, другой — какой-то протокол исправнику. В последний раз мы виделись с Ароматовым у отца Марка; Ароматов служил за псаломщика, пел на клиросе, читал апостол, подавал ка-

дило. Он объяснил это последнее свое превращение законом наследственности.

— Вот и моя хатка,— проговорил Ароматов, когда мы подходили к какой-то землянке.— Живу как амегиканец... Питаюсь солониной, читаю газеты. Только вот никак не могу пгивыкнуть жевать табак...

— Да для чего вам его жевать?

— Как для чего, domine? Вгемя — деньги, а на кугение табаку сколько его напгасно уходит.

Вход в землянку походил на нору; узкое окошечко из разбитых стекол едва освещало какую-то нару, на которой валялась уже знакомая читателю шуба, заменявшая Ароматову походную постель, столик из обрубка дерева, полочка с книжками и небольшой очаг из булыжника. Трубы не полагалось, и поэтому все кругом было покрыто толстым слоем сажи.

— Живу как индеец,— объяснял Ароматов, любезно предлагая мне место на волчьей шубе.— Omnia mea mecum porto... [1] Конечно, сначала тгудновато гасстаться с некотогыми пгедгассудками, но энеггия пгежде всего. Это ведь только кажется, что мы не можем обойтись без гогячего обеда, чистого белья, светлого помещения,— я испытал на себе.

— Все это предрассудки, по-вашему?

— Совегшенно вегно...

Очевидно, Ароматов находился в периоде американизма и бредил жизнью настоящего янки; на одной стене была повешена четырехугольная картонка, на которой готическими буквами было написано: «Деньги потерял — ничего не потерял; время потерял — много потерял; энергию потерял — все потерял». На другой — такая же картонка с другой надписью: «Time is money» [2]. На полочке с книгами я рассмотрел несколько разрозненных томов Добролюбова и Белинского, папку с бумагами и маленький томик рассказов Брет-Гарта.

— Все-таки, Стратоник Ермолаич, как вы на прииски попали? — спрашивал я, когда Ароматов усердно принялся разводить на своем очаге огонь, чтобы угостить меня вновь изобретенным им кушаньем из провесной свинины с какими-то травами и кореньями.

— Да я же служил в гогном пгавлении в ...ге де-

[1] Все мое ношу с собой... (*лат.*)

[2] Время — деньги (*англ.*)

сять лет,— объяснил Ароматов, наполняя свою конуру густым едким дымом.— Как же... Имею чин титулягного советника. Помните у Некгасова:

Он был титулягный советник,
А она — генегальская дочь...

Ароматов речитативом пропел два куплета и опять принялся раздувать огонь.

— Отчего же вы оставили казенную службу?

— Да не пгиходится... Пока служил в пгавлении — все было хогошо, а как меня командиговали на казенные золотые пгомыслы — все и пошло пгахом... Мне выпало гедкое счастье набить кагманы... Да! На гысаках бы тепегь катался, денег хоть лопатой ггеби!.. Ну, не вытегпел. Нагод ггабят на пгиисках, я и донес в гогный депагтамент, а меня сейчас по шапке.

Ароматов подробно рассказал, как он попался в настоящую «золотую кашу». На казенных приисках шла в то время большая игра: не воровал только тот, кому лень было протянуть руку. Рвали страшные куши, и дележка казенного совершалась в вопиющих размерах. Система этого хищения была выработана с замечательным искусством. Так как устав о золотопромышленности запрещал вести промывку золота старательским «хищническим» способом, то она производилась поденщиной... на бумаге. В сущности все промытое золото добывалось теми же старателями и сдавалось ими в приисковые казенные конторы по 1 р. 70 к., а в книгах все было разложено на поденщину. В результате правительству каждый золотник, намытый этим казенным способом, обходился средним числом в $3^1/_2$—$4^1/_2$ рубля. Разница, которая получалась между платой старателям и показной ценой, достигала почтенной цифры — 2—3 рубля с каждого золотника. Сколько было нажито на этой незамысловатой операции, покажет приблизительный расчет: на казенных ...ских промыслах добывалось в год золота до тридцати пудов. Воротилы казенных золотых приисков, считая прибыли с каждого золотника по два рубля, с тридцати пудов средним числом за здорово живешь получали ни больше ни меньше, как *двести тысяч* рубликов в год. К этому нужно еще прибавить оклады жалованья чиновникам, затем суммы на различные командировки, разведки и комиссии; наконец, практиковался самый

простой способ обкрадывания мелких служащих: маленькая чинушка расписывалась в получении двадцати пяти или тридцати рублей жалованья, а в действительности получала всего десять, пятнадцать рублей. Наконец, записывалось жалованье мифическим служащим, существовавшим только на бумаге; спекулировали на провианте, который запасался рабочим, и т. д. Одним словом, велась крупная игра вкруговую, где «рука руку мыла». Донос какого-то Ароматова, конечно, канул в реку забвения вместе с его автором.

— А на частных промыслах разве лучше? — спрашивал я Ароматова, который теперь сидел перед огнем на корточках и кулаком протирал глаза; я, в ожидании американского кушанья, тоже задыхался от густого дыма и принужден был несколько раз выходить из землянки, чтобы дохнуть свежим воздухом.

— На частных пгомыслах, по кгайней мege, есть впегеди выход,— объяснял чудак.— Погодите, всем будет хогошо...

— Когда?

Ароматов повернул ко мне свое вспотевшее лицо, покрытое сажей, и с детской уверенностью сумасшедшего человека проговорил:

— А вот когда устгоим все по-амегикански... Вы не смейтесь, domine. У меня в голове иногда действительно немного ум за газум заходит, а все-таки нужно «совлечь с себя ветхого человека» и жить по-амегикански. По-моему, Госсия и Амегика очень походят дгуг на дгуга. Это две молодые цивилизации, пгямая задача котогых выгаботать новые фогмы жизни.

Новое американское кушанье вкусом походило на спартанскую похлебку, и мне стоило большого труда отказаться от удовольствия проглотить его целую кружку.

V

Однажды, после обеда, когда я с книгой в руках лежал в своем уголке, послышался грохот подъехавшего к конторе экипажа. Не успел я подняться навстречу подъехавшим гостям, как в дверях показался небольшого роста господин в черной фрачной паре,

смятой сорочке, без галстука и с фуражкой на затылке.

— Карнаухов — пьяница... вверрно!.. Дда, Лука Карнаухов величайший пьяница из всех рожденных женами. А все-таки Карнаухов честный человек... Федя! ведь мы с тобой честные человеки?

— Точно так-с, ваше высокоблагородие,— по-солдатски ответил сухой, вытянутый старик; в дверях виднелась одна его голова в какой-то поповской шляпе.

— Высокоблагородие... хе-хе! — продолжал Карнаухов, пошатываясь на своих коротеньких и кривых ножках.— А ежели разобрать, Федя, так мы с тобой выходим порядочные подлецы... Ведь подлецы!..

— Никак нет-с...

— Ну, ин будь по-твоему: честные подлецы!.. Хха!.. Ах, черт тебя возьми. Федя!.. Вчера пили коньяк на Любезном, у этого эфиопа Тишки Безматерных, так? Третьего дня пили шампанское у доктора Поднебесного... так? Ну, сегодня проваландаемся у Бучинского... так? А завтра... Федя, ну куда мы с тобой завтра денемся?..

— Вы хотели, ваше высокоблагородие, побывать на Майне.

—Это у Синицына? У разбойника?!. Ну нет, шалишь: Лука Карнаухов к Синицыну не поедет, хоть проведи он от Паньшина до Майны реку из шампанского... На лодке по шампанскому вези — и то не поеду! Понял? Синицын — вор... Ты чего это моргаешь?

Федя, седой сухой старик, только пожал широкими острыми плечами и молча кивнул в мою сторону своей по-солдатски подстриженной головой. В переводе этот жест означал: «Чужой человек здесь, ваше высокоблагородие...» Карнаухов посмотрел в мою сторону воспаленными голубыми глазками и, балансируя, направился ко мне с протянутой рукой.

— А, здравствуйте, батенька! — заговорил он таким тоном, точно мы вчера с ним расстались.— А я вас и не заметил... извините... А мы вчера у Безматерных с дьяконом Органовым сошлись... Вот уж поистине: гора с горой не сходится, а пьяница с пьяницей всегда сойдутся. Ну, и устроили, я вам скажу, такое попоище, такой водопой!.. Ха-ха!.. Доктора Поднебесного

знаете? В окно выскочил да в лес... Совсем осатанел от четырехдневного пьянства... Спасибо, вот Федя поймал, а то бы наш доктор где-нибудь в шахте непременно утонул. Ей-богу!..

Карнаухов остановился, неверным движением поправил спутанные волосы на голове, улыбнулся и тоном не совсем проснувшегося человека проговорил:

— Послушайте, вы к Синицыну не ездите. Синицын — вор...

— Не пойман — не вор, ваше высокоблагородие! — коротко заметил Федя, поправляя широчайшей ручищей выцветший лацкан своей охотничьей куртки.

— Нет, братику, вор! — настаивал Карнаухов, напрасно стараясь попасть рукой в карман расстегнутого жилета, из которого болталась оборванная цепочка.— Ну, да черт с ним, с твоим Синицыным... А мы лучше соборне отправимся куда-нибудь: я, Тишка, доктор, дьякон Органов... Вот пьет человек! Как в яму, так и льет рюмку за рюмкой! Ведь это, черт его возьми, игра природы!.. Что ж это я вам вру! Позвольте отрекомендоваться прежде: Лука Карнаухов, хозяин Паньшинского прииска...

Заметив мой вопросительный взгляд, Карнаухов торопливо заговорил:

— Да, собственно, прииск принадлежит Миропее Самоделкиной, только Миропея-то Самоделкина принадлежит мне, яко моя законная жена... Теперь поняли? Еще в «Belle Hélène» [1] есть такой куплет:

Я муж царицы,
Я муж царицы...

Ах, черт вовьми!.. Моя Миропея так же походит на Елену, как уксус на колесо... Ха-ха!.. А мы все-таки, батенька, поедем с вами... Федя, ведь поедем?

— Соснуть бы, ваше высокоблагородие! Три ночи не сыпали.

— По-твоему, значит, я должен удалиться в объятия Морфея?

Федя вместо ответа разостлал на постели Бучинского потертый персидский ковер и положил дорожную кожаную подушку; Карнаухов нетвердой походкой пе-

[1] «Прекрасная Елена» (*франц.*)

ребрался до приготовленной постели и, как был, комом повалился взъерошенной головой в подушку. Федя осторожно накрыл барина пестрым байковым одеялом и на цыпочках вышел из комнаты. Когда дверь за ним затворилась, Карнаухов выглянул из-под одеяла и с пьяной гримасой, подмигивая, проговорил:

— Видели этого дурака, Федьку-то? Ведь дурак по всем трем измерениям, а моя-то благоверная надеется на него... Ха-ха!.. На улице жар нестерпимый, уши жжет, а он меня байковым одеялом накрыл. Как есть, двояковыпуклый дурень!

Карнаухов весело и как-то по-детски хихикнул, взмахнул короткими ручками, как собирающаяся взлететь на забор курица, и после небольшой паузы опять заговорил:

— Послушайте... Есть двоякого рода подлецы: подлецы чистейшей воды, как Синицын или Бучинский, и подлецы честные, как ваш покорный слуга, Лука Карнаухов, муж Самоделкиной... Ну, скажите ради бога, что это такое: муж купчихи Миропеи Самоделкиной?.. Я теперь послан в ссылку некоторым образом, а Федька изображает цербера... Ведь я образование высшее получил, голубчик! Как же, думал даже пользу человечеству приносить! Миропея Самоделкина... Тьфу!.. Послушайте, однако, вы за кого меня считаете? Ну, сознайтесь, ведь подумали: «Вот, мол, дурак этот Лука, сроду таких не видал...», а?

Не дожидаясь ответа, Карнаухов боязливо посмотрел на входную дверь и с поспешностью нашалившего школьника нырнул под свое одеяло. Такой маневр оказался нелишним, потому что дверь в контору приотворилась и в ней показалась усатая голова Феди. Убедившись, что барин спит, голова скрылась. Карнаухов действительно уже спал как зарезанный.

Погода к вечеру разгулялась; по синему небу белыми шапками плыли вереницы облаков; лес и трава блестели самыми свежими цветами. Природа точно обновилась под дождем и расцветала всеми своими красками. Федя сидел на крылечке и от нечего делать покуривал из коротенькой пеньковой трубочки. Его потемневшее сморщенное лицо точно застыло в степенном, выжидающем выражении, как это бывает только у хороших собак и старых слуг. В тупом взгляде небольших серых глаз, в уверенной улыбке, в каждом

движении чувствовалось какое-то обидное холопское самодовольство. На пороге кухни сидел рыжий «кум», а напротив него, брюхом на зеленой траве, с соломинкой в зубах, лежал Гараська. Все трое молчали, но в выражении лиц и взглядов можно было заметить скрытую, глухую злобу. Застарелый холоп ненавидел всеми силами своей души этих вольных людей, как собака ненавидит волков.

— Ну, чего вы чертями-то сидите? — не вытерпел наконец старик, когда я вышел на крыльцо.— Видите, барин вышел, ну, шапочку бы сняли. Ах вы, чертоломы! Ведь с поклону голова не отвалится.

— А ты вот что, милый человек,— растягивая слова, заговорил Гараська своим тенором.— Мы не к тебе пришли, чего ты шеперишься!.. Мы к Фоме Осиповичу.

— «К Фоме Осиповичу»...— передразнил Федя, сердито сплевывая на сторону.— Знаем мы вас... Не велик еще в перьях-то ваш Фома Осипыч!.. Избаловал он вас, вот что!

— Да ты нешто с того свету пришел, дедушка, чего больно ругаешься-то?.. Мотри, к ненастью...

— А то и ругаюсь, что насквозь вас вижу, всех до единого человека. Все ваши качества вижу.

Наступило принужденное молчание. Со стороны прииска, по тропам и дорожкам, брели старатели с кружками в руках: это был час приема золота в конторе. В числе других подошел, прихрамывая, старый Заяц, а немного погодя показался и сам «губернатор». Федя встречал подходивших старателей самыми злобными взглядами и как-то забавно фукал носом, точно старый кот. Бучинского не было в конторе, и старатели расположились против крыльца живописными группами, по два и по три человека.

— На Майне богатое золото идет,— говорил мужик с окладистой черной бородой.— Сказывают, старую свалку стали промывать, так, слышь, со ста пудов песку по золотнику падает.

— Но-о? — отозвался «губернатор».

— Верно.

— Вишь ты... а?!. Старую свалку, говоришь?

— Да... Хотели пробу сделать, а тут богачество.

— Ла-адно...

— У майновских-то золотников золото в сапогах родится,— ядовито заметил Федя.— Знаем мы, какую

на Майне свалку моют... У Синицына, ежели он захочет, золото из глины полезет. Варнаки вы все, вот что я вам скажу! — неожиданно заключил Федя, бросая вызывающие взгляды.

Старатели переглянулись; послышался сдержанный смех. От толпы отделился «губернатор» и неторопливым мужицким шагом подошел к самому крыльцу.

— А ты видал, в каких сапогах майновские-то золотники ходят? — спрашивал старик, не спуская глаз с Феди.

— Вы только послушайте ихний воровской разговор,— обратился Федя ко мне, не отвечая на вопрос «губернатора».— Спроста слова не скажут... У них и язык свой, как у цыган.

— Ну-ну, дедко, скажи-ка по-нашему-то? — спрашивал из толпы бойкий парень в кумачной рубахе.— Гляжу я на тебя, больно ты лют хвастать-то...

— «Принеси мне смолы два, заноза в лесу»,— проговорил Федя, опять обращаясь ко мне.— Поняли?

— Нет.

— Ну, а они понимают. Ведь понимаете? — обратился Федя победоносно к толпе старателей.

— А что это значит? — спросил я.

— Принеси фунт золота, лошадь в лесу...— объяснил Федя.— Золотник по-ихнему — *три,* фунт — *два,* пуд — *один;* золото — *смола,* полштоф — *притачка,* лошадь — *заноза...* Теперь, ежели взять по-настоящему, какой это народ? Разве это крестьянин, который землю пашет, али там мещанин, мастеровой?.. У них у всех одна вера: сколько украл, столько и пожил. Будто тоже золото принесли, а поглядеть, так один золотник несут в контору, а два на сторону. Волки так волки и есть, куда их ни повороти!..

— Ты чего тут ругаешься, Федя? — спрашивал Бучинский, подходя к нашему крыльцу с прииска.

— Да вот, Фома Осипыч, любуюсь на ваших золотников,— отвечал Федя, вытягиваясь во фронт.— Настоящая семая рота.

Бучинский засмеялся и прошел в контору; что хотел сказать Федя последним сравнением, так и осталось неизвестным. Старатели один за другим побрели в контору, а Федя, осторожно оглянувшись кругом, прошептал:

— Этого Фомку беспалого, сударь, мало повесить.

— Как так?

— Да уж так-с... Конечно, барин не занимается приисками, а барыня, Миропея Кононовна, по своему женскому малодушию ничего даже не понимают. Правду нужно говорить, сударь... Так Фомка-то всем и верховодит: половину барыне, а половину себе. Ей-богу!.. Обошел, пес, барыню и знать ничего не хочет. А дело нечисто... Я вам говорю. Слышали про Синицына-то, что даве барин говорил? Все как есть одна истинная правда: вместе с Фомкой воруют.

В это время в дверях показался старый Заяц.

— Ну что, как дела? — спросил я его.

— Не спрашивай, барин...— глухо ответил старик и махнул рукой.

— Что так? Плохо золото идет?

— Нет, золото ничего... Заходи как-нибудь к нам в балаган, покалякаем. А я неделю без ног вылежал... Ох-хо-хо!..

VI

Трудно себе представить что-нибудь оригинальнее уральской летней ночи. Внизу сгустился мрак, и черные тени залегли по глубоким лугам; горы и лес слились в темные сплошные массы; а вверху, в голубом небе, как алмазная пыль, фосфорическим светом горят неисчислимые миры. Прииск потонул в густом белом тумане, точно залитый молоком; огни у старательских балаганов потухли, и только где-где глянет сквозь ночную мглу красная яркая точка. Слышно, как бродят по траве спутанные лошади; где-то залаяла собака; бестолково шарахнулась в застывшем воздухе птица и камнем пала в траву. Месяц бледным серпом выплыл из-за горы, и от него потянулись во все стороны длинные серебряные нити; теперь вершины леса обрисовались резкими контурами, и стрелки елей кажутся воздушными башенками скрытого в земле готического здания. Но вот далеко-далеко из тумана встала проголосная русская песня и полилась по всему прииску:

Между го-ор-то было да Енисейских гор,
Раздается его томный глас...

— И песня-то разбойничья! — проговорил Федя.

— Как разбойничья?

— Да так — разбойничья, и все тут. Сложил эту песню разбойник Светлов, когда по Енисейским горам скрывался. Одно слово: разбойничья песня, ее по всем приискам поют. Этот самый Светлов был силищи непомерной, вроде как медведь. Медные пятаки пальцами свертывал, подковы, как крендели, ломал. Да... А только Светлов ни единой человеческой души не загубил, разбоем одним промышлял.

Мы долго сидели молча, прислушиваясь к заунывному мотиву разбойничьей песни. Я раскурил папиросу.

— А позвольте узнать, сударь,— заговорил Федя,— из какого дерева у вас портсигар?

— Кажется, из ореха.

— Так-с... Из ореха.

Федя немного помолчал, затем, вздохнув всей грудью, заговорил каким-то изменившимся, слащавым голосом:

— Эх, сударь, что этого ореха в нашей Владимирской губернии растет... Ей-богу! А вишенье? А сливы? Чего проще, кажется, огурец... Такое ему и название: огурец — огурец и есть. А возьмите здешний огурец или наш — муромский. Церемония одна, а вкус другой. Здесь какие места, сударь: горы, болотина, рамень... А у нас-то, господи-батюшко! помирать не надо! И народ совсем особенный здесь, сударь,— ужасный народ! Потому как она, эта самая Сибирь, подошла — всему конец. Ей-богу!

— А ты давно сюда попал?

— Я-то?.. Да считать, так все тридцать лет насчитаешь. Да-с. Глупость была... Попервоначалу-то я, значит, промышлял в Москве. Эх, Москва-матушка! Было пожито, было погуляно — всячины было! Половым я жил в трактире, а барину своему оброк высылал. А надо вам сказать, что смолоду силища во мне была невероятная... Она меня и в Сибирь завела. Да... Видите ли, как это самое дело вышло. Вы слыхали про Неуеденова?

— Нет.

— Ну, да где же и слыхать! — с самодовольной улыбкой проговорил Федя.— Вас еще тогда, может, и на свете не было. Это еще до Крымской войны, сударь, было дело. Так вот-с, этот самый купец Неуеденов и

повадился в наш трактир ходить. Так-с. Из себя невелик, а в крыльцах широк, и рука у него тяжелая. Хорошо. Вот ходит он к нам в трактир и все как быдто на меня поглядывает. Раз этак смотрел-смотрел на меня да и говорит: «А что, Федя, сила у тебя есть?» — «Есть, говорю, ваше степенство, маленькая силенка. Десятипудовые сундуки в третий этаж на собственной спине подымаю».— «Так, говорит. А хочешь, говорит, со мной силой попробовать: одолеешь — тебе десять рублей, не одолеешь — бог простит». Забавно мне это показалось, потому, думаю про себя, что возьму я его со всем потрохом и в окно выкину. Ей-богу! Бывалое дело, не такие столбы ломил... Ну-с, снял он с себя сюртучок, полотенце через плечо и давай бороться. Что бы вы думали! Ходили-ходили мы, ка-ак он меня хлопнет под коленку да оземь... У меня свет из глаз! Ну, посмеялся он тогда, угостил водкой и говорит: «А ты мне, Федя, понравился; хочешь ко мне на службу поступить — жалованьем не обижу». То, се — и уговорил меня ехать с ним на Урал, а зачем — не сказал. Ну, собрались мы и але марш в дорогу. Тогда этих железных дорог и в помине не было; мы по зиме и махнули. Приезжаем мы на Урал, в Екатеринбурге наняли избушку и живем, а мой купец и говорит: «Ну, Федя, теперь торговать будем...» Смеется. «Чем?» — спрашиваю. «Краденым золотом»,— говорит. Как это самое слово сказал он, так меня даже в пот ударило. Думаю: пропала моя голова, не видать мне ни дна ни покрышки. Ведь по тогдашним временам за эти дела по «зеленой улице» да в каторгу. Понимаете, сударь, я от этих самых мыслей и сна и пищи решился. Похудел даже из себя; а потом прихожу к своему купцу и говорю: «Ваше степенство, как хошь, а я тебе не слуга... Поищи другова». Опять смеется. «Испугался, Федя?» — спрашивает. «Точно так»,— говорю. «Ну, так, говорит, не бойся. Только, говорит, что я тебе скажу: было бы шито и крыто, а то я тебе так завяжу язык, что и ворон костей не найдет». И что бы вы думали! Ведь этот самый купец Неуеденов был совсем не купец, а *вывороченный сюртук.*

— То есть как: вывороченный сюртук?

— Ну, фискал, значит; а фамилия ему Суставов, Аркадий Павлыч. Из дворян был, из настоящих, а тут его и послали на Урал хищников обследовать. Ведь в те поры, хошь оно и строгий закон был, а золотом тор-

говали, как все равно крупой. Открыто торговали... Хорошо. Вот мы и стали жить да поживать в Екатеринбурге, а сами дела эти хищнические разведывали. Скупали золото кой у кого из богатых мужиков, а Аркадий Павлыч все в книжечку да в книжечку записывают. Ей-богу!.. Сколько эта книжечка после горя да слез принесла, что и думать, так не придумать! На Березовских золотых приисках много народу попалось, в Уктусе, в Шарташе... В Шарташе-то нас чуть и не покончили с Аркадий Павлычем. Народ живет тут самый закоспелый, раскольники с испокон веку. Ну, проведали они про нас что, али так хотели покорыстоваться скупленным золотом, только едем этак в ночь с Аркадий Павлычем — иноходчик у него был гнеденький,— ну, катим, как по маслу, а тут — пых со стороны из ружья! А впереди двое на вершной стоят и ждут. Тут нам и сила наша пригодилась: как поравнялись верховые — сейчас из стороны трое и прямо в сани. Только и силен был Аркадий Павлыч! Как мы зачали их, еретиков, поворачивать — вдвоем пятерых, как гнилую картошку, раскатали, только шерсть полетела. Так господь и отнес беду, а то шабаш: кунчал голова! Пожили мы тогда в Екатеринбурге долго ли, коротко ли, а потом Аркадий Павлыч и говорит: «Ну, теперь мы с тобой в самое гнездо поедем, откуда это золото идет». И точно, этак по зиме склались на саночки — и марш на заводы. Первым делом в Касли... Тут даже совсем открыто торговали золотом, безо всякой обережи. Даже бабы торговали. Ну, мы и ходим по избам да покупаем, а Аркадий Павлыч придет куда в избу да перстеньком на окошке в стекле и оставит заметочку, значит, в перстне-то брильянт был, так он брильянтом-то и запишет, сколько этого золота купили и когда, а книжка — само собой... Из Каслей проехали на Миас, тут уж совсем лафа подошла: в деревне Надыровой у одного башкира мы купили пуд пять фунтов золота-то. Вон оно куда пошло... Да. А потом, сударь мой, поехали мы под Петропавловск, к Троицку,— везде работишка была; Аркадий Павлыч пишет да пишет перстеньком своим. Ну-с, как обделали мы всех этих подлецов, Аркадий Павлыч сейчас бумагу в Петербург, а потом и давай по книжечке всех ловить... Ведь несколько сот человек тогда влетело по золоту! А что было по заводам — страсти господни! Так ревмя и ревет народ. Одних баб

сколько забрали... Ну, обнаковенно, всех этих подлецов привезли в Екатеринбург, давай судить, а потом мужиков повели по «зеленой улице» да в каторгу, а баб плетями. Такой страх тогда был, такой вой да рев, что и не рассказать... А в заводах так совсем даже пусто сделалось после этого, сразу захудали. И теперь еще поют по заводам песню, которую тогда по этому случаю сложили:

Уж ты сад ли, мой сад, сад зеленый виноград,
От чего ты, сад повял?

А потом я женился, ну и пришлось остаться здесь,— закончил свой рассказ Федя.— Аркадий-то Павлыч приглашал меня в Петербург, да я не поехал тогда. Тут подвернулся генерал Карнаухов... Может, слыхали?

— Да, слыхал.

— Как же не слыхать, первеющий анжинер был по всему Уралу. Лука-то Василич, теперешний барин мой, сынком им приходится, и тоже в анжинерах. Только супротив родителя куды — не та церемония. Генерал-то жил князь князем. Прежде ведь анжинеры были первое дело; не то что по-теперешнему, с позволения сказать, всякая шваль лезет в господа. Лука-то Василич уж очень просты, гонору в них совсем нет, а ведь дворянское дите. Я ведь их сызмальства выхаживал и, можно сказать, привесился к ихнему характеру вполне-с. Теперь вот эта ихняя слабость к водке много преферансу убавляет: как барин закурил — сейчас на прииска, да здесь и хороводятся недели две-три. А какой народ на приисках? Сами знаете. Конечно, доктора Поднебесного взять — уважительный человек, а остальные... Охо-хо-хо! Что и будет, сударь!.. Везде купец силу забрал, а настоящему барину житья совсем нет. Возьмите теперь Тишку Безматерных или Синицына — ведь мужичье! Порты да рубаха — и вся тут церемония, а как они настоящими господами ворочают...— Федя задумался, выпустил несколько клубов дыма и печально прибавил: — Проклятая здесь, сударь, сторона...

— Что так?

— А то как же... Все это проклятое золото мучит всех. Ей-богу! Даже в другой раз ничего не разберешь. Недалеко взять: золотники... Видели? Эх, слабое время пошло. Поймают в золоте, поваландался в суде, а по-

том на высидку. Да разве мужика, сударь, проймешь этим? Вот бы Аркадия Павлыча послать на нонешние промысла, так мы подтянули бы всех этих варнаков... Да-с.

VII

Среди глубокой ночи, когда все кругом спало мертвым сном, я был разбужен страшным шумом. В первую минуту, спросонья, мне показалось, что горит наша контора и прискакала пожарная команда.

— Гости пожаловали, Фома Осипыч! — докладывал в темноте голос Феди.

— А?.. Чего? Який там бис? — отозвался Бучинский, выскакивая на крыльцо в одном белье.— Го... да тут целая собачья свадьба наехала! — проговорил он сердитым голосом, возвращаясь в контору за сапогами и халатом.

— На двух тройках, сударь,— слышался в темноте голос Феди.

Я поспешил поскорее одеться и вышел на крыльцо. При слабом месячном освещении можно было рассмотреть только две повозки, около которых медленно шевелились человеческие тени. Фонарь, с которым появился Федя около экипажей, освещал слишком небольшое пространство, из которого выставлялись головы тяжело дышавших лошадей и спины двух кучеров.

— Отцы... уморили! Ох, смерть моя!.. — доносился чей-то хриплый голос из глубины одной повозки.— Ослобоните, отцы... Дьякон раздавил совсем... Эй, черт, вставай!..

Я побежал на выручку задавленного и при свете фонаря Феди увидал такую картину: из одной повозки выставлялась лысая громадная голова с свиными узкими глазами и с остатками седых кудрей на жирном в три складки затылке.

— Да где дьякон-то, Тихон Савельич? — спрашивал Федя, тыкая своим кулаком в глубину повозки.

— Ах, отец... да ведь это ты, Федя? — с радостным изумлением проговорила голова.— Тащи его, Феденька, за ноги! Ой! смерть моя... Отцы, тащите дьякона!

На эти отчаянные вопли около повозки собралось человек десять, и длинное тело дьякона Органова на-

конец было извлечено из повозки и положено прямо на траву. Это интересное млекопитающее даже не соблаговолило проснуться, а только еще сильней захрапело.

— Ишь, кашалот какой! — ругался Тихон Савельич, пихая дьякона короткой, толстой, как обрубок, ногой.

— Да как это вас угораздило? — спрашивал кто-то в толпе.

— А черт его знает, как оно вышло...— хрипел Тихон Савельич.— Всё ехали ладно, всё ладно... а тут, надо полагать, я маненичко вздремнул. Только во снях и чувствую, точно на меня чугунную пушку навалили... Ха-ха!.. Ей-богу!.. Спасибо, отцы ослобонили, а то задавил бы дьякон Тихона Савельича. Поминай как звали!

Покачиваясь на коротеньких ножках, старик, как шар, вкатился на крыльцо. Это заплывшая жиром туша и был знаменитый Тишка Безматерных, славившийся по всему Уралу своими кутежами и безобразиями.

— Синицын здесь,— конфиденциально сообщил мне Федя.— Такая темная копейка — не приведи истинный Христос!..

В дверях конторы я носом к носу столкнулся с доктором; он был в суконной поддевке и в смятой пуховой шляпе. Длинное лицо с массивным носом и седыми бакенбардами делало доктора заметным издали; из-под золотых очков юрким, бегающим взглядом смотрели карие добрые глаза. Из-за испорченных гнилых зубов, как сухой горох, торопливо и беспорядочно сыпались самые шумные фразы.

— Бучинский! Где Бучинский? — неистово кричал доктор.— Голоден, ангел мой, как сорок тысяч младенцев... Ах, извините, ангел мой!.. Доктор Поднебесный, к вашим услугам... Только не дайте умереть с голоду. За одну яичницу отдам тридцать фараонов и одного Бучинского. Господи, да куда же провалился Бучинский? Умираю!

— На Руси с голоду не умирают, доктор,— послышался из конторы чей-то приятный низкий голос с теноровыми нотами.

— Это Синицын говорит! — шепнул мне Федя, втаскивая в контору кипящий самовар.

У письменного стола, заложив ногу за ногу, сидел плотный господин с подстриженной русой бородкой.

Высокие сапоги и шведская кожаная куртка придавали ему вид иностранца, но широкое скуластое лицо с густыми сросшимися бровями было, несомненно, настоящего русского склада. Плотно сжатые губы и осторожный режущий взгляд небольших серых глаз придавали этому лицу неприятное выражение: так смотрят хищные птицы, готовясь запустить когти в свою добычу. Может быть, я испытывал предубеждение против Синицына, но в нем все было как-то не так, как в других: чувствовалась какая-то скрытая фальшь, та хитрость, которая не наносит удара прямо, а бьет из-за угла.

Бучинский шустро семенил по конторе и перекатывался из угла в угол, как капля ртути; он успевал отвечать зараз двоим, а третьему рассыпался сухим, дребезжащим смехом, как смеются на сцене плохие комики. Доктор сидел уже за яичницей-глазуньей, которую уписывал за обе щеки с завидным аппетитом; Безматерных сидел в ожидании пунша в углу и глупо хлопал глазами. Только когда в контору вошла Аксинья с кринкой молока, старик ожил и заговорил:

— Здравствуй, Аксиньюшка! Как живешь-можешь? Да подойди сюда ближе, ведь не укушу... Ишь ты какая гладкая стала, как ямистая репа!

Старик попытался было поймать своей опухшей рукой шуструю бабенку, но та ловко вывернулась из его объятий и убежала на крыльцо.

— Вроде как молонья, раздуй ее горой! — удивился Безматерных, почесывая бок, придавленный дьяконом.

— У Бучинского есть вкус, господа,— прибавил доктор, вытирая губы салфеткой.

— Какой вкус... что вы, господа! — отмахивался Бучинский обеими руками, делая кислую гримасу.— Не самому же мне стряпать?.. Какая-нибудь простая деревенская баба... пхэ!.. Просто из жалости, бабе деваться некуда было.

— Врешь, врешь и врешь! — послышался голос Карнаухова, который успел проснуться и теперь глядел на всех удивленными заспанными глазами.— Вот те и раз.. Да откуда это вы, братцы, набрались сюда?.. Ловко!.. Да где это мы... позвольте... на Любезном?

— Попал пальцем в небо... Не узнал своей конторы?..

Взрыв общего смеха заставил Карнаухова прийти

в себя, и он добродушно принялся хохотать вместе с другими, забавно дрыгая ногами.

— Вот и отлично! Мы после чая такую цхру сочиним,— провозгласил Безматерных,— чертям будет тошно...

— Я отказываюсь, господа,— заявил Синицын.— Вы дорогой выспались, а я ни в одном глазу.

— Павел Капитоныч, голубчик... одну партию! — умолял доктор.

— Нет, не могу. Не спал...

— Вот и врешь,— кричал Карнаухов.— Я ведь знаю тебя: ты, как заяц, с открытыми глазами спишь. Ну, да черт с тобой, дрыхни! Мы и без тебя обойдемся. Я, Бучинский, доктор, Тихон Савельич — целый угол народу набрался.

Сейчас после чая началась знаменитая «цхра». Бучинский мастерски сдавал карты, постоянно хихикал и громко выкрикивал приличные случаю прибаутки. Мне с Синицыным Федя устроил постели из свежего душистого сена под навесом, где обыкновенно ставили экипажи. Восточная сторона неба уже наливалась молочно-розовым светом, когда мы, пожелав друг другу спокойной ночи, растянулись на своих постелях. Звезды тихо гасли; прииск оставался в тумане, который залил до краев весь лог и белой волной подступал к самой конторе. В просыпавшемся лесу перекликались птичьи голоса; картине недоставало только первого солнечного луча, чтобы она вспыхнула из края в край всеми красками, цветами и звуками горячего северного летнего дня.

— Завтра вёдро будет,— говорил Синицын, зевая и крестя рот.— Роса густая выпала...

VIII

На другой день, когда я проснулся, солнце стояло уже высоко; Синицына под навесом не было. По энергическим возгласам, доносившимся до меня из отворенной двери конторы, можно было убедиться, что цхра шла полным ходом.

На зеленой лужайке, где стояли экипажи, образовалась интересная группа: на траве, в тени экипажа, лежал, растянувшись во весь свой богатырский рост,

дьякон Органов; в своем новеньком азяме, в красной кумачной рубахе с расстегнутым воротом и в желтых кожаных штанах, расшитых шелками, он выглядел настоящим русским богатырем. Молодое лицо с румянцем во всю щеку, писаными бровями и кудрявой русой бородкой дышало завидным здоровьем, а рассыпавшиеся по голове русые кудри и большие темно-серые соколиные глаза делали дьякона тем разудалым добрым молодцем, о котором в песнях сохнут и тоскуют красные девицы. В головах у дьякона сидел, сложив ноги калачиком, Федя, а в ногах, на корточках поместился Ароматов. Последний рядом с дьяконом просто был жалок; в руках у него белела перевязанная ленточкой трубочка каких-то бумаг.

— Третью сотню доктор просаживает,— заговорил Федя, пуская кверху тонкие струйки дыма.— Тишка тоже продулся. Бучинский всех обыграет...

— Ну, а твой барин чего смотрит? — отозвался Органов, не поворачивая головы.

— Чего барин... известно!.. — недовольным тоном ответил Федя.— У него одна линия: знай коньяк хлещет, знай хлещет...

Пауза.

— Федя! — каким-то упавшим голосом заговорил Органов, тяжело поворачиваясь на один бок.— Федя, голубчик!..

— Ну?

— Ах, право, какой ты?!. Ведь у меня все нутро выжгло. Рюмочку бы коньячку... а?.. Всего одну рюмочку, Федя... а?

— А черт ли тебе велел лакать столько? — ворчал старик.

— Да ведь нельзя, Федя... Сам знаешь Тишку: пей, хоть расколись! Я теперь второй месяц свету не вижу. Ежели бы они не играли, так хоть обливайся, а теперь жди! Легко это?

Федя укоризненно покачал головой, но поднялся и заковылял в контору.

— Неужели вы не можете жить иначе? — спрашивал Ароматов.

— Да как иначе-то?

— Нужно дело какое-нибудь выбгать и габотать. Вон у вас какое здоговье... А какую вы голь иггаете у Тишки?

— Я-то?.. Ох-хо-хо...— застонал Органов.— Чревоугодие одолело... натура... Понимаешь?.. Главо моя, главо, камо тя преклоню?.. Ты думаешь, мне нравится свое-то свинство? Нет, брат, я сам эту водку презираю... да!..

— А вы сделайте усилие над собой. Ведь стоит только захотеть. Слыхали об амегиканцах? Нужно жить по-амегикански.

— У тебя это какая бумага-то?

— Это... это пгоект, котогый я сегодня господам золотопгомышленникам пгедставлю. Мне пгишла в голову блестящая идея.

Этот интересный разговор был прерван появлением Феди, который осторожно нес налитый до краев дорожный серебряный стаканчик.

— На, лакай.

Органов разом «хлопнул» стаканчик в свою широкую глотку, в которой только зажурчало.

За завтраком, который Аксинья подала на крыльцо, шел очень оживленный разговор о золотопромышленности; Бучинский, Карнаухов и Безматерных продолжали резаться в цхру и не принимали участия в завтраке.

— Ну-с, как ваша канава, доктор? — спрашивал Синицын, прищуривая слегка один глаз.

— Ох, ангел мой! — вздохнул тяжело доктор.— Ведь погубила меня эта канава... Вы представьте себе: она стоит мне восемь тысяч рублей, а теперь закапываю девятую.

— Вольному воля... Для чего вам она?

— Вот милый вопрос... Как для чего? А вода? Ведь воду нужно было отвести, чтобы продолжать работы. У меня на прииске эта проклятая вода, как одиннадцатая египетская казнь.

— Кто же это вам посоветовал рыть именно канаву?

— Да ведь воду нужно отвести?

— Хорошо. Однако какой умный человек посоветовал вам отводить воду именно канавой?

— Своей головой дошел, ангел мой.

— Гм... А не лучше ли было бы поставить три таких паровых машины, как у Бучинского? Ведь они стоили бы не дороже канавы, а в случае окончания работ вы канаву бросите, а машины продали бы.

— Э, ангел мой! Хорошо советовать после времени, когда дело сделано Нет, вы влезьте-ка в мою кожу.

— Именно?

— Да как же, погубил меня прииск... По уши в долгах, практику растерял, опустился вообще. Ведь это чего-нибудь стоит? Хорошо вам! Вы золото гребете лопатой.

— И у нас всяко бывало.

— Так-с... Ведь у вас старательские работы?

— Да.

— У меня тоже,— глухо проговорил доктор.— Старатели — это органическое зло, это вопрос государственной важности. Они меня вконец зарежут: последние крохи золота тащат с прииска и продают на сторону. Да вот вы посторонний человек,— обратился доктор ко мне,— ну-с, как вы нашли наших старателей?

— Мне кажется, что вы ошибаетесь, доктор.

— Как ошибаюсь? Значит, по-вашему, старателям следует воровать наше золото?

— Нет, я этого не говорю. Но думаю...

— Нет, вы представьте себе,— кричал доктор, не слушая меня и размахивая руками,— чего смотрит правительство... а? У нас на четыреста приисков полагается один горный ревизор... Ну, скажите вы мне, ради самого создателя, может он что-нибудь сделать? О горных исправниках и штейгерах говорить нечего... Нужно радикальное средство, чтобы прекратить зло в самом корне.

— Это средство в ваших руках, доктор,— заметил я.— Вы сколько теперь платите своим старателям за золотник?

— Больше, чем другие: два рубля.

— Назначьте старателям три рубля за золотник, и воровство падет само собой.

— Это невозможно,— певуче заговорил Синицын.— Во-первых, мы платим арендные деньги за землю, во-вторых, вносим государственную пошлину, а самое главное, мы несем страшный риск при переходе от ручной промывки к машинной... Вот вам живой пример — канава доктора.

— Да вы взгляните, ангел мой, взгляните! — патетически воскликнул доктор, указывая на прииск.— Что это такое? Свиньи раскопали...

— Государство несет страшный убыток от старательских работ,— вторил Синицын.— Старатели не до-

бывают из земли и половины всего золота, потому что не могут вести работ в широких размерах. Они не разрабатывают хорошенько россыпей, заваливают турфами лучшие залежи песков и этим загораживают дорогу крупным предпринимателям.

— Да, да!..— кричал доктор.— Притом старатель по самой организации своего труда — хищник с ног до головы: он выбирает только лучшие куски, снимает сливки и бросает, чтобы перейти к другим. Старатель может разрабатывать россыпи с содержанием шестьдесят — семьдесят долей золота на сто пудов песку, тогда как в Америке выгодным считается промывать россыпи с содержанием пять долей.

— Это верно, доктор,— согласился я.— Только вы забываете, что в Америке золотопромышленник, самый мелкий, получает полную цену добытого золота, а ваш старатель довольствуется третью этой цены. Затем, климатические условия в Америке совсем другие, там неизмеримо шире развита промышленность, дешевле капиталы, наконец — предприимчивость янки вошла в пословицу...

— Э, ангел мой, и у нас будет все то же, только при конкуренции старательских работ нам немыслимо поставить дело на вполне рациональных условиях.

Доктор набросал широкую картину золотого промысла «на рациональном основании», которая составлялась из двух частей: собственно приискового хозяйства — заготовка материалов и припасов, своевременная доставка их на прииск — и усовершенствования техники: рельсовые пути для подвозки песков, паровые элеваторы, штанговые и центробежные машины, шурфование при помощи сжатого воздуха. Чтобы окончательно убедить в чудесах золотопромышленной техники, доктор привел пример того, что артель в шесть человек, два мужика и четыре бабы, добывая песок горным, шахто-ортовым, способом, едва успевает промыть в день шестьсот пудов, тогда как при открытых работах, разрезом, та же артель свободно промоет целую кубическую сажень песков, то есть тысячу двести пудов.

— Если еще после этого вы...— ораторствовал доктор, но не договорил своей фразы.

К нам незаметно подошел Ароматов и, сняв свою шляпу, униженно раскланивался, прижимая к сердцу

свой сверток, как это делают раскланивающиеся с публикой концертные певцы и певицы.

— Вам что угодно? — спросил доктор, не зная, как принять эти поклоны.

— Если, господа, у вас найдется свободная минута...— заговорил Ароматов, продолжая раскланиваться.— Я, конечно, маленький человек... очень маленький... Да вот пгочтите пгоект, господа, там все сказано. Счастливая мысль, очень счастливая мысль.

Синицын сморщил нос и через плечо едва взглянул прищуренными глазами на «маленького» человека. Для чего Ароматов ломался — я никак не мог понять. Доктор взял «проект», развернул несколько листов чисто переписанной бумаги и прочитал выведенный готическими буквами заголовок:

— «Опыт решения социального вопроса по последним данным науки и на основании указаний практики, поскольку он касается всего человечества вообще, русского народа в частности и приисков в особенности...»

Если бы над нашей головой раздался пушечный выстрел, вероятно, впечатление получилось бы слабее; доктор с раскрытым ртом вопросительно посмотрел сначала на нас, потом на Ароматова.

— Послушайте, что же вы стоите без шляпы? — заговорил он в смущении.— Да идите сюда... Вот вам стул. Не хотите ли завтракать?

Ароматов, скомкав шляпу под мышкой, каким-то приниженным шагом взошел на крыльцо и продолжал молча отвешивать поклоны; стоило большого труда упросить его взять свободный стул и сесть к столу.

— Чего же вы, собственно, хотите именно от нас? — спрашивал доктор, не зная, как ему смотреть на нового гостя — как на сумасшедшего или просто как на чудака.

— Я-с, собственно, ничего не хочу и не могу хотеть, кгоме того, чтобы удостоили своим пгосвещенным вниманием мой пгоектец,— униженно заявлял Ароматов, усаживаясь на самый кончик стула.

Пробежав первые строки рукописи, доктор внимательно посмотрел на автора «Опыта» и опять погрузил свой длинный нос в бумаги. Однако чтение продолжалось недолго: доктор передал рукопись мне, а сам залился неудержимым смехом, как умеют хохотать только очень добрые люди. Как я ни был подготовлен к фоку-

сам Ароматова, но его «Опыт» превзошел самые смелые ожидания: это была невообразимая окрошка из ученых выводов и сентенций, перемешанных с текстами священного писания, стихами Гейне и собственными размышлениями автора. Тут было всего понемножку: и марксовское сравнение капитала со створоженным рабочим временем, и фаланстерии Фурье, и теории Лассаля... Болезненная фантазия Ароматова без разбору нанизывала одно на другое, и в результате получалась какая-то сумасшедшая мозаика. Синицын полюбопытствовал узнать содержание «Опыта» и, пробежав через мое плечо первую страницу, проговорил:

— Да это социалист, господа...

— Где социалист? Какой социалист? — спрашивал Карнаухов, появляясь в дверях. Заметив Ароматова, он, пошатываясь, подошел к нему и поцеловал в лысину.— Да ты как сюда попал, черт ты этакий?.. Ароматов... тебя ли я вижу?! Господа, рекомендую: это Шекспир... Ей-богу!.. Ароматов, не обращай на них, дураков, внимания, ибо ни один пророк не признается в своем отечестве... Блаженни чистии сердцем... Дай приложиться еще к твоей многоученейшей лысине!..

На эти возгласы Карнаухова из конторы выкатился собственной персоной сам Тихон Савельич; от бессонной ночи и выпитого вина его сыромятное лицо светило каким-то жирным блеском, а глаза были совсем мутны.

— Какого это ты француза поймал? — спрашивал старик Карнаухова, показывая своим точно обрубленным пальцем на Ароматова.

— Погодите, погодите... Соловья баснями не кормят,— суетился Карнаухов, затаскивая Ароматова в контору.— Ну, брат, прежде всего устроим разрешение вина и елея... Вкушаешь?

— Единую могу...

— Сначала, конечно, единую!

После трех рюмок Ароматов сразу воодушевился и продекламировал несколько куплетов из Беранже; невзыскательная публика аплодировала артисту, а Безматерных фамильярно хлопнул его своей пятерней по плечу и хрипло проговорил:

— Да ты, кошки тебя залягай, из заправских актеров, что ли?

Выпитое вино, общие похвалы и внимание воодуше-

вили Ароматова; он, потирая руки, раскланивался на все стороны, как заправский актер, и по пути скопировал Бучинского, который все время смотрел на него с кислой физиономией.

— Комедиант! — презрительно пожимая плечами, заявил Фома Осипыч.— Которы порядочны чоловик есть, он никогда не позволит себе...

— Давайте, господа, обедать! — предлагал Карнаухов.

Обед был подан на крыльце и состоял всего из двух блюд: русских щей и баранины. Зато в винах недостатка не было, и Карнаухов, в качестве хозяина прииска, одолел всех. Ароматов сидел рядом с хозяином, и на его долю перепало много лишних рюмок, так что, когда встали из-за стола, он несколько раз внимательно пощупал свою лысую голову и скорчил такую гримасу, что все засмеялись.

— Ну что, Шекспир? — спрашивал Карнаухов.— А где у вас дьякон, господа? Вот интересно бы их свести вместе!

— Дьякон спит, ваше высокоблагородие,— докладывал Федя.— Они немного не в себе...

— Господа... устгоимте маленькую сцену! — предлагал расходившийся Ароматов.— Я вам один газыггаю опегу.

При помощи двух досок и стульев устроены были две скамьи для публики, а сцена помещалась в переднем углу. Когда публика заняла места, Ароматов с театральным жестом объявил:

— Господа, внимание, увегтюга!

Ароматов заиграл на губах интродукцию. Кто-то подавленно прыснул, а Безматерных захватил обеими руками свою сыромятную рожу и запыхтел, как локомотив. «Господи, прости нас, многогрешных»,— захрипел старик, когда Ароматов перешел к первому действию и заходил по комнате театральным шагом Сусанина. Пел он разбитым голосом, но роли выдерживал удивительно; номера из женских партий исполнял фистулой. Странно, что первое смешное впечатление исчезло, когда началась драматическая часть пьесы: этот смешной жалкий чудак умел вдохнуть жизнь в свое паясничество и добавлял жестом и мимикой то, чего не мог передать голосом. Наконец Сусанин погиб; публика готова была зааплодировать актеру, который теперь безмолвно

лежал на полу как настоящий убитый, но он поднимает свою плешивую голову и говорит:

— Тише, господа... сейчас будет похогонный магш.

Ароматов опять растянулся на полу и заиграл марш на погребение Людовика XIV. Это было уже слишком, и вся публика разлилась дружным хохотом. Безматерных не мог выдержать — выбежал на сцену и хлопнул лежавшего на полу Ароматова ладонью прямо по лысине.

— Подлец! — закричал Ароматов, поднявшись с полу.

— А ты дурак... ха-ха! — заливался Безматерных.

Вместо ответа обезумевший чудак бросился на старика с кулаками; их едва розняли.

— Вы... все... эксплуататогы! — кричал опьяневший от злости Ароматов со слезами на глазах.— Я агтист... я никого не обижал... я... вы обигаете нагод... Пьете чужую кговь!.. газбойники!

— Ох-хо-хо!..— заливался Безматерных, подставляя ногу неистовствовавшему чудаку.— Ох! горе душам нашим!

— Кговопийцы!.. Вы не золото добываете на пгиисках, а кговь человеческую...

С Ароматовым сделался истерический припадок, и его едва могли уложить на постель. Нашатырный спирт и холодные компрессы немного его успокоили, но время от времени он опять начинал плакать и кричать:

— Доктог... я не обидел никого... не смеялся ни над кем... Вот тут, сейчас за стеной... сотни людей мучатся целую жизнь... Женщины... дети, доктог!.. Мой пгоект... там все сказано!

Ароматов с детскими рыданиями упал своей лысой головой в подушку.

— Ох, уморили, отцы...— вздыхал на крыльце Безматерных, вытирая вспотевшую красную рожу бумажным платком.— Ужо дьякону надо отказать, а взять этого... как бишь его... Шекспира... ха-ха!..

Вечером в конторе стояло кромешное пьянство. Ароматов спал на постели Бучинского, его место занимал дьякон Органов.

— Затягивай, дьякон!..— орал Безматерных, сидя на полу в одной рубахе.

Дьякон встал на середину комнаты, приложил одну

руку к щеке, закрыл глаза и ровным бархатным тенором затянул проголосную песню:

Со вечера дождичек,
Поутру-раным туман.
На меня, на девицу,
Пришла скука и печаль...

Хриплым голосом подхватил песню Безматерных, раскачиваясь туловищем в обе стороны; подтянул ее своим фальшивым тенориком Синицын, даже доктор и тот что-то мычал себе под нос, хотя не мог правильно взять двух нот. Бучинский сидел в углу, верхом на табуретке, и тоже пел, только свою собственную хохлацкую песню:

Ой я нэщастный...
Сполюбив дивчину,
А вона не хоче... не хо-оче!!

А в открытые окна конторы глядела чудная летняя ночь, насквозь прохваченная легкой изморозью. Туман сгустился на самом дне прииска, вдоль течения Паньи, по обоим берегам которой были навалены недавно срубленные деревья. При колеблющемся свете месяца вся картина прииска грустно настраивала душу. Казалось, что перед глазами раскинулось поле сражения каких-то великанов, покрытое теперь трупами убитых. При неверном месячном свете все предметы принимали фантастические очертания, особенно срубленные деревья. Вот, например, лежит у самой речки громаднейший вояка: очевидно, он горячо гнал врага, но невзначай попал на роковую пулю, да так и растянулся во весь свой богатырский рост, уткнув голову в ночной туман. Немного подальше лежит целый ряд убитых; можно рассмотреть даже отдельные члены: вот бессильно согнутые и застывшие в этом положении ноги, вот судорожно скорченная рука, которою убитый все еще хватается за свою рану... Ближе виднелись две женские фигуры, которые наклонились над чьим-то распростертым трупом. А там, где около старательских балаганов сквозь туман мелькали огни, там раскинулся стан торжествующих победителей... Воображение дополняло то, чего не мог схватить глаз, и, кажется, в самом воздухе,

в этом чудном горном воздухе, напоенном свежестью ночи и ароматом зелени и цветов,— в нем еще стояли подавленные стоны и тяжелые вздохи раненых.

IX

В течение двух дней гости успели настолько надоесть, что я постарался как можно раньше утром уйти на охоту. Погода стояла великолепная, как это бывает только в конце июля на Урале; солнце весело золотило верхушки деревьев и ложилось по траве золотыми колеблющимися пятнами. Брести по высокой густой траве, еще полной ночной свежести, доставляло наслаждение, известное только охотникам; в лесу стояла ночная сырость, насыщенная запахом лесных цветов и свежей смолы. Я люблю северный лес за строгую красоту его девственных линий, за бархатную зелень красавиц пихт, за торжественную тишину, которая всегда царит в нем. Вообще люблю этот могучий лес-великан, как олицетворение живой стихийной силы.

Особенно хорошо в самом густом ельнике, где-нибудь на дне глубокого лога. Непривычному человеку тяжело в таком лесу, где мохнатые ветви образуют над головой сплошной свод, а сквозь него только кой-где проглядывают клочья голубого неба. Между древесными стволами, обросшими седым мохом и узорчатыми лишаями, царит вечный полумрак: свесившиеся лапчатые ветви елей и пихт кажутся какими-то гигантскими руками, которые точно нарочно вытянулись, чтобы схватить вас за лицо, пощекотать шею и оставить легкую царапину на память. Мягкий желтоватый мох скрадывает малейший звук, и вы точно идете по ковру, в котором приятно тонут ноги; громадные папоротники, которые топорщатся своими перистыми листьями в разные стороны, придают картине леса сказочно-фантастический характер. Прибавьте к этому неверное, слабое освещение, которое, как в каком-нибудь старом готическом здании, падает косыми полосами сверху, точно из окон громадного купола,— и вы получите слабое представление о том лесе, про который народ говорит, что в нем «в небо дыра». Как-то даже немного жутко сделается, когда прямо с солнопека войдешь в густую тень вековых елей и пихт и кругом охватит мертвая тишина, которой

не нарушают даже птичьи голоса. Птицы не любят такого леса и предпочитают держаться по опушкам, около лесных прогалин и в молодых зарослях. В настоящую лесную глушь забираются только белка да пестрый дятел; здесь же по ночам ухает филин и тоскливо надрывается лесная сирота — кукушка. Каждый раз, когда мне приходится бывать в нетронутом настоящем лесу, мною овладевает то самое особенное душевное состояние, которое переживалось еще в детстве, когда случалось с смешанным чувством страха и благоговения проходить по пустой церкви. Лучшие лесные пейзажи, которым удивляется публика на выставках, просто кажутся жалкими по сравнению с вечно подвижной и глубоко поэтической в каждом своем уголке природой.

С Паньшинского прииска мне нужно было взять сначала на лесистую небольшую горку, перевалить через нее и спуститься на увал, который и должен был вывести к безыменной речке, а от этой речки верстах в двух проходила дорога на Майну. По маршруту рыжего кума, чтобы попасть на Мохнатенькую горку, следовало пройти по этой дороге верст пять, а там сделать поворот влево, перейти пять ложков — тут тебе и будет Мохнатенькая. Я так и сделал. До выхода на майновскую дорогу успел убить двух рябчиков, а когда отыскал наконец дорогу — солнце было уже высоко. Плестись по пыльной дороге в жар было плохое удовольствие, и я начинал подумывать об отдыхе. В одном месте, где дорога спускалась по глинистому косогору, меня нагнал экипаж Синицына, в котором ехал сам хозяин вместе с доктором; за первой тройкой показалась вторая, нагруженная спавшими телами Безматерных и Карнаухова. Федя сидел на облучке и приподнял весело свою поповскую шляпу; из кузова выставлялись в желтых, сбившихся до колен штанах ноги дьякона Органова.

— Видели? — спрашивал Федя, кивая головой на первый экипаж.— Поистине: связался черт с младенцем... А мы на Майну катим. До свидания, сударь!

Я проводил последний экипаж и свернул по своему маршруту влево; по дну второго ложка весело катился холодный, как лед, ключик. Я выбрал местечко в тени пушистой черемухи и с наслаждением растянулся на зеленой высокой траве, которая встала вокруг меня живой стеной. Красиво колебались в воздухе красные вер-

хушки иван-чая, облепленные шелковистым белым пухом; тут же наливались в траве широкие шапки лесного пахучего шалфея с тысячами маленьких цветочков цвета лежалых старых кружев. Несколько кустов малины приютились около кучки гранитных обломков — бог знает какой силой занесенных в это глухое местечко; над самым ключиком свесила свои липкие побеги молодая верба и несколько кустов черной смородины. Трудно было подобрать уголок красивее, и я с удовольствием отдыхал здесь, прислушиваясь к жужжанью ос и шмелей, которые кружились над головками шалфея. Из лесу доносились голоса каких-то птичек, назвать которых я не умею,— мало ли вольной птицы в лесу, и мне каждый раз бывает как-то больно, когда непременно хотят определять, какая именно птица поет. Бог с ней, пусть себе поет на здоровье! Птицы с названиями всегда напоминают мне занумерованные склянки в аптеках...

— Тятя... а тятя?..— прокатился по лесу свежий девичий голос.

— Здесь...— глухо отозвался издали мужской голос.

— Заплуталась... тя-я-а-тя!.. Где ты?!

В десяти шагах от меня из лесу вышла высокая молодая девушка с высоко подтыканным ситцевым сарафаном; кумачный платок сбился на затылок и открывал замечательно красивую голову с шелковыми русыми волосами и карими большими глазами. От ходьбы по лесу лицо разгорелось, губы были полуоткрыты; на белой полной шее блестели стеклянные бусы. Девушка заметила меня, остановилась и с вызывающей улыбкой смотрела прямо в глаза, прикрывая передником берестяную коробку с свежей малиной.

— «Губернаторова» Настасья? — невольно проговорил я, любуясь первой приисковой красавицей.

— А ты как меня знаешь?

— Да так...

Девушка весело засмеялась, беззаботно тряхнула головой и быстро исчезла в густой траве. Я побрел за ней, чтобы узнать, что мог делать старый Сила так далеко от Паньшинского прииска. Мне пришлось сделать всего сажен полтораста, как открылся покатый лог; сквозь редкие сосны я издали увидел «губернатора». Старик по грудь стоял в какой-то яме, которая имела форму могилы; очевидно, Сила шурфовал, то есть разыскивал золото. Настасья стояла уже около шурфа

и бойко работала железной лопатой, отбрасывая в сторону снятые турфы.

— Бог нȧ помочь,— проговорил я.

— Спасибо на добром слове,— отозвался старик.— За охотой пошел? Ну, рыбка да рябки — потеряй деньки... Под Мохнатенькой видел я тетеревят гнезда с три.

— Шурфуешь, дедушка?

— Да, ковыряю задарма землю,— неохотно отвечал «губернатор», с легким покряхтыванием принимаясь копать землю кайлом.— Тоже вот, как твое дело, охота пуще неволи, а бросить жаль.

— Тятя, обедать пора! — проговорила Настасья.— Я вон малины набрала к обеду...

— Вот это люблю,— весело отозвался Сила,— а то на стариковские-то зубы один аржаной хлеб и не тово...

— У меня есть два рябчика, можно их зажарить,— предложил я.

— А сам-то как?

— Еще убью...

Старик недоверчиво посмотрел на меня, а потом как-то нехотя принялся собирать хворост для огня; Настасья помогала отцу с той особенной грацией в движениях, какую придает сознание собственной красоты. Через десять минут пылал около шурфа большой огонь, и рябчики были закопаны в горячую золу без всяких предварительных приготовлений, прямо в перьях и с потрохами; это настоящее охотничье кушанье не требовало для своего приготовления особенных кулинарных знаний.

— За что тебя, дедушка, «губернатором» прозвали? — спрашивал я, когда огонь совсем разгорелся.

— «Губернатором»-то?..— задумчиво повторил старик мой вопрос.— А это, вишь, дело совсем особливое, барин. Надо с самого началу тебе обсказать... Слыхивал ты про прииск Желтухинский?

— Да, слыхал; один из самых богатых...

— Ну, так вот этот самый прииск я открыл... Да. А про купца Живорезова слыхивал?

— Желтухинский прииск, кажется, Живорезову принадлежит?

Старик задумчиво почесал в затылке, поправил свою козлиную бородку и, тряхнув шляпой, продолжал:

— Живорезов миллионты нажил на этом прииске, первый богач по нашим заводам, а не было бы Силы,

не было бы и Живорезова... понял? Я его, прииск-то, три месяца в горах искал; с корочкой хлеба за пазухой шурфовал по горам, образ божий совсем потерял, а как объявил прииск — Живорезов у меня и отбил его. Ну, я начал с ним, Живорезовым-то, спориться. Он мне четвертную бумажку отступного сулил, а я трехсот с него не брал. Тут уж Живорезов-то и обиделся. «Ежели, говорит, ты добром не хочешь брать четвертной, так я у тебя даром возьму прииск, потому что я раньше твоего заявил...» Так оно и вышло: навели справку в полицейском управлении — точно, Живорезов раньше моего записан. Ну, тут я к губернатору пошел, а меня за это драть... Вот я с тех пор и стал, милый человек, «губернатор». Завладел Живорезов моим прииском, а у меня, кроме что на себе, ничего нет.

— А теперь опять шурфуешь?

— Опять шурфую...

— А если опять отберут новый прииск?

— Может, и отберут,— соглашался старик.— Только я не могу, барин... Обычай уж такой у меня: как зима повернула на весну, так меня и потянуло в лес. Тошнехонько сидеть в избе... Да и семью всю уведу. Оно, это самое наше старательство, вроде как болесть навяжется... И тяжело, и в убыток себе робишь,— да тут уж не разбираешь, только бы до лесу. Старатель старателю рознь, барин: который старатель с семьей выходит на прииск, того не применишь к одиночке. Эти нам одиночки, бабы или мужики, вот где сидят! — проговорил старик, указывая на затылок.— Самый путаный народ... От них много горя по приискам. Все говорят про нас, про старателей, что мы и пьяницы, мы и воры... А это неправильно. Конечно, живем на людях,— грехто не по лесу ходит,— а все-таки грех греху рознь.

— Но ведь старатели воруют хозяйское золото?

Старик внимательно посмотрел на меня и как-то нехотя ответил:

— Есть и такой грех, есть грех... Только, ежели рассудить это самое дело по правилу, старатель-то у кого, по-твоему, ворует?

— У хозяина прииска.

— Вот и не угадал: у себя, барин, ворует... Вот ты и поди!.. Да... Возьми хоть какой прийск: Коренной, Желтухинский, Копчик, Любезный — кем дело держится? Старателями... Хозяин что? Хозяин заплатил по пятна-

дцати копеек с сажени ренты, поставил контору — и все тут, вся ихняя заботушка. А старатель-то всей семьей робит-робит, колотится-колотится, а принес сдавать золото — на, получай рупь восемь гривен за золотник, все твои! А хозяин-то сдает это золото в казну по пяти рубликов,— значит, с каждого золотника ему три рубля двадцать в карман.

— Но ведь на приисках не везде старательские работы, а моют золото и машинами.

— Это только для отвода глаз, для левизора делается, барин,— убежденно заговорил старик.— Ведь поденщику заплати, а что он добудет — твои счастки... А поденщина, известное дело, с рук да с ног: лопатку песку бросил да два раза оглянулся; старатель-то в это время десять успеет бросить, потому как робит он на себя. Уж я тебе, барин, верно скажу: все эти левизоры да анженеры хоть разорвись, а такой машины не придумают, чтобы с голоду робила... А ты не считаешь того, что мы задаром этой земли перероем? Да ежели бы по-настоящему-то заплатить старателям за ихнюю работу, так золото-то бы не пять рублей за золотник стоило, а клади все десять. Нас тоже не радость на прииски-то гонит, а неволя... Мужики робят, бабы робят, ребятишки махонькие, по восьмому году, и те на тележках ездят; положи на деньги — так и не сосчитаешь! А еще нас же корят, что мы водку пьем, бабы у нас балуются. А ты возьми по правиле: ежели я шесть ден роблю как двужильная лошадь, недопиваю, недоедаю,— могу я в праздник господень, в христово воскресенье, пропустить стаканчик? У меня жена бьется еще хуже меня, потому день-то-деньской у грохота она молотит, а ночью с ребятишками водится да, бабьим делом, должна то починить, другое поправить... Должен я своей бабе поднести стаканчик или нет? А в ненастье, по осени, или весной, когда снег тает... Уж ежели где мужику тяжело, так бабе вдвое. Нет, барин, с наших кровных трудов купец раздувается, а мы выходим воры...

— Ну, а золото-то все-таки старатели тащат на сторону?

— Как не тащить, ежели плату хорошую дают: в конторе получи рупь восемь гривен, а на воле — и все четыре с полтиной. Теперь взять Синицына, дает он за золотник четыре рубли — значит, выгодно ему? Ведь

у него с каждого золотника рупь останется в кармане... Так? В другой раз на грохоте-то за всю неделю намоют два золотника, а то и один. Ведь шесть животов глядят на этот золотник, а я должен его нести в контору за рупь восемь гривен. И мы счет деньгам-то знаем, не хуже купцов или там господ... В позапрошлом году к нам на прииски приезжал один анженер. Осмотрел нашу работу, а потом и говорит: «Вы, говорит, не золото добываете, а закапываете золото...» Это он к тому, значит, что мы не робим всплошную, а выбираем, где местечко получше. Я ему и говорю: «Ваше высокоблагородие, дайте нам по четыре рубля за золотник — все до единова прииска сызнова перероем; только успевай принимать наше мужицкое золото». Добрый такой был анженер, только усмехнулся.

— Ну, рябчики-то, кажется, поспели, барин,— проговорил «губернатор», перегребая золу.— А ты, Наська, подавай нам свою малину.

Мы закусили на скорую руку, и я поднялся, чтобы идти дальше.

— А что, старый Заяц поправился? — спрашивал я.

— Ох, не говори, барин! — как-то глухо проговорил старик, махнув рукой.— Помнишь орелка-то? Беда вышла у них, да еще какая беда!.. За Никитой-то Зайцевым моя дочь Лукерья. Видел, поди: совсем безответная бабенка, как есть... Ну, поробил этот, грех его побери, Естя, а Зайчиха и стала примечать, что он как будто льнет к Лукерье, к моей-то дочери, значит. Старуха обстоятельная, ну, сторожит сноху, да в лесу где за всем углядишь... Хорошо. Только на той неделе Зайчиха-то и присылает за мной свово Кузьку; наказала, чтобы беспременно я шел к ним. Оболокся я поскорее и побрел к Зайцеву балагану. Прихожу — ну, брат, шабаш!.. Старый Заяц как туча сидит у балагана, молодой Заяц лежит пьяный, а моя Лукерья вся в синявицах... Как увидала меня, вся инда затряслась, побелела. «Что, мол, у вас, родимые, стряслось?» Ну, Зайчиха-то все и обсказала... Видишь, присматривала она за снохой-то, ну, все как будто ничего, а тут как-то поглядела в балагане, а у ней, у Лукерьи-то, значит, под самым изголовьем новешенький кумачный платок лежит. «Откуда у тебя платок?» — «Не знаю...» Ну, старуха сначала ее побила, значит, Лукерью, а потом пробовала на совесть; нет, заперлась бабенка, и кончено. А отке-

дова быть платку, окромя орелка? Старухе-то бы за мной послать,— может, Лукерья мне-то и повинилась бы, а она возьми да и скажи мужикам... Ну, известно, пошли бабенку куделить с уха на ухо, таскать за волосы, а Никита-то еще ногами ее давай топтать: сказывай, где взяла платок! Избили бабенку вляск... Ну, послушал я Зайчиху — что мне делать? Пожалеть али заступиться за дочь — скажут, потачу; подумал-подумал,— заодно уж, видно, мол, терпеть тебе, и давай прикладывать...

— Дура Лукерья-то! — проговорила Настасья.

— Ты больно умна...

— А ты ее за что трепал? Ну?.. Зайцы-то все паршивые, а ты за них же... Я бы знала, что сделать.

— Ну-ка, что?

— Взяла бы да и ушла — черт с вами!.. Естя-то захотел посмеяться над бабой и подкинул ей платок назло, а вы давай бабу бить.

— А ведь оно, ежели рассудить, так, пожалуй, и тово,— согласился старик, почесывая за ухом.— Ну, да дело прошлое, не воротишь...

— Как же, прошлое! — огрызалась Настасья.— Никитка-то вторую неделю пирует, а пришел домой — сейчас колотить жену. Старуха же и натравляет, старая чертовка...

— Ну, ладно, разговаривай... Вас, баб, только распусти, так у вас пойдет.

— Терпеть, да не от паршивого Никитки,— ворчала Настасья, сердито сплевывая на сторону.— Разе это мужик?

— А ведь Естя увел за собой у старого Зайца Параху-то,— задумчиво проговорил «губернатор».— Уж чем этот орелко соблазнил девку — ума не приложу.

До Мохнатенькой от «губернаторова» шурфа было всего с версту. Издали эта гора казалась не особенно высокой, но подниматься пришлось версты две: самая вершина была увенчана небольшой группой совсем голых скал. Это шихан, как говорят на Урале. С вершины шихана открывалась широкая горная панорама, уходившая в сине-фиолетовую даль волнистой линией; в двух местах горы скучивались в горные узлы, от которых беспорядочно разбегались горки по всем направлениям, как заблудившееся стадо овец. Зеленые валы без конца тянулись к северу, сталкивались, загораживали дорогу друг другу, и в сероватой дымке горизонта

трудно было различить, где кончались горы и начиналось небо. Лес, бесконечный лес выстилал горы, точно они были покрыты дорогим мохнатым темно-зеленым ковром, который ложился темными складками и блестел на вершинах светло-зелеными и желтоватыми тонами, делаясь на горизонте темно-синим. Панья пробиралась из одного лога в другой серебряной нитью; в одном месте из-за мохнатой горки выглядывал край узкого горного озера, точно полоса ртути. Это море зелени начинало волноваться, когда по нем торопливо пробегала широкая тень от плывшего в небе облачка; несколько ястребов черными точками парили в голубой выси северного неба.

Но как ни хороша природа сама по себе, как ни легко дышится на этом зеленом просторе, под этим голубым бездонным небом — глаз невольно ищет признаков человеческого существования среди этой зеленой пустыни, и в сердце вспыхивает радость живого человека, когда там, далеко внизу, со дна глубокого лога, взовьется кверху струйка синего дыма. Все равно, кто пустил этот дым — одинокий ли старатель, заблудившийся ли охотник, скитский ли старец: вам дорога именно эта синяя струйка, потому что около огня греется ваш брат-человек, и зеленая суровая пустыня больше не пугает вас своим торжественным безмолвием.

С вершины Мохнатенькой можно было рассмотреть желтым пятном выделявшийся Паньшинский прииск, а верстах в двадцати от него Любезный, принадлежавший доктору; ближе к Мохнатенькой виднелась Майна. Можно было даже рассмотреть приисковую контору, походившую на детскую игрушку. Глядя на прииски, мне припомнилось все, что пришлось видеть, слышать и пережить за последние две недели... Плакавший истерически Ароматов, «пла̀ча» Марфутки, подвиги Аркадия Павлыча Суставова, избитая Лукерья, «золотая каша», торжествующая клѝка представителей крупной золотопромышленности, преследующих государственную пользу, каторжная старательская работа — сколько зла, несправедливости несет с собой человек всюду, и под каждой вырытой крупинкой золота сколько кроется глухих страданий и напрасных слез!

X

Бучинский несколько дней находился в прескверном расположении духа. Он ходил по конторе, плевал во все углы и разражался страшными проклятиями, когда кто-нибудь нарушал бурное течение его мыслей.

— Что с вами, Фома Осипыч? — спросил я наконец.

— А... не спрашивайте! Живешь, как свинья, работаешь, как каторжный, а тут... тьфу!

— Уж здоровы ли вы?

— А для чего мне здоровье? Ну, скажите, для чего? На моем месте другой тысячу раз умер бы... ей-богу! Посмотрите, что за народ кругом? Настоящая каторга, а мне не разорваться же... Слышали? Едет к нам ревизор, чтобы ему семь раз пусто было! Ей-богу! А между тем как приехал, и книги ему подавай, и прииск покажи! Что же, прикажете мне разорваться?! — с азартом кричал Бучинский, размахивая чубуком.

В конторе появились штейгера и казаки. Раньше я их как-то не замечал на прииске, а теперь они точно из земли выросли. Обязанность штейгеров заключается в том, чтобы предупреждать всеми способами хищение хозяйского золота, но известно, что у семи нянек всегда дитя без глазу, и штейгера бесполезны на приисках в такой же мере, как и всякая казенная стража. На казаках лежали специально полицейские обязанности, причем все было упрощено до последней степени: все дела разрешались при помощи нагаек. Где эта братия пропадала в мирное время — трудно сказать.

— Ну что, как вы нашли «губернаторову» Наську? — совершенно неожиданно спросил меня однажды Бучинский.— О, я знаю, на какую вы охоту ходите и для кого вы стреляете рябчиков...

— Да откуда же вы можете все знать?

— Сорока на хвосте принесла... Хе-хе! Нет, вы не ошиблись в выборе: самая пышная дивчина на всем прииске. Я не уступил бы вам ее ни за какие коврижки, да вот проклятый ревизор на носу... Не до Наськи!.. А вы слышали, что ревизор уж был на Майне и нашел приписное золото? О, черт бы его взял... Где у этого Синицына только глаза были?.. Теперь и пойдут шукать по всем приискам, кто продавал Синицыну золото... Тьфу!.. А еще умным человеком считается... Вот вам и умный человек!

Сделав многозначительную мину и приподняв палец кверху, Бучинский шепотом проговорил:

— Донос был сделан на все прииски... Да! И знаете, кто сделал донос?

— Кто?

— Ваш приятель, этот дурень Ароматов... Он и меня втяпал, должно полагать! Ей-богу!.. Вот и делай людям добро, хлопочи о них... Ведь я этого Ароматова с улицы взял! Вот вам благодарность...

Раз вечером, когда я возвращался от Ароматова в контору, на прииске я встретил старого Зайца, который сильно пошатывался и улыбался самой блаженной улыбкой. Старик узнал меня и потащил в свой балаган.

— У Зайчихи и водка найдется про нас,— заплетавшимся языком болтал Заяц, продолжая выделывать ногами самые мудреные па.

Меня удивило счастливое настроение старого Зайца, которое как-то не вязалось с происходившей неурядицей в его семье.

— А ведь Параха-то не тово...— заговорил старик, когда мы уже подходили к балагану,— воротилась. Сама пришла. *Он* с нее все посымал: и сарафан, и платок, и ботинки... К отцу теперь пришла! Зайчиха-то ее дула-дула... Эх, напрасно, барин! Зачем было девку обижать, когда ей и без того тошнехонько.

Балаган Зайца прилепился к самой опушке леса; по форме эта незамысловатая постройка походила на снятую с крестьянской избы крышу в два ската. Между двумя елями была перекинута жердь, а с нее проведены по бокам ребра; все это сверху было покрыто берестой, еловой корой, дерном и кое-где засыпано землей. Старый Заяц очень гордился своим балаганом, потому что в дождь сквозь его крышу не просачивалось ни одной капли воды; внутри балагана были сложены харчи, конская сбруя и разный домашний скарб, который «боялся воды». Около стен — из травы и старой одежи были устроены постели для баб и ребят; над самым входом в балаган висела на длинном очепе детская люлька, устроенная из обыкновенной круглой решетки, прикрытой снаружи пестрядевым пологом.

— Тут у нас главный старатель качается,— объяснил Заяц, дергая люльку за веребку.— Эй, Зайчиха, примай гостей... Слышишь?..

Из балагана показалась «сама», молча посмотрела на улыбавшегося мужа, схватила его за ворот и, как мешок с сеном, толкнула в балаган; старик едва успел крикнуть в момент своего полета: «А я ба-арина привел...» Зайчиха была обстоятельная старуха, какие встречаются только на заводах среди староверов или в соседстве с ними; ее умное лицо, покрытое глубокими морщинами и складками, свидетельствовало о давнишней красоте, с одной стороны, и с другой — о том, что жизнь Зайчихи была не из легких.

— Садись, так гость будешь,— сухо пригласила меня Зайчиха, подсаживаясь к огоньку с какой-то работой.

Только теперь я рассмотрел хорошенько, сколько безмолвного горя и глухих страданий таилось под этим наружным спокойствием. Всякое горе, которое постигает членов семьи, обыкновенно собирается около домашнего очага, где оно еще раз переживается всеми, а всех больше, конечно, тем, чье сердце болит о детях с первого дня их появления на свет. Страдания и неудачи заставляют семью теснее сплачиваться, точно она занимает оборонительное положение, и в центре этой семьи, ее душой в несчастьях является всегда женщина. В женской любящей натуре живет несокрушимая энергия, которая до последнего вздоха стоит за интересы своего пепелища. Когда мужчина теряется и начинает испытывать первые приступы глухого отчаяния, женщина быстро собирается с силами и является с геройской решимостью не отступать ни перед какой крайностью. Старая Зайчиха геройствовала своим искусственным равнодушием, не желая выдавать действительного настроения своих чувств.

— Где у тебя Никита-то? — спросил я, чтобы поддержать разговор.

— И не спрашивай... совсем спутался.

— А бабы где?

— Лукерья пошла мужа разыскивать, а Параха в балагане. Неможется ей...

Эта невольная ложь перед чужим человеком выдавила из подслеповатых глаз Зайчихи две слезинки, и она еще ниже наклонилась над своей работой, ковыряя иглой какое-то тряпье.

— А как у вас золото идет?

Старуха недоверчиво взглянула на меня, махнула

рукой и тихо заплакала; высморкавшись в самый кончик передника, она глухо заговорила:

— Слышал, чай... на весь прииск срам. Ох, проклятенное это золото!

— Мне «губернатор» рассказывал...

— Дурак ваш «губернатор» — вот что!

— Зачем дурак?

— А так...

Наш разговор был прерван появлением какой-то старухи, которая подошла к огню нерешительным шагом и с заискивающей улыбкой на сухих синих губах; по оборванному, заплатанному сарафану и старому платку на голове можно было безошибочно заключить, что обладательница их знакома была с нуждой.

— Здравствуй, Матвевна...— разбитым, выцветшим голосом обратилась она к Зайчихе.

— Садись, Митревна... гостья будешь.

— А я к тебе забежала... Видела, как Лукерья-то прошла к Абрамову балагану, думаю, теперь Матвевна одна... А где у тебя Заяц-то?

Зайчиха молча показала глазами на балаган; Митревна с соболезнованием покачала головой и принялась ругать приисковых мужиков, которые только пьянствуют.

— Твои-то разве тоже? — спрашивала Зайчиха.

— Ох, не говори, мать! Не глядели бы глазыньки. Как лошадь у нас увели, так все и пошло. Надо бы другую лошадку-то, а денег-то про нее и не припасено. Какие уже деньги: только бы сыты... Ну, выработка-то далеко от грохота, изволь-ка пески на тачке таскать... Мужики-то смаялись совсем, ну, а с маеты-то, што ли, и сбились. Чего заробят, то и пропьют.

Митревна принадлежала к тому типу совсем изжившихся старушонок, которые, по народной пословице, в чужой век живут. Глядя на ее испитое лицо, бессмысленно моргавшие глаза, на сгорбленную спину и неверную, расслабленную старческую походку, трудно было поручиться, что вот-вот «подкатит ей под сердце» или «схватит животом» — и готова: даже не дохнет, а только захлопает глазами, как раздавленная птица. Между тем такими жалкими старушонками иногда держится вся семья: везде-то она все видит, все слышит, всех побранит, о всяком поплачет: и кончится часто тем, что

всех перехоронит — и старика мужа, и детей, и внучат, да еще и бобылкой будет маяться лет двадцать. Удивительно живуча человеческая натура. По заискивающему тону разговоров Митревны нетрудно было узнать, что она совестится попросить у Зайчихи какой-нибудь пятак прямо, а считает своим долгом повести дело издалека, чтобы незаметно подойти к главной цели. Такие подходы слишком наивны, чтобы не заметить их сразу, и мне было жаль Митревны, когда она начала плести свою жалкую околесную.

— Солдатку-то Маремьяну знаешь? — спрашивала Митревна.

— Ну, знаю.

— Наши бабы ее поучили вечор... Разве не слыхала?

— Нет.

— Здорово поучили... Вишь, она, шлюха этакая, до чужих мужиков больно охотлива и, надо полагать, умеет их привораживать к себе. Поит их чем, што ли. Только этак-то она Абрамова старшого сына сманила к себе, потом зятя Спиридонихи да много еще кой-кого. Ну, бабенки-то и сбились с ума совсем; что им, значит, с мужиками со своими делать? Днюют и ночуют у солдатки; а чуть баба слово — в зубы и в поволочку. Спиридонихина-то дочь топиться бегала с горя... Тут какой-то добрый человек и надоумил бабенок: завели они эту самую Маремьяну в лес да своим судом... Волосы даже на ней все спалили, косу обрезали, а на теле живого места не оставили. Теперь в балагане солдатка-то ни в живых ни в мертвых лежит.

— Надо бы было раньше догадаться,— проговорила Зайчиха.— Так и надо учить этих шлюх, да еще вот этих сводней, что по прискам шатаются да девок смущают.

— Ох, и не говори, Матвевна! — с тяжелым вздохом согласилась Митревна и, понизив голос, прибавила: — Встрела я севодни поутру Силу... Тебя больно жалеет.

— Дурак... выжил совсем из ума на старости лет.

— Все, голубушка, все по приску-то пальцами указывают на Наську-то, а он других жалеет...

Митревна засмеялась каким-то дряблым, высохшим смехом, причем все лицо у нее собралось в один комочек, как печеная репа.

— Я ему сколь раз говорила, Силе-то,— рассказы-

вала Зайчиха.— А он смеется только... Вот теперь и казнись!

— Да и Фомка-то хнтер, пес!.. Сам даже и не смотрит на Наську, когда мимо грохота идет.

— А сводни-то на что?

— Вот-вот, они самые и есть... Много ли девке надо при ее глупом разуме: сегодня сводня пряниками покормит, завтра ленточку подарит да насулит с три короба — ну, девка и идет за ней, как телушка. А как себя не соблюла раз — тут уж деваться ей совсем некуда! Куда теперь Наська-то денется? У отца не будет век свой жить, а сунься в контору — да Аксинья-то ее своими руками задавит. Злющая баба!

— Что говорить — злыдня!.. Она Фомку-то, говорят, за волосья таскает.

— А я к тебе, Матвевна! — совсем другим голосом заговорила старуха.— Ребятишки-то со вчерашнего дня не едали, а хлеба-то ни маковой росинки... Мне бы хоть полковрижки? Как только деньги мужики получат за золото, сейчас тебе отдам.

— Да, вишь, у нас у самих-то...

Зайчиха немного поломалась, а потом ушла в балаган и вынесла Митревне небольшую ковригу хлеба; старуха с жадностью схватилась за него обеими руками и торопливо поплелась восвояси.

Зайчиха долго сидела молча, не сводя глаз с курившегося огонька, наконец проговорила:

— Слышал про «губернатора»-то? Не радуйся чужой беде — своя на гряде. Вишь, ему обидно тогда показалось за Лукерью. Я, точно, построжила: ну, мужики тоже малость потеребили, а для кого?.. Для Лукерьи же... Долго ли молоденькой бабенке на приисках спутаться. Я сноху-то караулила-караулила, да родную дочь и прокараулила... Легко мне это? К кому она пойдет, дочь-то, окромя матери? Ну, и принесла с собой все! Ох-хо-хо, барин, распоследнее наше житье!.. Робить-то робишь, маету примаешь с утра до ночи, а тут еще мужнки примутся пировать, бабы гулять...

— А на заводах разве нельзя было устроиться?

— Можно-то, пожалуй, можно, только несподручное дело, барин... Вишь, по нонешним заработкам по заводам нельзя мужику одному робить, надо посылать на фабрику н подростков, и девок. А что они на фабрике-то увидят, особливо девки? Самое распоследнее дело:

которая ни пойдет робить,— та, глядишь, и загуляла, а там с готовым брюхом и пришла к отцу, к матери... Балуются девки на фабрике все до последней. Ну, перво-то мы долго крепились, все крепились, а тут и пошли недостатки. Хлеб дорожает, харчи дорожают, обуток, одежа дорожают, а платы мужикам не прибавляют... Побились-побились, дальше уж и биться нечего стало; выходило так, что Параху с Кузькой надо было на фабрику посылать. Подростком была девка-то, жаль до смерти; ну, думали-думали с Зайцем и порешили на прииска, как сват Сила. Про себя-то думала, что как-никак, а дети при себе, при своем глазу будут... Как теперь и головушку покажешь к себе на завод...

— А что?

— Как — что? Хорошая слава лежит, а худая по дорожке бежит. Видел Митревну-то? Вот она у меня хлеба приходила занять, да она же первая по всему свету и разнесет про Параху-то... Тут чтобы по этакой славе девке замуж выйти — ни в жисть! Всякий выбирает товар без изъяну... Тоже вот и Наська... Уж, кажется, всем взяла девка, а тоже добрых-то людей не скоро проведешь!..

— Отчего бабы на приисках так балуются?

— От тяжелой жизни, барин, от нее самой... Ты погляди-ко, как бабы колотятся на приисках, ну, а тут уж долго ли до греха: другая за доброе слово с себя голову даст снять. Тут как-то в позапрошлом году была одна девчонка... Так, из себя-то немудренькая, а все-таки себя крепко соблюдала. Штейгерю одному эта самая девчонка и поглянись... Известно, с жиру бесятся! Ну, приставал, приставал к девке; та не идет. Так что они сделали с ней: сводню штейгер подговорил, а та девчонку завела в лес подальше, ну а штейгер-то там уж ждет ее... Только девка-то из себя могутная была, не поддавалась; тогда они ее водкой напоили... А сводне-то обидно показалось, что девка больно билась, вот она ушла вперед на прииск да оттуда парней и прислала штук десять... Они там и издевались в лесу над девкой, а потом бросили. После замертво свезли в гошпиталь. Следователь приезжал. Ну, а которая доброй волей девка себя потеряет, той и искать не с кого... Ох, да ведь это Никитка беспутный с артелью валит? — всполошилась старуха, заслоняя глаза рукой.— Он и есть, срамец!

Со стороны прииска к балагану Зайца с песнями валила пьяная ватага, между которыми издали выделялась вихлястая фигура беспутного Никитки; какой-то парень бойко наигрывал на гармонии, а молодой Заяц по траве пускался вприсядку. По всему прииску громко разносилась бесшабашная приисковая песня:

Как сибирский енарал
Станового обучал...
Ай-вот, калина!..
Ай-вот, малина!..
По щекам его лупил,
Таки речи говорил...
Ай-вот, калина!..

Зайчиха вооружилась длинной черемуховой палкой и встала в выжидающей позе; позади всех, с ребенком на руках и с опущенной головой, плелась Лукерья. На ней, как говорится, лица не было. Зеленые пятна от синяков, темные круги под глазами, какой-то серый цвет лица...

— Маммынька, я загулял! — мычал Никита, останавливаясь в приличной дистанции от мамынькиной палки.— Родимая... загулял...

— Иди-ка сюда, пе-ос...— низкими нотами заговорила Зайчиха и, поймав Никиту за вихор, принялась обрабатывать его длинную сухую спину своей палкой.— Доколе ты будешь пировать-то... а?..

— Мамынька... Вот те истинный Христос, не буду больше! — вопил Никитка, валяясь на земле.

Заслышав песню, старый Заяц высунул было свою голову из балагана, но сейчас же спрятался, как началась экзекуция.

— А вы чего стали тут?.. Ступайте домой!..— кричала Зайчиха на переглядывавшихся гостей.— Ступайте, пока я вас всех палкой не прогнала...

— Мамынька!.. Нам полштофчика всего...— умолял Никита, почесывая бока.

— Ступайте домой, в самом-то деле,— заговорила Лукерья, укладывая ребенка в люльку.— Добрые люди спать ложатся...

— Ах ты... змея! — вскипел Никита и ногой ударил жену прямо в живот.

Лукерья как-то дико вскрикнула, но Никита уже за волосы тащил ее по земле, нанося страшные удары пра-

вой рукой прямо по лицу. Посыпалась мужицкая крупная брань и вопли беззащитной жертвы, но Зайчиха не тронулась с места, чтобы защитить сноху, потому что этим нарушилось бы священнейшее право всех мужей от одного полюса до другого.

XI

Наступили первые дни августа. Выпало два холодных утренника, и не успевшие отцвести лесные цветочки поблекли, а трава покрылась желтыми пятнами. Солнце уж не так ярко светило с голубого неба, позже вставало и раньше ложилось; порывистый ветер набегал неизвестно откуда, качал вершинами деревьев и быстро исчезал, оставив в воздухе холодевшую струю. Радости короткого северного лета подходили к концу, впереди грозно надвигалась бесконечная осень с ее проливными дождями, ненастьем, темными ночами, грязью и холодом. Почти все свободное время я проводил в лесу, на охоте; хвойный лес с наступлением осени делался еще лучше и точно свежел с каждым днем. Возвращаясь однажды с такой охоты, я шел на Паньшинский прииск по майновской дороге; эта узкая лесная дорога, по которой с трудом можно было пробраться в хорошую погоду, теперь представляла из себя узкое и глубокое корыто, налитое липкой глинистой грязью. Шагая по стороне дороги, я догнал тащившийся шагом экипаж Карнаухова. На козлах сидел Федя и правил разбитой тройкой разномастных лошадей; из повозки выглядывали ноги дьякона Органова, которые я узнал по желтым шальварам.

— А... садитесь, сударь! — обрадовался мне Федя, останавливая свою еле плетущуюся тройку.— Вроде как с мертвыми телами еду,— указал он головой на экипаж.

— Куда теперь, Федя?

— Да надо пробираться домой, только вот барин не в себе, да и дьякон тоже...

— Что так?

— Да вот посмотрите...

Федя откинул кожаный фартук, и внутри экипажа, рядом с скорчившейся фигуркой Карнаухова, я рассмотрел русую голову Органова, перевязанную полотенцами.

— С дьяконом-то насилу отводились на Майне,— повествовал Федя, закрывая фартук.

— Как так?

— Да так, известно, от собственной глупости. Как приехали, и давай пить, давай пить... Пили, пили, пили! А Тишка Безматерных с этого питья даже, можно сказать, совсем сбесился и придумал такую штуку: с вечеру напоил дьякона до положения риз, а утром и не велел давать опохмеляться. Видишь, ему хотелось поглядеть, как будет ломать дьякона после трехмесячного пьянства... Хорошо. Проснулся дьякон и первым делом просит водки — поправиться. Не дали... Уж он просил-просил, молил-молил, на коленках ползал — не дали ни капли!.. Дьякон-то стал их стращать, что утопится в шахте, ежели не дадут водки. Вот тут Синицын и придумал потеху: принес ящик из-под вина, поставил к стенке и говорит дьякону: «Ежели проломишь лбом доску — сейчас бутылку коньяку велю тебе подать...» Ну, доски на ящике не то чтобы уж очень толсты, а в полпальца всё будут. Дьякон сперва было не соглашался, а потом точно одурел: как тяпнет головой в ящик, только доски затрещали... Ведь расшиб, сударь!.. Если бы своими глазами не видал, никому бы не поверил. Ну, доску-то точно что прошиб, да и голову себе, однако, проломил; кровь из него так и хлещет, как из барана, а те хохочут-заливаются... Хохотали-хохотали, а тут наш дьякон и повалился, помушнел весь; ну, тогда и давай с ним отваживаться. Дня с три вылежал без языка, а теперь выправляется. Только бы до Паньшина довезти в живых, а там и сам найдет дорогу домой. Ох-хо-хо!..

— Ну, а что Бучинский? — спрашивал Федя.— Ужо будет ему баня, голубчику... Только слабые нонче времена, сударь!

Вечером, пока отдыхали и кормились лошади Карнаухова, мы долго сидели с Федей на крылечке. Вечерняя заря догорала, окрашивая гряды белых облаков розовым золотом; стрелки елей и пихт купались в золотой пыли; где-то в густой осоке звонко скрипел коростель; со стороны прииска наносило запахом гари и нестройным гулом разнородных звуков. Балаганы давно потонули в тени леса, и только крайние из них пламя горевших огней на мгновение точно выхватывало из накоплявшейся мглы. Где-то встал и замер какой-то

дикий крик; может быть, это последний вопль какой-нибудь жертвы человеческого насилия или предсмертная агония зайца в когтях совы.

— Большие подлецы бывают на свете, сударь,— задумчиво говорил Федя, насасывая свою пенковую трубочку.— Вот хоть Бучинского взять... Ведь он в сделке с Синицыным и прудит ему золото с нашего прииска пудами. Ей-богу! Майна-то, сударь, совсем бездушный прииск, то есть золота в нем самая малость, а держится за него Синицын по той причине, чтобы отвести глаза... Так-то скупать золото неспособно, у кого своих приисков нет, а ежели прииска есть — только валяй. А ревизор приехал — покажут ему книги, и вся недолга. Так-то-с!.. А Синицын почему держится за Майну? Оченно просто... Эта самая Майна села как раз посередь всех прочих приисков, вот Синицын и доит их: с одной стороны подошли прииска Безматерных, с другой — докторский, с третьей — наш... Только получай! Все работают на Синицына, сударь. И он же первый друг-приятель всем: и доктору, и Тишке, и нашему барину... А разве они не знают всю его механику? Знают, да ничего не поделаешь, потому не поймай — не вор... И очень просто это делается, сударь...

Федя осторожно огляделся кругом и тихо заговорил:

— Аксинью-то знаете? Она будто в куфарках у Бучинского, а на самом-то деле метреской... Как же! Ну-с, так золото-то через нее и прудят на Майну, то есть не сама она таскает его туда, а есть у ней какой-то брат, страшенный разбойник... Так вот он и есть коновод всему делу! Имя-то у него...

— Гараська?

— Он самый, сударь, Гараська... Отчаянная голова, сударь, этот Гараська! Штейгера они тут уходили на Майне, и след простыл. Пьяный сболтнул лишнее про ихние дела, Гараська-то и спустил его в шахту: только и видали... Ревизор как-то хотел словить этого Гараську, караулил его на Майне целую неделю; ну, Гараська и влетел было, да догадлив, пес: мешочек-то с золотом прямо в повозку к ревизору и подкинул, ревизор сам и увез с собой краденое золото, а там уж его добыли после, из повозки-то. Так вот этот Гараська скупает у паньшинских старателей золото, да и сдает его Синицыну, а барыши — пополам с Бучинским. Сказывают, у этого Гараськи есть какая-то девка, Ховрей называется, так

эта самая Ховря в себе проносит золото, и по этому случаю ее «коробкой», сударь, зовут на прииске.

Федя долго рассказывал про подвиги Бучинского и старателей, жаловался на слабые времена и постоянно вспоминал про Аркадия Павлыча. Пересел на травку, на корточки, и не уходил; ему, очевидно, что-то хотелось еще высказать, и он ждал только вопроса. Сняв с головы шляпу, старик долго переворачивал ее в руках, а потом проговорил:

— Дьяконова шляпа-то у меня... По наследству мне досталась, когда он расстригался. Мы ведь с ним старые знакомые, в городу-то когда он служил, я частенько к нему захаживал... Хороший был человек, сударь, справный. А какой хозяин — все своими руками умел сделать: и за столяра, и за каменщика, и за сапожника. Хозяйственный человек, одним словом. Жена у него тоже славная была бабочка. А знаете, сударь,— другим голосом прибавил Федя,— ежели разобрать, так дьякон от меня и с кругу спился. Вот поди ты, какая штука может произойти!.. Ей-богу! Кажется, думать — так не придумать...

— Что же ты сделал ему такое?

— Я-то?.. да оно делать-то ничего не сделал, а все-таки грех на моей душе, сударь. И попу каялся... да-с. Видите ли, захожу я раз к дьякону, вот этак же дело летом было, сидим мы у него вечером на крылечке и калякаем. Хорошо этак беседуем... Только двор-то крытый, и совсем во дворе темно стало, хошь глаз выколи. Я сидел-сидел да и говорю: «Дай мне тыщу рублей — не пойду теперь в сарай». Дьякон давай меня просмеивать, что я нечистого боюсь, а никакой нечисти, говорит, нет. Старухи, говорит, придумали. Ну, поспорили: он — свое, я — свое. Только мне это и покажись обидно, что дьякон как будто над моей необразованностью смеется, вроде как мужицкую мою глупость хочет показать... Так-с. Я и говорю дьякону: «А вот, говорю, генерал Карнаухов, покойник, не глупее нас был, а тоже этих привидениев до смерти боялся... Тоже вот, если заяц дорогу перебежит, поп встретится...» Ну, сижу да перебираю, что покойный барин не уважал, а дьякон как отрежет мне: «Все это бабьи «запуки»!..» Меня уж тут зло и взяло... «Ах ты, думаю, долговязый баран!..» Потом и говорю: «Ну, ежели ты боек, дьякон, сходи сейчас на сарай да принеси мне сена...» — «Черта, говорит, за рога приве-

ду...» Да как сидел в одной рубашке и кальцонах — марш на сарай... Ну, сижу на крылечке да слушаю, как дьякон по двору босыми ногами шлепает. Вот заскрипели половицы — значит, на сарае бродит, потом слышу — спущается по лестнице и сеном шуршит... Я даже молитву хотел сотворить, что господь пронес благополучно нашу глупость, а дьякон как ухнет, как заревел... Ну, ей-богу, медведю или чумному быку впору! Меня так и затрясло, а дьякон тошнее того ревел, да со страхов-то как кинется, да на столб и оземь...

Федя помолчал, раскурил трубочку и продолжал:

— Вот оно, куда глупое-то слово человека приводит, сударь! Я только хотел спичкой чиркнуть да свету добыть, а в избе дьяконица тоже как ухнет и тоже оземь, вроде как квашонка. Баба последнее время ходила, а тут как услыхала, что дьякон словно под ножом ревел, со страху и покатилась по избе. Ах ты, господи милостивый! Уж не помню, как я за ворота выскочил, и только на улице маненько опамятовался... Ну, дьякон тоже на улицу за мной. «На черта, говорит, ногой наступил...» А на самом лица нет. Что делать?.. Перекрестился я, зажег спичку, и пошли мы досматривать, где этот черт лежит. И что бы вы, сударь, думали? Подходим к сараю, а около сарая лежит теленочек пестренький; корова-то, значит, только-только успела отелиться; он еще не успел и обсохнуть, сердечный, как дьякон наступил на него ногой и слышит, что под ногой и теплое, и мокрое, и живое, и мохнатое... Ну, натурально черт!.. Ну-с, тут нам даже смешно стало, опять по глупости по нашей. Он черт и оказался...

— Теленок-то?

— Теленок само собой, а черт само собой, сударь. Вот вам это даже смешно кажется, ан дело-то не смешно вышло... Вы послушайте, что дальше-то было. С того самого случая и начни дьяконица хворать... Выкинула она первым делом дите, а потом, как под сердце подкатит — дьяконица глаза под лоб, пена у рта, а сама по полу катается. Ей-богу... Ну, обнаковенно, потащили дьяконицу по докторам; один то, другой другое... И грешно и смешно про этих докторов сказывать, сударь. Один ее все голодом морил, недели с три морил, пока у дьяконицы язык не отнялся; другой холодной водой обливал, третий льдом ее обложил — нет нашей дьяконице лучше, и шабаш: урчит в утробе — и конец

делу, а потом под сердце. Бились-бились с дьяконицей, а потом дьякон уж догадался, что тут не доктора надо... Он, черт-то, в утробу дьяконице забрался. Нет, вы, сударь, не смейтесь, а слушайте, что дальше-то было. Как догадались, по-вашему... а?

— Право, не знаю...

— Вот то-то и есть... А дело проще пареной репы. Старушоночка одна, побирушка, научила. Как дьяконице подкатило, старушоночка и говорит: «А почитай Исусову молитву...» Ну, обнаковенно, дьяконица только перстом показывает, что «он» ей не дает Исусову молитву читать.

— У дьяконицы просто была падучая...

— Ну, пусть будет по-вашему, падучая. А мы знаем эту падучую, сударь... Вы послушайте дальше-то. Дьякон тоже все по-вашему говорил и всех старушоноклекарок в три шеи гнал... А тут и случись дьякону куда-то на покос уехать, сено ставили. Тут дьяконицу и научили к одному старичку обратиться, чтобы попользовал... А старичок этот многим уже помог. Ну, дьяконица к нему, а старичок говорит: «Хорошо, только чтобы делать все, как я скажу». Обнаковенно, дьяконица рада-радехонька, только вылечи. Вот прихватил старичок двух старушек и пришел к дьяконице... Вбил в стену два гвоздя, поставил дьяконицу к стене и прикрутил ей руки к гвоздям веревкой. Хорошо. Потом как разбежится да головой прямо в брюхо дьяконице... А могутный из себя старичок был,— ну, дьяконица и запела на все голоса. А старичок-то сотворит молитву, разбежится да опять головой, по-бараньему, в брюхо дьяконице. Ну, таким манером орудовал он часа полтора, пока дьяконица билась на гвоздях да ревела, а потом, как стихла, он ее и велел на кровать положить. Совсем было вылечил: сначала-то будто охала, а потом и затихла... А дьякон-то и воротись на притчу: старика в шею, старушонок за шиворот — всех располировал и все дело сразу испортил. На третий день дьяконица кончилась, а дьякон расстригся да пить, да пить да вот до какой оказии и допил. Вот оно, сударь, глупое-то слово куда нас приводит.

Ночью Карнаухов и Федя уехали с прииска; Карнаухов все время не поднимал головы и только раз попросил напиться воды. Дьякон Органов остался на прииске, и Бучинский столкал его с своих рук в зем-

лянку Ароматова; последний был очень рад такой находке и с торжеством увел своего постояльца.

— Ох, в живых бы довезти барина до дому,— говорил Федя, усаживаясь на козлы.— А то будет мне на орехи от барыни... До свидания, сударь!.. Извините на нашей простоте...

XII

Как-то ночью я был разбужен осторожным шепотом и шагами каких-то мужиков. Подняв голову, я узнал в мужиках приисковых штейгеров и переодетых казаков. Очевидно, произошло на прииске что-то очень важное, и Бучинский на мой вопрос только приложил умоляюще палец к губам. Он был в высоких сапогах и торопливо прятал в карман штанов револьвер.

— Мне можно с вами? — спросил я.

— О, никак невозможно, никак невозможно! Дело государственной важности!.. Мы скоро вернемся...

Скоро вся шайка под предводительством Бучинского исчезла во мгле осенней ночи. Таинственность этой экспедиции заинтересовала меня, и я с тревогой стал дожидаться ее исхода. Прииск спал мертвым сном; ночь была темная, нигде не мелькало ни одного огня. Время тянулось с убийственной медленностью, и часовая стрелка точно остановилась. Прошло десять минут, четверть часа, двадцать минут,— мне сделалось просто душно в конторе, и я вышел на крыльцо. Осенняя беспросветная мгла висела над землей, и что-то тяжелое чувствовалось в сыром воздухе, по которому проносились какие-то серые тени; может быть, это были низкие осенние облака, может быть — создания собственного расстроенного воображения. Я напрасно прислушивался к охватившей весь прииск тишине — ни один звук не нарушал ее, точно все вымерло кругом.

В это время из кухонной двери вырвалась яркая полоса света и легла на траву длинным неясным лучом; на пороге показалась Аксинья. Она чутко прислушалась и вернулась; дверь осталась полуотворенной, и в свободном пространстве освещенной внутри кухни мелькнул знакомый для меня силуэт. Это была Наська... Она сидела у стола, положив голову на руки; тяжелое раздумье легло на красивое девичье лицо черной тенью и сделало его еще лучше.

— Застанут, думаешь, Никиту-то? — тихо спрашивала Аксинья.

— Застанут...— так же тихо ответила Наська, не поднимая своей головы.— В ночь сегодня собирался на Майну с золотом...

— Лукерья-то не знает? — после короткой паузы спросила Аксинья.

— Нет... Избил он ее третьего дни — страсть!.. Глаз не видно, без языка лежала всю ночь...

— А ты через кого узнала про Никитку-то?

— Да мальчишко у них есть, Кузька... он и сболтнул, что Никита собирается в ночь куда-то, а куда ему по ночам ездить, окромя Майны?

Молчание.

— Это тебе старый пес подарил платок-от? — спрашивала Аксинья.

— Нет...

— Не ври, Гараська сказывал... А ты денег с него проси; после, пожалуй, не даст. Кум сказывал, что с Коренного сюда пришла робить одна кержаика... Пожалуй, как бы не отбила у тебя старика!..

— Ну его совсем; не дорого дано...

— А тебе Никиты-то не жаль?

— Значит, не жаль, ежели сама его подвела... Лукерья-то безответная, так я за нее упеку его!.. Путаный мужичонко — туда ему и дорога...

Прошло часа полтора времени, и мне надоело дожидаться на крыльце. Я успел заснуть, когда за конторой послышались громкие крики и чей-то плач. Скоро в контору вошел сам Бучинский и торжественно перекрестился; за дверями кто-то кричал и ругался.

— Говорите, слава богу...— заговорил Бучинский.

— А что?..

— То есть государственная польза... Да!.. Пойдемтека, каких птиц я вам покажу...

Мы вышли. На лужайке пред крыльцом столпилось человек десять; Аксинья держала в руках железный фонарь, и в его колебавшемся слабом свете люди двигались, как тени.

— А... бисови ворюги! — ревел Бучинский, пробираясь к трем мужикам, которые были окружены штейгерами и казаками.

Прежде всего мне бросилась в глаза длинная фигура Никиты Зайца, растянутая по траве; руки были скру-

чены назади, на лице виднелись следы свежей крови. Около него сидели два мужика: один с черной окладистой бородой, другой — лысый; они тоже были связаны по рукам и все порывались освободиться. Около Никиты, припав головой к плечу сына, тихо рыдала Зайчиха.

— Попались, голуби,— злорадствовал Бучинский.— С поличным влетели; теперь, брат, шалишь!

— Врешь, старый пес! — хриплым голосом кричал лысый мужик, дергая связанными руками.— Твои же штегеря нам подкинули золото... Ты вор, а не мы!..

— И как ловко попались! — восхищался Бучинский.— Вот этот...— ткнул он на Никиту.— Приходим к балагану: спят. Оцепили. Ну, а он уж проснулся и с мешочком ползет из балагана... Накрыли его, а в мешочке золото!.. Ха-ха!.. От-то есть дурень!..

— Ваше высокоблагородие! — голосила Зайчиха, каким-то комом бросаясь к Бучинскому в ноги.— Не пусти по миру... ребятишки... Ваше...

— От-то глупая старуха! То есть государственная польза... Я маленький человек, а вот приедет ревизор — он все дело разберет. Вы будете золото воровать, а я под суд за вас попадать?.. Спасибо!

— Батюшка, да ведь всего и золота-то два золотника будет не будет... Ослобони, кормилец!..

— Я же тебе говору, милая, что не могу... Государственная польза, ревизор приедет, разве ты можешь это понимать?

Комментарии

«Вы открыли целую область жизни, до вас неизвестную нам»,— писал А. М. Горький в день шестидесятилетия Д. Н. Мамина-Сибиряка. Область эта — Урал. И ни в одной из книг писателя яркий самобытный край не выразил себя так полно и значительно, как в «Уральских рассказах». Прежде скрытый от испытующего и любознательного взгляда читающей России, громадный, богатый природой и людьми край этот под пером Мамина-Сибиряка стал фактом литературы, вошел в общую художественную картину жизни страны. В очерках и рассказах, составивших книгу, отразились уральская история и современный писателю пореформенный Урал, социальные конфликты и народные нравственные ценности, приниженность людей труда и «взрывы дикой воли», искры политического протеста и шатающийся в своих основах быт «господ». Не случайно эти произведения привлекли внимание В. И. Ленина. В книге «Развитие капитализма в России», сославшись на очерк Мамина-Сибиряка «Бойцы» как на правдивый документ социальной истории, Владимир Ильич счел необходимым развить мысль об особенностях творчества писателя-уральца, явно имея перед глазами его «Уральские рассказы», в состав которых входили и «Бойцы».

Ленин писал: «В произведениях этого писателя рельефно выступает особый быт Урала, близкий к дореформенному, с бесправием, темнотой и приниженностью привязанного к заводам населения, с «добросовестным ребяческим развратом» «господ», с отсутствием того среднего слоя людей (разночинцев, интеллигенции), который так характерен для капиталистического развития всех стран, не исключая и России»[1].

Слова «рельефно выступает» означают, что В. И. Ленин видит отражение особых условий социального развития Урала не только в том, что изображено писателем, но и в том, как им освещены процессы жизни, лица, конфликты и события.

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 3, с. 488.

В очерках и рассказах сборника действительно развертывается широкая панорама жизни пореформенного Урала, сохранившего многие отношения крепостнического прошлого. Внимательный читатель увидит ряд примет того конкретного состояния хозяйства, правовых отношений, быта, которые складываются в общую характеристику края. Однако главное место в «Уральских рассказах» занимает картина народной жизни, в ее многих и многих гранях. Мамина-Сибиряка привлекали люди, в которых наиболее ярко, широко, полно проявляются не только приметы времени, частные состояния, но и вековые начала, складывающиеся в историческом развитии общества.

Он мудро говорит о подлинных творцах истории — трудовых массах, их исключительной роли в созидании страны, освоении Урала, в развитии его хозяйства. «Голутвенными людишками» именовались в государственных документах России XVII века неимущие труженики. Вспоминая об этом, Мамин-Сибиряк пишет: «Голутвенные людишки продолжают существовать и по-прежнему безвестно творят русскую историю». В «Бойцах» он высказал новую для исторической науки его времени мысль, что «истинными завоевателями и колонизаторами всей сибирской украйны были не Строгановы, не Ермак и сменившие его царские воеводы», а сами народные массы, вынужденные искать «вольных» земель.

Писатель видит тесную связь времен. Во многих рассказах он не обходится без экскурсов в историю. Сегодняшние злобы дня освещаются прошлым, прошлое выступает ярче в свете современности. Писательский взор постоянно замечает, как личные судьбы людей тесно связаны с историческими обстоятельствами, обусловлены ими. Так, зов «родительской крови» в Важенине получает исчерпывающее объяснение в самом развитии социальных отношений и скрепленных с ними бытовых форм.

Особое внимание уделяет писатель труду. Он показывает, как в коллективных трудовых усилиях, в созидании раскрываются истинные возможности человека, его удаль, смелость, природная одаренность, и союз между людьми освещается великим смыслом.

Мамин-Сибиряк видит, что труд имеет две стороны. Он приподымает человека, дает проявиться его силам и способностям, повышает уровень самооценки. Но этот же труд эксплуатируется алчными, наглыми «хозяевами», не ценящими рабочего человека, равнодушными к его судьбе.

Мамин-Сибиряк обычно строит свои очерки и рассказы таким образом, что рядом с картинами труда, порой приближающимися по силе и темпераменту к горьковскому «восторгу делания», рисуется «добросовестный ребяческий разврат» «господ». Описание жизни бурлаков на Чусовой перемежается сценами кутежа акционеров и управителей заводов. Труд и заботы золотоискателей сопровожда-

ются описанием разгульной и в то же время уныло однообразной жизни владельцев прииска, их клевретов. Как правило, сам народ относится к «господам» иронически. Эта ирония характерна и для авторского изображения тех, кто враждебен народу и над кем этот народ чувствует свое превосходство.

Ленин нашел точную формулу паразитизма «господ» на Урале, процитировав слова Лермонтова. Действительно, было что-то уныло «добросовестное» в повторении узкого круга безрадостных забав, было и подлинно ребяческое в беспечности скудных умом «хозяев», неспособных порой удержать капиталы в своих руках, как об этом рассказано, например, в повести «Верный раб».

Русская литература редко останавливалась только на социальных противоречиях, на вражде угнетенных и угнетателей. Она всегда пыталась найти и «золото» народного сердца, источник силы, устойчивости, поэтического отношения к действительности. Как правило, отыскивались эти устои в крестьянской среде. В наши дни писатель В. Белов написал цикл очерков «Лад», в которых рассмотрел устойчивый крестьянский уклад, выражающийся в формах самого быта, в народном календаре, праздниках, обычаях, обрядах. В «Уральских рассказах» Мамин-Сибиряк любовно рисует многие стороны «лада» жизни рабочих людей горнозаводского края. Перед нами проходят картины бытовых отношений, в основе которых лежат традиции, сложившиеся в коллективном труде, в единстве протеста и борьбы, в деятельном и хозяйском отношении к природе.

Именно эти традиции трудовой народной жизни создают характеры сильных, мужественных людей, отстаивающих правду, как Савка в рассказе «На шихане», способных деятельно сочувствовать другому человеку, как Шапкин в «Грозе», или готовых стать «заступниками» общественных интересов, как Важенин в «Родительской крови».

Особенным вниманием писателя пользуются женщины, хранительницы семейного уклада, выносящие на своих плечах все беды и несчастья, которые выпадают на долю близких.

В рассказах, написанных Маминым-Сибиряком в 90-е годы,— «Озорник», «Вольный человек Яшка»,— проявляются новые черты творческой манеры писателя, то, что сам он называл «одухотворенностью реализма». В простых бытовых столкновениях он видит проявление исторически значительных примет новых характеров, складывающихся на рубеже XX века. «Озорник» Спирька, «выломившийся» из обычного уклада деревни, не связанный ее косыми традициями, оказывается выше мужиков, которые не могут даже постоять за себя. Его бесстрашие, мужество — качества человека, который, как и герои Горького, встал «выше сытости». Выше корысти способен подняться и Яшка, заступаясь за обессилевшую птицу.

Образы таких людей подымали веру в будущее России. Они глубоко понятны и близки нам сегодня.

Духовная общность простых людей проявляется и в их отношении к народной поэзии. В произведениях сборника постоянно встречаются вложенные в уста персонажей песни, а также легенды, предания — устные рассказы, построенные по законам фольклорной поэтики. Свои чувства, поэзию души герои Мамина-Сибиряка нередко выражают в проголосной песне, отшлифованной столетиями.

«Уральские рассказы» вобрали в себя различные жанры песен. Они никогда не являются простой иллюстрацией быта, а органически входят в сюжет произведения, раскрывают неповторимый характер человека. Песни звучат здесь в часы труда и отдыха, в них выражают страдания и радость, порой удалой напев их передает ироническое отношение простого человека к становому или даже генералу. В песнях светится талантливая душа народа, они объединяют людей, приобщают их собственные переживания к тем, которые вылились в певучих строках.

Для поэтики «Уральских рассказов» характерны также «вставные» рассказы. Автор передает слово персонажу и выслушивает его повествование о каких-либо случаях из жизни, поучительных, облеченных в некоторые поэтические формы. Порой герои выстраивают целую систему фольклорно-поэтических «вставок»: анекдотов, быличек, преданий, которые в совокупности составляют подлинную энциклопедию народной жизни — не только ее фактов, но и оценок. Такие рассказы не только полнее раскрывают личность героя, придавая ей новые краски, но и присоединяют ее к общим народным ценностям. Вставные рассказы неизмеримо расширяют пространство повествования, включают события, далеко выходящие за рамки времени самого произведения, за пределы его сюжета.

Тесное переплетение голоса автора и голосов персонажей, взглядов интеллигентного человека и фольклорных оценок помогает выразить единство народа и демократического писателя, приобщает читателя к этой демократической общности.

Эта общность проявляется также в отношении к природе. Характерно, что природа в «Уральских рассказах» везде рисуется в связи с человеком, с его деятельностью. Такие персонажи, как Фомич («Лес»), Савка («На шихане»), воспринимают мир природы в контрасте с миром человеческих отношений как гармоничный, естественный и понятный. Для них природа — сфера свободного проявления их человеческой сущности, в чем-то искаженной и ущемленной социальными обстоятельствами.

То, что природа для Мамина — объект человеческого труда, проявляется даже в характере его пейзажной живописи. Почти у всех русских писателей XIX века, как правило, состояние души человека,

его мысли, переживания сравниваются с миром природы. В пейзажах Мамина-Сибиряка мы столь же часто видим сравнения явлений природы с теми или иными видами человеческой деятельности: свет падающей звезды он сравнит с тем, как в темной комнате зажигают спичку о стену, туча получит сравнение с клубом дыма, вырвавшегося из громадного орудия, зелень травы напомнит ему ограненный драгоценный камень.

В «Уральских рассказах» все произведения из жизни народа выводят нас на простор природы. Так рисуется приисковая жизнь в «Золотухе», «Первых студентах», труд сплавщиков — в «Бойцах». Герой очерка «На шихане» Савка только и мыслим среди природы, к которой он относится и поэтически, и как заботливый хозяин. Такое выведение героев в открытый мир природы приобщает их к простору бытия, помогает увидеть широту и размах их личностей, стремление к свободе, приобщает к вечному, к сфере общих духовных ценностей народа.

Мамин-Сибиряк не идеализирует своих героев из народа. Он видит, сколько уродливого порождает в людях социальный гнет. Но и те, кто согнут, а порой и изломан тяжелой жизнью, сохраняют в себе чувство иронического превосходства над управителем прииска или над приезжими господами, не понимающими ничего в охоте. В очерках постоянно звучит тема протеста против угнетения. Сам писатель с симпатией нарисует «летных» — жертв уродливых отношений и бездушия государственной машины.

Чужд Мамин народнической идеализации деревни и деревенской жизни. В «Летных» он показал, что в основе отношений в современной ему деревне лежит не общинный дух человеколюбия и братства, а черствый эгоизм собственников.

Русскую литературу восьмидесятых годов привлекал тип интеллигентного «слуги народа», «печальника» за народ. Рисуя таких интеллигентов, писатели обращали особое внимание на высокий уровень их сознания, на способность осознанно представлять пути развития страны.

Мамин-Сибиряк посвятил ряд рассказов подобным интеллигентам. Он создал поэтические образы «реалистов-идеалистов», людей, унаследовавших идеи шестидесятых годов. Чуждые стяжательства, каких-либо стремлений к личному преуспеянию, они трудятся вместе с народом, на собственном опыте осознавая, что идея демократического равенства требует коренных изменений в материальном и культурном положении трудового люда.

Писатель видит, в какие тупики заводит интеллигента доктора Осокина идеалистическая философия, столь чуждая здоровому, практическому смыслу тех, кто трудится. В истории «переводчицы на приисках» Мамину-Сибиряку удалось проследить и путь женщины

наверх, к союзу с передовыми людьми, и путь вниз, к порабощению обстоятельствами, к жалкой роли сожительницы приискового господина. За этим стояла судьба многих дворянских отпрысков, не способных найти место в жизни, где властвуют деньги. В рассказе «Башка» писатель заметит процесс «выламывания» блудных детей из привычных бездуховных форм бытия. Одним из первых Мамин создал типы «босяков», подобных Актеру или Барону из будущей пьесы Горького «На дне».

Если в произведениях других литераторов тех лет на первый план выступала попытка самоопределения интеллигентов в качестве силы, не зависимой от капитала, то у Мамина-Сибиряка внимание сосредоточено на связанности этих людей обстоятельствами, на всесилии социально-исторического процесса, неподвластного им. Вот такое понимание интеллигентных «деятелей» и отражало одну из особенностей жизни Урала, отмеченную В. И. Лениным.

Особое место в книге «Уральские рассказы» занимают исторические повести «Доброе старое время», «Из уральской старины» и «Верный раб». Они привлекают глубоким «чувством эпохи», точностью исторических деталей, верностью психологического рисунка. В героях этих произведений писатель раскрывает своеобразное сочетание страсти, размаха, широты характера, с одной стороны, и узости горизонта, интересов, жизненных задач — с другой. Самодурное всевластие, как и стяжание, извращают личность человека.

«Уральские рассказы» привлекают необычайным «многоголосием», богатством и красочностью языка, насыщенного фольклорной образностью. А. П. Чехов говорил: «У Мамина слова настоящие», имея в виду, что писатель не отыскивает эти слова в каких-либо источниках, а употребляет как свои собственные, привычные для него, родные. Критик Е. Колтоновская в статье, напечатанной «Вестником Европы» в 1913 г., развивала близкую мысль: «Бросается в глаза действительно прекрасный язык, в котором соединяются природная литературность с народной живостью и образностью». Она заметила также, что «маминский язык» не только красив, но и своеобразен» и особенность его «в чисто русской музыкальности и колоритности», «народные эпитеты и обороты, разные уральские и старорусские словечки, которыми он пересыпан, не нарушают его напевности и органической гибкости». Завершались эти размышления о языке писателя отсылкой к «Уральским рассказам», где «оригинальная красота маминской речи» сказывается с наибольшей силой.

«Уральские рассказы» невольно заставляют вспомнить «Записки охотника». Отделенная всего тремя десятилетиями от знаменитой книги Тургенева, книга Мамина продолжала душевный разговор о жизни, о народе, об отношениях различных социальных сил, о сти-

жнях национального бытия и характера. В картинах, нарисованных Маминым-Сибиряком, в позиции его видны громадные исторические сдвиги в состоянии страны. Одновременно мы замечаем, что многие вопросы бытия народа все еще оставались нерешенными. Для Урала, с близостью его «быта» к дореформенному, это было особенно характерно.

С «Записками охотника» «Уральские рассказы» сближает единство принципов построения книги. Рассказы объединены образом автора, свободно встречающегося с людьми. Там, где он формально отсутствует, как, например, в повести «Верный раб» или в «Добром старом времени», мы все равно включаем рассказанные истории в число услышанных тем же автором, что фигурирует в «Золотухе» и «Бойцах», в очерках «На шихане» или в «Лесу». Как и у Тургенева, сам автор не выдвигает свою фигуру вперед, он внимателен к голосам персонажей. В той и другой книге большое место занимает пейзаж; природа там и здесь — сфера жизни, с ней слиты судьбы и характеры людей.

Но в отличие от Тургенева Мамин-Сибиряк прибегает к развернутым публицистическим отступлениям, в которых разъясняются не столько явления жизни, составляющие сюжет, сколько их предыстория, их общественное значение. В рассказе «Родительская кровь» он объясняет причины тяжелого экономического положения заводов, глубоко вникнув в историю упадка горной промышленности Урала после реформы 1861 года. В «Бойцах» он, рассказывая о «летописи» сплава по реке Чусовой, вводит читателей в историю колонизации Урала. Однако публицистические вставки не нарушают цельности произведения. Автор здесь — один из участников жизни, его знания обширнее, чем у других персонажей, но понимание им действительности тесно связано с народными представлениями и понятиями, составляет их органическую часть.

Читатели заметят и ряд различий в характере мировосприятия двух писателей. Так, Тургенев стремится показать, что самосознание простого человека аналогично самосознанию автора, любого другого интеллигента. Мамин-Сибиряк, наоборот, прежде всего обращает внимание на поведение героев, на проявление в нем закономерностей социальной жизни, исторического бытия народа. Лиризм Мамина-Сибиряка менее тонок, но в нем чувствуется эпическая стихия народной деятельности, борьбы, размаха, энергии.

Первое издание «Уральских рассказов» вышло в 1888—1889 годах. Его осуществил бывший соученик Мамина по Пермской духовной семинарии И. А. Пономарев. Первый том (1888) включал очерки и рассказы «В худых душах», «На шихане», «Башка», «Родительская кровь», «Гроза», «Поправка доктора Осокина», «Летние», «Первые

студенты». Во второй том «Уральских рассказов» (1889) вошли очерки «Бойцы», «Золотуха», а также «Из уральской старины», «Лес» и «Отрава».

Можно заметить известную закономерность в формировании каждой из книжек. Первый том открывался и завершался рассказами, в которых выражалось глубокое уважение писателя к революционно-демократической интеллигенции, к наследию шестидесятых-семидесятых годов XIX века. Второй том начинался и заканчивался широкими картинами народного труда и быта, где большое место занимали типы простых людей, сильных и ярких в труде и протесте.

«Уральские рассказы» были дружно замечены критикой. Журнал «Русская мысль» (1888, № 11) решительно заявил, что это бесспорная удача писателя. «Особую прелесть рассказам,— писал рецензент,— придает полная их правдивость, отсутствие деланности или придуманности». Правдивость здесь далека от фактографии — «это художественные снимки с натуры, в них настоящая, «подлинная» (как говорит Гл. И. Успенский) жизнь бьет ключом, потому что рассказы об этой «подлинной» жизни одухотворены «подлинным» талантом и к бытию вызваны неподдельною, горячею любовью к тем людям, о страданиях и радостях которых повествует автор».

«Екатеринбургская неделя» (1888, № 28) напечатала рецензию В. О. Котелянского, одного из деятельных членов Уральского общества любителей естествознания. Отметив, что «Д. Н. Мамин пользуется в литературном мире вполне заслуженной репутацией талантливого и плодовитого беллетриста», автор выделяет как особенно удавшиеся рассказы первого тома — «В худых душах», «Башка», «Первые студенты», «Летные». В заключение он пишет, что «Уральские рассказы» производят «весьма приятное впечатление», и желает их автору «неуклонительно идти по избранному им пути бытописателя Сибири на пользу отечественной литературы и родного Урала».

В отзыве «Северного вестника» на первый том (1888, № 9) признавался талант писателя, но ему внушалась мысль о необходимости избавляться от прямого выражения своих симпатий и антипатий. При анализе 2-го тома (1889, № 6) отмечалось, что в книге «многосторонне и с любовью изображен быт одного из интереснейших уголков обширного русского мира».

Наиболее полная и аргументированная оценка «Уральских рассказов» была дана «Вестником Европы» (1890, № 10), где эти два томика Мамина-Сибиряка поставлены на первое место среди многих произведений, напечатанных за последнее время. «Автор,— говорилось в рецензии,— исполняет свою задачу с большой талантливостью: он умеет подмечать черты нравов, как они складывались в их особых условиях, хорошо изучил быт и, наконец, обставляет свой рассказ прекрасными изображениями местной природы; описания

уральского пейзажа составляют одну из привлекательных сторон его рассказов; наконец, автор прекрасно владеет народным языком». Здесь же впервые было отмечено своеобразие маминских типов рабочей среды, в характерах которых «сказывалось народное сознание, неясный протест и такое же неясное поэтическое настроение».

При подготовке второго издания «Уральских рассказов» (1899) произведения были разделены на три тома, изменен порядок их размещения, но в целом состав сборника остался без изменений.

В 1901 году издатель Д. Ефимов выпустил четвертый том «Уральских рассказов», в который вошли произведения восьмидесятых годов, ранее не включавшиеся в сборник («Переводчица на приисках», «Доброе старое время»), а также написанные в 90-е годы («Верный раб», «Озорник», «Вольный человек Яшка»). В 1905 году тот же издатель напечатал первый — третий тома «Уральских рассказов». Так как четвертый том к тому времени еще не разошелся, он не был переиздан.

В настоящем издании первый том составили рассказы и очерки, которые по авторской воле входили в первый и второй тома прижизненных изданий (1899 и 1905). Во втором томе печатаются произведения, входившие в третий том (1899 и 1905) и в четвертый — 1901 года. Сохранен порядок расположения произведений, установленный автором.

«В худых душах»

Впервые — «Вестник Европы», 1882, № 12. Подпись: Д. М-ин. В журнальном тексте и первом издании «Уральских рассказов» имелся подзаголовок «Люди и нравы в Зауралье», снятый в последующих изданиях и замененный простым жанровым определением «рассказ». Рукопись произведения хранится в Государственном архиве Свердловской области (далее ГАСО). В тексте ее есть некоторые разночтения с печатным текстом. Рассказ написан в пору реакции, последовавшей за 1 марта 1881 года, когда в охранительной печати раздувалась травля интеллигенции, причем не только революционной. Рассказ явился своеобразным ответом на призыв М. Е. Салтыкова-Щедрина в очерке «Чужой толк» (цикл «В среде умеренности и аккуратности») взглянуть не только на участников политических судебных дел, но и на то, как трагически отзываются их страдания в судьбах родных и близких. Мамин-Сибиряк увидел, говоря словами Щедрина, «настоящий узел семейных драм».

Печатается по тексту сборника «Уральские рассказы», т. 1, М., 1905, сверенному с предшествующими изданиями и рукописью.

С. 5. *Летние тебеневки* — выпасы для лошадей.
С. 6. *Сабан* — примитивный плуг.

Башка

Впервые — «Русская мысль», 1884, № 11. Подпись: Д. Сибиряк. Рукопись хранится в ГАСО. На первом и последнем листах отмечены автором даты работы: 24 августа — 5 сентября 1884.

Хотя отношение Мамина к босякам существенно отличалось от горьковского, Горький через двенадцать лет после первой публикации рассказа очень тепло отозвался о нем. «Башка» — один из лучших рассказов Мамина,— писал он.— Это вещь, написанная а la Брет-Гарт о людях «бывших». Один из героев — бывший семинарист, другой — бывший гимназист, героиня — бывшая актриса. Герои — золоторотцы, героиня — проститутка. Описана колоритным языком автора кабацкая жизнь, трущобные нравы. Рассказ производит сильное впечатление, еще раз доказывая, что иногда и грязь не мешает человеку блестеть алмазами духовной красоты» (Горький М. Несобранные литературно-критические статьи. М., 1941, с. 50—51).

Печатается по тексту сборника «Уральские рассказы», т. 1, М., 1905.

С. 30. *Плисовый пиджак* — из бумажного бархата.
Триковые штаны — из шерстяного бархата.
С. 31. *Шадривая* — рябая, со следами перенесенной оспы.
С. 36. *Брыластый* — толстолицый, с отвислыми губами.
Шепериться — упрямиться, ломаться, противиться.
С. 50. *Шленда* — повеса, гуляка.
С. 52. *Теория утилитаризма* — (от лат. utilitas — польза) этическое учение, полагающее, что в основе оценки явлений должна лежать идея пользы. У истоков теории стоит английский позитивист И. Бентам.
«Ввергохом злато в огонь и излияся телец» — библейское изречение (кн. «Исход», гл. 32). Телец был отлит из пожертвованных украшений.
С. 54. *Исполатчик* — мальчик, поющий «хвалу» во время выхода архиерея в церкви.
Канонарх — регент церковного хора.
Иподьякон — помощник дьякона.
Консистория — канцелярия церковного управления.
Акцизное ведомство — ведомство, ведающее сбором налогов с промыслов и торговли.

Отрава

Впервые — «Русская мысль», 1887, № 11. Подпись: Д. Сибиряк. В рукописи, хранящейся в ГАСО, заглавие — «Косточки хрустят». В зап. кн. писателя из собрания Б. Д. Удинцева (хранится в ЦГАЛИ) есть варианты заглавия: «Косточки хрустят», «Отрава», «Аленка».

В основе рассказа лежит факт, описанный Маминым-Сибиряком в очерках «С Урала» (Новости», 1884, № 162, перепечатаны в журнале «Урал», 1968, № 8, 10). Рассказывая о преступлениях, которыми была полна уголовная хроника Урала, автор сообщает о крестьянке села Покровского Ирбитского уезда Абакумовой, поставлявшей яды бабам для «защиты» от издевательств мужей. В этом очерке отравительница рассматривается только как уголовная преступница. В рассказе мысль стала глубже — писатель размышляет об основах семейных отношений, за которыми стояли социальные обстоятельства.

Рассказ был высоко оценен В. Г. Короленко. Он писал: «Деятельность Отравы оказывается единственной сдерживающей силой, ограничивающей издевательства над женщиной бесправной и приниженной в семье, где показывают свою «власть» мужики, тоже приниженные и бесправные в социальном плане. Писателю удалось показать действительную драму из народного быта во всем ее «простом и мрачном трагизме» (Короленко В. Г. О литературе. М., 1957, с. 378). Критика указывала также на антинародический смысл рассказа. Так, рецензент «Екатеринбургской недели» (1888, № 1) писал: «Власть тьмы, царящая в самых недрах коренной русской деревни, совсем не затронутой растлевающей городской цивилизацией, убедительно свидетельствует об отсутствии тех начал, которые видят в крестьянской жизни публицисты определенного направления».

Текст печатается по изданию: «Уральские рассказы», т. 1, М., 1905. Некоторые искажения устранены по предыдущим изданиям.

С. 65. *...Во времена башкирских бунтов...* — восстания башкир в 1662—1669, 1707—1710, 1735—1742 гг.

С. 69. *Чекмень* — суконный кафтан с низкой талией и сборками назади.

С. 73. *Деликатные формы нового суда...* — После судебной реформы 1864 года была введена гласность судопроизводства, обеспечено участие адвокатов в процессе, дела рассматривались в присутствии присяжных заседателей.

С. 83. *Пестрядина* — грубая льняная ткань в клетку или полоску.

С. 93. *Гребтится* — думается, кажется.

С. 95. *Обродка* — недоуздок, узда без удил.

Гроза

Впервые — «Наблюдатель», 1885, № 12. Подпись: Д. Сибиряк. Рукопись хранится в ГАСО. Дата в надзаголовке — 10 января 1885, в конце рукописи отмечено время окончания работы — 14 января

1885. Публикуется по изданию: «Уральские рассказы», т. 1, М., 1905 с исправлением некоторых погрешностей текста по предшествующим изданиям и рукописи.

С. 104. *Столбовая дворянская* семья — т. е. древнего рода.

С. 107. *«Перикола»*, *«Маленький Фауст»* — оперетты композитора Ж. Оффенбаха (1819—1880).

Ирбитская ярмарка — одна из самых крупных в дореволюционной России, проходила с 1 февраля по 1 марта в г. Ирбите Пермской губернии.

С. 115. *«Орфей в аду»*, *«Птички певчие»*, *«Прекрасная Елена»* — оперетты Ж. Оффенбаха.

С. 119. *Содом* и *Гомор* — (правильно Содом и Гоморра) в библейской легенде города, погрязшие в пороке.

На шихане

Впервые — «Вестник Европы», 1884, № 10. Подпись. Д. Мамин. Рукопись в ГАСО. Сокращенный вариант рассказа под названием «Савка» напечатан в 1886 году Киевским отд. общества покровительства животным, почетным членом которого писатель был избран.

С. 123. *Лядунка* — патронташ, сумка для зарядов.

С. 125. *Медной ярью* — зеленой краской с бирюзовым и травянисто-зеленым оттенком.

С. 129. *Гардемарины* — воспитанники морского кадетского корпуса.

Кантонисты — так назывались до 1865 года дети солдат, числящиеся с рождения по военному ведомству.

С. 131. *Некошная* — нелегкая, недобрая сила.

С. 139. *Успленьев пост* — Успенский пост (с 1 по 15 августа ст. стиля).

С. 140. *Чуман* — берестяной черпачок для воды.

Летные

Впервые — «Наблюдатель», 1886, № 2, 3. Рукопись текста, близкого к печатному, в ГАСО. Датируется 1885 годом на основе писем к матери от 17 и 29 сентября 1885 года, где Мамин говорит об окончании работы над «большим рассказом для «Вестника Европы» и о поправках, которые им внесены в него, а также по дате 18 сентября 1885 года на черновом варианте глав V—X в рукописи, хранящейся в ЦГАЛИ.

«Вестник Европы» отверг рассказ. Как видно из более позднего письма Мамина-Сибиряка А. Н. Пыпину, одному из руководителей

журнала, редакция сочла его «порнографическим произведением». Сам ответ редакции до нас не дошел. После отказа «Вестника Европы» рассказ был передан в «Наблюдатель».

Напечатанный затем в первом издании «Уральских рассказов» и отдельной брошюрой (1893), он встретил одобрение критики. Н. М. Михайловский назвал очерк «одним из лучших уральских рассказов», «Северный вестник» упрекнул писателя за его полемику с Достоевским, как ненужную в художественном произведении. В последующих изданиях сборника Мамин-Сибиряк снял выпад против автора «Мертвого дома». (После слов о том, что юристы не отличают «действительно несчастного преступника от закоренелого злодея», было сказано: «Известного лагеря печать и такие «проникновенные учителя», как Ф. М. Достоевский, возвели каторгу в ореол какого-то очищающего душу страдания... Это уже колоссальный абсурд, тем более что он проповедуется теми самыми людьми, которые изобрели специального русского Христа».) Во втором издании сборника были исключены также размышления о массе страданий и опасностей, какую выносят бегущие с каторги люди.

Переиздавая рассказ отдельной книжкой в издательстве «Вятского товарищества» (1907), писатель устранил публицистические отступления о прошлом края, где развертываются события, объяснения о количестве каторжан, о беглых, о сочувствии народа бродягам и т. д.

Рассказ печатается по изданию: Мамин-Сибиряк Д. Н. Летные. Изд. 4-е «Вятского товарищества», СПб., 1907 с некоторыми поправками текста по предыдущим изданиям.

С. 144. *Становые* — полицейские чиновники, ведающие «станами», на которые разделялся уезд.
С. 145. *Блазнить* — мерещиться.
С. 149. *Изгребные* — из грубого льняного волокна, оческов.
С. 151. *Челдон* — прозвище сибирских крестьян.
С. 160. *«Матерная вдова»* — вдова-мать.
Дубас — рабочий сарафан из толстого холста.
С. 182. *Ильин день* — 20 июля.

Бойцы

Впервые — «Отечественные записки», 1883, № 7, 8. Рукопись в ГАСО.

«Бойцы» имеют длительную творческую историю. Сплав барок по реке Чусовой и типы сплавщиков Мамин впервые описал в рассказе «Русалки» (1876). В 1881 году в либеральной газете «Неделя» был опубликован очерк «На реке Чусовой», подписанный С. К.

Первым произведением Мамина, напечатанным в «толстом» жур-

нале, был очерк «В камнях» (1882). Здесь перед нами та же Чусовая, тот же сплав, но в осеннюю пору. В 1883 году журнал для детей «Семья и школа» опубликовал мамниский рассказ «На реке Чусовой». Таким образом, писатель мог отшлифовать свои наблюдения, выстроить стройный сюжет очерков.

«Бойцы» были направлены в «Отечественные записки» по предложению Салтыкова-Щедрина, просившего Мамина послать «что-нибудь готовое» (письмо от 15 марта 1883 года). 1 июля он уже сообщил писателю, что очерк «будет напечатан в июльской — августовской книжках журнала».

«Бойцы» были включены во второй том «Уральских рассказов» (1889) и перепечатывались в их составе. Кроме того, очерки были выпущены в 1908 году Сытиным отдельным изданием, по которому и печатаются с исправлением некоторых неточностей по предшествующим изданиям и рукописи.

С. 203. *Каменка одна из нижних пристаней* — пристань в устье реки Каменки, впадающей в Чусовую.

Магазины — склады, в которые зимой завозился металл с заводов.

С. 206. *Писать мыслете* — идти неверным, колеблющимся шагом. Мыслете — старинное название буквы «м».

С. 207. *Варначье* — от варнак — каторжник.

Азям — верхняя одежда без талии, обычно из верблюжьей шерсти.

С. 224. *Смахивал на берейтора* — объездчика верховых лошадей, учителя верховой езды.

С. 226. *Бурбон чистейшей воды* — самодур, неограниченный правитель. От имени династии французских королей.

С. 240. *Новгородские ушкуйники* — дружины новгородцев, отправляющиеся на ушкуях, ладьях с парусами и веслами, по речным путям на Север, Печору, на Урал.

С. 241. *Заимствовано из Есипова* — из кн. Есипов Г. Раскольничьи дела XVIII века. Т. 1. и 2. Спб., 1861—1863.

С. 242. *Государевых слова и дела* — формула обвинения в государственном преступлении.

С. 244. *Приписные крестьяне* — государственные крестьяне, вместо уплаты налога обязанные работать определенное время на частных заводах, к которым они были приписаны.

С. 245. *Шугай* — род короткополой кофты в талию с рукавами, с отложным круглым воротником.

С. 254. *Пиканное брюхо* — прозвище жителей Кунгурского уезда. От «пикан» — диалектного названия зонтичного растения (борщевика сибирского), молодые побеги которого употреблялись в пищу

С. 280. *Мурчисон Р. И.* (1792—1871) — английский геолог, участвовал в изучении уральских недр.

Эйхвальд Э. (1795—1876) — русский палеонтолог и естествоиспытатель.

С. 298. *Еремей-запрягальник* — день первого мая, считался днем начала полевых весенних работ.

С. 312. *Гряда майданов* — водоворотов.
С. 320. *Багана* — заика, шепелявый.
С. 326. *Трифон Вятский* — проповедник христианства по Вятке (умер в 1612 г.).
Стефан Великопермский (1340—1396) — насаждал христианство среди народов Севера.
С. 336. *Эпитимия* — церковное наказание (молитва, пост), налагаемое священником на верующих.

Золотуха

Впервые — «Отечественные записки», 1883, № 2. Подпись: Д. Сибиряк. Рукопись хранится в ГАСО. В сравнении с рукописным текстом в журнальной публикации есть некоторые разночтения — главным образом стилистического характера. В некоторых случаях можно предполагать редакторское вмешательство М. Е. Салтыкова-Щедрина, впрочем, незначительное, вызванное цензурными условиями и не меняющее существа картины и рассуждений. (Подробно см.: Дергачев И. «Салтыков-Щедрин — редактор Мамина-Сибиряка».— «Урал», 1978, № 1.) Очерки вошли в первое издание «Уральских рассказов» (т. 2), перепечатывались в последующих изданиях сборника. При подготовке издания 1899 года автор исключил одиннадцатую главу, которая представляла публицистическое отступление о положении старателей, о формах их эксплуатации, о хищническом отношении «хозяев» к национальным богатствам.

Пятнадцатого декабря 1882 года в письме к соредактору журнала Г. Елисееву Салтыков-Щедрин сообщал: «Недавно некто Мамин прислал прекраснейшие очерки золотопромышленности на Урале в роде Брет Гарта». Щедрин предложил еще малоизвестному писателю высокий гонорар и торопил его согласие на публикацию «Золотухи». Получив письмо редактора «Отечественных записок», Мамин делился радостным для него известием с братом: «Володька... ликуй!! Сейчас только получил письмо от самого Салтыкова о том, что мой очерк «Золотуха» принят редакцией «Отечественных записок».

В одном из следующих писем брату Мамин-Сибиряк, отстаивая очерки от его несправедливых нападок, изложил свою общественно-литературную позицию. Он отнес себя вместе с Глебом Успенским к школе тех беллетристов, которые серьезно взялись за изучение народа и ввели «мужика» в литературу. «Посягая на «Золотуху»,— писал Мамин,— ты посягаешь на меня и на мое любимое детище. У меня будет ряд таких статей об Урале, и поверь, что мне скажут за них спасибо».

Текст печатается по изданию: «Уральские рассказы», т. 2, М.,

1905 с исправлением опечаток по предшествующим изданиям и рукописи.

С. 348. *В Филиппов пост свадьбу будем играть...* — Филиппов пост в середине ноября. Сказано иронически: постами свадьбы не «играли».

С. 358. *«Ты дхнешь — и двигнешь океаны...»* — из стих. И. И. Дмитриева (1760—1837) «Размышления по случаю грома».

Бокль — Бокль Г. Т. (1821—1862) английский историк и социолог-позитивист.

Спенсер — Спенсер Г. (1820—1903) — английский философ и социолог.

С. 361. *«Он был титулярный советник»* — стих. П. И. Вейнберга (1831—1908).

С. 369. *Рамень* — здесь: густой лес.

С. 382. *Фаланстерии Фурье* — «первичная ячейка» общества, производственный и бытовой коллектив по учению французского утопического социалиста Ш. Фурье (1772—1837).

Теория Лассаля — теории немецкого мелкобуржуазного социалиста Ф. Лассаля (1825—1864).

И. Дергачев

СОДЕРЖАНИЕ

Мамин-Сибиряк Д. Н.

М22 Уральские рассказы: В 2-х т./Подготовка текста и коммент. И. А. Дергачева.— Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1983.— Т. 1, 432 с.+1 вкл.

В пер.: 2 р. 30 к. 100 000 экз.

«Уральские рассказы» — один из наиболее известных циклов произведений Д. Мамина-Сибиряка. В первый том вошли восемь рассказов и очерков — «В худых душах», «Башка», «Отрава», «Гроза», «На шихане», «Летные», «Бойцы» и «Золотуха».

$М\frac{70301-064}{М158(03)-83}4702010100$ ББК 84Р1 Р1

ИБ № 994

Дмитрий Наркисович
Мамин-Сибиряк

УРАЛЬСКИЕ РАССКАЗЫ
Том первый

Редактор М. П. Немченко
Художник В. Д. Сысков
Художественный редактор Г. И. Кетов
Технический редактор Т. В. Меньщикова
Корректоры Г. Г. Быкова и М. А. Казанцева

Сдано в набор 31.05.82. Подписано в печать 25.11.82. Формат $84\times108^1/_{32}$. Бумага типографская № 1. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 22,8. Усл. кр.-отт. 22,8. Уч.-изд. л. 23,5. Тираж 100 000. Заказ 315. Цена 2 р. 30 к.

Средне-Уральское книжное изд-во, 620219, Свердловск, ГСП-351, Малышева, 24. Типография изд-ва «Уральский рабочий», 620151, Свердловск, пр. Ленина, 49.

ЧИТАЙТЕ КНИГИ РУССКИХ
И СОВЕТСКИХ КЛАССИКОВ,
ВЫПУСКАЕМЫЕ СРЕДНЕ-УРАЛЬСКИМ
КНИЖНЫМ
ИЗДАТЕЛЬСТВОМ В 1983 ГОДУ:

Н. В. ГОГОЛЬ «ИЗБРАННОЕ»

В однотомник вошли поэма «Мертвые души» (т. 1), комедия «Ревизор», а также ряд повестей.

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ «БЕЛЫЕ НОЧИ»

Кроме заглавной повести в книгу вошли «Неточка Незванова», «Скверный анекдот», «Кроткая» и другие произведения.

В. В. МАЯКОВСКИЙ «СТИХИ И ПОЭМЫ»

В сборник включены поэмы «Облако в штанах», «Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!», «Люблю» и многие стихотворения поэта.

В 1983 году
наше издательство в серии
«Уральская библиотека»
выпускает книгу

РУССКАЯ ПОЭЗИЯ УРАЛА

В однотомнике представлены
лучшие стихи русских советских поэтов
разных поколений,
чья литературная деятельность
связана с Уралом.